

ф а з и л ь  
и с к а н д е р

с о б р а н и е



с о ф и ч к а



**собрание**

фазиль

# ИСКАНДЕР

софичка



МОСКВА

2004

ББК 84.7  
И86

*Издательство выражает благодарность  
Александру Леонидовичу Мамуту  
за поддержку в издании книги*

*Макет, оформление, иллюстрации  
Валерий Калныньш*

**ISBN 5-94117-082-3**

© Ф. А. Искандер, 2004

© В. Я. Калныньш, 2004

© Издательский дом «Время», 2004





путь из варяг в греки

созвездие козлотура

детство чика

сандро из чегема 1

сандро из чегема 2

сандро из чегема 3

софичка

человек и его окрестности

kozy и шекспир

паром



## софичка

Был чудный сентябрьский день. Софичка, девятнадцатилетняя чегемская девушка, сидела на взгорье у выхода из каштановой роши и отдыхала, погруженная в томительные раздумья. Она сидела, опершись спиной о могучий серебристый ствол поваленного бука. Рядом с ней стояла плетеная корзина, наполненная ежевикой, и солнечные лучи мерцали и дрожали на иссиня-черных зернистых ягодах.

Еще невысоко над горами поднявшееся светило приятно припекало ее голые ноги, обутые в дешевые парусиновые башмачки, нежным теплом прикасалось к ее телу, проникая в него сквозь легкое ситцевое платье, и Софичка блаженно цепенела от этих прикосновений. Ее темные лучистые глаза на смуглом лице, обычно сияющие навстречу всему живому неистощимым светом, были сейчас приглашены поволокой раздумья.

Вокруг нее стрекотали кузнечики, гудели шмели, пахло усыхающей травой, папоротниками, пригретой землей. Перед ней чуть пониже простирались заросли папоротников и азалий, а дальше начиналась холмистая местность, зеленеющая травой и желтеющая под кукурузными полями.

Слева от нее, громоздясь друг над другом, поднимались синеющие горы, а над горами вздымались хребты, вершины которых врезались в голубизну неба, сверкая аппетитным свежавывавшим снегом.

Справа, плавно опускаясь, зеленые холмы переходили в прибрежную низменность, закутанную в сиреневую дымку, прорезанную блестящими гибкими рукавами Кодора и кончающуюся призрачной стеной моря с неподвижным черным силуэтом парохода, как бы висящим в воздухе. Оттуда дул ровный прохладный ветерок.

Над холмами с утра со стороны Кубани пролетали коршуны. То огромными стаями, то запоздалыми одиночками, они летели, устало взмахивая крыльями, иногда подолгу кружась на одном месте, изредка опускаясь на деревья, и постепенно пролетали куда-то дальше в сторону Батуми. С холмов доносились негромкие хлопанья выстрелов, лай и взвизги разгоряченных собак. Там с утра бродили охотники на коршунов, диких голубей и перепелок.

Жители западного края Чегема, где жила Софичка, никогда не охотились на коршунов, считая их несъедобными птицами, и посмеивались над жителями восточного края Чегема, которые охотились на коршунов и находили их мясо вполне съедобным. Они, в свою очередь, посмеивались над жителями западной части села за их упрямое нежелание признавать коршуна съедобным. Жители западной части Чегема, находясь в гостях у жителей восточной его части, зорко следили, чтобы их случайно, а то и нарочно, в насмешку не угостили этой пролетной российской птицей. А те так и норовили подсунуть им коршунятину под видом индюшатины.

В сущности, Софичка в этом месте вышла из лесу, где собирала ежевику, со смутной надеждой встретиться с одним из

охотников на коршунов, Роуфом. Софичка была в него влюблена, хотя сама себе в этом не признавалась. Она влюбилась в него прошлым летом, когда на большом дворе сельсовета проводились праздничные игры.

Играли в мяч. Тряпичный мяч оспаривали две команды из равного количества игроков. Суть игры состояла в том, чтобы, схватив мяч, пробежать с ним до края поля, принадлежащего противнику, и шлепнуть им по забору, ограждающему двор сельсовета.

На того, кто схватил мяч, наваливались игроки противной команды, стараясь отнять его. Мяч можно было вышибать из рук противника, выдергивать, вырывать. А самого противника разрешалось тянуть за руки, за ноги, валить его на землю, и только нельзя было бить. И на том, как говорится, спасибо.

Женщины, девушки, мужчины, старики, дети — словом, все, кто не принимал участия в игре, сидели у края поля, следя за игрой и криками подбадривая своих родственников и близких.

Софичка сидела в этой толпе в праздничном крепдешинном платье и красных городских туфлях, которые, кстати, ужасно давили ей ноги. Увлеченная игрой, она забыла об этом и во все глаза следила за тем, что происходит на поле.

Вдруг игроки сгрудились посреди лужайки, некоторые повалились на землю, некоторые пытались оттолкнуть друг друга, некоторые напрыгивали сверху на сцепившуюся массу тел, и совершенно невозможно было понять, у кого в руке мяч.

И когда азарт зрителей дошел до предела, из массы тел выснулась голова, а потом грудь в синей майке. И на долгое

мгновение игрок замер, напряженно наклонившись вперед, с мощно вздувшимися мышцами плеча, с выпукло натянувшей майку грудью, с блестящими зубами оскаленного рта, и было волнующе непонятно, сумеет ли он вырваться из обхвативших его со всех сторон рук и ног или рухнет назад в эту свалку.

— Роуф, рванись! — вдруг резко выкрикнул из толпы зрителей старый Хасан и с силой всадил свой посох в землю. Это он так взбадривал своего сына.

И Роуф, словно конь, огретый камчой всадника и одним прыжком одолевающий уносящий его поток, вырвался из свалки, проволочив несколько метров вцепившегося в его ногу игрока, сошвырнул его и кинулся к условным воротам противника. Игроки с гиканьем пустились за ним, но догнать его уже никто не мог. Подбежав к краю поля, он с налету вlepил мяч в забор, ограждающий двор сельсовета.

Возвращаясь домой после праздничных игр вместе с другими девушками своего края села, Софичка, держа в руках красные городские туфли и быстро переступая босыми ногами, вполуха слушала веселую болтовню подружек. Перед ее глазами так и стояло наклоненное вперед напряженное тело Роуфа с мощно вздувшимися мускулами плеча, с выпуклой грудью, обтянутой синей майкой, и оскаленным белозубым ртом. Вечером во время ужина в Большом Доме вспоминали подробности дневных игр возле сельсовета. Софичка была внучкой брата старого Хабуга. И дед, и отец, и мать у нее давно умерли, и она вместе со своим братом воспитывалась в доме старого Хабуга.

— Ну и силен этот коршуноед Роуф, — сказал брат Софички, — хотел бы я с ним схватиться когда-нибудь.

Звали его Нури. Он был очень задиристым и горячим парнем. Услышав слова брата, Софичка вспыхнула, сама не зная почему. Слава Богу, никто ничего не заметил.

В ту ночь Софичка плохо спала. Ей все мерещились эта игра, крики зрителей, беготня и свалка полураздетых парней, и напряженно выжимающееся из этой свалки тело Роуфа, и крик старого Хасана, вонзившего посох в землю, и рванувшееся после этого крика тело Роуфа, проволочившего вцепившегося в него парня.

С того дня что-то странное произошло с Софичкой: ей всюду мерещился Роуф. Раньше ей никогда ни один парень не мерещился. Она никогда не думала, что ей может примерещиться какой-нибудь парень. Тем более она не думала, что ей может примерещиться кто-нибудь из коршуноедов.

Но так получилось, что она сначала восхитилась силой и мужеством, с которыми он вырывался из толпы, потом он стал ей мерещиться, а потом уже брат напомнил, что он из коршуноедов. Если б она сразу об этом вспомнила, может быть, он и не стал бы ей мерещиться. Но теперь уже было поздно об этом думать. Теперь ей ужасно хотелось его увидеть и понять, отчего он ей мерещится. Ей казалось, что, если она его увидит, она поймет, отчего он ей мерещится, и он перестанет ей мерещиться.

Дней через десять Софичка вместе с девушками и женщинами своей бригады с пустыми корзинами в руках возвращались из табачного сарая, куда носили табак после ломки. И вдруг он

им встретился на тропинке. Увидев их, остановился. Широкогрудый, высокий, перепоясанный тонким абхазским поясом, он стоял с густо облепленной черными глянцевыми ягодами веткой лавровишни в руке. Светлые глаза его на загорелом лице блестели, рот улыбался. Он стоял на тропе, готовясь пропустить их мимо себя, и взгляд его упал на Софичку, и рот его, сверкнув белыми зубами, еще шире растянулся в улыбке. Софичка почувствовала, что сейчас он ей что-то скажет, и ей стыдно стало, что ее платье замазучено черным соком табачных листьев и от него же ее ладони черны. И она, слегка прикрываясь корзиной, прошла мимо, чувствуя на себе его улыбающийся взгляд.

— До чего же ты миленькая, Софичка, — сказал он, выплевывая косточку лавровишни, — так бы тебя и съел.

Софичка покраснела, девушки прыснули, а когда они прошли несколько шагов, одна из них быстро обернулась и дерзко крикнула:

— А мы-то думали, что вы одних коршунов едите!

Тут девушки взорвались смехом и стали оглядываться, чтобы понять, какое впечатление произвели на Роуфа слова их подружки. Судя по тому, что он, улыбаясь, продолжал смотреть им вслед, он не обиделся. После этого они всю дорогу до самой плантации обсуждали это происшествие.

— Вот тебе и блажененькая, — говорили они, — какого коршуноеда сглазила.

Считалось, что Софичка слегка не в своем уме. Очень уж она была доброй. Чегемцы, как и прочее человечество, не привыкли к такой дозе необъяснимой доброты.

Низко склонившись к табачным стеблям, Софичка быстрыми пальцами ломала табак и думала об этой встрече и его словах. Она не слишком понимала, что означает его шутка, но радость, струящаяся в ней, сейчас сама подсказывала, что слова его сулят что-то таинственное, сладостное, счастливое. Выходит, он ее заметил тогда на играх, когда она была в праздничном платье и новеньких городских туфлях? Или раньше когда приметил?

В следующий раз они встретились в доме охотника Тендела на пирушке, устроенной по случаю возвращения его внука из армии. Софичка была среди других девушек, обслуживающих пиршественный стол.

Роуф сидел в углу и, постругивая яблоко перочинным ножом, рассказывал веселую историю о том, как он, будучи в армии, обучал жену какого-то капитана верховой езде. Жена этого капитана, оказывается, хотела соблазнить его, а он никак этого не мог понять. Другие девушки, обслуживавшие столы вместе с Софичкой, сгрудились возле него и, посмеиваясь, слушали. Софичка тоже со жгучим любопытством слушала его, но хозяйка дома не дала ей дослушать.

— Софичка, — крикнула она ей, — вон за тем столом сациви кончилось!..

И Софичке пришлось пойти на кухню и принести оттуда бутылку сациви. Уже на кухне она услышала взрыв хохота, раздавшийся за тем краем стола, где сидел Роуф. Видно, он что-то смешное сказал, но Софичка так и не узнала что. Разлив сациви гостям, она вернулась туда, где сидел Роуф.

Он уже рассказывал о том, как они с женой капитана спешили в лесу, потому что она притворилась, что ее укачало на лошади. Но он еще не знал, что она притворяется. Он бежал к ручью и, наполнив свою пилотку водой, обливал ее лицо и шею, а она только стонала и мотала головой, как бы показывая, что ей нужны совсем другие процедуры. Но он этого не понимал и все время бежал к ручью со своей пилоткой. Софичке было ужасно интересно, чем это все кончится. Она удивлялась, как это Роуф ничего не понимал, когда она, Софичка, и то все поняла. Но тут ее хозяйка опять отвлекла.

— Софичка, — крикнула она, — посмотри на этот стол, здесь вино кончается!

Софичка схватила со стола кувшин, побежала на кухню, сунула шланг в бочку, вытянула из него вино, и, когда она направила струю вина в кувшин, с веранды раздался как бы заключительный хохот, и Софичка поняла, что самое интересное прозвела. Ей стало до слез обидно, что всегда ее первой зовут, когда надо что-нибудь сделать. Вон сколько девушек обслуживают стол, а зовут все равно ее. Она вернулась на веранду, поставила кувшин на стол, где не хватало вина, и подошла к тому месту, где сидел Роуф. Но тут уже все было кончено, и Софичка, хотя ужасно любопытствовала, но никак не осмеливалась спросить у девушек, чем же закончилась эта история с женой капитана. Ей хотелось думать, что она ничем не закончилась.

— Что ж ты все постругиваешь яблоки, — спросила у Роуфа одна из девушек, — что же ты ничего не кушаешь?



— Я бы, пожалуй, одну из вас съел, — сказал Роуф улыбочиво, оглядывая девушек и отправляя в рот дольку яблока.

Девушки дружно рассмеялись, выражая готовность быть съеденными таким замечательным парнем. Эти девушки не знали, что он уже это говорил Софичке. Он опять намекает, подумала Софичка, ликуя от жаркого предчувствия. Замерев от счастья, она прислушалась, не добавит ли он чего-нибудь к своим словам, чтобы окончательно ясно было, что он имеет в виду Софичку, но тут опять вмешалась хозяйка.

— Да что вас там медом приклеили, что ли?! — крикнула она. — Софичка, гостей пора мясом обносить!

И Софичка, вздохнув, пошла обносить гостей мясом.

За этот год она еще несколько раз встречалась с Роуфом, и при первой встрече, они были одни, он еще раз сказал ей, улыбаясь, что она такая миленькая, что он готов съесть ее. На этот раз его слова так взволновали Софичку, что она всю ночь не спала, переворачиваясь с боку на бок, то прижимая к себе одеяло, то откидывая его прочь, и никак не могла успокоиться. И она решила, что, если он еще раз скажет эти слова, она ему ответит с неслыханной дерзостью.

— Так съешь меня, кто тебе мешает! — вот что она ему ответит, если он еще раз так ей скажет.

Но он почему-то больше этого не говорил, и Софичка мучилась, думая, что ему теперь понравилась совсем другая девушка и он, может быть, ей говорит эти слова.

В последний раз она его видела, когда он заглянул в табачный сарай, где она низала табак. Софичка была одна. Она по-

пыталась встать ему навстречу, но почувствовала, что ноги ее страшно отяжелели. Она подумала, что сейчас он повторит эти слова, но она никак не сможет ответить ему то, что собиралась ответить. Сейчас ей было очень стыдно сказать ему так. Но он ничего не сказал, хотя она всем своим существом почувствовала, что он ей хочет сказать что-то очень важное. Но он почему-то ничего ей не сказал, а только, неловко по-медлив в дверях, спросил, не видала ли она бригадира.

— Не видала, — выдохнула Софичка, чувствуя одновременно облегчение и разочарование и боясь, что он заметит, как табачная игла подрагивает в ее руке.

...Обо всем этом думала Софичка, сидя на взгорье, глядя на желто-зеленые холмы, откуда доносились слабые хлопанья выстрелов, греясь на солнце, слушая верещание кузнечиков и вдыхая томящий дух усыхающих трав и папоротников. А по синему бездонному небу все плыли и плыли коршуны, взмахивая крыльями — медленно, мощно, устало.

Внезапно Софичка услышала за собой шелест травы и, очнувшись от раздумий, испуганно обернулась, словно кто-то мог подсмотреть ее тайные мысли и видения. Это был Роуф.

Он шел легкой, сильной походкой. Лицо его было радостно возбуждено, по-видимому, удачной охотой. На его широком охотничьем поясе, чуть бронзовея на солнце, телепались три серых коршуна.

Восторг и страх одновременно пронзили Софичку, но губы ее сами расцвели улыбкой. Она так хотела увидеть его — и вот он!

И он тоже обрадовался ей, и она заметила, как лицо его озарилось, а светлые глаза полыхнули. Но он еще был полон охотничьего азарта.

— О Софичка! — крикнул он. — Как я рад! Сиди, сиди! Взгляни сюда!

Он приподнял обеими руками тяжелых птиц и качнул ими на ладонях, словно на весах, как бы гордясь мощным, неоспоримым доказательством охотничьей удали.

— Ты видишь, — говорил он восторженно, — а этот какой! И у меня мелкая дробь, ты понимаешь?! Я взял не те патроны, ты понимаешь?!

— Да, да! — воскликнула Софичка, проникаясь его настроением, хотя не очень понимала, что означает мелкая дробь. — А тебе их не жалко?

— А чего жалеть, — кивнул он на небо, — вон их сколько пролетает...

Раздвинув птиц, чтобы не подмять их, он сел рядом с ней. Ее обдало крепким запахом пота, от которого темнела его сатиновая рубашка на груди и под мышками. Он скинул с плеча свою двустволку и положил ее на траву рядом с собой. Потом вынул из кармана платок, отряхнул его и, распахнув на груди рубашку, стал протирать платком шею и грудь. Та самая синяя майка мелькнула под рубашкой, и Софичка, застыдившись, опустила глаза. От истового протирания шеи и груди он оскалился, как тогда во время игры, когда напряженно вырывался из свалки. По его резким движениям Софичка чувствовала, что его все еще не покидает охотничий азарт.

— Мелкая дробь, понимаешь, — продолжал он, отряхивая платок и вкладывая его в карман. Он вытянул ноги, обутые в чуваки из сыромятной кожи. — Надо очень близко подпускать, а я не знал! Стреляю — не берет! Вижу — попал! Не берет! Потом только догадался, что патроны не те.

Софичка почувствовала некоторую обиду оттого, что он все время говорит о своей охоте, а ее вроде не замечает. Может, начни он заигрывать с ней, она бы сама попыталась оттолкнуть его от таких разговоров, но сейчас ей очень захотелось приблизить его к тому, что жгло ее и изводило весь год.

— Роуф, — сказала она, вздрагивая от волнения, — в тот раз, когда ты заглянул в табачный сарай, ты ведь хотел мне что-то сказать? Мне ведь не почудилось?

— Какой табачный сарай? — спросил Роуф, медленно возвращаясь от своих коршунов на землю.

— Ну, в тот раз, — еще сильнее волнуясь, напомнила Софичка, — когда ты спрашивал бригадира, ты ведь совсем другое хотел мне сказать?

Роуф осоловело смотрел на нее несколько секунд и вдруг, запрокидываясь на ствол бука, вскинул ружье — и бабах в небо!

Софичка ахнула от страха, прихлопнула ладонями уши и посмотрела вверх. Она увидела огромного коршуна, пролетающего над ними, и успела заметить, как он отпрянул после выстрела, словно подброшенный дробью, но тут раздался второй выстрел, и коршун, с каждым мгновением вырастая на глазах, пошел вниз и шлепнулся на траву недалеко от них. Он побежал по траве, уродливо вскидывая обессиленными ог-

ромными крыльями. Роуф кинулся за ним и через несколько секунд поймал его. Птица, взмахивая непомерными крыльями, вырывалась у него из рук, пока он не изловчился схватить ее за глотку и перекрутить ее.

Софичка зажмурилась, ей показалось, что она услышала хруст переломанных хрящей. Тяжело дыша, с упоенным лицом, Роуф возвратился к ней и швырнул огромную, еще слабо трепыхающуюся птицу к ее ногам.

— Ты видела?! — спросил он, радостно улыбаясь и снова садясь рядом с ней. Он сначала прислонил ружье к стволу бука, а потом сел, опять не забыв приподнять птиц, телепавшихся на его поясе, чтобы не подмять их.

— До чего же ты быстрый, Роуф! — воскликнула Софичка. — До чего ж ты быстрый!

— Да, я быстрый, — отвечал Роуф, старательно вытирая о траву окровавленную ладонь правой руки.

— И как ты его заметил, Роуф, — удивилась Софичка, — ты ведь смотрел на меня?

— У охотника третий глаз на затылке, — важно заметил Роуф. Чувствовалось, что он наконец успокоился.

— Ты чересчур быстрый, Роуф, — сказала Софичка, — с тобой, наверно, опасно..

— Смотри кому, — усмехнулся в ответ Роуф и посмотрел на Софичку так, словно только что ее заметил.

Солнце уже поднялось довольно высоко. В траве всюду развешивались кузнечики. Высоко в небе плыли и плыли коршуны. Некоторые из них снижались на желто-зеленых

холмах, где под купа́ми дере́вьев прятались охотники и откуда доносились приглушенные хлопки выстрелов.

— Роуф, — снова напомнила Софичка, — ты ведь в тот раз, когда заходил в табачный сарай, хотел мне что-то сказать? Ты ведь хотел, Роуф?!

— Да, — согласился Роуф и как-то странно посмотрел на Софичку своими светлыми глазами на загорелом лице, — но откуда ты знаешь об этом?

Он перевел взгляд на корзину с ежевикой, стоящую между ними. И вдруг гребанул ладонью горсть ежевики и, высыпая ее в рот, снова взглянул на Софичку, каким-то странным образом соединяя ее с этой ежевикой. Так показалось Софичке.

— Я сама догадалась, Роуф, — восторженно отвечала Софичка, — как только увидела тебя, догадалась!

— Ежевика в жару хорошо идет, — сказал Роуф, причмокивая и как-то странно поглядывая на Софичку. Видно было, что он одновременно прислушивается к хлопанию выстрелов на желто-зеленых холмах. Снова, уже не глядя, запустил руку в корзину и достал еще горсть ежевики.

— Так что же ты мне хотел сказать, Роуф? — спросила Софичка, дрожа от волнения.

— Я хотел сказать, что ты лучше всех, — сказал Роуф и снова прислушался к желто-зеленым холмам. Прислушавшись и словно убедившись, что они ему не помешают, очень странно взглянул на Софичку.

— Не ври, Роуф! — вскричала Софичка, — в Чегеме столько красивых девушек!

— А ты лучше всех, — убежденно сказал Роуф и, не глядя, приподнял корзину и поставил ее влево от себя, словно освобождая место между собой и Софичкой.

— Роуф, зачем ты переставил корзину? — удивилась Софичка.

— Так надо, — сказал Роуф и стал вытирать руку о траву. Теперь ладонь его была измазана ежевичным соком. «Покончил с ежевикой и теперь приступит ко мне», — замирая, подумала Софичка. Сейчас он оттирал руку от ежевичного сока дольше, чем от крови коршуна.

— Отчего ты так долго трешь руку о траву! — вскричала Софичка, умирая от любопытства.

— Сейчас узнаешь, — сказал Роуф и вдруг снова прислушался к холмам, откуда доносились приглушенные выстрелы, словно раздумывая, не помешает ли ему то, что делается на холмах. И, словно убедившись, что не помешает, расстегнул свой охотничий ремень с дичью и накинул его на поваленный бук.

— Что ты скинул пояс, Роуф?! — вскричала Софичка, чувствуя, что ноги ее наполняются непреодолимой тяжестью.

— Вот уже год, — сказал Роуф, — как только я тебя увижу, мне хочется тебя трясти, трясти, трясти...

— Да что я, яблоневая ветка, что ли, чтобы меня трясти?! — снова вскричала Софичка.

— Думаю, что тебе придется научиться готовить коршун, — сказал Роуф и, подсев к ней, обнял ее одной рукой.

— Не хочу я готовить коршунов, — стыдливо сказала Софичка, горячо чувствуя его руку на своем плече, — небось они жилистые?

— Сначала попробуй, а потом говори, — отвечал Роуф и, крепко прижав ее к себе, поцеловал прямо в губы. Софичка, задохнувшись, вырвала лицо, но он ее снова притянул к себе и снова поцеловал прямо в губы. Она снова вырвала лицо, но он ее крепко держал одной рукой, и она вспомнила его напряженное плечо, когда он вырывался из свалки, и подумала, что рука его сейчас, наверное, так же напряжена. И он снова притянул ее к себе, и она снова почувствовала, что чем сильнее она сопротивляется, тем теснее их сближает какая-то сила.

— Роуф, нас могут увидеть!

— Только коршуны!

— Нас обоих убьет мой брат, если узнает!

— Не бойся, я тебя украду!

Наконец он так крепко ее поцеловал, что она захотела, чтобы он ее еще крепче поцеловал. Но тут он сам оторвался от нее и встал. Она сидела с закрытыми глазами, прислонившись к буковому стволу. Он уже надел свой пояс, прикрепив к нему последнего коршуна. И сквозь тишину забытья, сквозь острый, близкий запах вянущих трав и теплой земли она откуда-то сверху услышала его голос:

— Как только уберем кукурузу и виноград, я дам тебе знак. Жди.

Шаги его быстро ушуршали по траве. Софичка очнулась. Она все так же сидела, откинувшись спиной на ствол пова-



ленного бука. Солнце жарко припекало. Кузнечики оглушительно трещали в траве. В воздухе стоял сильный запах разогретых папоротников. Софичка чувствовала, как кровь струится в ее теле. Голова кружилась, и все, что она видела, поднималось и плыло куда-то.

Плыла земля, на которой она сидела, плыли далекие горные хребты с заснеженными, сверкающими вершинами, плыли желто-зеленые холмы, откуда теперь гораздо реже, но все еще доносились приглушенные хлопки выстрелов и взлаи разгоряченных собак. Плыла прибрежная долина в сиреновой дымке, прорезанная серебряной лентой Кодора, и плыло огромное бездонное небо, по которому все еще пролетали бесконечные стаи коршунов, взмахивая крыльями — медленно, мощно, устало.

Прошел месяц. На приусадебном участке дедушки убрали кукурузу и уже третий день собирали виноград. Брат Софички Нури и дядя Кязым, стоя на ветках ольховых деревьев, обвитых виноградной лозой, рвали виноград. Длинные конусообразные плетеные корзины, наполненные черными гроздьями, с шумом пробивая пожелтевшую листву своим острым концом, спускались вниз на веревке. Софичка вываливала из них виноград в большую круглую корзину, а эта, конусообразная, снова поднималась наверх.

Над корзиной вились бесчисленные полосатые осы. День был необычайно жарким, парило, ждали дождя. Дядя Кязым и Нури спешили добрать виноград до начала дождей.

Набрав с полкорзины, Софичка с трудом приподнимала ее и, положив на плечо, тащила в винный сарай, где стояло огромное долбленое корыто — давилня. Софичка, пригнувшись, перекладывала корзину с плеча на край давилни, а потом опрокидывала в ее огромное, уже исходящее соком чрево.

Немного отдохнув у давилни, уже почти наполненной гроздьями черной «изабеллы», над которой неистово гудели опьяненные пчелы и осы, Софичка поднимала корзину и, покинув прохладный полутемный сарай, шла туда, где брат и дядя собирали виноград.

Весь этот месяц Софичка, обмирая, думала о том, что случилось там, на взгорье у выхода из каштановой рощи. Нет, она ни о чем не жалела. Но временами ей казалось, что их кто-нибудь мог увидеть, когда ее целовал Роуф, и тогда она в ужасе кусала себе ладони и думала, что, если б такое случилось, она, вероятно, умерла бы от стыда. Но такого не случилось, да и навряд ли могло случиться.

Она верила в Роуфа так, как верила в то, что после ночи должен наступить день. Конечно, время от времени и ее настигали девичьи страхи и сомнения, но ее вера и любовь к Роуфу всегда побеждали и отгоняли страхи и сомнения. Она ждала знака от него и готова была по первому его слову бежать с ним туда, куда он найдет нужным.

Конечно, она предпочла бы не огорчать близких своим тайным побегом, но, видно, иначе нельзя. Она знала, что дедушка ее навряд ли добровольно согласился бы отдать ее за полутурка, хотя и «обабхазившегося», да еще и коршуноеда.

Если б он был только из турок или только из коршуноедов, может быть, близкие скрепя сердце согласились бы на ее замужество, а так, кто его знает, что будет.

Конечно, и Роуф это понимал. Да и по обычаям абхазским и вообще горским умыкнуть девушку даже с ее согласия считалось делом чести, это придавало некий дополнительный чувственный жар обладателю ее: краденая слаще законной.

Все эти дни, пока собирали виноград, Софичка с лихорадочным нетерпением ожидала весточку от Роуфа. «Что он думает делать? Как там они, убрали кукурузу и виноград или нет? Раз мы кончаем убирать виноград, значит, и они кончают, — думала она, — или у них чуть позже все вызревает? Или что другое?»

Уже близко к полудню, когда Софичка с корзиной на плече проходила в винный сарай, она вдруг увидела незнакомого мальчика лет двенадцати, осторожно перешагнувшего через перелаз и идущего ей навстречу по скотному двору. Что-то дрогнуло в груди у Софички при виде этого мальчика. Софичка крепче уцепилась за корзину, чтобы не упустить ее. Это был совсем незнакомый мальчик, Софичка была уверена, что никогда не видела его.

Они приближались друг к другу по широкому скотному двору, и мальчик, как заметила Софичка, оглядывал ее прекрасными, правда, чересчур наглыми зелеными глазами. Поравнявшись с ним, Софичка остановилась.

— Мальчик, ты откуда? — спросила она.

— Оттуда, — махнул мальчик в сторону восточной части Чегема.

— А что тебе здесь надо? — дрогнувшим голосом спросила Софичка, глядя на мальчика и стараясь держать корзину в равновесии.

— Мне бы Софичку увидеть, — сказал он, глядя в глаза Софички своими зелеными наглыми длинноресничными глазами.

— А зачем она тебе? — спросила Софичка, боясь своим голосом испугать радость.

— Дельце есть, — сказал мальчик важно.

Софичка почувствовала, что с корзиной на плече она не выдержит, если это весть от Роуфа. Мальчик прислушивался к деревьям, где собирали виноград и откуда время от времени доносился шорох раздвигаемых листьев: то спокойный, то шумный и раздраженный, в зависимости от удаленности виноградных гроздей.

— Пойдем со мной, — сказала Софичка и быстрыми шагами пошла к винному сараю. Войдя в сарай, она, не пригибаясь и не ставя ношу на край даильни, на ходу вбросила туда перевернутую корзину и, тяжело дыша, обернулась к мальчику:

— Говори!

— Мне бы Софичку, — спокойно повторил мальчик, глядя на нее своими большими зелеными невозмутимыми глазами.

— Я, я Софичка! — выкрикнула Софичка, в нетерпении топнув ногой по земляному полу сарая.

— А я знаю? — спокойно отвечал мальчик, глядя на нее своими невозмутимыми длинноресничными глазами. — Может, ты родственница какая...

— Да Софичка я! — крикнула Софичка чуть не плача. — Говори, противный мальчишка!

— Нет, — помотал головой мальчик, — мне надо точно знать, что ты Софичка.

— Ты от Роуфа?! — выдохнула Софичка, теряя терпение.

— Ха! — усмехнулся мальчик. — Так я тебе и сказал...

— Да как же тебе доказать?! — в отчаянии спросила Софичка.

— Это твой брат там собирает виноград? — кивнул мальчик в сторону усадьбы.

— А кто же! — отвечала Софичка в нетерпении.

— Там двое, — уточнил мальчик, — а второй кто?

— Дядя! — крикнула Софичка.

— Вот и хорошо, — пояснил мальчик, глядя на нее своими наглыми ангельскими глазами, — будем ждать. Как только у них наполнятся корзины, они позовут тебя, и мы послушаем твое имя. Только если они назовут тебя иначе, не говори, что это твоя домашняя кличка.

— Господи, какой хитрый, — удивилась Софичка, радуясь, что у нее в самом деле не было никакого домашнего имени.

— А как же, — важно сказал мальчик, — такое дело дурачку не поручат.

— Какое же дело? — не утерпела Софичка, задыхаясь от волнения.

— Об этом я скажу, когда узнаю, кто ты такая, — терпеливо отвечал мальчик, прислушиваясь к чему-то и глядя на Софичку своими длинноресничными глазами видавшего виды ангелочка.

Они простояли еще минут десять, показавшиеся Софичке вечностью. Мальчик спокойно озирался в винном сарае, не выказывая никаких признаков нетерпения. Он даже взял из давилъни гроздь, забрасывая ягоды в рот и причмокивая, глотал их якобы исключительно с целью дегустации. Вид у него был такой важный, что Софичке, терявшей терпение, захотелось трахнуть его по башке корзиной.

— Да, — сказал мальчик с видом знатока, — виноград набрал сладость... Можно давить...

— Откуда только тебя выкопали? — не удержалась Софичка.

— Как откуда? — отвечал мальчик рассудительно. — Я уже двух девок выдал замуж... Ничего... Живут, не сбежали...

— Так, значит, ты от Роуфа! — вскричала Софичка.

— Ничего не значит, — ответил мальчик, нахмурившись оттого, что сказал лишнее.

Софичка уже была готова разорваться от нетерпения, но тут раздался голос Нури.

— Софичка, — заорал он с дерева, — ты что там, подохла в давилъне?!

— Иду, иду, — крикнула Софичка и, вывалив из корзины виноград, взяла ее в руки. — Ну, теперь ты скажешь? — спросила она, обернувшись к мальчику.

— Теперь скажу, — ответил мальчик.

— Так говори, — взмолилась Софичка, — видишь, брат зовет?!

— Так ты готова ощипывать коршунов? — пытливо спросил мальчик.

— О Господи! — воскликнула Софичка. — При чем тут коршуны?

— Отвечай, — властно сказал мальчик.

— Ну, готова, готова! — вскрикнула Софичка.

— А поджаривать их на вертеле? — безжалостно продолжал мальчик.

— И поджаривать, — покорно вздохнула Софичка, чувствуя, что спорить с мальчиком бесполезно.

— И кушать, само собой? — уточнил мальчик.

— И есть, — тихо согласилась Софичка, краснея. Они уже шли в сторону деревьев, где брат и дядя рвали виноград.

— Софичка! Софичка! — снова с дерева заорал Нури.

Софичка вздрогнула и остановилась.

— Иду! Иду! — крикнула она, глядя на мальчика.

Мальчик удовлетворенно слушал голос ее брата, как бы окончательно признав, что Софичка и есть Софичка.

— Ну так вот, — сказал мальчик торжественно, — сегодня, как только стемнеет, Роуф тебя ждет на холме возле старой крепости.

— А больше он тебе ничего не сказал? — спросила Софичка, от волнения перебросив корзину с одной руки на другую.

— Хватит и этого, — ответил мальчик, — ну, я дальше не пойду. Мне вовсе незачем мозолить глаза твоему брату. Еще мстить вздумает...

— Спасибо, — тихо шепнула Софичка и, быстро наклонившись, поцеловала мальчика в щеку.

— Этого еще не хватало, — буркнул мальчик и сурово вытер щеку плечом.

— Я тебе обязательно что-нибудь подарю за эту весть, — тихо сказала Софичка, чувствуя к маленькому вестнику необычайную нежность.

— Многие так говорят, — язвительно заметил мальчик, — но потом выходят замуж и все забывают.

— Нет, нет, я никогда не забуду! — вскричала Софичка.

— Поживем — увидим, — сказал мальчик и добавил с видом человека, не привыкшего брать на себя неразумную долю риска: — Ну, я пошел. Мне незачем мозолить глаза твоему брату.

— Иди, иди, — шепнула Софичка, — я все сделаю как надо.

— Так не забудь — у старой крепости, — напомнил мальчик, поворачиваясь, — а то еще придешь куда-нибудь не туда... У вас ведь, у девок, голова дырявая...

— Нет, нет, я все сделаю, как надо, — сказала Софичка, чувствуя необычайный прилив нежности к этому мальчику, словно предвидя в нем собственного сына.

— Еще бы, — буркнул мальчик и быстрыми шагами направился к перелазу.

Все, что происходило дальше, Софичка воспринимала как в тумане. Она принесла в винный сарай еще несколько корзин винограда. Потом брат и дядя слезли с деревьев и пошли давить виноград. Софичка принесла из дому кувшин с водой и мыло. У края скотного двора нарвала охапку папоротниковых стеблей. Вошла в винный сарай и у самого винного корыта выстлала папоротником земляной пол, положила на него мыло и поставила рядом кувшин.



Закатав до колен галифе, брат и дядя поочередно, становясь на папоротниковую подстилку, с мылом вымыли ноги и залезли в давящую.

Софичка стояла возле них, ощущая скрежещущие, шлепающие и чавкающие звуки раздавливаемых гроздей, глядя, как мерно работают их сильные, мускулистые, теперь до колен окрашенные в красный сок ноги, то и дело вминающиеся в наваленный виноград и с аппетитным чмоком выдирающиеся оттуда и снова вминающиеся в сочно лопающиеся ягоды. Убедившись, что теперь они здесь достаточно долго пробудут, Софичка побежала домой, прихватив с собой кувшин и мыло.

Уже давно приготовленный чемодан с одеждой и бельем лежал у нее под кроватью. Сейчас надо было незаметно вынести его, спрятать где-нибудь в зарослях недалеко от дома, а потом вечером, когда она сбежит, прихватить его. Софичка много раз думала об этом и правильно решила, что вечером, когда в доме все соберутся, незаметно вынести чемодан будет гораздо труднее.

Сейчас в доме никого не было, кроме Нуцы, жены дяди Кязыма. Она возилась на кухне. Софичка выбежала за ворота и оглядела верхнечегемскую дорогу, насколько ее охватывал глаз. Никого.

Она снова вбежала в дом, вошла в свою комнату, достала чемодан и вышла с ним на заднее крыльцо. Спустилась в огород и, ступая прямо по шумящим лопухим листьям тыквы, подошла к плетню и перетащила чемодан на верхнечегемскую дорогу. Потом вскочила на плетень, спрыгнула вниз

и, схватив чемодан, стала подниматься по крутому склону, поросшему зарослями самшита, рододендрона, азалий.

Продираясь сквозь колючие кустарники ежевики, она влезла в самые густые заросли азалий и спрятала в них чемодан. Потом она нарвала ореховых веток и воткнула их так в кусты азалий вокруг чемодана, чтобы он был совсем незаметен, хотя он и так был незаметен.

Она отошла на несколько шагов, пытливо вглядываясь в место, где спрятан чемодан, окончательно убеждаясь, что его не видно. Приметила большой белый камень, торчавший из земли возле кустов азалий. Он мог потом послужить ей хорошим ориентиром. Особенно в темноте. Наконец Софичка покинула взгорье и вернулась домой.

Из давилъни гукнул голос Нури. Он просил свежей воды. Софичка взяла кувшин и быстро спустилась к роднику. Набрала воды, она поставила кувшин на плечо и, ни разу не отдохнув в пути, принесла его домой. Она перелила свежей воды из кувшина в чайник, прихватила стакан и спустилась в винный сарай.

Обливаясь горячим потом, с красными, измазанными винным соком ногами, брат и дядя продолжали усердно топтать виноград. Софичка налила в стакан воды, сполоснула его и наполнила. Она подала его сначала дяде, и тот медленно пил, запрокинув голову и двигая кадыком. Он пил, не выходя из давилъни. Потом пил Нури, тоже не выходя из давилъни. Он жадно выпил несколько стаканов воды.

Утолив жажду, он вспомнил о голоде.

— Обед скоро? — спросил он, шумно выдыхая воздух и выплескивая остаток воды из стакана.

— Сейчас, — сказала Софичка и, поставив чайник на папоротниковую подстилку, надела ему на носик стакан и побежала домой.

Тетя Нуца, стоя у разожженного очага, взялась за мамалыгу. Софичка сбегала на огород, нарвала луку, чесноку, кинзы и петрушки. После этого она надела на вертел куски копченого мяса, разгребла жар в очаге и поджарила его. Прислонив шипящий вертел к краю очага, она вышла во двор, кликнула детей тети Нуцы, игравших в доме тети Маши, и позвала мужчин, работавших в винном сарае.

К обеду брат принес в чайнике сладкого, еще не перебродившего вина — мачари. Софичка выпила стакан густого вина и почувствовала, что у нее закружилась голова. Такое вино не должно было ударить в голову, но ударило, и Софичка этому очень удивилась. Она не понимала, что ее волнение придавало вину крепость. Движения ее стали порывисты.

— Что с тобой, Софичка? — спросил дядя Кязым.

— Опьянела от мачарки, — усмехнулся Нури.

Поев и покурив, брат и дядя снова ушли в винный сарай давить виноград. Софичка от волнения и бесконечности ожидания вечера не знала, чем занять себя. Она вымыла полы во всем доме и вымылась сама.

Вдруг ей пришло в голову, что кто-то мог залезть в кусты азалий, обнаружить ее чемодан и унести его. В ужасе Софичка выскочила из дому, перебежала верхнечегемскую дорогу

и, снова продираясь в зарослях, поднялась к тому месту, где стоял чемодан.

Чемодан стоял на месте, но ветки ореха, брошенные на кусты азалий, приувяли и теперь выглядели подозрительно. Она скинула ветки ореха с зарослей азалий и еще глубже в кусты упрятала чемодан. Спускаясь на дорогу, она вдруг встретилась с лесничим Омаром. Вздорный лесничий не мог не проявить свою вздорность.

— Ты что там делала? — громко спросил он у нее, удивляясь тому, что она откуда-то сверху спускается на дорогу.

— Ничего, — ответила Софичка, выходя на дорогу.

— Как так — ничего, — заорал он, — люди как люди ходят по дороге, а ты что по чащобам шастаешь?

— Я так, я ничего, — отвечала Софичка, стараясь успокоить его своим спокойным голосом. Она боялась, что дома его кто-нибудь услышит.

Несколько секунд он смотрел на нее, сверкая подозрительными глазами, и Софичка со страхом подумала, что вот сейчас он поднимется по ее следам и обнаружит ее тайну.

— «Ничего», — злобно передразнил он ее, — если ты девушка, ты должна скромно идти по дороге, а не шастать по кустам... Совсем стыд потеряли...

Это он говорил, уже продолжая свой путь. Софичка облегченно вздохнула: ну, какое твое дело, проклятый старикашка!

К вечеру небо обложило тяжелыми черными тучами. Солнце с трудом пробивалось над горизонтом и обгаляло зловещим цветом край неба. Коровы, мыча, стояли у ворот

скотного двора. Дедушка пригнал коз и впустил их в загон, откуда они беспрерывно переблеивались с козлятами.

Куры стали взлетать на инжировое дерево, где они обычно устраивались на ночь. Некоторые из них, не долетев до намеченной ветки, падали вниз, вызывая почему-то гневное порицание петухов. Иногда петухи, не удовлетворяясь устным порицанием, набегали на кур и топтали их, как бы возбужденные женственной слабостью их крыльев и одновременно наказывая их за это. После чего, отряхнувшись, куры взлетали гораздо удачнее. И было непонятно, что именно их вдохновляло: сама процедура наказания или боязнь ее повторения. Впрочем, Софичка этих подробностей не замечала.

Она стояла посреди двора и, сама того не осознавая, прощалась с дедушкиным домом, где она выросла, со старой яблоней, упирающейся замшелой веткой в веранду, с грецким орехом, осеняющим двор справа. Она слушала бляенье коз в загоне, мычанье коров, уже загнанных в скотный двор, кудахтанье взлетающих на дерево кур.

И когда жена дяди Кязыма вышла из кухни с подойником, чтобы подоить коров и коз, а дедушка прошел в винный сарай, чтобы посмотреть, как там давят виноград, она решила — пора.

Волнение комом стояло у нее в горле, и она могла разрыдаться, если б не страх за предстоящее дело. Заставив себя выйти, а не выбежать со двора, она уже почти бегом поднималась в гору, цепляясь за кусты лесного ореха, кизила, самшита, опутанные колючими плетями ежевики. Здесь, в зарослях, уже было довольно темно. Но вот и камень белеет, а вот и кусты азалий.

Софичка подбежала к ним, с шумом отогнула упругие ветки и выволокла чемодан. Она быстро раскрыла его, вынула оттуда крепдешинное платье, чулки, кофту и красные городские туфли. Со страхом озираясь в зеленом полумраке, она скинула с себя домашнее платье, натянула праздничную одежду, надела городские красные туфли, запихнула в чемодан снятое платье, завернула свои домашние башмачки в листья лопуха и, сложив их в чемодан, закрыла его.

В быстро сгущающихся сумерках, то продираясь сквозь заросли, то ступая по козьим тропам, Софичка теперь двигалась в сторону старой крепости, где ее должен был ждать Роуф.

Минут через тридцать, когда она, по ее расчетам, должна была выбраться на открытое пространство, она почувствовала, что зашла куда-то не туда. Вершина взгорья была покрыта зарослями папоротников, и там высились развалины старой крепости.

Но ничего такого не было видно. Софичка почувствовала, что промахнулась, взяла левее или правее. Вокруг нее росли бесконечные кустарники с редкими буковыми и каштановыми деревьями, и она с каждой секундой с нарастающим ужасом осознавала, что заблудилась и ничего вокруг не узнает.

И как это бывает в таких случаях, именно то, что она заблудилась рядом с домом в местах, которые она сотни раз исходила с самого детства, вселяло в нее дополнительный суеверный страх. То ей казалось, что она сошла с ума от волнения и ничего не узнает вокруг, то ей казалось, что какие-то силы заколдовали это взгорье, чтобы она, не узнавая дороги, не смогла встретиться со своим возлюбленным.

Ужас позорного возвращения домой, разоблачения, расстройства свадьбы охватил ее с такой силой, что она готова была броситься на землю и зарыдать.

И все-таки из последних сил она держала себя в руках и пыталась понять, куда ей двигаться. Но пламя паники уже охватило ее, и она, рванувшись в одном направлении, через несколько минут меняла его, боясь, что она идет не туда, и снова убеждалась, что не узнает местности. Все деревья и кусты, которые она различала в темноте, казалось, чуть-чуть сдвинулись со своего места, и невозможно было определить, куда идти.

Софичка собрала все свои силы и решила на последний здравый шаг. Она повернула назад и вышла на верхнечегемскую дорогу, рискуя с кем-нибудь встретиться. Над верхнечегемской дорогой, прямо напротив дома тети Маши, который стоял внизу под дорогой, вела тропа в сторону старой крепости.

Как только она спустилась к белеющей в темноте дороге, силы снова вернулись к ней, она сразу поняла, где находится, и была уверена, что если бы теперь снова поднялась на гору, то обязательно правильно вышла бы к нужному месту.

Но она не стала рисковать, а пошла по дороге радостной быстрой походкой. Она только боялась, что ей встретится в пути кто-нибудь из чегемцев и до срока догадается о ее намерениях.

Поравнявшись с домом тети Маши, который стоял в некоторой глубине, внизу под дорогой, она услышала ее голос, перекликающийся с кем-то.

— Не видели! Не видели! — кричала тетя Маша, откликаясь на чей-то голос.

Не вслушиваясь в голоса, она свернула на тропу и пошла вверх, и, только когда голоса угасли, она вдруг догадалась, что это кричали из Большого Дома и искали ее. С нежной грустью, жалея родных, Софичка поднялась по тропе и вышла на лужайку возле старой крепости и увидела на фоне сереющей стены силуэт человека, державшего под уздцы лошадей, и силуэт другого человека, похаживающего возле него.

— Ты чего по тропе пришла? — тревожно спросил Роуф, быстро подходя к ней и беря у нее чемодан.

— Я заблудилась, — выдохнула Софичка. Она все еще тяжело дышала после крутого подъема.

— Заблудилась? — переспросил Роуф, силясь понять, как это она могла заблудиться рядом со своим домом, и, словно почувствовав, что нет времени осмысливать такие странности, оборвал себя: — Едем!

Несколькими быстрыми, резкими движениями он приторочил чемодан к седлу своей лошади. Потом взял под уздцы лошадь, предназначенную Софичке, и подвел к ней.

— Быстрей, — сказал он и, одной рукой придерживая под уздцы лошадь, другой придвинул Софичке стремя. Она подняла ногу, стараясь это сделать попристойнее, хотя было темно, сунула ее в стремя, ухватилась за луку седла и, с силой оттолкнувшись от земли, села в седло. Софичка нашла ногой второе стремя, а Роуф перекинул ей в руки поводья и передал камчу.

Роуф и сопровождавший его парень вскочили на лошадей.

— Как бы дождь нас не настиг, — сказал Роуф, трогая лошадь.



Парень выехал вперед, следом Софичка, а за ней ехал Роуф. Они спустились под гору, молча проехали по ложине, а потом дорога их вывела к нескольким домам выселка, где их жесточно облаяли собаки. Дверь кухни одного из домов, где особенно неистовствовала собака, открылась, и человек, стоя на пороге, окликнул их:

— Эй, кто вы?!

— Молчи, — шепнул Роуф, хотя Софичка и не думала подавать голос.

Проехав последний чегемский выселок, они углубились в лес.

— Теперь только дождь нам помеха, — сказал Роуф странным громким голосом после долгого молчания.

— Может, успеем проскочить? — ответил приятель, оглянувшись.

— Наверяд ли, — сказал Роуф, к чему-то прислушиваясь, и добавил: — Как себя чувствуешь, Софичка?

— Хорошо, — ответила Софичка, радуясь, что Роуф к ней обратился, и стыдясь присутствия этого незнакомого парня, в дом которого они, видно, сейчас ехали. Софичка понимала, что он живет в другой деревне, но не знала, кто он такой и где именно находится его деревня.

— Твоя Софичка молодчина, — сказал парень, оглянувшись и сверкнув зубами в темноте.

— А что ты думаешь, Алеша, — сказал Роуф, — плохую лошадь не крадут.

Оба рассмеялись, и Софичку обдало теплом оттого, что этот неведомый парень ее похвалил. Она подумала, что он,

наверное, очень добрый, и была рада, что хоть узнала наконец его имя. А то ехать в его дом и не знать его имя было как-то неудобно и спросить об этом Роуфа несподручно.

В лесу было тихо. В темноте серебрились колонны букowych стволов. Тропы не было видно, но лошади сами находили дорогу. Софичке жалко было стегать свою лошадь камчой, и она слегка приотставала, а Роуф, едущий сзади, окриками и свистом подгонял ее лошадь. Вдруг Роуф остановился.

— Тихо, — сказал он.

Софичка испуганно натянула поводья, решив, что он услышал звуки погони. Остановился и Алеша. В глубокой тишине ночи ничего не было слышно, кроме клацания удил на зубах у лошадей.

— Что ты слышишь? — спросил Алеша.

— Ливень нас догоняет, — сказал Роуф.

И вдруг Софичка расслышала далекий гул. Ей показалось, что притихшие деревья тоже с тревогой прислушиваются к далекому гулу приближающегося ливня.

— Пошли быстрее, — сказал Алеша и пустил свою лошадь рысью.

— Стегани ее камчой, — посоветовал Роуф Софичке и, не дожидаясь ее неверной камчи, так гикнул на ее лошадь, что Софичку мгновенно затрясло в седле. Лошадь пошла рысью.

— Крепко держи поводья! — крикнул Роуф сзади.

Лошади шли рысью, и слышался частый глухой стук копыт о твердую тропу, иногда звяканье подков о камни, а Софичку все трясло и трясло в седле, и она уже не знала, как

долго длится езда рысью, и слышала, как сзади медленно и неуклонно приближается гул ливня. Вдруг Софичка почувствовала метнувшийся в темноте фиолетовый свет молнии, а следом грянул гром, словно, хрястнув, повалилось дерево. В листве деревьев зашумели тяжелые редкие капли.

— Чувствуй поводья! — крикнул сзади Роуф, когда хрястнул гром. И Софичка, не очень понимая, что значит чувствовать поводья, на всякий случай крепче сжала их в руке.

С грохотом налетел сзади ливень, но сквозь густую листву деревьев только несколько капель шлепнуло Софичку по лицу. Воздух резко посвежел. Вдруг Софичка почувствовала рядом дыхание лошади Роуфа, почувствовала его ногу, несколько раз горячо прикоснувшуюся к ее ноге. Он что-то развернул в темноте и, не останавливая лошадь, набросил ей на плечи, и тут только она осознала, что это бурка. Она почувствовала его руки у своего подбородка и, прежде чем догадалась, что он завязывает у ее горла тесемки от бурки, прижалась к его рукам щекой. В мимолетной ласке он мазнул ладонью по ее щеке и, гикнув на ее лошадь, пустил ее вперед.

И тут ливень окончательно догнал их, и сразу же водопады дождя сверху обрушились на землю. Грохот дождя по листьям был такой сильный, что почти заглушал гром. В свете молнии вдруг высвечивались величавые струи дождя, мокрая, сбившаяся грива на трясущейся лошади, огромные бледные в свете молний стволы буков, странно сухие снизу и потемневшие от дождя наверху. Дождь барабанил по бурке так, что глушил уши. Но Софичка не испытывала никакого страха. Она все

еще чувствовала руки Роуфа, завязывавшие ей на шее тесемки от бурки, и это ее сейчас веселило и вдохновляло.

— Чоу! Чоу! — громко раздавался сзади понукающий лошадей голос Роуфа.

Одна рука Софички, высывавшаяся из бурки и державшая поводья, была мокрой, словно она окунула ее в воду.

— Не ослабляй поводья! — гремел после каждого удара грома голос Роуфа, боявшегося, что лошадь Софички испугается и понесет.

Голова у Софички была совершенно мокрая, и стекающие по лицу и затылку струйки дождя начали затекать за бурку, холодя тело. Рука, державшая поводья, настолько ооченела от дождя, что Софичка, взяв поводья в другую руку, изо всех сил терла ооченевшую о шершавую, сухую шерсть внутренней стороны бурки, чтобы кровь в руке согрелась и пальцы стали подвижны.

Внезапно секущие лицо струи дождя усилились, и грохот ливня по листьям остался позади. Софичка поняла, что они выехали на открытое пространство. Начался подъем, и лошади перешли на шаг. Копыта чмокали в потоках воды, стекавшей но склону.

— Наводнение! Наводнение! — заорал Алеша, останавливая лошадь и давая Софичке и Роуфу подъехать к себе. В свете молнии мелькнули его веселое, ооскаленное лицо и рубашка, так плотно облепившая тело, что были ясно видны очертания его сильной, мужественной фигуры. «Господи, — подумала Софичка, — я под буркой и то мерзну, а как же они, бедняги!»

— Зато сам черт следа нашего не сыщет! — крикнул Роуф в ответ на слова Алеши.

— Это точно! — радостно крикнул Алеша и, словно пытаюсь перекричать дождь и согреться силой своего голоса, заорал: — Э-ге-ге-гей!

Софичка не запомнила, сколько времени они ехали. Она только помнила, что дождь лил и лил, а они ехали и ехали. Вдруг лошадь Алеши стала. Софичка тоже натянула поводья. Алеша гикнул изо всех сил, и Софичка внезапно увидела свет, мелькнувший из распахнувшейся двери дома. «Приехали!» — догадалась Софичка.

Из дверей дома выскочили какие-то люди и побежали в их сторону. Один из них под полой бурки придерживал фонарь. Ворота распахнулись, лошадей схватили под уздцы, Софичке помогли спешиться, и под громкие, радостные крики их ввели в большую кухню, озаренную огромным, уютно пылающим очагом.

В кухне было много народу, и видно было, что их давно ждут. Все были возбуждены и говорили одновременно, улыбаясь и хохоча. С Софички стащили мокрую бурку, а серебряно-головый старик, видно, хозяин дома, стал угощать их розовой чачей. Мужчины выпили по несколько стопок чачи и, став у очага, начали сушиться, сразу задымившись облаками пара. Софичка от чачи отказалась, она ее и так никогда не пила, а сейчас в чужом доме ей и подавно было стыдно ее пить.

Совсем юная девушка, как она догадывалась, сестра Алеши, отвела ее в горницу, где в маленьком очаге пылал огонь. Внеся туда мокрый чемодан Софички, она предложила ей переодеться. Но Софичка сняла только мокрые чулки и туфли,

поставила их сушить у огня, а девушка принесла полотенце и стала протирать вместе с Софичкой ее волосы и лицо. Потом Софичка сидела у огня, расчесывала волосы и слушала, как в соседней комнате, где тоже горел очаг, переговаривались и переодевались Алеша и Роуф.

— Я тебя тоже заставлю промокнуть до костей, когда жежнюсь, — сказал Алеша.

— Я буду град глотать, когда ты женишься, — отвечал ему Роуф, и они оба расхохотались.

Потом Софичка слышала, как они раздеваются и обтираются полотенцами. Роуф, одеваясь в одежду Алеши, пожаловался, что ему брюки коротковаты. Алеша, смеясь, предложил ему носить брюки ниже поясницы, как теперь их носят городские парни. Софичка, нежно улыбаясь, слушала обрывки их разговора и, наклонившись к огню, сушила свои мокрые блестящие волосы.

Поздно ночью было устроено сравнительно небольшое застолье с десятком ближайших соседей и было выпито много вина за здоровье молодых, за их будущих детей, за их близких и дальних родственников.

Наконец гости разошлись. Софичке и Роуфу предоставили отдельную комнату, и Софичка под шум несмолкающего дождя, утомленная длинной дорогой и сбывшимся счастьем, уснула в объятиях Роуфа.

Через пять дней в доме Алеши появился дядя Сандро со своим зятем Багратом. Их вышли встречать Алеша и его отец. Они помогли им спешиться и ввели их в дом.

Приезд дяди Сандро был связан с выполнением древних абхазских обычаев. Надо было выяснить, добровольно ли Софичка сбежала из дому или была взята насильно, хотя, конечно, отсутствие чемодана ясно говорило о ее добровольном умыкании. Но все-таки надо было договориться обеим сторонам. Раньше в таких случаях платили выкуп пострадавшей, то есть потерявшей девушку, стороне. Но теперь это превратилось в некую почетную формальность.

Выяснив, что Софичка вполне добровольно вышла замуж и никак не хочет возвращаться домой, дядя Сандро, уже сидя за праздничным столом, пошутил, кивая на своего зятя и Роуфа:

— Нам на полутурок везет... А этот мало что полутурок, да еще полукоршуноед.

Все рассмеялись, а Роуф ответил ему на шутку, хотя особенно разговаривать ему в присутствии родственников жены пока было не положено.

— Почему полукоршуноед, — сказал он с улыбкой, — когда я полный коршуноед?

— Тем более, — ответил дядя Сандро и, подняв стакан, провозгласил тост за хозяина дома.

Выпив по пятнадцать стаканов вина (слишком напиваться было неприлично), они договорились обо всем и уехали. По принятым обычаям у Софички спросили, кого бы она хотела видеть в качестве сопровождающих ее людей с родительской стороны, когда она поедет в дом своего мужа, где будет справляться свадьба. Софичка сказала, что она хотела бы,

чтобы с ней поехали Тали, ее муж Баграт, тетя Маша и одна из ее великанских дочерей — Маяна. На том и порешили.

Через неделю в ясный, солнечный день веселая кавалькада, состоящая из двух мужчин и четырех женщин, выехала из села Бзоу и направилась в Чегем. Недалеко от Чегема дорога очень круто спускалась вниз, и Роуф сам спешился и предложил всем слезть с лошадей во избежание несчастного случая.

Все спешились, и только Софичка заупрямилась и сказала, что она спустится верхом. Этими своими словами она ставила всех, особенно мужчин, в несколько щекотливое положение. Удивляясь ее странному упрямству, Роуф посмотрел на нее, и его взгляд встретился со взглядом ее сильно и мягко сияющих глаз, и он понял, что это не каприз, а что-то другое.

— Я понимаю Софичку! — воскликнула Тали. И в самом деле она поняла ее состояние. А состояние это было безотчетным ощущением счастья и благодарности всем, кто ехал с ней, и, конечно, первым делом Роуфу. Ей ужасно захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы всем понравиться, чтобы всем захотелось сказать: «Да, да, она имеет право быть счастливой».

Лошади медленно спускались, осаживаясь на задние ноги, и Роуф, держа свою лошадь под уздцы, старался идти поближе к Софичке, чтобы в случае чего удержать ее лошадь за гриву или схватить падающую наездницу. А Софичка сидела в седле, склонившись вперед и изо всех сил упираясь в переднюю луку, и этот головокружительный спуск ее, обычно трусиху, нисколько не пугал, так были велики ее счастье и любовь к мужу.



Все благополучно спустились на окраину Чегема. Все сели снова на своих лошадей, а Роуф ввиду близости дома распрощался с друзьями и кружным путем поехал к одному из соседей.

Дело в том, что по абхазским обычаям жених не может быть в доме, пока там идет свадьба. Трудно объяснить, чем вызван этот обычай. Можно предполагать, что он выражает мистическое целомудрие перед предстоящей брачной ночью. Обычай этот, отделяющий жениха от невесты, как бы очищает воображение гостей от чувственных картин, вызванных чересчур натуралистической близостью жениха к своей невесте.

Хотя было уже темно, но метров за двести от дома Роуфа их заметили и дали знать в дом об их приближении. Несколько молодых людей вскочили на коней и поскакали в их сторону, джигитуюя и стреляя в воздух из ружей и пистолетов. Неожиданно Баграт, муж Тали, выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в воздух, чем до смерти напугал Софичку, которая, по-видимому, весь запас своей храбрости растратила на этот головокружительный спуск.

Вместе со всей кавалькадой, замирая от волнения, Софичка въехала во двор, где у кухни стояли старейшины этой части села, и среди них она увидела отца Роуфа, старого Хасана, и его мать. Две женщины, стоя рядом с ними, держали по керосиновому фонарю.

По двору сновали люди. Справа весь большой двор был перекрыт брезентовым навесом, под которым стояли столы и скамьи, наскоро сколоченные из досок.

Оттуда доносился разнотой голосов. Кругом стояли люди и смотрели на невесту. Кто-то взял лошадь Софички под уздцы, кто-то помог ей слезть с нее, она не замечала ничего.

Первым подошел к ней седовласый старик, старейшина всего соседства. Он поцеловал ее, благословил и как бы направил ее лицом к дому. После этого к ней подошел старый Хасан и тоже поцеловал ее, а после него к ней подошла мать Роуфа и, обняв ее, поцеловала в глаза.

Сейчас отовсюду на нее глядела толпа гостей, и Софичка, оцепенев от волнения, не знала, что делать, и главное, решительно не знала, куда деть руки, которые висели у нее вдоль тела, как совершенно лишние, тяжелые и смехотворные.

И вдруг Софичка заметила в толпе мальчугана, который принес ей весточку от Роуфа. Страшно обрадовавшись его знакомому лицу, огромным глазам ангелочка, сделавшего свое амурное дело, она вдруг забыла свои волнения и, расплывшись в улыбке, уставилась на него.

Но мальчик нахмурился, показывая неуместность ее улыбки и даже некоторую ее идиотичность, однако Софичка, ничего не понимая, продолжала ему улыбаться, и тогда мальчик, как бы для того, чтобы полностью отсечь это безобразие от себя, спрятался за спиной соседа.

Тут грянула свадебная песня, вокруг Софички затанцевали несколько молодых людей, и она, сопровождаемая свадебной песней, танцующими молодыми людьми, отцом и матерью Роуфа, пересекла двор и поднялась в дом. Одна из женщин, выделенная для этого ритуала, поджидала ее у порога и осыпала

ее голову серебряной мелочью. После этого она взошла на крыльцо под скрещенными кинжалами двух парней.

В одной из комнат, ярко освещенной керосиновой лампой, Софичку поставили у стены, накинули ей на голову белый шелковый платок, и теперь она считалась Введенной в Дом.

Стали входить гости, желающие взглянуть на невесту. Некоторые из них приносили подарки: ткань на платье, домотканый ковер, новое одеяло и тому подобное. Некоторые приносили просто деньги.

Гость, приподняв платок, взглядывал на невесту, потом, насмотревшись, выпивал стопку чачи, которую ему вместе с легкой закуской преподносила Тали или Маяна, стоявшие рядом. Гость выпивал за здоровье невесты и уходил во двор, где протискивался к своему месту за пиршественным столом.

Еще до прихода гостей одна из соседок ввела в комнату того самого мальчугана, который приносил ей весточку от Роуфа. Он сел за стол с тетрадкой и карандашом. Когда стали заходить гости с подарками, он, приняв важный писарский вид, стал вписывать их фамилии в тетрадь и отмечать, кто какой подарок принес. У некоторых гостей он бесцеремонно переспрашивал фамилии и имена, и те безропотно ему подчинялись, боясь, что их приношения могут остаться безымянными.

Софичке стало ужасно смешно, что мальчик, подражая каким-то конторским работникам, важничает, склонившись над своей тетрадкой. Мальчик, заметив, что она ему улыбается сквозь шелковую накидку, сделал вид, что ничего такого не

заметил и замечать не собирается, и, нахмурившись, как бы строго сосредоточился на проверке своих записей.

А между тем внизу, во дворе, под брезентовым навесом, началось свадебное пиршество. Оно началось с того, что старый Хасан, держа в одной руке заостренную палку с надетыми на нее сердцем и печенью жертвенного быка, а в другой — стакан вина, произнес языческую молитву в честь покровителя домашнего очага, прося одарить молодых здоровьем, чадородием и миром.

Вслед за ним все опорожнили свои стаканы за здоровье молодых, выбрали тамаду, и свадебное пиршество заработало разрывающими мясо зубами, жующими челюстями, чмокающими языками и влаголюбивыми глотками.

А Софичка всю ночь стояла в своей комнате, куда время от времени приходили гости взглянуть на нее, поздравить, выпить стопку чачи и снова влиться в свадебное пиршество.

Несколько раз Софичку отправляли в другую комнату отдохнуть. Лежа на кровати, она дремала и сквозь дрему слышала звуки песен, хлопанье ладоней во время танцев, вскрики застольцев и покрывающий все звуки громкий голос тамады. Через некоторое время ее снова поднимали, ибо застольцы, подчиняясь таинственным воздействиям винных паров, то забывали о невесте, то проникались неостановимой жадой увидеть ее лицо, приподняв край шелковой накидки.

Поздним утром пиршество иссякло. Днем Софичка отдыхала, а на следующую ночь пиршество возобновилось. Но теперь Софичка спала в закрытой комнате вместе со своим му-

жем, который тайно через заднюю дверь дома пробрался к ней. По старинным обычаям гости, как бы проникшись идеей защиты целомудрия невесты, имели в таких случаях право перехватывать жениха, полушутя (но достаточно надоедливо) мешать его попыткам соединиться с невестой.

Хорошо жилось Софичке в доме Роуфа. И старый Хасан, и его жена Хамсада, и брат Роуфа Шамиль, и его жена Камачич, и двое их детей — все любили Софичку. И как можно ее не полюбить, милостивую, мягкую, услужливую Софичку, целыми днями занятую в доме, на огороде, на приусадебном участке. Стоит ли говорить, что ее дар любви ко всем ближним разгорелся ровным, сильным пламенем в этом добром доме.

Роуф любил подшучивать над всеми, и нередко его шутки были обращены на Софичку. Софичке нравилась эта его черта, хотя она и не всегда понимала его шутки. Так в один из первых дней ее пребывания в доме мужа он попросил у нее:

— Не приготовишь ли ты нам коршуна?

— Давайте, — сказала Софичка, не ожидая подвоха и, главное, не видя в своих словах ничего смешного.

Но все почему-то дружно расхохотались, пояснив ей, что в этом году уже коршунов не будет, что придется ждать перелета до следующего сезона. Ну, ждать так ждать, что тут смешного? Но Роуф стал всем разъяснять, как она вздохнула, с какой печальной покорностью и даже обреченностью она дала согласие приготовить коршуна и сколько душевных сил ей стоило преодолеть родовую неприязнь к этой вкусной птице, свойст-

венную жителям западного Чегема. Хотя Софичке казалось, что она Роуфу ответила обычным голосом, она поверила ему и решила, что в самом деле выразила свое согласие обреченным голосом, да еще как бы зная, что коршунов уже нет.

Этой своей склонностью к шутке он напоминал ей дядю Кязыма и от этого казался ей еще роднее и любимее. Правда, надо сказать, что шутки дяди Кязыма обычно бывали жестче. Но все равно Софичка находила в Роуфе что-то общее с дядей Кязымом, и это ей нравилось, потому что она и дядю Кязыма очень любила. Ведь, в сущности, он ей заменил отца.

Около года Софичка и Роуф прожили в доме его отца. За это время Роуф и его брат Шамиль построили дом поблизости от дома тети Маши. Когда они с Роуфом переехали жить в свой дом, Софичка была рада, что она живет собственным домом да еще поблизости от своих. Она была рада бывать у тети Маши, в Большом Доме дедушки и у всех остальных. Но и дом старого Хасана она тоже не забывала и туда успевала приходиться время от времени.

За год замужества Софичка испытала только одно сильное потрясение. Возвращаясь с кувшином воды от родника, она поскользнулась и упала, и у нее был выкидыш. Софичка погоревала с неделю, а потом постепенно успокоилась. Она решила, что у них с Роуфом вся жизнь впереди и у нее еще будет много времени, чтобы завести детей. Если б она знала, что ей предстоит!

В то утро, позавтракав с мужем, Софичка отправилась на огород, а Роуф, взяв топор, поднялся в лес. Он собрался сру-

бить огромный бук, распилить его и пустить на доски. Он его давно выбрал в лесу, еще когда строили дом, отметил и собирался срубить, чтобы наделать досок для кукурузного амбара.

Был чистый, уже совсем весенний, февральский день. Нежным розовым цветом цвели персики и алыча, курчавая травка пушилась на дворе и на склоне горы под верхнечегемской дорогой.

Софичка вскапывала огород и сажала семена циммата, укропа, петрушки и кинзы. Вдруг Софичка случайно подняла голову и увидела на склоне горы, недалеко от дома Адгура, спускающегося вниз Роуфа. Сердце у нее неожиданно сжалось от боли. Она никак не могла понять, почему он так быстро возвращается домой.

И что-то странное было в его далекой походке. Он шел как-то слишком осторожно и даже вроде покачиваясь. И почему-то одну руку прижимал к шее. И вдруг у Софички мелькнула догадка: он пьян! Где же он мог выпить с утра? Ну конечно, в доме Адгура! Он проходил мимо его дома, когда собирался в лес, а у Адгура, видно, были гости, и он, увидев Роуфа, позвал его к себе! Ведь сам он болен и пить не может. Вот он и решил, что Роуф по-соседски поддержит стол. Пока она об этом думала, Роуф прошел склон и скрылся возле родника, где тропа поднималась к их дому.

Как только Роуф скрылся, какая-то черная тревога снова сжала сердце Софички. Яркий день потускнел, словно солнце зашло за тучу. Как-то странно он шел. Она вдруг поняла, что за какой-то час или полтора с тех пор, как он ушел из до-

му, он никак не мог так опьянеть. Такого за абхазским застольем никогда не бывает. И почему он все время рукой придерживал шею?

Опершись о лопату, Софичка, словно окаменев, стояла на огороде. Вот он появился у ворот, все так же придерживая шею и, словно в темноте, неверно ступая по тропе. И вдруг Софичка, как в страшном сне, заметила, что рука Роуфа, придерживающая шею, вся в крови.

— Что с тобой! — закричала она не своим голосом и побежала к нему.

Она распахнула ворота и обняла его.

— Что с тобой?! — повторила она в отчаянии, теперь заметив, что не только ладонь, но и все плечо, и рукав свитера залиты кровью.

— Ничего, — тихо сказал Роуф, продолжая придерживать шею, — не пугайся.

Лицо у него было бледно-серое. Почти теряя сознание от ужаса, она ввела его во двор. Он остановился посреди двора, покачиваясь и продолжая придерживать кровавой ладонью шею.

— Доведи меня до постели, — сказал он, и Софичка вдруг поняла, что он почти ничего не видит, хотя глаза у него открыты. Она почувствовала, что сознание мгновениями приходит к нему, а мгновениями уходит. Она схватила его под руку и повела к дому. Он так тяжело на нее опирался! Как только он дошел до дому!

Она хотела положить его на кровать, но он тяжело сел на нее и не захотел лечь.



— Я все перепачкаю, — сказал он, — помоги раздеться.

Он беспомощно, как ребенок, поднял руки, и она стянула с него тяжелый от крови свитер. Потом она ему помогла стянуть брюки и носки. Он лег. Вся шея его была залита кровью, и она увидела глубокую рану под правым ухом. Кровь продолжала оттуда капать, и он снова прикрыл рану ладонью.

— Как это ты? — вскрикнула Софичка.

— Потом, — сказал он, — перевяжи чем-нибудь.

Софичка залезла в шкаф и достала чистую простыню. Она начала ее разрезать ножницами, но поняла, что ножницы слишком медленно режут, и стала рвать простыню на длинные куски. Она принесла из кухни кувшин, плеснула из него на кусок простыни и стала ею протирать его окровавленную шею. Тут она убедилась, что много крови затекло под рубашку, стянула ее с него и снова, плеща водой на кусок чистой простыни, протерла, промыла все его тело.

Потом новым чистым куском простыни она перевязала ему шею. Во время перевязки он только тихо постанывал.

— Сейчас хорошо, — сказал он после перевязки, вытягиваясь на постели. Через минуту его стал колотить озноб.

— Как это ты? — спросила она.

Роуф рассказал ей, что случилось. Оказывается, когда он подошел в лесу к своему дереву, он увидел, что его рубит ее брат Нури. Он его уже наполовину перерубил. Роуф показал ему на зарубку, которую он оставил на дереве. На это Нури ему ответил, что ему рано делать зарубки на деревьях в их краю Чегема, пусть делает зарубки там, где живут коршуно-

еды. Слово за слово, и Нури, и оттого, что был по природе горяч, и оттого, что с самого начала невзлюбил Роуфа, и оттого, что он сейчас был не прав, пыхнул и швырнул в Роуфа топор. Топор пролетел мимо головы Роуфа, чиркнув лезвием его по шее. Вот все, что случилось.

Пока он рассказывал, повязка на его шее вся пропиталась кровью, и кровь стала капать на подушку. Софичка сняла с его шеи повязку, промыла рану и снова завязала ему шею новым куском простыни. Она перевернула под ним окровавленную подушку и, став на колени у его изголовья, стала гладить ему волосы. Он это любил.

— Вот так хорошо, — сказал Роуф и положил руку ей на плечо. В руке была мертвая тяжесть. Он лежал, закрыв глаза, слегка постанывая. Но озноб как будто унялся.

Софичка попыталась встать, чтобы крикнуть тетю Машу, но он слабым движением руки на ее плече дал знать, что хочет, чтобы она продолжала его гладить по голове. Он тихо постанывал, она продолжала его гладить по голове и вдруг, взглянув на повязку, обмерла: она была вся в крови. Она вскочила, сняла повязку, обтерла шею, где из маленькой ранки, как из маленького, но глубокого родника какая-то сила все выталкивала и выталкивала кровь. Она снова перевязала ему шею, принесла чистую подушку и, поддерживая его голову, вытащила из-под него окровавленную подушку и заменила ее свежей.

Софичка поняла, что надо кричать людей, что она одна не справится. Она выскочила на веранду и закричала тете Маше как ближайшей соседке:

— У нас несчастье! Роуф ранен! Передай дяде Кязыму, пусть сейчас же едет за доктором!

— Софичка, пить! — попросил Роуф, когда она вбежала в комнату.

Софичка побежала на кухню, налила в чайник кислого молока из кастрюли, вбежала в горницу и долила в кислое молоко воды из кувшина. Она знала, что вода с кислым молоком лучше утоляет жажду. Перелила из чайника эту смесь в стакан и подала ему. Он выпил целых три стакана.

Пока она его поила, она слышала голос тети Маши, кричащей в Большой Дом о постигшем Софичку несчастье. Повязка на шее неумолимо закрашивалась кровью.

Она присела рядом с ним на кровать и снова стала гладить ему голову. И вдруг, ужасаясь самой себе, подумала: он это так любил при жизни!

— Софичка, — сказал он очень тихо, но очень вразумительно, — сейчас сюда нагрянут люди, и я боюсь, что мы не успеем поговорить... Если со мной что случится...

— Роуф, что ты говоришь! — вскричала Софичка.

— Если со мной что случится, — упрямо повторил Роуф, — ты все равно люби меня...

— Что ты говоришь, Роуф! — закричала Софичка. — С тобой ничего не случится!

— Все равно люби меня, — жестко повторил Роуф, — даже если выйдешь замуж, все равно люби меня...

— Роуф, — сказала Софичка, изо всех сил глотая подступающие рыдания, — я никогда, никогда не выйду замуж...

Но ты не умрешь, не может быть, чтобы ты умер из-за такой ранки...

— Не знаю, — сказал Роуф, как бы успокоенный ее словами, — но я хочу, чтобы ты меня всегда любила... Дай напиться...

Софичка поднесла к его губам прохладительный напиток, и он жадно выпил два стакана. Потом он закрыл глаза и как будто забылся. Она гладила и гладила ему голову. Но повязка опять насквозь промокла кровью, и она опять ее сменила. Он продолжал находиться в забытии и вдруг ясно сказал:

— Пора пахать...

Он это сказал, не открывая глаз, и Софичка не могла понять, к чему он это сказал. Пахать и в самом деле было пора, но он это так сказал, как будто оттуда ему виднее и он это говорит остающимся здесь.

— Меня все ваши полюбили, — вдруг сказал он, открывая глаза, — только он один меня чего-то невзлюбил... Я был сильней... Может, поэтому...

— Я ему этого никогда в жизни не прощу, — сказала Софичка, — он мне не брат.

Роуф лежал с закрытыми глазами, изредка тихо постанывая.

— Не прощай, — вдруг сказал он внятно, открыв глаза, — но мстить не надо... Скажи брату: «Мстить не надо... Кровь — нехорошо...» Из меня вышло столько крови... Кровь — нехорошо...

— С тобой ничего не будет! — закричала Софичка. — Тебя вылечит доктор...

— Да, — согласился Роуф, — но ты меня всегда люби... Собаку не забывай кормить.

Прикрыв ладонью рот, Софичка беззвучно рыдала у его постели, когда в дом вбежали тетя Маша, тетя Нуца и дядя Кязым. Роуф уже не приходил в себя. Иногда он в бреду говорил какие-то слова, но разобрать их было невозможно. Дядя Кязым поехал за доктором в Анастасовку.

Роуф еще дышал редкими, глубокими вздохами, когда во дворе раздался вой собаки. Все поняли, что это конец. Собаку прогнали со двора, она убежала вниз к роднику, и оттуда время от времени раздавался ее пронзительный вой. Роуф умер за час до приезда дяди Кязыма и доктора. Доктор сказал, что все равно уже ничего нельзя было сделать — он потерял слишком много крови.

Черное отчаяние сдавило душу Софички. Она ничего не видела, ничего не понимала, не могла плакать. Покойника вымыли, переодели, положили в гроб. Трое суток приходили люди прощаться, их встречали, сажали за поминальные столы, но Софичка ничего не понимала. И только на третьи сутки она затряслась в беззвучном плаче, когда во двор, громко рыдая, вошел Алеша. Она вспомнила с такой яркостью и резкостью тот вечер, тот ливень, ту ночь на лошадях, она вспомнила, как Роуф накидывал на нее бурку, как его пальцы завязывали тесемки на ее шее, и, словно только сейчас поняв, что его больше не будет, затряслась, зашлась в самом страшном беззвучном плаче.

А между тем в траурной толпе гостей уже перешептывались о том, что брат Роуфа Шамиль не пришел попрощаться

с мертвым братом. Это было верным признаком того, что он готовится к кровной мести. По древним законам кровной мести брат не может оплакивать смерть брата, не отомстив за его смерть.

На следующий день после похорон дядя Кязым пришел к Софичке. Тетя Маша оставалась с Софичкой ночевать.

— Софичка, — сказал дядя Кязым, усаживаясь у огня и свертывая сигарку, — ты должна сделать одно дело.

— Что? — спросила Софичка, глядя на него окаменевшими от горя глазами.

— Софичка, — повторил он, — ты должна попытаться остановить кровную месть... Если Шамиль решится убить Нури, наши тоже на этом не остановятся... Слишком много крови прольется... Попробуй с ним поговорить... Мы накажем сами этого дурака...

— Как вы его накажете? — спросила Софичка. Дядя Кязым склонился к очагу, достал дымящуюся головешку, прикурил и снова бросил ее в очаг.

— Мы его выгоним из Чегема, чтобы он до конца своих дней здесь не бывал и нигде никогда не встречался с людьми нашего рода.

— Хорошо, — согласилась Софичка, — я передам им об этом. Но передайте Нури, что он мне больше не брат, что я до конца своих дней не прошу ему это убийство и видеть его не хочу ни на этом, ни на том свете.

— Передам, — твердо ответил дядя Кязым и затянулся сигаркой.

— Мой муж тоже не хотел крови, — сказала Софичка, задумавшись, — он мне об этом сказал перед смертью...

— Не ты его одна потеряла, Софичка, — сказал дядя Кязым, — мы все его успели полюбить...

— Да, — согласилась Софичка, — он и об этом сказал перед смертью... Все, кроме Нури...

— Не будем о нем вспоминать, — сказал дядя Кязым, — пусть узнает, что значит проклятие рода, пусть живет всю жизнь с чужими людьми... А ты иди и поговори.

— Хорошо, я пойду, — согласилась Софичка, глядя на огонь очага.

Дядя Кязым ушел, и Софичка собралась в дорогу. Необходимость что-то делать оживила ее умертвленную горем душу.

— Еще раз попробуй накормить собаку, — сказала Софичка тете Маше, уходя из дому.

— Не беспокойся, я постараюсь, — ответила тетя Маша.

Четвертый день после смерти Роуфа его собака ничего не ела. В первый день она выла, а потом, смущенная обилием людей, которые приходили проститься с покойником, она перестала выть и лежала под домом. Несколько раз ее пытались кормить, но она не принимала еду. Софичка сама сегодня утром пыталась ее накормить, но она даже не понюхала брошенную ей мамалыгу, а только виновато посмотрела на Софичку, вяло вильнула хвостом.

В черном платье, в черной жакетке, Софичка шла по верхнегемской дороге и думала о предстоящем разговоре в доме

старого Хасана. Ее назойливо преследовали слова старинной абхазской песни:

*За убитого поутру  
Отомстивший до полудня...*

Она сейчас ненавидела своего брата, но все-таки смерти его не желала. Вид крови и смерти любимого мужа внушил ей такой живой ужас, что она боялась, что все это может повториться.

Она понимала, что значит говорить об этом с его родным братом, уже поклявшимся отомстить за кровь брата. Но она знала, что совесть ее чиста, потому что ее любимый муж не хотел крови, и она понимала, что род ее сейчас ждет ее помощи, чтобы остановить кровь. Потому что, если Шамиль убьет Нури, кто-нибудь из ее двоюродных братьев постарается убить Шамиля и так пойдет. Только сейчас можно остановить кровь. И в странном несоответствии с тем, что она хотела, в голове ее звучало гордой траурной музыкой:

*За убитого поутру  
Отомстивший до полудня...*

Она подошла к дому старого Хасана. «Если б мы продолжали здесь жить, ничего бы не случилось, — подумала Софичка, — это я просила перебраться поближе к нашим». Над кухонной крышей стоял дым, и Софичка прошла прямо в кухню.



Она открыла дверь и увидела старого Хасана, сидевшего у огня, держась руками за голову. На той же скамье, скрестив руки на груди, сидела его жена Хамсада. Жена Шамиля, наклонившись над котлом, висевшим на огне, готовила мамалыгу, а сам Шамиль полулежал на кушетке.

Старуха, увидев ее, пошла ей навстречу, и они, обнявшись, заплакали. А старый Хасан сказал:

— Софичка, не забывай нас. Приходи к нам, как к себе домой...

— Зачем мы ушли отсюда? — промолвила Софичка и снова беззвучно зарыдала.

— Это судьба, — сказал старый Хасан, — а от судьбы не уйдешь.

Софичку посадили у огня, и она рассказала все, что ей передал дядя Кязым. Ее выслушали молча.

— Брат твой тоже не хотел крови, — сказала Софичка, повернувшись к Шамилю, — он мне об этом сказал перед смертью.

— Но твой брат пролил его кровь, — жестко поправил ее Шамиль.

— Я дала слово своему покойному мужу до смерти не прощать ему эту смерть, — сказала Софичка, — нет у меня брата. Он умер раньше моего мужа.

— Вот и я ему говорю: оставь! — добавил старый Хасан. — Ты свою мать убьешь, а не Нури. Ведь если ты его убьешь, они тебя тоже убьют...

— Пусть, — глухо вымолвил Шамиль, — я выполню свой долг, а там будь что будет.

— Мать свою пожалей, — терпеливо напомнил старый Хасан, — о себе я не говорю. Кроме тебя, у нас теперь нет детей...

— Кровь брата не даст мне жить, — сказал Шамиль, — и как я на людей буду смотреть?

— Люди тебе ничего не скажут, — снова обратился к сыну старый Хасан, — сейчас другое время. И учти, брат твой перед смертью об этом просил. Софичка не соврет.

— И этот подлец, швыряющий в человека топор, как в бешеную собаку, будет жить?! — воскликнул Шамиль, но Софичка почему-то поняла, что здесь вершина его гнева и он выше не поднимется.

— Он проклят нашим родом, — сказала Софичка, — а я до смерти ему этого не прощу.

Шамиль слушал, нахмутив брови.

— И твой брат не хотел крови, — напомнил старый Хасан, — Софичка этого придумать не могла.

— Он сказал: «Передай брату — мстить не надо», — сказала Софичка, — он сказал: «Кровь — это нехорошо».

— Ладно, — мрачно согласился Шамиль, — я не пролью его кровь, раз мой брат этого не хотел. Пусть твой брат убирается из нашего села и никогда не попадаете мне на глаза, потому что я тогда не отвечаю за себя. Так и передай им, Софичка. Я иду на это ради тебя, ради своего брата. Я знаю, как вы друг друга любили.

— Я буду до конца жизни своей любить его, — сказала Софичка.

— Нам всем больше ничего не остается, — добавил старый Хасан.

С этим Софичка и ушла. Она чувствовала, что это посещение было нужно не только ее родне, но и всей семье старого Хасана. Отец и мать, потеряв одного сына, сейчас больше всего боялись в результате кровной резни потерять и второго. Она чувствовала, что сделала угодное Богу дело и выполнила предсмертное желание мужа. Брату она никогда, никогда не простит, но смерти его она не хотела. Да, не хотела.

Софичка вернулась домой и рассказала обо всем тете Маше. Тетя Маша встала, чтобы пойти в Большой Дом и передать им слова Софички.

— Пыталась кормить вашу собаку, — сказала она, уходя, — не кушает ничего.

Софичка взяла чугунок с молоком, вышла во двор и вылила часть молока в долбленое корытце, стоявшее недалеко от крыльца. Она подумала, что, может, собака захочет полакать молоко. Собака лежала под домом и следила за ней. Когда Софичка возвращалась на кухню, их взгляды встретились, и собака виновато опустила голову.

Софичка вошла в кухню и тяжело опустилась на кушетку. Теперь, когда она выполнила свой долг и спасла обе стороны от смертоубийства, на нее снова навалилось отчаяние. Будь она более замкнута на себе, почувствуй она, что жизнь ее целиком и полностью принадлежит ей, она бы пришла к мысли покончить с этой жизнью. Но она никогда не ощущала и не

могла ощущать свою жизнь как нечто, принадлежащее только ей, и потому даже сейчас, когда погиб тот, кому она и ее жизнь больше всего принадлежали и кого она любила больше своей жизни, она все равно об этом не думала, потому что то, что осталось от ее жизни, все равно не принадлежало ей одной, а принадлежало и дедушке, и дяде Кязыму, и старому Хасану, и всем близким. И поэтому, несмотря на ощущение полной пустоты и бессмысленности жизни, мысль о самоубийстве не приходила ей в голову.

Она долго так сидела, уронив руки на колени, и обрывки жизни с Роуфом мелькали у нее в голове, сопровождаемые пронзительной печалью, как это бывает во сне, когда мы видим близкого человека, полного радости жизни, и в то же время знаем, что он умер, что его уже нет.

Софичка приподняла голову, и случайно взгляд ее упал на окно. Она увидела, что собака Роуфа подошла к корытцу и, как бы преодолевая равнодушие, неохотно хлебала молоко. Похлебав его с минуту, она угрюмо поплелась под дом, как бы говоря своей походкой: если уж тебе так хочется, чтобы я жила, я буду жить.

И Софичка встала, взяла кувшин и пошла на родник за водой. Она принесла несколько кувшинов воды и перелила их в ведра. Она принялась мыть в доме полы, затоптанные многочисленными людьми, приходившими прощаться с ее мужем. Потом она достала из кладовки кукурузные початки и, сев у огня, стала вылушивать прямо в подол. Налущив дюжину початков, она вышла во двор и, придерживая подол,

стала сзывать кур. Оголодавшие куры мигом слетелись к ее ногам. Разбросав зерна и отряхнув подол, она вернулась на кухню и поставила к огню чугунок с фасолью.

Вечером она пустила во двор корову и впервые за эти дни сама подоила ее. Все это время корову доила тетя Маша. Как обычно, она сначала пустила под корову теленка и, дав ему немного пососать от каждого сосца, принялась доить сама, время от времени отгоняя теленка хворостиной.

Подоив корову, она вернулась на кухню, перелила молоко сквозь цедилку в чугунный котел и поставила его на огонь. Потом она достала из банки ложку сычужного раствора и влила его в молоко. Вымыв тщательно руки и вытерев их полотенцем, она засучила рукава и окунула руки в молоко. Из молока стали выплывать маленькие кусочки сыра, она стала собирать их и лепить из них большой ком сочащегося свежего сыра. Она переложила его в большую тарелку, придав ему обычную, округлую форму сулугуни.

Потом она посолила и наперчила фасоль, поставила на огонь заварку мамалыги, сварила ее, и, когда мамалыжной лопаткой по привычке переложила две порции в тарелки, она снова все вспомнила и беззвучно заплакала. Беззвучно плача, она поужинала фасолевым соусом и кислым молоком. Убрала остатки ужина в шкаф.

Продолжая беззвучно плакать, она вышла во двор и кинула собаке кусок мамалыги. Собака привстала и неохотно съела мамалыгу. Софичка отогнала от коровы теленка и перегнала корову за ворота на скотный двор.

Софичка вернулась в дом, достала фотокарточку Роуфа, которую он когда-то прислал из армии, и, придя с ней на кухню, села у очага и стала ее рассматривать. Это была единственная фотокарточка, которая от него осталась. Здесь он был снят с неведомым другом, русским красноармейцем. И хотя вид у него на этой фотокарточке был довольно бравый, сейчас Софичке он казался чересчур грустным. Казалось, здесь, на этой давней фотографии, присланной из армии, он уже знает о своем печальном конце. Она собиралась поехать в город и сделать из этой фотографии большую, но такую, чтобы он на ней улыбался. Ведь он так любил смеяться, подшучивать, и ему так шла улыбка, и она хотела, чтобы он на фотографии навсегда остался улыбающимся.

За этим занятием ее застала тетя Маша. Она была в Большом Доме, где собрались родственники и приняли решение об изгнании Нури из села и родственного окружения. Он признал себя во всем виноватым и завтра рано утром уедет в город Мухус, где будет отныне жить и устраиваться на работу. Такова воля рода, выраженная дедом Хабугом и поддержанная всеми родственниками. Чунку, двоюродного брата Софички, едва удержали. Он пытался убить Нури, но старый Хабуг запер его в чулане.

— Пусть скажет спасибо, что удержала Шамиля от крови! — сказала Софичка, довольная быстрым и бескровным наказанием брата.

— Он хочет перед отъездом попросить у тебя прощения и попрощаться с тобой, — добавила тетя Маша.

— Он сошел с ума! — воскликнула Софичка. — Ни на этом, ни на том свете не будет ему от меня прощения! Пусть скажет спасибо, что закону не пожаловалась. Его упекли бы в Сибирь.

— Ну зачем же в наши родственные дела мешать закон? — сказала тетя Маша.

— То-то же, — отвечала Софичка, — пусть навсегда сгинет с наших глаз, убийца!

— Все же родная кровь, — вставила тетя Маша, — и он тебя так любит.

— Я ему своего мужа никогда не прощу, — сказала Софичка, вглядываясь в карточку, словно ища у Роуфа одобрения своим словам.

— А ну, покажи, — сказала тетя Маша и взяла в руки карточку. — А это кто с ним, что-то я его не узнаю? — удивилась тетя Маша.

— А это русский, — пояснила Софичка, — они вместе служили. Я хочу завтра поехать в город и переснять эту карточку. Хочу, чтобы сделали большую и чтобы он улыбался, а то здесь он очень суров. А ведь при жизни он так любил посмеяться, пошутить.

— В городе сделают, — уверенно сказала тетя Маша, — как закажешь, так и сделают. Им только плати деньги.

— Вот я и поеду завтра, — сказала Софичка и, привстав, осторожно поставила карточку на карниз очага.

— Так мне оставаться или идти к себе?

— Иди, иди, тетя Маша, — отвечала Софичка, — я одна не боюсь.

— А там, если захочешь, пришлю кого из моих девок, — сказала тетя Маша, вставая, — ты только скажи, я пришлю любую.

— Хорошо, тетя Маша, — сказала Софичка, провожая ее до веранды.

— А что собака, — спросила тетя Маша, осторожно ступая по ступенькам крыльца, — стала есть?

— Да, — ответила Софичка, — сегодня немного поела.

— Надо же, — уже из темноты сказала тетя Маша, — собака, а горе чувствует, как человек.

— А его все любили! — горячо начала Софичка, но тетя Маша исчезла в темноте, и Софичка замолкла.

На следующее утро Софичка встала, умылась, подоила корову, выгнала ее со двора, накормила кур и приготовила себе завтрак. Она съела вчерашнюю порцию мамалыги, которую по привычке предназначила Роуфу. Она съела ее с фасолевым соусом и свежим сыром, обмазанным аджикой. Остатки мамалыги она вынесла собаке. Собака лежала перед домом. Софичка бросила ей мамалыги, собака встала, понюхала ее и, как бы преодолевая отвращение, съела. И Софичка почувствовала стыд за свой аппетит.

Софичка надела жакет поверх траурного платья, надела на ноги свои уже хорошо разношенные красные туфли, взяла денег и взяла фотокарточку, стоявшую на карнизе очага.

Она сначала хотела вырезать изображение мужа на фотографии, чтобы фотограф по ошибке не переснял его товари-



ща. Но потом пожалела фотокарточку и не захотела отделять Роуфа от его армейского друга и очертила карандашом изображение Роуфа, чтобы фотограф не ошибся. Деньги и фотокарточку она положила во внутренний карман жакетки и вышла из дому.

День был солнечный, ясный. Софичка быстро, за какие-нибудь полтора часа, спустилась в местечко Наа, переправилась на пароме через Кодор, дождалась рейсовой машины и приехала в Мухус.

Еще когда она дожидалась машину в Анастасовке, к ней подошел какой-то парень и спросил по-русски:

— Ты из Чегема?

— Да.

— Ты не жена погибшего Роуфа?

— Да, — сказала Софичка, — ты его знал?

— Три года назад мы вместе в скачках участвовали. Какой был парень! Я его, как брата, полюбил.

— А его все любили, — светло ответила Софичка, — все на свете.

— Да, — скорбно согласился парень и, показывая, что он об этом деле знает гораздо больше, чем может показаться, добавил: — А брата милиция забрала?

— Нет, — сказала Софичка, — зачем нам жаловаться закону. Мы его изгнали из нашего рода. Он теперь мертвей мертвого. Мертвого хоть близкие оплачут.

— Ты смотри, как получилось, — вздохнул парень, — я только вчера узнал, а то поднялся бы оплакать его.

— Да, — невольно похвасталась Софичка, — из многих сел приехали. Из Мухуса, из Кенгурска. Даже начальник кенгурского военкомата был.

— А ты сама в Мухус едешь?

— Да, — сказала Софичка и достала фотокарточку, — хочу большую сделать, чтобы он смеялся, а то здесь он скучноватый. А он так любил посмеяться.

— Но разве они могут сделать, чтобы он смеялся? — усомнился парень, взглянув на фотокарточку.

— Конечно, — уверенно сказала Софичка, — они любую могут сделать. Дяде Сандро сделали фотокарточку, как будто он на коне и с шашкой мчится в бой. А в это время его конь пасся себе в котловине Сабида. И конь получился в масть.

— Да, но... — усомнился парень, однако не стал уточнять свои сомнения.

Автобус привез ее в Мухус. Софичка шла по главной улице города. Грохотали грузовики, визжали легковые автомашины и цокали по асфальту лошади фэзтонщиков. Люди так и шныряли по тротуарам. Она подошла к стеклянной витрине фотоателье и посмотрела на выставленные там фотографии. Она не стала рассматривать там всяких девиц, женихов и невест, пузанчиков с мячами, а обратила внимание на большую фотографию величиной чуть ли не с газетный лист, изображающую усатое лицо важного старика. Вот такой величины фотографию Роуфа ей хотелось бы иметь.

Софичка открыла дверь и вошла в приемную фотоателье. В большой светлой комнате рядом с зеркалом стоял столик, и за ним сидела молодая девушка. На стенах висели фотографии разных размеров, и люди, изображенные на них, часто улыбались, а то и просто хохотали.

— Здравствуйте, — сказала Софичка и подошла к девушке за столиком. Та читала книжку.

— Здравствуйте, — ответила девушка, отрываясь от книги.

Софичка вытащила из кармана фотокарточку, положила ее на стол и ткнула пальцем в Роуфа.

— Я хочу, чтобы сделали его большую карточку, — сказала Софичка.

— Хорошо, — ответила девушка.

— Вот такую, — сказала Софичка и показала на фотографию смеющегося человека, висевшую на стене.

— Хорошо, — повторила девушка и приготовилась выписывать ей квитанцию.

— Но я хочу, чтобы он смеялся на ней, — уточнила Софичка.

Девушка снова взглянула на фотографию, лежащую на столе, и подняла на Софичку удивленный взгляд.

— Это невозможно, — сказала она, — мы можем сделать такую же, только большего размера.

— Нет, — ответила Софичка, — мне надо, чтобы он смеялся.

— Это невозможно, — ответила девушка, — мы такие не делаем.

— А кто делает такие?

— Никто, — сказала девушка и снова взялась за книгу.

Софичка почувствовала: от нее хотят отделаться. Им просто лень менять суровое лицо на улыбающееся, вот и выдумывают.

— Моего дядю фотографировали с шашкой на лошади, — настойчиво пояснила Софичка, — а в это время его лошадь паслась в котловине Сабиды. И лошадь в масть получилась, и шашка, которую он никогда в руках не держал.

— Это совсем другое, — сказала девушка, — вот вернется он из армии, пусть заходит, и мы ему сделаем улыбающуюся фотографию.

— Он уже давно вернулся из армии, он умер, — сказала Софичка таким обезоруживающим голосом, что девушке стало жалко ее. Теперь она обратила внимание на ее черное платье и выражение глаз загнанной козули.

— Кто он вам? — спросила девушка.

— Муж мой, — сказала Софичка.

— Я сейчас поговорю с фотографом, — неожиданно для себя вымолвила девушка, чтобы как-то смягчить отказ. Ей стало очень жалко эту молоденькую вдову.

— Ты ему скажи, что я за деньгами не постою, — попыталась ее воодушевить Софичка.

— Дело не в деньгах, — грустно сказала девушка и, взяв фотографию, ушла в другую комнату.

Через некоторое время она вышла оттуда с человеком в черном халате, и Софичка решила, что он фотограф умерших людей.

— Мы не можем вам помочь, — сказал он, кладя фотографию на стол, — чтобы на большой фотографии он улыбался, надо, чтобы улыбка была и на маленькой.

У Софички был такой убитый вид, что у него мелькнула и погасла авантюрная мысль подретушировать улыбку.

— Поймите, девушка, — сказал он, — такого вам никто нигде не сделает. Мы можем только увеличить.

— Видно, ему недолго было суждено смеяться, — сказала Софичка в глубокой задумчивости, — делайте тогда так, как есть.

Она так сильно опечалилась, что не заметила, как девушка выписала квитанцию, забрала у нее деньги, вернула сдачу и предупредила, чтобы она приезжала через десять дней.

Софичка поспешила на автостанцию. Она снова вспомнила бравую фотографию дяди Сандро на коне, поднятом на дыбы, и с шашкой в руке. И конь был точно в масть, хотя дядя Сандро не приводил его к фотографу, но, видно, хорошо им описал его. Видно, с живыми они могут делать все, что хотят, а с мертвыми не могут. Так решила Софичка, возвращаясь на автобусе в Анастасовку.

Она поднялась в Чегем и, проходя мимо Большого Дома, на скотном дворе увидела дядю Кязыма. Он ей сказал, что завтра будет сооружать могильную ограду. Колья и жерди уже вытесаны.

Софичка спустилась к себе домой, вошла на кухню, разожгла огонь и приготовила мамалыгу. Она поела, чувствуя, что сильно проголодалась в дороге. Вынесла остатки мамалыги собаке. Бросила под крыльцом. Собака медленно вышла из-под дома и опять, как бы давясь от отвращения, съела мамалыгу. Софичке снова стало совестно за свой аппетит. «Неужели собака любила его больше, чем я? — подумала она. — Нет, —

решила она, — собака не могла любить Роуфа больше меня, но собаку от горя ничего не отвлекает».

Потом она взяла лопату и поднялась в чашу над верхнечегемской дорогой. Она решила выкопать саженец лавровишни и посадить его над могилой мужа. Траурно-глянцевитые вечнозеленые листья лавровишни ей казались наиболее уместными. Он и встретился ей первый раз в жизни лицом к лицу с веткой лавровишни в руке.

Она нашла крепкий росток лавровишни и аккуратно, чтобы не повредить корней, откопала его. Она вернулась с ростком домой. Дома она прихватила кувшин и спустилась вниз, где в конце приусадебного участка, недалеко от родника, был по ее воле похоронен муж. На расстоянии примерно метра от могилы она вырыла лопатой ямку, посадила туда росток лавровишни и завалила корни землей. А потом, ладонями вминая землю вокруг ростка, закрепила его на месте.

После этого, отряхнув ладони, она постояла над могилой мужа и рассказала ему все, что приключилось за последние дни. Рассказала, что исполнен его наказ не проливать кровь, рассказала, что Нури навечно изгнан из рода, рассказала про неудачу с его портретом, рассказала, что собака наконец начала есть, про все рассказала.

Рассказывая, она тихо плакала над его могилой и впервые почувствовала, что слезы облегчают ей душу. Потом она нарвала папоротниковых стеблей, спустилась к роднику, набрала воды тыквенной кубышкой, стоящей на поверхности родника, положила на плечо папоротниковую прокладку, взгромоздила туда

кувшин с водой и пошла назад. Придерживая одной рукой кувшин, она одолела перелаз и оказалась на своем участке. Подойдя к могиле, она сняла с плеча кувшин, полила росток лавровишни, снова взгромоздила его на плечо и, подхватив лопату, поднялась к себе домой. И впервые после смерти мужа ей показалось, что кувшин стал намного легче, даже учитывая, что часть воды она употребила на полив ростка. Она подумала, что это его душа, витающая тут, помогает ей, потому что одобряет все, что она сделала.

Собака Роуфа — это был крупный пес по кличке Волк неизвестной Софичке породы — вскоре стала ходить на могилу своего хозяина и целыми сутками сидеть возле нее. Раз в день собака приходила домой поесть и снова уходила на могилу хозяина. Там иногда она взлаивала, гоняя ворон, ежей и зайца, забредшего полакомиться фасолью. Домашних кур, которые тоже там иногда паслись, она не трогала, но, если они слишком близко подходили к могиле, она, не вставая, грозным взрыком прогоняла их. Иногда она заливалась лаем, увидев мимоезжего всадника или редкого путника, подошедшего к роднику, чтобы выпить свежей воды.

Могила была у самой изгороди усадьбы, в десяти метрах от родника и тропы, проходящей мимо него, но за изгородь собака никогда не выпрыгивала.

Софичка слыхала о случаях безумной привязанности собак к своему хозяину, но видела такое впервые. Она жалела собаку, которая и в непогоду не отходила от могилы, но не могла себя заставить посадить ее на цепь, чтобы она остава-

лась дома. Она так любит его, и он так любил ее, думала она, что, может быть, ему приятно, что родная собака дежурит возле его могилы, как близкие дежурят возле постели больного.

И когда Софичка приходила разговаривать с мужем, она чувствовала, что ее одобряет не только душа Роуфа, но и его живая собака, сидящая рядом и слушающая ее. Иногда собака подвывала словам Софички, когда она, всплакивая, что-нибудь рассказывала мужу. И Софичка лишней раз убеждалась, что слова ее правильны и собака своим плачем подтверждает правильность ее слов.

Иногда, когда Софичка с наполненным кувшином, не подходя к могиле мужа, поднималась наверх, собака с грустным упреком смотрела ей вслед, словно хотела сказать: «Ну, иди, иди, раз уж у тебя времени нет подойти к могиле мужа».

Зимой Софичка выстлала папоротниковой соломой то место, где сидела собака, чтобы ей было теплее. Она продолжала там сидеть и когда выпал снег. По-прежнему раз в день она приходила домой, где Софичка ее кормила. Теперь Софичка кормила ее у горящего очага, чтобы дать собаке погреться. Собака съедала еду, но оставалась у очага не дольше того времени, которое требовалось на еду.

— Волк, Волк, посиди, — гладила его Софичка, но собака, виновато повиляв хвостом, уходила на могилу.

Однажды Софичка, накормив собаку, закрыла дверь в кухню, но собака, подойдя к двери, с таким скорбным упреком посмотрела на Софичку, что Софичка едва удержалась от слез и выпустила ее.



Среди зимы, видимо, от холода, собака заболела, у нее отнялись задние лапы, но она продолжала сидеть или лежать возле могилы хозяина. Раз в день, как всегда, она теперь приползала домой поесть, волоча по снегу свои задние лапы. По-ев, уползала обратно, оставляя за собой на снегу длинный след волочащихся лап.

Однажды собака не пришла есть, и Софичка стала спускаться к могиле мужа, поглядывая на две борозды в снегу, оставаемые волочащимися лапами собаки. Борозды делались все глубже и глубже. В пяти метрах от могилы мужа она обнаружила труп собаки, застывший в устремленной вперед позе. «Не доползла, бедняга», — подумала Софичка. «Вот так и я умру», — неожиданно пришло ей в голову, но никакой горечи от этой мысли она не испытала. Она закопала труп собаки поблизости от могилы мужа, но за изгородью усадьбы. Теперь их души вместе, подумала Софичка, теперь ему там будет не так скучно.

За год перед войной трижды сватали Софичку, приходили в Большой Дом, договаривались. Словно в тоскливом предчувствии кровавой бойни, из которой они не вернутся, словно обреченная плоть хотела в детях перебросить себя через собственную смерть, трое молодых людей искали ее руки. Но Софичка всем отказала. Она еще была по-девичьи хороша: небольшого роста, крепкая фигурка, темный, чистый взгляд родниковых глаз, бровастое миловидное лицо и редкая, но озаряющая все вокруг улыбка на пухлых губах. Она особенно была тем мила, что сама явно никогда не замечала своей ми-

ловидности и не думала о ней. И каждый, кто замечал ее привлекательность, думал, что именно ему надо в виде особого дара открыть ей тайну ее привлекательности.

Софичка подозревала, кстати, без всяких на то оснований, что этих сватающихся парней за большие деньги подговорил Нури, чтобы она в замужестве наконец простила ему его великий грех и он смог бы опять слиться со своим родом.

— С чего бы это я всем им приглянулась? — говаривала она по этому поводу на табачной плантации или в табачном сарае. — Это наш хитрец старается сбыть меня с рук... Думает: спроважу дурочку, и грех мне простят... Нет ему прощения вовеки.

Но вот грянула война. Цвет молодости Чегема забрали в армию. От Нури из города пришел человек в Большой Дом и сказал, что его призывают в армию, а там — фронт и, может быть, смерть. Он хотел бы попрощаться с родными.

Что делать? Семейный совет призадумался.

— Кто же знал, что такое обрушится на нас, — сказал старый Хабуг, — кто из парней нашей крови останется, кто погибнет — один Бог знает. Пусть приезжает попрощаться с родным домом.

Так и было решено на семейном совете. Софичка не возражала, она только сказала, что сама с братом встречаться не будет. После приезда поздно вечером, видимо, под влиянием выпитого, Нури умолил тетю Машу пойти за Софичкой. Но Софичка была непреклонна и не пошла в Большой Дом. На следующий день Нури уехал, так и не увидевшись с сестрой. Вскоре его взяли в армию.

Брат Роуфа Шамиль тоже был призван в армию. Дома у него оставались старые родители, жена и двое детей. Софичка любила родителей мужа, любила его брата Шамиля. Он был и по характеру да и по голосу очень похож на Роуфа. Поэтому она его любила и была благодарна ему, что он, не исполнив закон кровной мести, оставил ее брата в живых. Нет, Софичка никогда в жизни не собиралась прощать злодейство брата, но крови его она не хотела.

Софичка время от времени, примерно раз в неделю, приходила в дом родителей мужа и всегда приносила детям гостинцы: то яблоки-зимники, сохранившиеся у нее, то чурчхели, то копченое мясо. С начала войны с едой стало хуже, колхоз резко сократил выдачу денег и кукурузы на трудодни. Почти всем приходилось обходиться тем, что давал лес и приусадебный участок. Но Софичка была так трудолюбива, что даже в колхозе зарабатывала больше всех женщин.

Так же, примерно раз в неделю, она спускалась на могилу к мужу, где рассказывала ему иногда про себя, а иногда, переходя на негромкий голос, о последних деревенских новостях, о первых повестках, об убитых на фронте.

— Ну о нем-то, — спохватывалась она иногда в таких случаях, — ты и сам знаешь лучше меня. Небось душа летит в Чегем быстрее почты...

Разговаривая с мужем, она иногда пригибалась, чтобы очистить от сорняков стебли тюльпанов и гвоздик, посаженных ею на могиле. Иногда она приходила с мотыгой и выпалывала сорную траву.

Каждый раз, поговорив с мужем, она чувствовала, что он ее выслушал и теперь благодарен ей за то, что узнал, благодарен ей за то, что она не оставляет его сиротствовать в могиле, и благодарен ей за ее образ жизни. Она всей своей убагатворенной душой чувствовала эту благодарность, и походка ее делалась легче, и темные лучистые глаза струили освеженный свет. Даже кувшин, который она обычно в таких случаях оставляла на роднике, а потом, возвратившись, наполняла водой и тащила на себе, делался намного легче. И это ей служило самым прямым доказательством, что душа его не только одобряет ее образ жизни, но и помогает ей нести кувшин.

Через год война докатилась до Кавказа. Бои шли на перевале, и до деревни, особенно по ночам, доносился гул канонады. У крестьян отобрали лошадей и ослов, потому что армии не хватало средств перевозить боеприпасы и еду до перевала, где шли бои.

Чтобы одной не скучать дома, обычно Софичка брала к себе кого-нибудь из детей дяди Кязыма или тети Маши. В эту ночь у нее ночевала пятилетняя дочь дяди Кязыма.

Ночью Софичка проснулась. Ей показалось, что кто-то тихо стучит в дверь. Софичке стало страшно. Ночь была дождлива. Далеко-далеко с перевала доносилось погромыхивание канонады. Софичка уже было подумала, что этот стук ей примерещился, как вдруг снова его услышала. Кто-то тихо, но настойчиво стучал в дверь. Кто бы это мог быть? Лемец? Абрек? Грабитель?

Снова тихий, настойчивый, осторожный стук. Софичка, стараясь не разбудить маленькую Зину, тихо подошла к дверям с громко колотящимся сердцем.

— Кто? — полушепотом спросила она, задыхаясь от страха.

— Это я, Софичка, — раздался голос, оледенивший ее. Это был голос ее мужа.

— Ты? — удивилась Софичка и все-таки, преодолевая страх, открыла дверь.

В дверях — черный силуэт человека.

— Это я, Шамиль, — сказал он тихо, видимо, чувствуя замешательство Софички.

Ну да, вспомнила Софичка, у них всегда голоса были похожи.

— Какими судьбами? Входи, — шепнула Софичка, и радуясь его появлению, и чувствуя какую-то безотчетную тревогу.

— В доме кто-нибудь есть? — спросил он.

— Зиночка, — тихо сказала Софичка и напонила: — Младшая дочь дяди Кязыма.

— Пойдем на кухню, — понизив голос, сказал Шамиль.

— Идем, — шепнула Софичка и, вспомнив, что она в ночной рубашке, застыдилась: — Я сейчас.

Она быстро и тихо оделась и вернулась к нему. Они зашли на кухню. Софичка нащупала спички, лежавшие на карнизе очага, чиркнула, сняла стекло с керосиновой лампы, запалила фитиль, вставила стекло на место и обернулась к Шамилю.

Он стоял посреди кухни в мокрой солдатской шинели со страшно похуевшим, остроскулым лицом, заросшим давно

небритой бородой, с ввалившимися и сверкающими нехорошим блеском глазами. И больше всего ее поразили эти его одичавшие глаза, изменившие весь его облик. За спиной его блестел ствол автомата.

— Садись, — сказала Софичка, кивая на скамью у очага, — только шинельними.

Он поставил автомат к стене, снял шинель и повесил рядом. Сел на скамью и вдруг обернулся на свой автомат одичавшими глазами, словно примериваясь, как цапнуть его в случае надобности.

Софичка схватила головешку из очага, разгребла жар, спрятанный под золой, и раздула огонь. Потом она подвесила на огонь чугунок с мамалыжной заваркой, нанизала на вертел копченое мясо, отгребла часть жара из разгоревшегося костра и усеялась на низенькую скамейку, покручивая вертел над углями.

Шамиль, сидевший на скамье низко наклонившись над огнем, чтобы прогреть и подсушить мокрые плечи, не сводил глаз с мяса, поворачивающегося на вертеле и начинающего шипеть. Когда капли жира, стекающего с мяса, падали на жар, пыхнув голубоватым пламенем, он вздрагивал.

Поджарив мясо, Софичка подогрела фасолевый соус в котелке, сварила мамалыгу. Быстро поставила низенький столик перед огнем. Она наложила на него большую порцию дымящейся мамалыги, сдернула с вертела мясо на большую тарелку, плеснула фасолевый соус туда же и придвинула тарелку Шамилю. Он уже в нетерпении отщипывал от дымящейся мамалыжной порции.

— Два дня ничего не ел, — сказал он, шумным вдохом остужая во рту мамалыгу, — а горячего — две недели.

Поев, он рассказал ей свою историю. Месяц назад полк, в котором он служил, перебросили на перевал. Немцы выбивали их с занятых позиций минометным огнем. Сверху бомбили и поливали из пулеметов. Но страшнее бомб и минометного огня для наших бойцов оказался голод. Если с боеприпасами кое-как поспевали, то еду обычно привозили редко. Бойцы по нескольку дней голодали.

Они собирали ягоды. Некоторые приспособились охотиться за немецкими солдатами. Если удавалось солдата убить и подползти к нему, как правило, у него в сумке можно было найти пайку хлеба и кусок масла. Иные бойцы погибали, охотясь за немецкой пайкой хлеба. Каково было живым солдатам видеть, как их товарищ остался лежать на склоне горы за кусок хлеба!

Высота, на которой укрепились их рота, держалась дольше всех. Но немцы лезли и лезли. Два дня назад они накрыли их позиции таким густым минометным огнем, что все его товарищи погибли или были ранены. И он решил кончать с войной. Ночью он оставил высоту и за два дня лесами, горами, ущельями добрался до Чегема. Так как его родной дом расположен далеко от леса, он решил зайти к Софичке. Здесь лес рядом.

— Но ведь тебя власти арестуют, — сказала Софичка.

— Буду прятаться в лесу, — отвечал Шамиль, — лучше пусть убьют здесь, чем в этом чертовом пекле... Как дома? Дети здоровы?

— Все здоровы, — успокоила его Софичка, — я у них была позавчера...

— Пока буду прятаться в лесу, а там посмотрим, — сказал он задумчиво.

— Как знаешь, — заметила Софичка, — ты мужчина, тебе решать.

— Не боишься за себя? — спросил он.

— Нет, — просто сказала Софичка, — ты брат моего мужа, я должна тебе помогать.

— Спасибо, Софичка, — сказал Шамиль, — даст Бог, отплачу тебе за добро.

— Ты брат моего мужа, — повторила Софичка, — я буду делать для тебя все, что могу.

Шамиль решил поспать до рассвета, а там уйти. Софичка постелила ему на кухонной кушетке и вышла из кухни. Он разделся, поставил автомат у изголовья, лег и заснул как убитый.

Софичка вошла в кухню, взяла его солдатскую одежду и, сунув в огонь очага, сожгла. Шинель долго дымила и шипела. Не хотела гореть. Подкладывая дрова и подтаскивая кончиком вертела шинель к самому большому жару, она и ее сожгла дотла. Потом она выгребла из очага все пуговицы и, положив их на лопату, унесла в огород, где закопала в землю.

Вернувшись домой, Софичка достала одежду мужа: брюки, рубашку, носки, шапку, бурку. Враждебно и опасливо поглядывая на автомат, все это она положила на стул у изголовья спящего. Теперь, если бы его в лесу встретил случайно незнакомый человек, он, одетый в крестьянскую одежду, был бы



не так подозрителен. Софичка погасила лампу и вышла из кухни. На рассвете она разбудила Шамиля. Он оделся. Она накормила его и снарядила в дорогу.

Дала ему муку, копченое мясо, спички, соль, топор, кружку и чугунок. Где-нибудь в непроходимых чащобах он должен был устроить себе логово и жить там, время от времени посещая Софичку. По ночам, конечно. Они договорились, что в следующий раз он придет ровно через неделю.

Утром, когда она завтракала с маленькой Зиночкой, та спросила:

— Софичка, а кто это ночью приходил?

— Никто, — смутилась Софичка, — откуда ты взяла?

— Я слышала, — проурчала девочка, вгрызаясь острыми зубками в копченое мясо.

— Разве ты не спала? — спросила Софичка.

— Я спала, но я слышала, — ответила девочка.

— Ешь, ешь, — как можно спокойнее сказала Софичка, — тебе это все приснилось.

— Нет, Софичка, — заупрямилась девочка, — я знаю, когда приснилось, а когда нет.

Софичка промолчала. Она решила, что если с девочкой не спорить, она быстрее забудет о своих ночных видениях. После завтрака, прикрыв дверь кухни, она, взяв мотыгу и перекинув ее через плечо, пошла вместе с девочкой в Большой Дом.

— Мама, а к Софичке ночью кто-то приходил! — воскликнула девочка, когда они вошли в кухню. Сердце у Софички сжалось.

— Кто это, Софичка? — спросила Нуца, отворачивая от очага, где готовила мамалыгу, свое горбоносое лицо.

— Ей приснилось, — сказала Софичка, стараясь скрыть смущение, — ну, я пошла на работу.

— Я же знаю, не приснилось, — услышала она за собой голос Зиночки.

До полудня Софичка мотыжила кукурузу, не прислушиваясь к разговорам других женщин. Она все думала, что будет с Шамилем. Она не могла понять, сколько ему придется скрываться в лесу и что он будет делать, если война окончится.

В полдень женщины разошлись по домам. Софичка тоже пошла домой. Она вылила из кувшина остатки воды и пошла за свежей на родник. Оставив кувшин на камне у родника, она поднялась на могилу к мужу. Она рассказала ему, что ночью к ней приходил Шамиль.

— Его там совсем голодом заморили, — сказала она, оправдывая его бегство с фронта.

Она объяснила ему, что теперь Шамиль будет жить в лесу, время от времени по ночам приходя к ней за едой. Она перечислила все вещи мужа, которые передала Шамилю, и сказала, что будет заботиться о нем так, как положено ей, жене брата. Про то, что племянница что-то заподозрила, она не стала говорить, чтобы напрасно его не беспокоить.

Рассказав ему все, она облегченно вздохнула. Как всегда в таких случаях, на душе у нее посветлело, и она успокоилась. Это был знак оттуда, знак одобрения ее жизни.

Ублагодаренная этим знаком, она вернулась к роднику, поймала плавающую на поверхности родника кубышку с ручкой и, зачерпывая ею воду, наполнила кувшин. Вырвав и умяв несколько стеблей папоротника и положив этот ком на плечо, она легко приподняла кувшин и поставила его на папоротниковую подкладку. Она подумала: кувшин наполнен свежей водой, как она наполнена тихой радостью неслышимой похвалы мужа. Придя домой, она пообедала, все время чувствуя струение тихой радости, а затем, взяв мотыгу, снова пошла на работу.

Через неделю в условленную ночь Шамиль снова пришел к Софичке. Он принес огромный кусок мяса. Оказывается, он убил косулю. Софичка приготовила мамалыгу и накормила его. Ему захотелось вымыться. Софичка нагрела воду, поставила на кухне корыто, дала ему смену нижнего белья и вышла. Шамиль выкупался, сменил белье и оделся.

Он сел у горящего очага и закурил. Софичка стала стирать его грязное нижнее белье. Выстирав, простодушно развесила его на веревке, протянутой вдоль веранды.

Когда она вернулась на кухню, Шамиль ей рассказал, что построил себе шалаш в очень глухом месте, где никогда не бывают ни крестьяне, заготавливающие дрова, ни охотники, ни пастухи. В лесу, в одиночестве, ужасно долго идет время, и, если б не охота, он, наверное, умер бы с тоски.

Софичка глядела на него своими лучистыми глазами и снова дивилась пронзительному, волчьему блеску в его глазах. Раньше, до войны, его глаза не были такими.

На рассвете он покинул дом, взяв с собой мешочек муки и мешочек соли для копчения мяса косули. Они договорились, что он снова придет через неделю.

На следующее утро, подоив корову и отогнав ее за ворота, Софичка сварила мясо косули. Ей очень хотелось угостить нежным мясом косули детей тети Маши и дяди Кязыма. Она чувствовала, что это опасно, но она очень хотела угостить детей свежим мясом косули. В конце концов она придумала, что мясо ей принес тесть. Старик изредка хаживал на охоту.

Софичка переложила мясо в миску, прихватила мотыгу и вышла из дому. Проходя мимо дома тети Маши, она подозвала ее и дала ей часть мяса, сказав, что старый Хасан убил косулю. Поднялась в Большой Дом. Дети радостно набросились на свежее мясо. Софичка с удовольствием глядела, как они едят.

— Откуда ты взяла мясо косули? — удивилась Нуца.

— Отец мужа принес, — ответила Софичка, радуясь своей хитрости.

— Надо же, старик еще охотится, — сказала Нуца и тоже присела к детям и стала есть мясо косули.

Свежего мяса давно никто не ел. Ели копченое, пока оно было.

Софичка взяла мотыгу и отправилась в сторону кукурузного поля. По дороге ее нагнал бригадир. Это был пятидесятилетний мужчина, статный, красивый, но, по мнению Софички, у него были слишком сладкие для мужчины глаза. Она давно заметила, что он слишком часто поглядывает на

нее этими бархатистыми глазами, покрывающимися иногда пленкой похоти. Это был первый чегемский хам, но никто еще, и сам он, об этом не подозревал. Он так понял случившееся в стране: закон гор побежден законами долин. Значит, все, что считалось святынями, на самом деле не существует. Остается быть достаточно хитрым, чтобы делать то, что тебе выгодно.

— Софичка, — крикнул он, догоняя ее на тропе и близко заглядывая ей в глаза, — что это за мужик у тебя в доме появился?

— Какой мужик? — спросила Софичка и почувствовала, что у нее сердце остановилось.

— Сейчас проходил мимо твоего дома, — сказал бригадир, заглядывая ей в глаза на что-то хитро намекающими глазами, — видел, мужское белье висит у тебя на веранде.

— Это мужа белье, — не задумываясь, сказала Софичка.

— Вот уж не думал, что муж к тебе приходит из могилы, — сказал бригадир, нехорошо улыбаясь и наслаждаясь смущением Софички, — я тоже как-нибудь загляну к тебе в гости...

Он обогнал ее и пошел впереди, слегка потрясывая своим статным телом. Софичка с ужасом смотрела ему вслед. Она предчувствовала, что он теперь ее так не оставит. О его злозлости, так в Чегеме называли похотливцев, ходили нехорошие слухи.

Бригадир прекрасно понимал, что Софичка не могла завести себе любовника. Тогда чье белье она сушит на веранде?

Он мгновенно решил, что это белье принадлежит Чунке. Он дезертир и, видимо, время от времени заходит к Софичке. Почему именно Чунка? Потому что он был самым лихим парнем Чегема и от него с самого начала войны не было писем. Может быть, сам дезертировал, может быть, сдался немцам и немцы его здесь высадили на парашюте. О таких случаях он слышал. Так или иначе, теперь Софичка в его руках, он будет ее пугать, и она наконец отдастся ему. На самом деле Чунка был убит в самом начале войны на белорусской границе. Но об этом близкие узнали гораздо позже.

Софичка вернулась домой, сняла с веревки белье, спрятала его в горницу и снова пошла на кукурузное поле. Она мотыжила кукурузу, глубоко задумавшись и не обращая внимания на шутки и разговоры других женщин, работавших рядом с ней. Она не знала, как быть. Теперь надо было придерживаться того, что сказала. Но может ли это выглядеть правдоподобным? Вот что она придумала. Муж, моясь в чулане, забросил за сундук свое грязное белье, и она теперь случайно его обнаружила.

Или сказать, что она завела любовника? Но кого? Один из бойцов рабочего батальона, работавшего недалеко от Чегема, иногда приходил ей помогать. Они голодали, эти бойцы рабочего батальона, заготовлявшие лес, и в свободное от работы время разбредались по Чегему, в сущности, прося подаяние.

Этот, который позже стал похаживать к ней, был азербайджанец.

— Дай Бог, пленный-военный, жив-здоров вернуться обратно домой! — напевал он перед домами их выселка, пока ему не дадут что-нибудь поесть. Нет, решила она наконец, и стыдно так сказать бригадиру, и не поверит он ей, слишком жалкий вид был у этого бойца рабочего батальона. Она решила придерживаться версии с сундуком.

Придя в следующий раз к ней домой, Шамиль попросил устроить ему встречу с женой. Софичка обещала. На следующий день она пошла к своему тестю и, дождавшись, когда дети выскочили из дому, сказала, что Шамиль бежал с перевала и прячется в лесу. К тому же теперь, став осторожнее, она напомнила о мясе косули, которое Шамиль ей принес, а она угостила этим мясом своих близких, сказав, что косулю убил старый Хасан. Старый Хасан понимающе кивнул головой.

Мать Шамиля и жена его обрадовались, что Шамиль жив и прячется в лесу. И только старый Хасан заунывился. Он был рад, что сын жив, но боялся, что все это плохо кончится. Договорились, что в назначенную ночь все они придут увидеться с Шамилем.

В тот же вечер кто-то широко и неожиданно распахнул дверь кухни, где Софичка сидела и ужинала.

— Принимаешь гостя? — раздался насмешливый голос бригадира.

Сердце у Софички екнуло.

— Заходи, — сказала она, вставая ему навстречу.

Бригадир подсел к огню, многозначительно поглядывая на Софичку. Софичка решила, что, если она его хорошо угос-

тит, может быть, он не станет к ней больше приставать. У нее еще были слишком крепкие представления о примиряющем воздействии хлеба-соли.

— Ужинать будешь? — спросила она.

— Ужинать не хочу, — ответил он, — но от рюмки не откажусь.

Софичка быстро вынесла из кладовки бутылку чаи, чурчхели на тарелке и, убрав с низкого столика остатки своего ужина, поставила перед ним тарелку, бутылку и рюмку. Напила ему, стараясь унять дрожь в руке, чтобы он не заметил, как она волнуется.

Бригадир поднял рюмку и с насмешливой важностью провозгласил тост за то, что теперь наступил конец одиночеству и вдовству такой молодой, цветущей женщины, как Софичка.

Он выпил, закусил, снова выпил. Смачно облизнулся, глядя на Софичку, и снова бросил в рот кусок чурчхелины. Софичка почувствовала, что он клонит в нехорошую сторону, но не знала, что сказать.

Бригадир сидел, слегка наклонившись к горячему очагу, и аппетитно жевал чурчхели. Софичка чувствовала отвращение к его красноватому лицу, озаренному огнем очага, к самому звуку, с которым он глотал разжеванную закуску, к его самоуверенно жующим челюстям и даже к самому его, угадываемому под одеждой сильному мужскому телу. И особенное отвращение она чувствовала к его городскому пиджаку и резиновым сапогам, тогда еще редким в Чегеме.



— Чунка пишет? — вдруг спросил он после третьей рюмки, глядя ей прямо в глаза.

У Софички трепетнула надежда, что теперь он к ней не будет приставать, раз спрашивает о Чунке.

— Нет, — сказала Софичка, тяжело вздыхая, — как только началась война, перестал писать...

Но ведь он и так знает об этом, вдруг с тревогой подумала Софичка.

— А чего ему писать, когда он сам здесь? — вдруг сказал бригадир.

Софичка опешила, до того голос бригадира был уверенным.

— Как так? — спросила она.

— Хватит притворяться, — сказал бригадир, — я знаю, Чунка дезертировал, и это его белье висело у тебя на веранде. Поладим — буду молчать. Не поладим — вас всех сошлют в Сибирь. Небось и в Большом Доме знают, что он прячется в лесу?

— Ты донесешь? — растерялась Софичка.

Хотя она боялась, что Шамяля кто-то увидит и это дойдет до властей, но она как-то не могла представить, что это произойдет путем прямого доноса.

Она никогда не слыхала, чтобы в Чегеме кто-нибудь на кого-нибудь донес. Одну семью подозревали в доносе, который их предок якобы совершил еще в царское время по поводу угнанной соседом лошади. Но донос этот так и не был никем доказан, а потомки сумрачно и покорно несли бремя нравств-

венной прокаженности. Бедная Софичка, если б она знала, что в Чегеме уже есть тайный осведомитель! Но это был не бригадир, а совсем другой человек.

— Конечно, — ответил он, улыбаясь ей, — если ты не будешь со мной доброй. Для кого ты бережешь себя? Для могилы?

Софичка задумалась, оставив без внимания конец его фразы.

— А дедушка, помнится, говорил, что доносчики только на той стороне Кодора. Оказывается, и у нас появился.

— Не говори глупости, — сказал бригадир, вставая и подходя к ней, — власть одна, что в долине, что в горах.

— Власть одна, — повторила Софичка, не выходя из глубокой задумчивости, — но люди разные в долинах и в горах.

— Не мели чепуху, — сказал бригадир и, воровато взглянув на тахту, облапил Софичку и поцеловал прямо в губы.

Тут Софичка очнулась и стала с силой вырываться, а он, разгоряченный ее сопротивлением, пытался подхватить ее, но она вырвалась и выбежала во двор.

— Я кричать буду, — задыхаясь, сказала Софичка, — если ты подойдешь ко мне!

Она пожалела, что нет собаки.

— Попробуй крикни, — сказал он ей, уверенный, что она на это не осмелится.

Но Софичка осмелилась.

— Эй, Маша! — закричала она.

— Это ты, Софичка? — тут же отозвалась Маша.

— Я, я! — закричала Софичка. — Пришли дочку, мне страшно одной ночевать!

— Сейчас пришло! — ответила Маша.

«Все-таки она не осмелилась сказать про меня», — подумал бригадир, сначала встревоженный ее криком, а теперь успокаиваясь.

— Ну ладно, — заключил он, — сегодня я уйду, но ты все равно будешь моя. Пожалуешься Кязуму или дедушке — всем твоим придет конец.

— Нет Чунки в лесу, клянусь Богом, — крикнула Софичка.

— Так кто же в лесу? — насмешливо спросил бригадир.

Софичка вдруг испугалась, что он теперь догадается, кто в лесу. Но он был уверен, что в лесу прячется Чунка. Зная о его лихости и боясь его, он добавил:

— Пожалуешься ему — будет хуже. Я уже сказал о нем доверенному человеку. Он умеет язык держать за зубами. Если Чунка со мной что-нибудь сделает, он тут же его выдаст. Лучше поладим по-хорошему.

С этими словами он открыл ворота и исчез в темноте.

— Никогда! — крикнула Софичка вслед ему в темноту.

Темнота не ответила. Но в лесу заплакал шакал, и сразу же его плач подхватили другие шакалы. Софичке стало тревожно, и она с нетерпением ждала Машу с дочкой.

В условленную ночь по одному, чтобы никто ничего не подозревал, пришли отец и мать Шамиля и его жена Камачич. Они принесли с собой хачапури, поджаренную индюшку

и бутылку чаи, хотя у Софички оставалось полдюжины бутылок этого напитка. Сама она никогда не пила, а гости у нее бывали очень редко.

Накрыли стол, сварили мамалыгу и приподняли котел на цепи, чтобы мамалыга была горячей, но не слишком сушилась.

Наконец явился Шамиль. Мать бросилась целовать и обнимать сына, а он неловко себя чувствовал, потому что не успел освободиться от автомата. Но вот поставил его в угол. И старый Хасан обнял сына. Сдержанно, как и положено мужчинам, поцеловались. А с женой Шамиль даже не поздоровался за руку. Не положено по абхазским обычаям жене и мужу на людях, даже если это родные, оказывать друг другу знаки внимания. Они только долгим взглядом окинули друг друга, и жена смущенно опустила голову.

Часа через два родители ушли домой, а Софичка постелила себе на кухне, предоставив Шамилю и его жене горницу.

— Спи спокойно, — сказала она, — на рассвете я вас разбужу.

Софичка легла на кухне, радостно взволнованная их уединением. Она вспомнила, как в первый год замужества она рассталась с мужем на три месяца. Он тогда вместе с отцом ушел на альпийские луга пасти скот. Как скучала тогда Софичка, как расцарапывала краем зеркала стену над своей кроватью перед сном, словно по этим царапинам, идущим вверх, как по ступеням лестницы, поднималась к мужу. И наконец на девяносто третьей ступени они встретились.

К вечеру того дня вдруг залаяли собаки и помчались к воротам, а через несколько минут во двор влились округлившись на альпийских лугах козы, влились, позвякивая колокольцами, играя, становясь на дыбы, струясь белой, залоснившейся шерстью.

А следом за козами Роуф вогнал во двор ослика, нагруженного мешками с сыром, и собаки бросились к нему и стали, подпрыгивая, лизать его лицо, а он, улыбаясь, отворачивался от них, отбрасывая рукой и приближался к Софичке, застывшей посреди двора, пронзенной счастьем и завидующей собакам, которые, никого не стыдясь, могли так открыто радоваться его приходу.

Она понимала, что по обычаям ее народа нельзя жене при виде мужа даже после долгой разлуки проявлять столь откровенную радость, но радость эта была сильнее нее, она заставляла сиять ее лицо и глаза, и без того лучистые, и она сама чувствовала нестерпимое сияние своего лица и глаз и, стыдясь, старалась остудить это сияние, но от стыда ее лицо и глаза еще сильнее сияли, и сами движения ее, она это чувствовала, источали сияние.

Она помогала мужу разгружать ослика, и их руки случайно прикоснулись на седельце, и горячей сладостью обожгло ее это прикосновение, и она, волоча на кухню мешок с сыром, думала, задыхаясь: «О, что будет!»

И после весь вечер, разгоня коз и козлят по разным загонам, доя коров, и потом, готовя у очага ужин, она все время чувствовала неостановимо струящееся из нее сияние счастья.

И она чувствовала это струение, когда вся семья сидела у пылающего очага и ужинала, а она прислуживала за столом, и позже чувствовала, когда муж ее мылся в чулане, пристроенном в кухне, и, когда плеск воды доносился оттуда, она вспыхивала от стыда, словно голое тело мужа просвечивало сквозь кухонную стену. И потом, когда они остались одни в своей комнате, она чувствовала слепящую силу этого сияния, и от слепящей силы этого сияния она не могла смотреть ему в лицо, и от слепящей силы этого сияния он тоже теперь не мог смотреть ей в лицо, и для того чтобы хотя бы на свет лампы ослабить это сияние, она дунула в нее и погасила, и в темноте несколько нескончаемых минут раздавался шорох сдираемой с тела одежды, и он взошел к ней на постель и взял ее, и она закрыла глаза от слепящих вспышек прикосновений, и это длилось, длилось, длилось, и, когда она очнулась и открыла глаза, он спал рядом с ней на подушке, спал непробудным, глубоким сном, утомленный огромным дневным переходом.

А она не спала рядом с ним до утра, вглядываясь в него в темноте, поглаживая его спину и влажные еще от купания волосы, а тело ее, остывая, струилось уже легким светом утolenия.

И сейчас, лежа на кушетке и вспоминая тот далекий теперь его приход с гор, она понимала не столько умом, а всем своим существом, что раз это было когда-то в ее жизни и раз это живет в ней сейчас, так ясно и горячо, как будто это было вчера, значит, ничего не кончилось, ничего не умерло и она

совсем не одинока, хотя в этой жизни его рядом никогда не будет. Да, в этой жизни его никогда не будет, но из этой жизни он все равно никогда не уйдет, пока не уйдет из ее сердца память любви.

На рассвете Софичка встала, оделась, подошла к дверям горницы и, постучав, разбудила спящих. Наскоро позавтракав, Шамиль вышел в огород, за изгородью которого сразу начинался лес. Софичка, боясь, что он случайно столкнется в ее доме с бригадиром, просила его быть осторожнее и приходить только в заранее назначенную ночь.

И хотя он и так приходил каждый раз только в заранее обусловленное время, теперь она боялась, как бы он ненароком не нарушил условия. Когда она ему это сказала, он только пристально посмотрел на нее, но ничего не ответил. Бог знает, что он подумал! Софичке было неприятно от его пристального взгляда, но ведь не могла она ему объяснить, чем вызвана ее осторожность.

Теперь Софичка, возвращаясь с табачной плантации или из сарая, где она целый день низала табак, брала к себе домой одну из дочерей дяди Кязыма или тети Маши. Софичка считала, что бригадир не посмеет покуситься на нее при ребенке. При всей своей кротости она и так была уверена, что живой ему никогда не дастся, но все-таки при ребенке, думала она, даже он не осмелится на такое преступление.

А между тем бригадир пользовался каждым случаем, чтобы напомнить Софичке, что он все знает и рассчитывает на ее благодарное согласие стать его любовницей.

Иногда он грозил, что терпение его лопается и он завтра же поедет и все расскажет в кенгурском НКВД.

— Нет, — говорила Софичка, бледнея, — ты не сделаешь этого...

Иногда, если рядом никого не было, он не только грозил все рассказать властям. Он прямо разыгрывал воображаемый диалог между начальником НКВД и им. По его рассказу получалось, что Софичка соблазнила его и он уже привык к ней, а потом появился ее двоюродный брат, дезертир Чунка, и запретил ей встречаться с ним.

— До чего же бессовестный, — шептала Софичка, с ужасом и отвращением глядя на красивое, плотоядное лицо бригадира. При этом он с ней говорил таким спокойным голосом, что издали крестьяне могли подумать, что он ей дает какое-то задание по работе.

И вот эти многочисленные и многообразные воображаемые разговоры бригадира с начальником НКВД превратились для Софички в кошмар. Она начала верить в непреодолимое могущество хитрости и коварства. При этом дважды или трижды за это время она встречала бригадира в Большом Доме. Он сидел перед очагом и разглагольствовал с дядей Кязымом и, когда она входила, равнодушно взглянув на нее, отворачивался. «Почему, почему он ничего не боится?» — думала она. Но он знал, что она ничего не расскажет, потому что в конечном счете от этого пострадают все. Она и дяде Кязыму ничего не рассказала о Шамиле. Она смутно понимала, что, если власти узнают о Шамиле,



пострадают все, кто так или иначе связан с этой историей. И она молчала.

Однажды Софичка возилась в винном подвале, выстроенном Роуфом, хотя своего винограда у них еще не было. Вдруг ее кто-то схватил в охапку и потащил к давилъне. Она растерялась, она не сразу поняла, что это бригадир, задыхаясь в его могучих, потных объятиях. Он дотащил ее до давилъни и шваркнул на хрустнувшую кукурузную солому, сваленную на дне давилъни. Все произошло в несколько секунд, и Софичка от растерянности даже не вскрикнула. Но, кинув ее на дно давилъни, бригадир сообразил, что давилъня слишком узкая и он не сумеет ею здесь овладеть.

И он на мгновение бросил ее, озираясь, куда бы ее перенести. И тут Софичка пришла в себя, вскочила и схватила вилы, лежавшие рядом на дне давилъни.

— Убью, — крикнула Софичка, — не подходи!

А ведь вправду убьет, подумал бригадир, остывая и глядя в ее пылающие ненавистью глаза.

— Для сестры дезертира слишком смелая, — улыбнулся бригадир и спокойно покинул сарай.

И все-таки не это было самое страшное для Софички, а его подлые рассказы о будущей беседе с начальником кенгурского НКВД.

От всего этого она осунулась, опечалилась, похудела. Она не знала, что делать, и не находила выхода.

Однажды ночью, когда пришел Шамиль, она, как обычно, подала ему ужин. Он пристал к ней с вопросами, пыта-

ясь понять, что с ней случилось. Ему показалось, что она от страха тяготеет его приходами. Софичка уверяла его, что с ней ничего не случилось. Он продолжал приставать, потому что погас ее лучистый взгляд, а это было красноречивее всяких слов.

— Софичка, — вставая, сказал Шамиль, — я понял, что тебя тревожит, и я сюда больше никогда не приду. Ты боишься, может, не столько за себя, сколько за своих близких... Больше меня здесь не будет...

— Нет! — вскричала Софичка и, бросившись ему на грудь, разрыдалась. Обильные слезы словно вынесли из нее все слова жалобы на домогательства бригадира. Она даже не забыла рассказать про сцену в винном сарае и про его мерзкие воображаемые разговоры с начальником кенгурского НКВД.

— Вот так, Софичка, — тихим, kloкочущим голосом произнес Шамиль, — я не отомстил за брата, и люди перестали с нами считаться. Будь спокойна, Софичка, больше он к тебе не придет.

Софичка стояла, прижавшись к Шамилю, утоленная впервые выплаканными слезами, не вслушиваясь в смысл его слов, только понимая, что большой, сильный мужчина, брат ее мужа, утешает ее и обещает защитить. Если бы она сейчас посмотрела в его глаза, она бы увидела в них такое тихое бешенство, которое было пострашнее того, что она принимала за волчий взгляд.

Он ушел, договорившись о дне встречи. И только когда он ушел, она постепенно опомнилась, осознавая грозный

смысл его утешения. Она вышла из дому, прислушиваясь к тихой безлунной звездной ночи, полная каких-то тревожных ожиданий.

Бригадир жил в полукилометре от дома Софички. Вдруг где-то там далеко отчаянно залаяла собака. Потом раздались странные сливающиеся выстрелы. Потом крики людей. Потом снова странные сливающиеся выстрелы. И крики, крики, крики людям! На крики отзывались уже более близко живущие люди. Что там случилось?

...Шамиль подошел к дому бригадира. Большая собака светлой шерсти выскочила из-под дома, подбежала к воротам и стала яростно облаивать его. Шамиль уже держал в руках автомат. Этой собаке, как и всякой деревенской собаке, вид человека с оружием внушал ненависть и страх. Страх не давал ей слишком близко подойти к нему.

— Эй, кто там?! — наконец крикнул с веранды дома бригадир. Он спустился во двор. Белая ночная рубашка смутно виднелась возле дома. И так как брюки на нем были темные, сливающиеся с темнотой, казалось, рубашка плывет по воздуху, как привидение.

— Принимай гостя! — крикнул Шамиль, не боясь быть узнанным, потому что яростный лай собаки перекрывал его голос.

— Что-то не узнаю! — крикнул бригадир с середины двора, продолжая приближаться, а собака, чем ближе он подходил, тем яростнее заливалась.

— Совсем сбесилась, пошла! — крикнул он уже в трех шагах от Шамиля и, сделав еще один шаг, вдруг запнулся в ужа-

се, узнав его. Он мгновенно понял, что не Чунка приходил к ней, а Шамиль. А он думал, что Чунка. И вдруг сейчас, глядя на решительное, мрачное лицо Шамиля с автоматом в руках, он подумал, что его это спасет, если он разъяснит Шамилю свою ошибку.

— Я не тебя подозревал, я Чунку подозревал, — крикнул он, — спроси Софичку! Спроси Софичку!.. Спроси...

Но было уже поздно. Автомат плеснул очередью, и бригадир свалился в траву. В доме раздались вопли женщин. Шамиль рванул ворота. Они не поддались. Он пихнул сильнее, и ворота распахнулись, вырванная с гвоздем щеколда упала на траву.

Собака продолжала захлебываться лаем, но отступила перед ним. Шамиль подошел к трупу бригадира и наклонился над ним, вынимая из чехла пастушеский нож. Клацая ножом по зубам, он раздвинул ему челюсти, ухватился одной рукой за его язык, а другой рукой, сунув ему нож глубоко в рот, вырезал ему язык. Разогнувшись, бросил его захлебывающейся лаем собаке. Собака отпрянула от брошенного темного комка, потом приблизилась, понюхала и вдруг, жадно клокотнув два раза, проглотила его.

И, словно на миг почувствовав ужас святотатства перед старым хозяином и словно стараясь преодолеть этот ужас через готовность служить новому хозяину, она подняла морду на Шамиля и завиляла хвостом: то ли ожидая новой подачи, то ли приказа лаять на кого-нибудь другого. Шамиль вскинул автомат и разрезал собаку короткой очередью.

— В этом доме что псы, что люди — одинаковы! — крикнул он громко, но опять его голос никто не узнал, потому что из дома доносились вопли женщин, а из ближайших домов крики людей, пытающихся узнать, что случилось. Через мгновение Шамиль растворился в темноте.

Весть о том, что ночью неизвестный человек вызвал к воротам бригадира, убил его из автомата и, вырезав ему язык, бросил его же собаке, которая тут же сожрала его и тут же была убита второй очередью из автомата, облетела Чегем.

Когда сбежались родные и близкие бригадира, потрясенные случившимся, они не догадались скрыть подробности позорной казни. А потом было уже поздно.

Толковали всякое, но было ясно, что мститель намекал на донос. Старейшины Чегема сначала пришли к страшному с точки зрения абхазских обычаев решению — односельчане не приходят на оплакивание покойника-доносчика.

Родные покойника слезно умоляли старейшин не губить их род, дать, как и положено по абхазским обычаям, оплакать ни в чем не повинного покойника. К тому же они настаивали на том, что решение старейшин юридически неточно. По древним абхазским обычаям доносчику отрезают язык и уши, а этот убийца отрезал только язык. Старейшины долго обсуждали этот вопрос. Они пришли к выводу, что, вероятно, мститель хотел этим показать, что он убил покойника за клевету. То есть передал властям не то, что он слышал, а то, что он придумал. Потому мститель и не отрезал его ушей. Но было совершенно не ясно с точки зрения древних обычаев, поче-

му мститель бросил отрезанный язык собаке и как собака могла съесть язык хозяина.

— Интересно, съела бы она его уши, если бы он отрезал уши и бросил ей? — любопытствовал кто-то.

— Нет, уши, пожалуй, не съела бы, — решили старейшины, — уши хозяина она видела и знала, а язык приняла за кусок мяса.

— Да, но собака должна знать запах хозяина, — брезгливо настаивал один из старейшин.

— Язык не пахнет, — после некоторого раздумья заметил другой старейшина, как бы приоткрывая дьявольские возможности языка.

— Вот за это и поплатился бригадир, — заключил третий старейшина.

Туговато шли переговоры старейшин с родственниками убитого. Сперва старейшины слегка отступились и сказали, что село на оплакивание не придет, но, так и быть, выделим четырех мужчин для рытья могилы.

— Мало, — умоляли родные и близкие, — не позорьте нас.

Наконец старейшины были сломлены, но не столько мольбами родственников, сколько ввиду полной неясности того, почему мститель пощадил уши бригадира. В конце концов решили, что все это, вероятно, диверсия какого-то злого человека, чтобы замутить чегемскую жизнь перед возможным приходом немцев в Чегем.

Софичка была ни жива ни мертва от всего, что она узнала о случившемся. Она проклинала себя за то, что имела

слабость рассказать о приставаниях бригадира. Хотя она и сейчас ужасалась домогательствам бригадира, но теперь ей казалось, что как-нибудь справилась бы сама, что не надо было жаловаться Шамилю. Несколько дней ее терзали эти мысли, она стала плохо спать. В конце концов она пришла на могилу к мужу и все ему рассказала. Ей показалось, что муж одобрил ее действия, а действия брата одобрил не вполне. Она так и ожидала. Ей почудилось, что он дал знать, что надо было убить бригадира и остановиться на этом. Кувшин, который она, как всегда, на обратном пути тащила от родника, полегчал, но не настолько, насколько он легчал обычно.

Софичка приходила на могилу примерно раз в неделю. Ей бы хотелось приходить почаще, но она считала слишком назойливым так часто беспокоить его. К тому же, так как она, перед тем как постоять у его могилы, оставляла у родника кувшин, ему могло показаться, что она и приходит на его могилу только для того, чтобы после легче было бы тащить кувшин. Конечно, ей было приятно, что после беседы с ним кувшин становится легче, но приятно было оттого, что это явный знак его одобрения ее жизни.

Прошло несколько месяцев. Шамиль время от времени продолжал приходить к Софичке, изредка встречаясь там с женой. Поздней осенью один из жителей Чегема, отыскивая забредшую в чащобы корову, обнаружил на одном оголившемся буке парашют. Он принес его в правление колхоза, оттуда его переправили в кенгурский НКВД.

Стало ясно, что немцы в этих местах высадили диверсанта. Может, не одного. Работники НКВД приехали в Чегем, разговаривая с колхозниками, спрашивали, не видел ли кто-нибудь в Чегеме или в окрестностях подозрительных людей. Но никто ничего не видел. Никаких следов возле бука, на котором застрял парашют, собака чекистов не нашла.

Вернее, овчарка взяла след крестьянина, обнаружившего парашют, и довольно точно привела чекистов к дому, где он жил. Уже во дворе дома она кинулась обнюхивать жену этого крестьянина, не без основания решив, что она припахивает мужем.

Но эта пожилая крестьянка чересчур размашисто отмахивалась от собаки, и та в ярости порвала ей юбку и, может, наделала бы еще больших бед, если бы чекист, державший ее на поводке, не дернул за него.

Одним словом, крестьянина арестовали и, к счастью, сначала привели его в сельсовет. И тут председатель колхоза стал горячо доказывать чекистам, что именно этот крестьянин обнаружил парашют, а не спустился на нем. Вернее, спустился с ним с дерева, на котором его обнаружил, и принес в правление колхоза. Крестьянина отпустили, но не очень охотно.

— В другой раз, даже если самолет будет висеть на дереве, — позже говаривал он чегемцам, — даже голову не подыму, зачем мне эти хлопоты.

Жена его многие годы после случившегося рассказывала о мистическом чуде чутья собаки. Оказывается, муж ее сначала принес парашют домой. И она, по ее словам, уговарива-



ла своего дурака не сдавать его в сельсовет, а наделать из него одеял и матрасов. Им бы сноса не было, уверяла она его. Но он ее не послушался и отдал его в сельсовет.

— И вот эта шайтанская собака, — рассказывала она, — только увидела меня, сразу узнала, о чем я говорила мужу, и бросилась на меня. А ведь когда я ему это говорила, ни одного человека рядом не было, а собака эта была в Кенгурске. Как она узнала, что я говорила? Дьявол, а не собака.

И некоторые чегемцы дивились дьявольской власти и ее дьявольским собакам. Другие, более скептически настроенные, смеясь, говорили ей:

— Видать, ты еще спишь со своим мужем. Вот собака и полезла на тебя. Пора бы в твоём возрасте спать отдельно.

— И никогда не спала с ним! — опять же чересчур широко отмахивалась она, тем самым ставя в двусмысленное положение как своего мужа, так и троих своих сыновей, находившихся в армии, если бы чегемцы могли ей поверить. Но они ей не верили, потому что по чегемским обычаям женщина так и должна отвечать в таких случаях.

Вскоре из Кенгурска приехали бойцы истребительного батальона. Дней десять они жили в Чегеме, прочесывая окрестные леса, и Софичка со страхом думала, что они могут наткнуться на убежище Шамиля. Но они ничего не обнаружили и уехали к себе в Кенгурск.

Однажды ночью, когда Шамиль пришел к ней домой, она ему рассказала про парашют, найденный в лесу, и про истребительный батальон, тогда еще прочесывавший чегемские леса.

— Они ищут лемца, а могут наткнуться на тебя, — сказала она.

Шамиль горько усмехнулся, но ничего не ответил на ее слова. Когда он ушел, Софичка долго вспоминала эту его усмешку и странное выражение его лица. Она много думала, пытаясь понять, что именно в его облике показалось ей странным, но не могла понять. Несколько дней она невольно думала об этом, лицо его, искаженное в горестной усмешке, так и вставало перед ее глазами.

И вдруг истина озарила ее: он встретился в лесу с этим лемцем! Да, да, так оно и есть! В последние два месяца он брал муки больше, чем раньше, и еще он перестал жаловаться на одиночество.

Что же будет? Ведь теперь, если власти его поймают, они его обязательно убьют. Одно дело сбежать с фронта и прятаться в лесу. За это, по мнению Софички, ему грозила Сибирь. Другое дело связаться с лемцем. За это могут и убить. С лемцами вон какая война идет. Она решила сказать Шамилю, чтобы он подальше держался от лемца. Она боялась, что лемец втянет его в какую-нибудь гиблую затею. В ближайший его приход она высказала ему свои подозрения. Он не стал ничего отрицать, а только внимательно посмотрел на нее.

— Откуда узнала? — сумрачно спросил он.

— Ты стал брать больше муки и перестал жаловаться на одиночество.

— Да, — согласился Шамиль, — я с ними встретился в лесу, и мы теперь живем вместе.

— Так сколько их? — удивилась Софичка.

— Двое, — сказал он.

— Как же ты сдружился с лемцами, — упрекнула его Софичка, — они же враги?

Софичка постыдилась сказать, что муки и так не хватает, она сама мамалыгу готовит только раз в день, а тут еще лемцев кормить ее мукой.

— Никакие они не немцы, — отвечал Шамиль, — это наши ребята... Один из них армянин из Атары, а другой мингрелец из Кенгурска. Они попали в плен и, чтобы не умереть с голоду, согласились работать на немцев. На самом деле они и на немцев ничего не делают, и к нашим боятся выйти... Так-то.

— Что же будет? — растерялась Софичка.

— Ох, Софичка, — вздохнул Шамиль, — не спрашивай! Рано или поздно убьют нас, как бешеных собак, но и мы кое-кого покусаем... Ну, ладно, там видно будет... Дай что-нибудь выпить...

Софичке было жалко Шамяля да и его неведомых товарищей по несчастью. У всех дома остались близкие, которые ждут их, тревожатся, страдают. Что же будет? Может, в конце войны на радостях простят им их вину? Нет, и на это было мало надежды, да и войне не видать ни конца ни края.

Пришла зима. Однажды вечером по снегу пришел к Софичке старый Хасан и сказал, что днем приходили двое из кенгурского НКВД и забрали жену Шамяля. Старик был удручен и напуган. Софичка поняла, что над ними всеми нависла угроза, но она почему-то за себя не боялась, она боялась только за Шамяля. Что будет? Что они узнают у жены его? Нет, она им ничего не скажет.

Прошло несколько дней. Жену Шамиля не отпускали домой, и никто не знал, что с ней. В назначенную ночь пришел Шамиль. Когда Софичка рассказала ему о случившемся, Шамиль побелел, и руки его вцепились в скамью, на которой он сидел. Он долго молчал, глядя на огонь.

— Теперь они вас не оставят, — наконец сказал он, — я сдаюсь властям. Завтра пойдешь и скажи председателю колхоза, чтобы они в ближайшее воскресенье вместе с начальником кенгурского НКВД в одиннадцать часов вечера пришли к тебе и ждали меня. Скажи им, что, если они устроят засаду, я буду отстреливаться до последнего патрона. Воевать я все-таки умею лучше них. Скажи им, что до этого они должны отпустить мою жену в знак того, что они со мной хотят говорить помирному... Да, ни за что не говори, что я у тебя бывал раньше. Скажи, что я в первый раз пришел... Жена, я уверен, им ничего не скажет.

— А они тебя не обманут? — спросила Софичка. Опыт ее жизни ей подсказывал, что начальство легко идет на обман. С оплатой трудодней, сколько она себя помнила, всегда обманывали. Точнее, всегда давали меньше, чем обещали.

— Могут, — после некоторого молчания ответил Шамиль, — но у меня нет выхода. А так они арестуют и жену, и родителей... Да, не забудь сказать председателю колхоза, что я буду разговаривать только с начальником кенгурского НКВД. Ни с кем из его помощников я не буду разговаривать. Если они сохраняют нам жизнь, я приведу попозже и этих двоих.

— А если они не захотят? — спросила Софичка в предчувствии какого-то смутного ужаса.

— А куда им деваться? — раздраженно ответил Шамиль. — Здесь их ничего, кроме смерти, не ждет. А так хоть какая-нибудь надежда...

На следующий день Софичка пришла к председателю колхоза и все ему рассказала. Тот сейчас же поехал в Кенгурск, встретился с начальником НКВД и изложил ему условия Шамиля.

Начальник немедленно принял условия Шамиля, хотя встречаться с ним ночью в горной деревушке ему не хотелось. Но карьера его висела на волоске. О высадившемся парашютисте знало республиканское начальство, а принятые меры не дали результатов.

По агентурным данным с Клухорского перевала было известно, что Шамиль не найден ни среди мертвых, ни среди раненых. Один из раненых сказал, что он храбро сражался, но потом куда-то исчез. Теперь начальник решил, что именно Шамиль спустился на парашюте. К тому же осведомитель из Чегема сообщил, что жена Шамиля с наступлением ночи дважды уходила из дому.

Подтверждений никаких не было, но решили на всякий случай допросить жену. Жена полностью отрицала то, что виделась с мужем или что-либо знает о его судьбе. Ее уже готовы были отпустить с тем, чтобы осведомитель более внимательно следил за ее поведением.

Сравнительная небрежность, с которой диверсант не уничтожил застрявший на дереве парашют, подсказывала,

что он в этих местах, по-видимому, не собирался оставаться. В конце концов, что делать диверсанту поблизости от Чегема? Не взрывать же табачные сараи?

И вдруг такое признание! В самом деле Шамиль оказался здесь, да еще не один! Да еще сам напрашивается на переговоры! Жену Шамиля тут же выпустили, взяв с нее подписку, что она будет молчать обо всем, о чем с ней здесь говорили.

В воскресенье вечером домой к Софичке пришел председатель колхоза и начальник НКВД. Софичка зарезала курицу, приготовила орехов, сациви, мамалыги, чачи и стала вместе с гостями дожидаться Шамиля. Она чувствовала, что начальник НКВД очень волнуется и, попросту говоря, боится предстоящей встречи.

Накануне ночью Шамиль заходил к ней. Он тоже сильно волновался. Он знал, что с самого начала сделал неправильный шаг, то есть сознался, что он в лесу не один. Но, потрясенный арестом жены и предстоящим арестом отца и матери, а потом, может быть, и Софички, он забылся, он набивал себе цену и теперь понял, что они потребуют у него выдачи его лесных друзей.

Кроме того, он боялся, что начальник приведет с собой чекистов, чтобы схватить его в самом доме. От них всего можно было ожидать, но останавливаться уже было поздно. Он договорился с Софичкой, что если начальник придет с чекистами, то она, когда он постучит в дверь, громко крикнет:

— Входи, тебя ждут!

А если начальник будет один с председателем колхоза, она должна спокойно сказать:

— Входи, входи!

Софичка запомнила эти два знака и много раз повторяла про себя, чтобы не спутать.

И вот этот грозный начальник, к удивлению Софички, приходит, одетый в штатское пальто и штатский костюм. Начальник кенгурского НКВД действительно боялся встречи с этим человеком, который, как он был уверен, таким страшным образом убил бригадира. И хотя бригадир на них не работал, но зверское убийство и отрезанный язык, брошенный собаке, были, в сущности, прямым оскорблением его конторы. И он уже заранее ненавидел его за это. Однако он выработал определенную линию поведения. Ни малейшего намека, что они его подозревают в убийстве. Надо было выкурить из леса этих двух диверсантов. Надо было ему достаточно много обещать, но не более того, что выглядело бы правдоподобно.

Опыт многолетней работы в НКВД убедил его, как трудно иметь дело с этими горцами. Тайная статистика вербовки секретных работников, опубликование которой вызвало бы взрыв гнева так называемых цивилизованных народов, эта тайная статистика ясно показывала, что горцы не хотят понимать классового характера нравственности. И хотя ему удалось сломать одного из чегемцев и заставить его работать на себя, и его с этим поздравлял сам начальник республиканского НКВД, пока это мало что давало. И этот осведомитель так

боялся разоблачения, что не выследил жену Шамиля, когда она уходила из дому, и даже не притаился где-то у дома, чтобы убедиться, вернулась ли она ночью домой.

Да, цивилизация, думал начальник, приводит к облегчению вербовки, и потому она полезна. И потому хорошо, что в самых отдаленных горных селах открывают школы, радиоточки, завозят туда газеты на родном языке. Но толку от этого немного.

Черт с ней, с вербовкой! Но как нехорошо ведут себя горцы, привлеченные по тем или иным делам! Пространства долин и особенно городов уже навек загазованы страхом перед его грозным учреждением. Но горы и вместе с ними и горцы пока еще высовываются над этим загазованным пространством великой родины. И нет у них предварительной обработки страхом, который превращает в податливый воск каждого, кто попадает в его учреждение. При допросах они неожиданно бывают оскорблены черт знает чем, кидаются на следователей, и порой приходится их пристреливать прямо в кабинете, что крайне нежелательно во всех отношениях. Хотя бы потому, что в Кенгурске чрезвычайно звукопроницаемые стены.

Да, уже двенадцатый час, но он почему-то не идет. Не заманил ли, не устроил ли засаду?!

Софичка чувствовала, что начальник волнуется. Она чувствовала, что он боится Шамиля, и это ее, с одной стороны, наполняло гордостью, а с другой стороны, удивляло. Как же он да и председатель не понимают, что, раз Шамиль договорился встретиться с ними по-мирному, он их не тронет. Не-



ужели они совсем не верят людям? Но значит, тогда и им нельзя доверять. Что же будет с Шамилем?

В кухне стояла тревожная тишина. Только слышалось, как в очаге время от времени потрескивают дрова. Начальник НКВД чувствовал, что ноги его дрожат постыдной, неостановимой дрожью, и он боялся, что этот страх заметит председатель колхоза или эта блаженная хозяйка. Он хотел себя уверить, что это не страх, а просто боязнь, что сорвется такое важное дело, но каблукки, время от времени выбивавшие дробь на земляном, слава Богу, полу, ясно говорили ему, что это именно страх. Но ведь в двадцатых годах он бывал в настоящих стычках с басмачами. И не было такого потного, постыдного страха. Что же случилось с тех пор с ним? Или со всеми? Сначала верили, потом подумать было страшно, что вера испарилась, а потом и вообще думать стало страшно.

Вдруг раздался стук в дверь. Начальник вздрогнул. Хотя все внимательно вслушивались в тишину, никто не слышал, как он взошел на веранду.

— Входи, входи! — крикнула Софичка, опомнившись.

Дверь распахнулась, и Шамиль оказался в дверях. В одной руке он держал автомат. Он внимательно оглядел кухню и вошел. Начальник НКВД и председатель колхоза встали навстречу.

— Хороших вам трудов, — сказал Шамиль по-абхазски, протягивая руку председателю. Это прозвучало как насмешка, учитывая, что так здороваются с крестьянами, когда те работают.

— Здравствуй, Шамиль! — крикнул председатель, как бы заглушая насмешку, прозвучавшую в приветствии Шамяля.

Он громко хлопнул ладонью протянутую руку Шамяля. Шамяль и начальник НКВД сдержанно поздоровались за руку.

— Совсем в лесу одичал! — опять громко крикнул председатель, панибратствуя от волнения.

— Одичаешь, — сдержанно согласился Шамяль, и на мгновение установилась неловкая тишина.

— Давайте за стол! За стол! — крикнул председатель, нервно потирая руки и, словно гостеприимный хозяин, подталкивая Шамяля и начальника к столу.

Уселась. Шамяль и начальник друг против друга. Шамяль прислонил автомат к стене за своим стулом. Софичка разлила по блюдецкам ореховую подливу. Председатель колхоза с нервной поспешностью разлил чачу но рюмкам.

— За удачу вашей встречи, — по-русски сказал председатель, — за то, чтобы все окончилось хорошо: для нашей власти, для нашего колхоза, для всех!

— Аминь! — подхватила Софичка с удовольствием.

Все выпили и принялись за еду. Шамяль, сдержанно и спокойно, во всяком случае внешне, председатель суетливо и быстро, а начальник неохотно, но стараясь скрыть это.

Он очень волновался. Автомат, прислоненный к стене за спиной Шамяля, явно мешал ему. Но он все же был уверен, что сумеет провести беседу так, как это нужно. Да, если все

получится, как надо, он уже знал в глубине сознания, что никогда не простит унижительную дрожь в ногах в ожидании этого дезертира и даже этот автомат, нагло прислоненный к стене за его спиной, никогда не простит.

После третьей рюмки заговорили о деле. Софичка стояла спиной к очагу и лицом к свету, внимательно слушая начальника. Начальник, естественно, говорил по-русски, и Софичка слегка напряглась, чтобы уловить смысл его речи. Она не все слова понимала по-русски.

Сначала начальник сказал, что сейчас страна ведет тяжелую борьбу с врагом и каждый должен сделать все, что может, для победы родины. Софичка это легко поняла, потому что то же самое им говорили и в колхозе.

Потом начальник сказал, что, по агентурным сведениям, которые они имеют, он хорошо сражался на Клухорском перевале, и это ему будет зачтено. Но самое главное, настаивал начальник, он должен во что бы то ни стало заставить диверсантов сдаться. Он должен передать их в НКВД живыми или мертвыми. Но лучше живыми.

«Что же Шамиль не говорит, что эти диверсанты совсем не лемцы, а наши ребята», — думала Софичка, все сильнее и сильнее волнуясь. Она думала, что начальник обязательно смягчится, узнав об этом.

Наконец Шамиль сказал, что один из этих ребят армянин из села Атары, а другой мингрелец из Кенгурска. Начальник спросил у него их имена и фамилии и записал себе в маленькую книжечку.

По наблюдению Софички, начальник нисколько не смягчился, узнав, что диверсанты — местные ребята. Он несколько раз повторял, что Шамиль должен передать их в руки НКВД живыми или мертвыми. Но лучше живыми. И тогда он может твердо обещать, что суд над ним ограничится отправкой его на фронт в штрафной батальон. На свой страх и риск начальник обещает его, если он честно выполнит условия договора, на неделю оставить дома. На неделю — не больше. Это он обещает твердо. Пусть увидится с женой и детьми. Это был тонкий ход, по мнению начальника, снимающий подозрения, что он знает, что Шамиль виделся с женой.

— Что будет с этими ребятами, — глухо спросил Шамиль, — их не расстреляют?

— Если выяснится, как ты говоришь, что они ничего плохого не сделали, — отвечал начальник твердо, — их незачем расстреливать. Их будут судить, и каждый получит срок в зависимости от своей вины. Только помни: они — твоя плата за свободу. Иначе ничего не могу обещать. Я обещаю только то, что могу.

Чугуня лицом, Шамиль кивнул в знак согласия. Через полчаса начальник НКВД и председатель колхоза вышли из дома и, освещая себе путь карманным фонариком, открыли ворота и поднялись на верхнечегемскую дорогу. И пока они не вышли на нее, начальник НКВД испытывал предательскую дрожь в ногах, боясь, что товарищи Шамяля ждут их в засаде.

Проводив гостей до ворот, Софичка вернулась на кухню. Шамиль сидел у огня, глубоко задумавшись.

— А они захотят выйти из лесу? — спросила Софичка.

— Нет, — сказал Шамиль, мрачно глядя в огонь.

— Так что же будет? — спросила Софичка в ужасе, приложив ладони к щекам и глядя на Шамиля своими темными лучистыми глазами.

— Ничего хорошего не будет, — сказал он, вздохнув. — Но, видно, такая моя судьба. Дай мне веревок...

Чувствуя что-то недоброе, Софичка вынесла из кладовки моток веревки. Расстегнув рубашку, он мрачно перепоясал тело веревкой, потом застегнулся, перекинул автомат через плечо, накинул бурку и обернулся в дверях:

— Что бы ни случилось, Софичка, запомни: ты меня никогда не видела до того, как я пришел сдаваться. Запомни: что бы тебе ни говорили, ты меня никогда не видела. Ты не знаешь, кто убил бригадира. И это запомни.

Он вышел из дома, и бурка его быстро растворилась в черноте ночи. Софичка долго стояла на веранде, прислушиваясь к тревожной тишине ночи. «Господи, — думала она, — сохрани наших близких — и тех, кто на фронте, и тех, что мучаются здесь».

На следующий день рано утром недалеко друг от друга на нижнечегемской дороге нашли двух связанных по рукам и ногам людей. Это были диверсанты, сброшенные полгода назад на парашютах. В тот же день утром Шамиль явился в правление колхоза и сдал три автомата, два пистолета и радиоаппаратуру. Диверсантов вместе с оружием и аппаратурой отправили в кенгурский НКВД.

На следующий день оттуда явились несколько чекистов и, прихватив председателя колхоза, пошли искать место стоянки Шамиля и этих диверсантов.

Диверсанты уже указали приметы места своей стоянки. Стоянку легко нашли, но то, что искали чекисты, исчезло. Они искали предметы домашней утвари, по которой можно было бы определить, с кем был связан Шамиль, когда был в лесу. Но ничего, что могло быть домашней утварью, в шалаше не оказалось. Шамиль тщательно, перед тем как идти в правление колхоза, все это вынес из шалаша и забросил в самые непроходимые дебри.

Диверсанты уже сознались во всем, озлобленные предательством Шамиля. Но они и сами не знали, к кому он время от времени ходил. Он этого даже им не сказал. Но то, что у них было кое-что из еды, добытой помимо охоты, и кое-какая утварь, они сказали.

Начальник НКВД тщательно готовил дело на Шамиля. Сильнейшим козырем у него была неопровержимость крестьянской одежды, в которой он явился на переговоры. Кто ее ему дал? Жена? Софичка? Или еще сложнее — может быть, убитый им бригадир? Начальник кенгурского НКВД почти был уверен, что бригадира убил Шамиль. По-видимому, он был связан с бригадиром. Вероятнее всего, в какой-то период их связи Шамиль попросил его оказать ему какую-то услугу, показавшуюся тому слишком рискованной.

Бригадир, наверное, отказался. Шамиль, наверное, ему чем-то пригрозил. А в ответ бригадир, как дурак, вероятно,

сказал, что донесет на него. Сейчас начальник был уверен, что бригадир сказал такое. Отсюда и жестокий способ казни — убийство и вырванный язык.

Была полная возможность при умелом ведении дела подвести Шамиля под расстрел. Теперь, когда диверсанты были у него в руках, руки его были свободны. Ни к чему человек так не злопамятен, как к собственной трусости. Шамиль, который даже и не заметил его трусости, в глазах начальника был ее единственным свидетелем. Источник трусости невольно становился и свидетелем трусости. Свидетеля надо было убрать раз и навсегда. Однако Шамиль совершенно неожиданным поступком несколько осложнил планы начальника. С тех пор как он пришел в собственный дом, он не только не почувствовал облегчения, но по-настоящему только сейчас почувствовал непомерную, невыносимую тяжесть содеянного греха.

Особенно его потрясло, что отец, хотя и не говорил ему ничего, но каждый раз, случайно встретившись с ним глазами, он, старый Хасан, как-то виновато и робко отводил глаза. «Отец не может скрыть и не может вынести брезгливости к собственному сыну», — думал он.

Три дня он беспробудно пил и никак не мог до конца осознать смысл той закономерности, которая его преследовала.

Пытаясь спастись от ужаса войны и голода, он дезертировал и бежал с перевала. В лесу он испытал страшное одиночество и ежедневное ожидание смерти, как загнанный зверь. Пытаясь спасти близких от неминуемой кары за свое дезертирство, он предал доверившихся ему людей. И теперь отец

не может посмотреть ему в глаза, и в лучшем случае его ждет фронт, откуда он сбежал и натворил столько бед. Зачем же было бежать с фронта? И как это он, пытаясь скинуть одни путы, попадал в другие, еще более невыносимые? И он понял, что никакой чачей не спасет себя от тоски, не спасет себя от взгляда отца, опущенного от стыда, и он понял, что его спасет.

На четвертый день он зарядил свое охотничье ружье медвежьим жаканом, снял ботинок и носок с правой ноги, сунул в рот ствол и вдруг в последний миг вспомнил, что недосказал Софичке одну важную вещь. Вспомнил, что недосказал, но не мог вспомнить, что именно. И, словно досадуя на себя за эту дополнительную невезучесть, снова схватил зубами конец ствола и нажал большим пальцем ноги на спусковой крючок. Медвежий заряд вместе с кусками мозга, влипшимися в стену, вырвал из него невыносимую тоску. Звук выстрела почти слился с криком из кухни обезумевшей от догадки матери. Так что же он хотел сказать Софичке перед смертью, но так и не вспомнил? Он хотел ей сказать, что, если чекисты спросят, откуда у Шамиля взялась крестьянская одежда, она должна отвечать, что по дороге с фронта он раздел какого-то путника и, кинув ему свою военную форму, взял его одежду.

Все дни после смерти Шамиля Софичка жила у родителей мужа, стараясь их утешить и прислуживая за поминальными столами.

Через неделю она вернулась домой. В первые дни, проходя за водой на родник, она не осмеливалась подойти к могиле мужа, страхась рассказать ему о случившемся, как страшатся



тяжелобольному рассказать трагическую новость. Хотя она своим верующим сердцем понимала, что эта весть до него и так должна дойти оттуда, но ей отсюда говорить ему об этом было еще очень больно. И она с кувшином на плече, не облегченным разговором с мужем, проходила мимо могилы, украдкой бросив на нее взгляд.

Через несколько дней Софичку и вдову Шамиля забрали в кенгурский НКВД.

\* \* \*

В кабинете, светлом, как бы освещенном нежным колхидским снегом, покрывающим кроны лавровых деревьев, почти заглядывающих в окна, сидели четверо.

Следователь НКВД, плакатно-красивый блондин, напротив него Софичка, справа от Софички переводчик-абхазец, а слева как бы интересующийся ходом дела работник органов. На самом деле сидевший слева следил, насколько правильно переводчик-абхазец переводит слова Софички на русский язык.

Этот работник органов по отцу был грузином, а по матери абхазцем и потому знал абхазский язык, что работниками кенгурских органов держалось под большим секретом.

Абхазцам, даже работающим в органах, не вполне доверяли и считали возможным, что переводчик будет всячески выгораживать своих абхазцев. Считалось, что, во-первых, такая проверка покажет степень честности этого переводчика. Он недавно после фронтowego ранения вернулся домой и был

принят в органы как человек, показавший себя бесстрашным и беспощадным с врагами на фронте. А во-вторых, если он в процессе перевода и разговора с этой блаженной женщиной будет выгораживать ее — прекрасно. В таком случае не исключено, что она проникнется к нему доверием и именно ему кое о чем проболтается. Все это было хитроумной, как он сам полагал, выдумкой начальника кенгурского НКВД.

Однако переводчик с первого же раза понял предназначение этого свидетеля допроса, ибо в наиболее сложных по психологическому смыслу местах лицо его невольно напрягалось, и было ясно, что он знает язык.

После вопроса следователя Софичка, почти всегда понимая его, стремилась прямо начать ответ, но следователь ее оттаивал, заставляя вопрос переводить на абхазский язык, а потом ждал, когда переводчик передаст ему ответ Софички. Софичка считала, что они это так делают, потому что принимают ее за дурочку, которая запутается, начав говорить по-русски. Но ведь она могла в трудных местах обращаться за помощью к этому парню? Ведь так пошло бы все быстрее.

Когда время от времени замолкали сидящие за столом, раздавался неугомонный щебет воробьев, копошившихся в кронах лавровых деревьев, покрытых робким субтропическим снегом.

Третий день Софичку вызывали на допрос. Третий день от нее ничего не могли узнать. Софичку и жену Шамиля взяли по поводу неожиданного сообщения чегемского осведомителя. Он сообщил, что один из жителей Чегема вспомнил, как

однажды бригадир ему сказал, что Софичка видится со своим двоюродным братом Чункой, бежавшим с фронта.

Именно в связи с этим сейчас взяли Софичку. У начальни-ка теперь возникла новая версия убийства бригадира. Хотя до этого он был почти уверен, что бригадира убил Шамиль, но тот, покончив жизнь самоубийством, навсегда дезертировал от расстрела. И такая великолепная улика, как труп бригадира, пропадала без пользы для дальнейшего следствия. И чтобы этого не случилось, чтобы труп бригадира не пропал для следствия, он, однако сам этого не осознавая, не поленился перетащить труп (благо безъязыкий) в новое дело. Теперь он был уверен, что бригадира убил Чунка как самый лихой парень Чегема. Но почему покойный бригадир связал Чунку с Софичкой, было не вполне ясно. Скорее всего, он случайно увидел Чунку, входящего или выходящего из дома Софички. Почему тот решил его казнить как доносчика? Скорее всего потому, что он грозил доносом. Оба дураки. Ведь истинный доносчик никогда не станет грозить доносом. Значит, бригадир что-то вымогал. Но у кого он мог что-то вымогать? Не у старого Хабуга или Кязыма? Маловероятно. Не у самого же дезертира? Совсем невероятно. Значит, у самой Софички. Что может вымогать похотливый человек у молоденькой вдовушки? Ясно что. Тут начальник действительно подошел к тому, что было, но бедный Чунка, дотлевавший в белорусских лесах, тут был ни при чем.

Значит, она пожаловалась Чунке, скорее всего, чтобы тот припугнул бригадира. А тот по широко известной горячности своего характера убил его.

Но именно потому, что Чунка сейчас живой и прячется где-то в лесу, надо вести допрос так, как будто органы уверены, что бригадира убил теперь мертвый Шамиль. «Подлец, — думал о нем начальник, — переиграл меня, покончив жизнь самоубийством». Значит, надо все свалить на Шамиля, и тогда такая версия облегчит признание Софички. Ведь одно дело просто дезертировать, а другое дело — дезертирство и убийство.

И допрос он вел по такому сюжету: как можно меньше касаться связи Софички с Шамилем, а давить и давить на признание по поводу Чунки. Любой ценой добиться этого признания. Всю вину за связь с дезертиром Шамилем сконцентрировать на жене.

Это даст возможность потом, если сейчас не удастся добиться у Софички признания, выпустить ее и неуклонной слежкой рано или поздно поймать ее двоюродного брата. Была уверенность, что Чунка ни за что не обратился бы к собственной сестре, живущей в одном дворе с Большим Домом, потому что вокруг него нет леса и в Большом Доме всегда много чужих людей. А Софичка живет в одиночестве, и сразу за изгородью ее усадьбы начинается лес.

Софичка, помня наставление Шамиля, сначала держалась просто и твердо. Она все отрицала. Но когда следователь осторожно стал намекать на домогательства бригадира, она внутренне растерялась от стыдности этого разговора и похожести на правду того, что говорил следователь. И как только у нее мелькнула страшная догадка, что они все знают и только, издеваясь

над ней, не все ей говорят, следовательно почувствовал ее смущение и решил, что пришло время прямо заговорить о Чунке.

Тут Софичка поняла, что они ничего не знают точно: ни об убийстве бригадира, ни о том, что Шамиль много раз заходил к ней.

Чувствуя, что следователь теряет терпение, переводчик-абхазец не выдержал и стал укорять Софичку в бессмысленности ее запырательства. Он был новичком в органах. Об истинном положении вещей он сам знал не больше того, что говорил следователь, и поэтому считал, что у органов есть основания верить словам бригадира.

— Подумай сама, — говорил он, стараясь вразумить ее и помочь ей, — кто поверит, что бригадир не видел Чунку, а просто выдумал это? Что он, сумасшедший? Пойми ты, глупая, что твой двоюродный брат никуда не денется. Рано или поздно ему придется сдаваться или его убьют. И чем раньше он сдастся, тем лучше для всех. Если он сдастся сейчас, его скорее всего отправят на фронт, и там он...

Переводчик переводчика внимательно слушал его, стараясь уловить в его словах вредное направление. Он не хотел ему зла, но логика его труда заключалась в том, чтобы он находил в работе переводчика искривление работы следствия, иначе становилась слишком явной ненужность его работы. Так устроен человек. Однажды примирившись с противоположностью своего труда, он поневоле начинает искать оправдание ему, создавая для себя столь необходимую для человека иллюзию его нужности.

— ...Его скорее всего отправят на фронт, и там он, — продолжал переводчик, — кровью смоем свой позор... Ведь он клятву давал Родине быть честным солдатом. Он нарушил клятву, он клятвопреступник.

— Да? Клятву?! — неожиданно вспыхнула Софичка. — Знаю я, что солдат дает клятву, не такая я глупая. Но разве государство тоже не дает клятву, когда берет солдата, исправно кормить его? А Шамиль что рассказывал? Их по три-четыре дня не кормили на перевале. Солдаты между боями чернику и ежевику собирали, как дети. Это же смех! Если ты нанимаешь работника, он должен честно работать, но и ты его должен честно кормить... А если ты его перестал кормить, он бросает мотыгу и уходит! Так-то!

— Перестань болтать глупости! — вспыхнул в ответ переводчик. — Ты, видно, не знаешь, где находишься! Кормили — не кормили! Это не твоего ума дело! Мы тут с тобой третий день мучаемся, а ты уперлась, как ослица! Это плохо кончится — предупреждаю тебя. Твой следователь и так проявил к тебе много терпения!

— Вот и целуйся с ним, — отвечала Софичка, — бедный Чунка с начала войны не пишет! Дай Бог, чтоб он был жив! Но я не знаю, где он!

— Что она говорит? — наконец спросил следователь, терпеливо ждавший, что переводчику, может быть, удалось, что-нибудь выудить у нее.

— Все те же глупости, — ответил переводчик, несколько омрачаясь, — Шамиль, мол, бежал с перевала, потому что

плохо кормили, а Чунку с тех пор, как его взяли в армию, она в глаза не видела.

Тайный переводчик переводчика, вслушиваясь в его перевод, отметил: не сказал о том, что она сказала, мол, солдаты питались ежевикой. Одно дело — солдат плохо кормили. Другое дело — солдаты, как дети, собирали ежевику и чернику. Конечно, мелочь, но все же налицо с ее стороны издевательство над армией, а он это не отметил в своем переводе.

— Вот что, — вдруг окаменев лицом, сказал красавец следователь, — кончилось мое терпение. Скажи ей, пусть разуется.

Софичка поняла его слова и растерялась.

— Он что, сказал, чтобы я разулась? — спросила она по-абхазски.

— Да, — кивнул переводчик, мрачней. Он сам еще не знал, что собирается делать следователь, но ничего хорошего не ожидал.

— Чем ему мешают мои туфли? — спросила Софичка.

— Сними, — буркнул переводчик, — я тебя тысячу раз предупреждал...

— Он, наверное, сдурел, — сказала Софичка, — вон какой откормленный, помахал бы мотыгой...

Она сняла туфли.

Переводчик переводчика, помешкав, отметил про себя, что переводчик не перевел оскорбление следователя.

— Встань, — сказал следователь, уже прямо обращаясь к Софичке.

Софичка встала. Она стояла перед ним, маленькая, стройная, крепкая, лучеглазая. Она стояла в сером свитере домашней вязки, в черном пиджаке и черной юбке и в толстых белых носках, надетых поверх чулок.

— Сними носки, — приказал следователь.

— Совсем спятил, — сказала Софичка по-абхазски.

Она сняла носки и сложила каждый носок в туфель. Взяв в руку коробку с кнопками, следователь вышел из-за стола и, взяв другой рукой Софичку за руку, отвел ее в угол комнаты, как учитель нерадивую ученицу.

— Разрази меня молния, если я пойму, что он хочет, — проворкотала Софичка.

Ссыпав на ладонь горсть кнопок, он положил их на пол. Потом, ссыпав на ладонь еще горсть кнопок, положил в полуметре от первой горсти.

— Он что, поставить меня на них хочет?! — вскричала Софичка, догадавшись, в чем дело, и оборачиваясь к переводчику-абхазцу. Теперь язык был последней тонкой нитью, связывающей ее с надеждой на защиту. И тот это понял и, потемнев лицом, промолчал. Он подумал, что лучше бы снова добровольцем отправился на фронт, чем поступать сюда работать.

Переводчик переводчика заметил, что переводчик с абхазского изменился в лице, и постарался это запомнить. Но то, что он сам изменился точно так же в лице, этого он не мог заметить. Оба они такую пытку видели в первый раз. Видели, как гасят окурки о лицо, видели, как ставят босыми ногами на кукуруз-



ные зерна (очень болезненно, если долго стоять), но такого оба не видели.

Следователь слегка подталкивал Софичку в спину, чтобы она шагнула на кнопки, но она, не переступая, обернулась на переводчика-абхазца, всем страхом, всем недоумением, всей надеждой, всей лучеглазостью обратилась к нему:

— Что ж это он со мной делает?! Ты что, не видишь?

— Я же тебе говорил, дура, сознайся! — клокотнул переводчик.

И Софичка поняла, что здесь нет ни языка, ни крови и не будет ей помощи ни от кого. И вспыхнула в ней гордость.

— Я женщина, я не могу драться с мужчиной, — вымолвила она с горестным сарказмом, — а ты ходи по миру! Считай себя мужчиной!

Она ступила левой ногой в хрустнувшую горстку кнопок, стараясь основную тяжесть тела удерживать на правой ноге, и, выждав мгновение, когда нога как бы привыкла, как бы смирилась с болью, ступила на кнопки и правой ногой. Боль ошпарила обе ее ноги, словно на них плеснули кипятком.

Через несколько мгновений боль притупилась и стала горячей и тяжелой. Софичка почувствовала, что главное — застыть и не шевелиться, чтобы новые кнопки не вонзились в ступни, и дышать как можно тише. Так Софичке казалось, что боль не будет вкалываться в нее новыми когтями.

— Некоторые о классовой борьбе любят читать в учебниках, — горестно сказал красавец следователь, возвращаясь на

свое место, — но бояться смотреть на диалектику в ее натуральном виде.

Он сел и с мрачным видом посмотрел на обоих переводчиков. Те молчали. В тишине слышалось, как за окном на лавровых деревьях, разбрызгивая нежный снег, гомонят воробьи. Софичка внимательно сквозь тяжелую, горячую боль вслушивалась в слова следователя, думая, что он сейчас обязательно объяснит причину своей жестокости. Она была уверена, что он сейчас, поставив ее на конторские гвозди, не может не объяснить причину своей безумной жестокости. Но, к своему удивлению, она ни одного слова не поняла из того, что следователь сказал. Ей показалось, что он говорит по-русски, но, чтобы она ничего не поняла из того, что говорят по-русски, такого никогда не бывало. Такого никогда не бывало ни в городе на базаре, ни в разговорах с бойцами рабочего батальона, ни с людьми, забредавшими в Чегем, чтобы обменять вещи на кукурузу.

От боли, от лихорадочного страдания, от непонимания, почему это с ней сделали, что-то в голове у Софички вспыхнуло, она вспомнила фильмы, которые изредка привозили в сельсовет, и, обернувшись к переводчику-абхазцу, крикнула:

— Это лемец!

— Кто? — не понял он.

— Этот, что поставил меня на конторские гвозди!

— Брось, ради Бога! — воскликнул тот, чувствуя, что эта женщина своими наивными предположениями, сама того не желая, усугубляет свою вину.

«Надо было проситься на фронт», — тоскливо подумал он. Ранение освобождало его от воинской повинности, но, если бы он пожелал добровольно идти в армию, его бы взяли.

— Что она сказала? — спросил следователь.

— Глупости, — пожал плечами переводчик, — она говорит, что вы немец.

— Немец, — повторил следователь обиженно и взглянул на Софичку, — немец тебе показал бы...

Ему представилось, как немец ставит ее на кнопки, аккуратно шляпкой вниз повернув каждую кнопку. А ведь он просто сыпанул кнопки на пол, и половина из них стояла шляпкой вверх и не могла вонзиться ей в ноги, но он махнул рукой на это. И вот тебе благодарность: немец!

Зазвонил телефон. Следователь взял трубку.

— Да, стоит, — сказал он. — Нет, чертовка, — добавил он, — молчит, как партизанка... Есть, есть, ждем, — гостеприимно сказал он и положил трубку.

Софичка не помнила, сколько времени она еще стояла. Иногда сквозь горячую боль, поднимающуюся к коленям, врывался в ее сознание щебет воробьев. Она никак не могла взять в толк, как могут щебетать воробьи, когда с ней делают такое. Ее уже лихорадило.

— Пусть подойдет, — сказал следователь, кивая переводчику.

— Сойди, — подхватил переводчик по-абхазски и облегченно вздохнул.

— Насытились, — сказала Софичка, всех троих объединяя еще более лучистым, теперь лихорадочным взглядом.

Она приподняла одну ногу, ударом боли почувствовав, как мгновенно глубже вонзились кнопки во второй ноге. Сошла.

Ее лихорадило все больше и больше. Она нагнулась и, приподняв ногу, вынула из окровавленной подошвы две кнопки и отбросила их. На подошве второй ноги застряло четыре кнопки, и, вынимая последнюю, она порвала чулок и огорчилась своей неосторожной поспешности.

— Пусть подойдет и сядет, — сказал следователь.

Софичка подошла к своему стулу и села. Ее лихорадило.

— Может надеть носки и туфли, — сказал следователь.

Софичка из телефонного разговора поняла, что кто-то должен прийти.

— Хочет, чтоб не видно было крови, — усмехнулась Софичка и стала надевать на ноги шерстяные носки.

Софичке подумалось, что следователь хочет скрыть то, что он сделал, от человека, который должен войти. Она думала, что сам следователь или эти его люди сейчас соберут конторские гвозди и спрячут. Но они почему-то этого не делали. И она не могла понять, радоваться этому или ужасаться. Если они забыли убрать конторские гвозди — это хорошо, она покажет, что ее, женщину, лучшую колхозницу села Чегем, поставили на них. И тогда им всем не поздоровится. А если здесь всех принято ставить на конторские гвозди, тогда что делать? «Не может быть, — думала Софичка, — не может быть! Этот следователь лемец, шпион — таких в кино показывали!»

В самом деле открылась дверь, и вошел высокий плотный человек. Софичка мгновенно узнала в нем того начальника,

который когда-то приходил к ней домой встречаться с Шамилем. Еще сама не осознавая ее причины, Софичка почувствовала волну стыда, ударившую ей в голову, и она мгновенно отвернулась от начальника и опустила голову.

От начальника не укрылся этот ее жест стыда, и он решил, что она стесняется перед ним из-за своих ложных показаний. Все-таки есть в этих дикарях какая-то своеобразная совесть. И он решил сыграть на этом.

— Здравствуй, старая знакомая, — с улыбкой сказал он, подходя к ней.

Софичка преодолела стыд и подняла голову.

— Это лемец, — сказала Софичка, кивая на следователя.

— Кто-кто? — не понял он.

— Лемец, — повторила Софичка и пояснила: — Он из тех, что с нами воюют.

— Ах немец, — догадался начальник. — Почему ты так думаешь, Софичка?

Софичке было приятно, что он запомнил ее имя.

— Он поставил меня на конторские гвозди, — сказала Софичка и показала рукой на угол, — вот там... Они еще валяются... У меня кровь на подошвах. Показать?

— Какой нехороший человек, — грозно сказал начальник, — мы его обязательно накажем, тем более если он немец.

— Лемец, лемец, — с лихорадочной уверенностью подтвердила Софичка, — он притворяется нашим. Только лемец может сделать с женщиной такое.

— Мы его крепко, крепко накажем, — сказал начальник, — за то, что он так ужасно с тобой обращался. Но и ты нам помоги, Софичка. Помоги нам найти твоего брата Чунку. Пойми — ему будет лучше, если он сам придет к нам или ты поможешь нам найти его.

— Его здесь нет, — сказала Софичка, глядя на начальника своими лучистыми и лихорадочными теперь глазами, — он с самого начала войны ничего не пишет. Честное слово. Честное слово. Честное слово.

— Софичка, — тихо сказал начальник и погладил ей плечо рукой, — посмотри мне в глаза.

Софичка и так смотрела ему в глаза. Начальник с пристальным отцовским упреком глядел ей в глаза.

— Когда я зашел сюда и ты меня увидела, — напомнил начальник, — ты ведь почувствовала стыд и опустила голову? Сознайся, Софичка, и я никому не дам пальцем тебя тронуть.

— Да, — сказала Софичка дрогнувшим голосом и, вспомнив свой стыд, снова постыдилась и опустила голову.

— Вот видишь, Софичка, — торжественно сказал начальник и кинул победный взгляд на следователя, — я вижу, что ты честная... А теперь ты мне скажи, почему ты тогда почувствовала стыд?

Софичка стояла, опустив голову.

— Я жду, Софичка, — напомнил начальник и снова ласково погладил ее плечо.

Софичка подняла свои кроткие, лучистые глаза.

— Я постыдилась потому, — сказала Софичка, — что ты у меня в доме принял хлеб-соль, а люди твоего дома мучили меня... Я как-то соединила это все вместе, и мне стало стыдно... Они плюнули и на мой хлеб-соль, и на тебя, и на меня...

Софичка снова опустила голову.

— Только от этого тебе стало стыдно? — спросил начальник.

— Да, — сказала Софичка и снова подняла на него свои лучистые, доверчивые глаза.

И начальнику вдруг стало не по себе. Какая-то тень совсем другого жизнеустройства мелькнула в его сознании. И молнией в голове: «А может, она права?» Но он в тот же миг погасил эту неправильную мысль, даже не сознаваясь в ней самому себе. Но на душе у него осталась какая-то неприятная муть.

— На сегодня хватит, — холодно бросил он следователю и, повернувшись, быстрыми шагами ушел из кабинета.

Софичка удивленно посмотрела ему вслед. Она не понимала, почему начальник сначала был такой ласковый, а потом вдруг обиделся на что-то и так внезапно исчез.

Следователь стал по-грузински переговариваться с переводчиком переводчика, знавшим абхазский язык. Он пытался выяснить, не сболтнула ли Софичка чего-нибудь полезного, что переводчик с абхазского скрыл от него. А тот, кстати, до войны несколько лет работал в Грузии и там освоил грузинский. Об этом в НКВД не знали.

И переводчик с абхазского, понимая по-грузински, теперь очень настороженно прислушивался к тому, что переводчик

переводчика говорил следователю. Он хотел узнать, не интригует ли переводчик переводчика против него и правильно ли он передает смысл его разговора с Софичкой.

Он так сосредоточился на этом, что переводчик переводчика по выражению его лица внезапно догадался, что переводчик с абхазского знает грузинский язык. Радуюсь своей проницательности, он подумал: «Хорошо, что я догадался, но ведь теперь и он, зная грузинский язык, догадался, что я знаю абхазский. Но если следователь узнает, что переводчик с абхазского знает, что я знаю абхазский язык, он меня отстранит от работы. А это мне невыгодно. Надо делать вид, что я не догадался о том, что переводчик с абхазского знает, что я знаю абхазский язык, а сам я не знаю, что переводчик с абхазского знает грузинский. Надо держаться как можно нейтральнее, чтобы не возникло скандала».

Переводчик переводчика по-грузински доложил следователю, что никаких полезных сведений от Софички не поступило. Разве что оскорбила армию, сказав, что на перевале красноармейцы от голода, как дети, собирали ежевику и чернику. А переводчик с абхазского слишком обобщенно это перевел, сказав, что, по ее словам, продукты питания на фронт поступали нерегулярно.

Большей нейтральности он себе не мог позволить. Но и переводчик с абхазского был доволен, вспомнив, что Софичка по мелочам гораздо больше себе напозволяла.

— Это ерунда, — сказал следователь, выслушав сообщение своего тайного помощника, и отправил Софичку в камеру.



...Софичку ставили на кнопки еще два раза, но ничего у нее выведать не могли. Начальник кенгурского НКВД был в нерешительности, не зная, как быть дальше. И вдруг раздался звонок из райкома партии. Секретарь райкома справлялся о том, что дал допрос Софички. Начальник сознался, что допрос пока ничего не дал.

— Отпустите ее, — сказал секретарь райкома, — раз нет доказательств ее вины. Учтите, что она лучшая колхозница села Чегем. Политически правильно будет ее освободить, раз нет доказательств ее вины.

— Хорошо, — ответил начальник, — я и сам собирался ее отпустить.

— Тем более, — сказал секретарь райкома и положил трубку.

Он вообще узнал о том, что Софичка взята органами, от председателя колхоза, который был уверен в невинности Софички и любил ее за кроткое и неутомимое трудолюбие. Вопрос о Шамиле, по его разумению, сам собой отпал из-за его самоубийства, а в то, что Чунка прячется в лесах, он не верил своим здоровым мужичьим умом. Жалобы о том, что Чунка не пишет с начала войны, не умолкали в Большом Доме, не умолкали в доме родной сестры Чунки и не умолкали в устах Софички. Нет, перехитрить они его не могли, если бы, продолжая жаловаться, что от него нет весточки, были бы связаны с ним, как с дезертиром.

Через две недели, кое-как подлечив ей ноги, Софичку выпустили. Начальник через своих людей приказал чегем-

скому осведомителю пристально и осторожно следить за домом Софички.

Перед тем как ее отпустить, он вызвал ее к себе. Он сказал ей, что сперва не поверил ей, что человек, допрашивавший ее, — немец, но теперь убедился, что это так. Этот человек по его приказу арестован. Он поплатится за свои зверства. (На самом деле следователь уехал в командировку в другой район. Начальник был уверен, что в ближайший месяц накроют Чунку, когда он будет входить или выходить из дома Софички.) Начальник извинился перед ней за все ее мучения и очень просил никому не говорить о том, что здесь было. Этим могут воспользоваться враги, а если враги этим воспользуются, вина падет на нее. Он поверил, что Чунка погиб на фронте, и приказал больше этим делом не заниматься. Он попрощался с ней за руку и сказал, чтобы она спокойно жила у себя в Чегеме и работала.

Софичка радостно вышла на улицу и в тот же день к вечеру прибыла в Чегем. «Наверное, уже не ждут меня», — думала она, спускаясь с верхнечегемской дороги и открывая ворота во двор Большого Дома. Залаяли собаки.

— Софичка пришла, Софичка! — крикнули дети дяди Кязыма, первыми выбежавшие во двор. Они бросились в ее объятия.

Вечером за ужином Софичка, возбужденная, сверкая своими лучистыми глазами, рассказывала обо всем, что с ней было.

— Говорит, враги могут воспользоваться, — махнув рукой, пересказывала она прощальный разговор с начальни-

ком, — большие люди тоже иногда глупости говорят. Где уж тут враги у нас!

По словам Софички получалось, что страшнее всего были не пытки конторскими гвоздями, а то, что по ночам ей слышался беспрерывный плач детей Кязыма, Маши, Шамиля. Дети рыдали и умоляли ее спасти их.

Одни чегемцы, слушая этот ее рассказ, скептически качали головами и говорили, что такое ей примерещилось от пыток. А другие чегемцы, более причастные к науке, как они думали, говорили, что такое получается оттого, что в еду арестованных подкладывают лекарства, от которых человек слабеет духом и говорит начальству именно то, что от начальства надо скрывать.

Жену Шамиля так и не выпустили. Ее обвинили в том, что она не только не донесла на мужа-дезертира, но и была связана с ним, дав ему крестьянскую одежду и снабжая его продуктами. Ее отправили в один из сибирских лагерей, откуда она так и не вернулась. Софичка дважды по этому поводу писала письма Сталину. Она уже знала, что кенгурский следователь выпущен из тюрьмы, если вообще там сидел, и продолжает работать у себя в НКВД. Поэтому Софичка и кенгурскому начальнику больше не доверяла. Она писала Сталину, что Шамиль бежал с фронта от голода, и он сам себя наказал, убив себя. А жена его ни в чем не виновата. А сама она первая колхозница Чегема и просит за невинную женщину, у которой остались двое детей. На первое письмо, посланное обычной почтой, она не получила ответа от Ста-

лина. Тогда она решила, что письмо перехватили в Кенгурске и не дали ему ходу. Второе письмо к Сталину она послала по-другому, решив перехитрить кенгурское начальство. Она вложила его в письмо Тали, которое она писала на фронт к мужу, с тем чтобы он оттуда его переправил Сталину. И это письмо дошло до мужа Тали, и он сообщил, что переправил письмо тому, кому Софичка его адресовала. Софичка в первый день, узнав, что письмо теперь дойдет до Сталина, была окрылена надеждой. Но проходили дни и месяцы, и надежда ее тускнела. От Сталина не было ответа. Софичка не знала, что и думать. С одной стороны, она надеялась на Сталина, а с другой стороны, она точно знала, что дедушка Хабуг ненавидит и презирает Сталина. Неужто прав дедушка Хабуг?

В августе 1944 года старый Хабуг умер. За неделю до смерти он еще тесал новое топориче. Именно тогда он почувствовал, что смерть близка: силы, уходившие на труд, были несоразмерны труду. И так как подобного никогда в жизни у него не бывало, он понял, что это она. Ему уже было сто три года. Смерти он боялся не более дерева, теряющего осенние листья. Он сказал невестке, тете Нуце, что хочет вымыться, и велел ей нагреть воду и дать ему чистое нижнее белье.

Он тщательно вымылся, переделся в чистое белье и велел невестке принести ему праздничную верхнюю одежду, которую он не надевал уже десятилетиями.

— Ты что, в дороге собрался? — удивилась тетя Нуца.

— Да, в дорогу, — ответил старый Хабуг, одевшись и оглаживая одежду, довольный ее прочностью и чистотой: путь предстоял нешуточный.

— Куда тебя несет?! — гневно удивилась невестка, думая, что он собрался в соседнее село. — Ты старик. Кто тебя будет сопровождать? Все заняты!

— А вот провожатых как раз мне и не нужно, — ответил старый Хабуг таким голосом, что невестка стала о чем-то догадываться.

— Принеси мне подушку, — сказал старый Хабуг и, стянув бычью шкуру с перил веранды, поволок ее в тень яблони.

И это потрясло Нуцу. Никогда на ее памяти он не лежал под тенью яблони, даже в самый жаркий полдень. Он мог сидеть под тенью яблони, но обязательно при этом плести корзину, точить напильником клинок мотыги или лопаты или мастерить себе чувяки из сыромятной кожи. Но чтобы старый Хабуг поволок под тень яблони бычью шкуру и улегся на ней, такого не бывало. И тут невестка сильно заволновалась, вынесла из горницы подушку, выбила ее и старательно подложила под голову старика.

— Не вздумайте меня мыть, — сердито напомнил старик, — если со мной что-нибудь случится. Ты же видела, что я мылся, и другим скажи...

Неделю он умирал, и каждый день по его просьбе его выносили под яблоню. Кроме Тали и Софички, он никого возле себя не хотел видеть. Но если приходили люди, терпел их молча. На второй день привезли доктора, внука охотника Тендела.

Старый Хабуг насмешливо дал себя ощупать и прослушать. Проявив достаточное терпение по отношению к врачу, он иронически спросил у него:

— Разве от старости есть лекарство?

— Если заболели, — отвечал врач, — можно чем-нибудь помочь.

— Я умираю не от болезни, а от старости, — сказал старый Хабуг, — хватит лапать меня.

Врач смущенно пожал плечами и выпрямился. Он ничего не мог понять, сердце старика работало, как у двадцатилетнего юноши.

На следующий день, когда старый Хабуг лежал под яблоней, на Чегем обрушилась гроза. Могучие струи дождя забарабанили по широкой кроне яблони. Старика хотели перенести в дом, но он отказался. Дождевые капли, просачиваясь сквозь густую крону, иногда падали ему на лицо и на вывернутые, корявые от многолетних трудов руки.

Старик с удовольствием слушал, как дождь оmyвает стебли кукурузы, листья и плоды яблони, гроздья винограда, толстая лоза которого вилась по дереву. С жадной радостью шумели под дождем ореховые деревья. Дождь был нужен — кукуруза и фруктовые деревья добирали последние предосенние соки.

— Мащ-аллах, благодать, — шептал старый Хабуг и слизывал с ладоней дождевые капли.

Многообразный грохот ливня на листьях деревьев, винограда, на стеблях кукурузы, на траве постепенно сменился

спокойным, напыщенным шумом, словно природа, второпях утолив первые приступы жажды, уже ровными глотками вбирала в себя живительную влагу.

Следующий день выдался особенно жарким. Старый Хабуг стал тяжело дышать, словно упорно взбирался на неведомую гору. Он часто просил пить. Тали или Софичка подавали ему его любимый напиток — кислое молоко, смешанное со свежей родниковой водой. Старик поднимал свою голову, свое лицо со стремительным горбоносым профилем и быстро высасывал стакан, как всегда при жизни после тяжелой работы. И смерть была его последней тяжелой работой, с которой он с таким азартом, с такой радостью справлялся при жизни. Но не только работой смерти, но и работой жизни был занят его мозг.

— Если Большеусый умрет, — вдруг внятно сказал он неизвестно кому, когда думали, что он уже в полном беспмятстве, — может быть, к чему-нибудь придем...

Это были его последние слова, которые можно было разобрать. Как и многие мощные натуры, он, умирая, выразил то, что больше всего беспокоило при жизни его душу.

И при виде этого маленького мертвого старика трудно было поверить, что он еще застал амхаджирство, насильственное переселение абхазцев в Турцию, бежал оттуда с юной женой, обосновался в Чегеме, неистовой работой заставил цвести и плодоносить эту дикую землю, развел неисчислимы стада коз и овец, насадил сотни фруктовых деревьев, оплел их сотнями виноградных лоз, хотя сам за всю жизнь не выпил и ста-

кана вина, правда, мог съесть полкорзины свежего винограда, выдолбил целую флотилию ульев (мог вытянуть, даже не присев, увесистую кружку пахучего меда — любил мед), ездил всю жизнь на муле, презирал насмешки абхазцев, считавших мула недостойным верховой езды, а ему на муле было удобнее, презирал пьяниц и лентяев, даже презирал абреков, независимо от того, почему они ушли в лес, народил дюжину детей, и Большой Дом был полной чашей, где бесконечные гости, бежавшие от долинной лихорадки, целыми днями во дворе, в тени деревьев на шкурах животных, переплывали лето, изредка приподнимая задницу, чтобы не отстать от тени, и дочери сбивались с ног, готовя на этих бездельников, но все равно летом было столько молока, что его не успевали переработать в сыр, ведрами отдавали соседям, сливали собакам, а потом в коллективизацию потерял почти все, но не впал в уныние, потому что главного у него никто не мог отнять при жизни — его богатырской, пьянящей радости любви к труду. Вот что может один человек — как бы кричала вся его жизнь.

При стечении всей родни, кроме тех, что были на фронте, всего села и многих людей из других сел с почетом похоронили старого Хабуга на семейном кладбище.

На поминках те или иные односельчане со смехом вспоминали его гомерические вспышки гнева при виде плохой работы или плохо сработанной вещи. И ради полной правды надо сказать, что восхищение его трудолюбием сопровождалось не очень тонко дозированной насмешкой, потому что лень и пьяные застолья уже и в Чегеме становились нормой.



Кончилась война. Из самых близких родственников убитыми оказались только Чунка и муж Тали. Нури, хоть и был дважды ранен, вернулся в Мухус живым и с боевыми наградами. Нури захотел увидеться с родными, и дядя Кязым, посоветовавшись с Софичкой, разрешил ему приехать. Софичка не собиралась прощать брату убийство мужа, но после такой войны, она считала, брат заработал право увидеться с родными. Готовились к пиршеству.

Софичка помогала тете Нуце и Тали резать кур, жарить их на вертеле, готовить сациви, печь хачапури. Во время этих приготовлений дядя Кязым отозвал Софичку в горницу.

— Софичка, — сказал он, — кончилась страшная война. Убит Чунка, убит Баграт, убиты многие наши родственники. Иные вернулись покалеченными. Нури, слава Богу, жив, хотя дважды был ранен, и имеет награды. Его сегодняшнее посещение Большого Дома давай сделаем днем прощения его греха... Ведь столько лет прошло, мертвого все равно не воротить... Мне передавали: он ждет твоего прощения, надеется на него.

— Я рада, — сказала Софичка, — что Нури вернулся к своей жене и к своим детям. Но простить ему убийство мужа не могу.

— Но почему, Софичка, ведь прошло столько времени?

— Не знаю, — сказала Софичка, — получится, что я предала своего мужа.

— Он так ждет твоего прощения, Софичка.

— Нет, — повторила Софичка, — зла я на него не держу, но пусть терпит. Будет знать, как в живого человека топором швыряться.

— Эх, Софичка, — сказал дядя Кязым и вышел из комнаты.

Софичка еще некоторое время помогала на кухне, а потом перед приходом брата ушла к себе домой. По дороге она встретила тетю Машу, которая со всем своим семейством направлялась на пиршество в Большой Дом. Понимая, почему Софичка там не осталась, тетя Маша виновато опустила глаза и прошла мимо Софички со своими дочерьми. Софичка не держала ни на кого обиду, но ей было очень грустно.

Годы шли. За это время Софичку дважды награждали орденами за трудовую доблесть. В тот день Софичка вместе с другими колхозницами мотыжила кукурузу на поле. Вдруг одна из женщин разогнулась и, опершись на мотыгу, под большим секретом рассказала новость. Оказывается, вчера вечером в сельсовете собрали всех партийцев села и сказали им, что на днях будут выселять из Чегема греческие и турецкие семьи. В Чегеме в ту пору жили три греческие семьи и две турецкие.

Софичка уже слыхала, что греков выселяют из Абхазии, но она думала, что это касается тех сел, где целиком живут греки. Она не думала, что выселение дойдет и до Чегема. Тем более она не знала, что выселять будут и турок. Что же будет со старым Хасаном, его женой и его двумя внуками? Они же погибнут в этой распроклятой Сибири!

— Увезут, Софичка, твоего бедного Хасана с внуками!

— Нет, — воскликнула Софичка, задыхаясь от возмущения, — это несправедливо! Как же могут выслать стариков с детьми?!

— Могут, — подтягивая землю мотыгой, сказала одна из колхозниц, — эти все могут!

— Нет, — отрезала Софичка, — такой подлости не может быть!

— Может, ради тебя оставят, — сказала одна из колхозниц насмешливо, — ты ведь на них горбатишься всю жизнь. Стахановка!

— Конечно, — согласилась Софичка, — я сейчас же пойду к председателю.

— Только не говори, что я рассказала, — предупредила та, что сообщила о собрании партийцев.

— Не бойся, — успокоила ее Софичка, — про тебя я не скажу.

Софичка положила на плечо свою мотыгу и быстро пошла в сторону дома. Она пришла домой и вымыла с мылом лицо и руки. Потом вымыла ноги. Переделалась в праздничное крепдешинное платье, надела еще достаточно новые туфли. Потом надела на себя пиджак, сунув во внутренний карман два своих ордена и кипу грамот за трудовую доблесть. Пошла в правление колхоза. Через полчаса она уже входила в кабинет председателя колхоза.

— Здравствуй, Софичка, — сказал председатель колхоза, поднимая лицо над бумагами.

— Здравствуйте, — ответила Софичка и приблизилась к столу.

— Дело какое? Садись, — сказал председатель, привставая и приветливо глядя ей в лицо.

— Нет, я постою, — сказала Софичка и подошла к столу.

— Так что тебя привело? — спросил председатель.

«Эх, если бы хоть четверть колхозников работали так, как она, чегемский колхоз был бы первым в районе», — с бесплодной грустью подумал он.

— Это правда, что греков и турок будут выселять из Чегема? — дрогнувшим голосом спросила Софичка.

— Кто тебе сказал? — спросил председатель, и по тени страха, наплывшей на его лицо, она поняла, что это правда.

— Люди говорят, — сказала Софичка и прямо в глаза ему посмотрела своими лучистыми глазами.

— Хоть и правда — тебе-то что?

— Я к тому, — разъяснила Софичка, — чтобы семью старого Хасана не выселять. Куда ж им ехать, старикам с детьми?

Тут председатель вспомнил, что они родственники.

— Это дело политическое, — тихо сказал он устрашающим голосом, — у нас не спрашивают, кого выселять.

— Я к тому, — сказала Софичка, — чтобы вы замолвили за него словечко. Я же кумхозу всю жизнь отдала...

— Знаю, Софичка, — ответил председатель, — и мы тебя любим за это, и государство тебя орденами наградило. Шутка ли!

— Я к тому, — сказала Софичка, — что это уж очень подло получается. Куда же в Сибирь уезжать старикам с детьми?

— Я же тебе говорю, Софичка, что это дело политическое, — терпеливо повторил председатель, — у нас никто не спрашивает. Это Москва решает. Москва!

— Я к тому, — повторила Софичка, — что они там не выживут.

— Ну, что ты заладила, Софичка, — терпеливо повторил председатель, — это дело политическое. Я даже заикнуться об

этом не могу. Когда тебя взяли в НКВД, я сам позвонил секретарю райкома, и тебя выпустили. А тут и заикнуться нельзя.

— А кто же может им помочь?

— Никто, никто, — отвечал председатель, теряя терпение.

— А когда им ехать? — спросила Софичка, как бы переходя к другой мысли. И у председателя отлегло.

— Тебе я скажу, — наклонился к ней председатель, — хоть это тайна. Завтра или послезавтра за ними придут машины.

— Выходит, — сказала Софичка, — мне пора собираться?

— Не дури, — заволновался председатель, — тебе-то зачем собираться?

— Кому как не мне, — ответила Софичка, — у них родственников больше нет.

— Не сходи с ума, Софичка, — растерялся председатель, — зачем тебе ехать в Сибирь? Там зима почти круглый год.

— Вот я и думаю, — сказала Софичка, роясь во внутреннем кармане пиджака, — до чего же подло стариков с детишками туда отпускать одних.

Она вынула из кармана кипу грамот и ордена и положила все это на стол.

— Это еще что? — удивился председатель.

— Раз вы не можете помочь моим старикам, заберите это себе, — сказала Софичка, — выходит, вы меня, как дурочку, обманывали этими побрякушками. Не нужны они мне.

— Ты что, Софичка, не дури! — крикнул председатель, вскакивая с места, но Софичка уже выходила из его кабинета, так и не обернувшись на его голос.

Самое забавное, пожалуй, состоит в том, что через год, когда она вместе со своими стариками и детишками жила на далеком острове на Енисее, ордена вместе со всеми грамотами аккуратно пришли на ее имя. И лейтенант, присматривавший за ссыльными, дивясь ее наградам, выдал ей все и, покачив головой, как позже рассказывала Софичка, сказал:

— Кто же такую героиню мог выслать? Евреи, наверно...

Тогда шла уже антикосмополитическая кампания, и в голове у лейтенанта все перепуталось. Софичка об этой кампании ничего не знала.

— А при чем тут евреи, — ответила Софичка лейтенанту, — я их и в глаза никогда не видела.

Потом Софичка завернула ордена в эти грамоты и сбросила в Енисей. Ордена были достаточно тяжелые, и ком наград легко пошел на дно.

...Софичка быстро шла к дому старого Хасана. «Если завтра ехать, — думала она, — надо успеть все приготовить: и еду, и одежду, и утварь. А что делать со скотом, с курами? — волновалась Софичка. — Надо и мне быть готовой».

Она вошла в дом старого Хасана. Он сидел на кухне у открытого очага. Оказывается, он уже слышал про высылку, только не знал, что это будет так скоро.

— Если б не эти сироты, — сказал старый Хасан, — я бы никуда не уехал. Я бы застрелил свою старуху и сам застрелился бы. Придется ехать в эту распроклятую Сибирь.

— Ничего, — успокоила его Софичка, — я еду с вами. Как-нибудь выживем.

Старый Хасан посмотрел на Софичку, и глаза у него увлажнились.

— Бог отблагодарит тебя, Софичка. Но что скажут твои родственники?

— Я их уговорю, — сказала Софичка, — вы не беспокойтесь. Пока собирайте вещи. Я пойду к своим. К вечеру вернусь.

Софичка вышла из дома старого Хасана и пошла по верхнечегемской дороге. Не заходя к себе, она прямо направилась к Большому Дому.

Когда она рассказала о своем намерении ехать в Сибирь вместе со старым Хасаном и его семьей, тетя Нуца запримолчала, а дядя Кязым стал уговаривать ее не делать этой глупости. Сколько он ее ни ругал и ни отговаривал, Софичка стояла на своем.

Поняв, что решение ее бесповоротно, он сказал ей, чтобы она оставила ему свою корову и все ценные вещи, которые она не может вывезти с собой. Он дал ей две тысячи рублей, чтобы она могла в первое время покупать на месте продукты и что понадобится по дому.

Вместе с дядей Кязымом и тетей Нуцей они спустились к ней домой и стали собирать ее в дорогу. Собрав два чемодана и осторожно вложив туда большую фотографию мужа, Софичка с кувшином спустилась к роднику, а оттуда, как обычно, вернулась на могилу мужа. Она постояла над ним и рассказала ему обо всем. Она сказала, что, несмотря на высылку, надеется, что когда-нибудь они вернуться, и тогда она ему расскажет об их сибирской жизни. Как всегда, после разговора с мужем на

душе у нее полегчало. Она поняла, что муж всячески одобряет ее решение не оставлять его родителей и племянников.

Возвратившись на родник, она набрала кубышкой, плававшей на поверхности родника, свежей воды и долго тянула вкусную ледяную воду. Софичка была уверена, что такой воды нет больше нигде, а в Сибири не будет и подавно. Ей хотелось запомнить вкус родной воды.

Она наполнила кувшин, нарвала ком из папоротниковых стеблей, положила его на плечо и взгромоздила туда же кувшин. И пошла к себе. И кувшин казался ей легким, как никогда. Видно, никогда настолько не одобрял муж ее действия.

Тарелки и постельное белье уже забрала в Большой Дом жена Кязыма. Кур она решила забрать вечером, когда они зайдут в курятник. Вечером же она отгонит к себе корову и теленка.

Софичка взяла горсть соли и подошла к теленку, который пасся во дворе. Пока теленок ел соль с ее ладони, она гладила его голову и теплую, мягкую шею. Доев соль, теленок замотал головой и отошел от Софички. Софичка грустно вздохнула и вернулась на кухню. Она подошла к очагу и засыпала жар золой, словно надеялась вернуться сюда и выгрести горячие угли. Пока она возилась в кухне, вдруг раздался резкий стук молотка. Это дядя Кязым забивал досками двери и окна в горнице. Софичке на минуту стало не по себе. Ей показалось, что ее живую заколачивают в гроб.

Взяв в руки по чемодану, она и дядя Кязым вернулись в Большой Дом. Софичка прошлась по комнатам дедушкиного дома, и ей показалось, что она слышит запахи детства. По-



том она обняла и расцеловала детей Кязыма и вместе с ним, взяв по чемодану, они ушли к старому Хасану. Было решено, что остальные родственники придут с ней прощаться туда. Дядя Кязым сговорился со старым Хасаном забрать его двух коров, продать их, а потом прислать им деньги в Сибирь, когда они обоснуются там и пришлют свой адрес. Вечером жена старого Хасана в последний раз подоила коров, и Кязым вместе с телятами угнал их к себе домой.

На следующее утро в дом старого Хасана набилось много односельчан. Все уже знали, что их будут высылать, и пришли с ними попрощаться. Многие приносили с собой хачапури и жареных кур. Софичка с раннего утра металась между кухней и горницей. Готовила фасоль, сациви, мамалыгу, рассаживала гостей и хозяйничала над столами. Старый Хасан раскрыл все свои запасы вина и чачи и, сидя во главе стола, витийствовал, насылая на головы властей чуму и моровую язву.

Часа в три дня, когда некоторые особенно опьяневшие гости подзабыли о причине, которая их здесь собрала, у дома старого Хасана загудела машина и остановилась.

Гости высыпали во двор. Некоторые из женщин зарыдали, некоторые завывали. Из кабины машины выскочил офицер, из кузова попрыгали два солдата с автоматами. Лица у солдат были растерянны. Офицер держался тверже, но чувствовалось, что ему нелегко дается эта твердость.

Толпа ревела, и многие одновременно говорили, стараясь перекричать друг друга. Обнимались, целовались, в слезах прощались. Старый Хасан, стоя на веранде, гром-

ко призывал гостей не расходиться после их отъезда, а до-есть закуски и допить все оставшееся вино и снова помянуть уезжающих в Сибирь в своих тостах. Сосед громко обещал старому Хасану беречь его дом и ждать его приезда.

Наконец отъезжающие взобрались в кузов вместе с солдатами, и грузовик запыллил дальше. Машина останавливалась возле каждого дома, откуда выселялись люди, и везде было полно народу, везде поднимались крики, рыдания, и Софичке каждый раз приходилось спрыгивать с машины, чтобы попрощаться с односельчанами.

Наконец грузовик выехал из села и направился в сторону Кенгурска. Там их посадили в поезд и повезли. Судя по скучным письмам Софички, их много дней и ночей везли в поезде и на многих станциях им выдавали горячий борщ и хлеб. Так что они не голодали.

Наконец они приехали в большой сибирский город, и там была большая сибирская река под названием Енисей. Там их пересадили на пароход и повезли по реке. Много дней и ночей они ехали на пароходе и ссыльных постепенно ссаживали на маленьких пристанях.

И вот они приехали на остров, где оставили их. Здесь оказался колхоз. Председатель отвел им пустую избу. Старик Хасан стал работать по плотничной части, а Софичку приставили к ферме ухаживать за скотом, и, так же, как у себя в Чегеме, она стала лучшей работницей. Люди здесь были добрые. Однажды, когда она нашла в тайге и гнала на

ферму сбежавшего быка по кличке Моряк, ей встретился местный житель. Он взглянул на нее и крикнул:

— Три, три щеки, а то отмерзнут!

И она оттерла щеки, и они не отмерзли. А ведь мог и молча пройти мимо. Люди здесь добрые, и молока всем хватает. Председатель ее уважает.

Дети ходят в школу, но школа за рекой на берегу. Поэтому Софичка научилась управлять лодкой и перевозит детей до школы и обратно, когда нет льда.

Старший мальчик, окончив школу, пошел работать на лесозаготовки. Он стал настоящим мужчиной и хорошо зарабатывает. Потом от Софички долго не было писем. Потом пришло письмо о том, что у них случилось несчастье. Спиленное дерево упало не в ту сторону и подмяло сына Шамяля своими страшными ветками.

Софичка и вся семья были потрясены горем. Мальчика похоронили на островном кладбище, и семья Софички как бы закрепились на этой земле первой могилой. Но старый Хасан, приближенный возрастом к смерти, очень не хотел ложиться в мерзлую сибирскую землю.

Умер Сталин. Что-то ожило в стране, зашевелились поселки ссыльных, с надеждой вздохнули люди. Софичка обязана была каждый месяц переезжать на лодке Енисей и отмечаться в отделении милиции. После смерти Сталина она перестала ездить туда отмечаться, и их никто не беспокоил по этому поводу.

— Я давно знала, что Сталин плохой, — сказала Софичка, узнав, что партия осудила Сталина, — еще с тех пор, как он не

захотел отвечать на мое письмо. А дедушка всегда говорил, что Сталин — разбойник.

Как только открылась река, старый Хасан стал собираться в дорогу, хотя никакого разрешения уезжать у него не было. Смерть Сталина сама по себе стала залогом свободы и сама по себе заставила насильников тревожно задуматься.

Председатель колхоза не отпускал их, грозил тюрьмой, очень уж он не хотел лишаться такой работницы, как Софичка. Да и никаких распоряжений пока еще не было относительно ссыльных. Но время сдвинулось, и председатель понимал, что у него нет уже такой власти, чтобы насильно задерживать их.

Они взяли билеты и сели на пароход. Без соответствующих бумаг капитан не имел права их брать, но время сдвинулось, и соответствующие бумаги заменили соответствующие бутылки водки. Потом они пересели в поезд и приехали в Абхазию. В Кенгурске, выйдя из поезда, старый Хасан наклонился, выцарапал щепоть земли и поцеловал ее.

В Чегеме их радостно встретили, и они поселились в доме Софички, потому что, увы, дом старого Хасана разобрали, пока он был в Сибири. Это было постыдно, но никто не верил, что они могут вернуться назад. Дядя Кязым отдал Софичке одну из своих коров, чтобы у нее было молоко. Деньги от продажи коров старого Хасана он давно отослал им в Сибирь.

Старого Хасана вызвали в кенгурскую районную милицию, пытаясь выяснить, по каким бумагам он приехал из Си-

бири. Но он потребовал у них показать бумагу, по которой его выслали из Чегема. Такой бумаги у них не нашлось, и они, махнув рукой, отпустили его в Чегем.

Софичка снова работала в колхозе и снова стала лучшей. Сверстницы ее теперь еще больше отставали от нее, а из молодых ее никто не мог догнать. Теперь, при Хрущеве, в колхозах, производящих табак и чай, за трудодни платили приличные деньги. На сибирских морозах Софичка слегка усохла, но по-прежнему была сильна и неутомима.

— Я двужилъная, — говорила она, когда удивлялись ее энергии, — меня ничего не берет.

Вскоре умерла жена старого Хасана, а потом заболел и он какой-то неизлечимой желудочной болезнью. Целыми днями он лежал на кушетке и, если приходили его навестить, рассказывал односельчанам о чудной сибирской жизни. Ел он теперь только похлебку из вина, в которую крошил чурек. Потом умер и он. Его, как и жену его, похоронили на их семейном кладбище рядом с могилой Шамиля.

К этому времени совсем выросла и расцвела дочь Шамиля, Софичкина воспитанница и любимица Зарифа. Как хороша она стала, какой загадочный свет струили ее темные продолговатые глаза!

Вскоре в нее влюбился учитель из Кенгурска, приехавший с учениками помогать колхозу, как это было принято тогда. Зарифа тоже его полюбила и вышла за него замуж.

В день, когда отправляли невесту в Кенгурск, Софичка рано утром пришла на могилу мужа. Постояла над ней, мыслен-

но, а иногда и вслух рассказывая ему новости. Она сказала ему, что вот воспитала дочь его брата, вырастила в холодной Сибири, а теперь выдает ее замуж за ученого человека, учителя. Она приготовила ей такое приданое, что ни перед кем не будет стыдно. Зарифа будет жить в городе Кенгурске, и его невинно пролитая кровь продолжится в жизни детей Зарифы, раз сама она не успела родить ему ни дочки, ни сына.

Около часу она стояла возле могилы мужа, разговаривая с ним и время от времени пригибаясь, чтобы вырвать сорняк из-под какого-нибудь цветочного стебля. Умиротворенная тем, что мужу ее скорее всего понравилось все, о чем она ему рассказала, она вернулась домой.

В ночь после свадьбы Зарифы Софичке приснился стыдный сон. Ей приснилось, что она встретилась с мужем после долгой разлуки. Словно он был летом на альпийских лугах со скотом, но в то же время она чувствовала, что это лето длилось невероятно долго, со дня его смерти, о которой она помнила во сне, но во сне же, стыдясь перед ним живым, что помнит об этом, делала вид, что ничего не помнит. И он взошел к ней на постель и взял еще более ослепительно, чем при жизни, взял ее с какой-то нежной скорбью, накопившейся в нем после многолетней разлуки.

Она проснулась среди ночи, стыдясь случившегося, оглушенная пережитым счастьем и гадая, что бы мог означать ее сон. Сон ее, скорее всего, означал, так думала она, что Зарифа в замужестве будет счастлива и замужество ее будет плодородным.

В самом деле, Зарифа через год родила мальчика, а еще через год девочку. Но тут случилось то, о чем Софичка никогда не подумала и чего она никогда до конца так и не поняла. В Зарифе проснулась жестокая, жадная, красивая самка. Она чувствовала, что многим, очень многим нравится, а зарплаты мужа едва хватает сводить концы с концами. У нее родилось стойкое ощущение чудовищной несправедливости, убеждение, что красота ее недооценивается. И так как взять было не с кого, она стала, как стервятник, все рвать у Софички. Сначала Софичка сама им помогала, удивляясь, что учитель зарабатывает меньше, чем она, крестьянка. Потом Зарифа стала брать у нее весь ее заработок и все, что она выручала, продавая на базаре орехи или сыр.

Зарифа завидовала всем, кто в Кенгурске был зажиточнее, чем ее семья. А таких было большинство. Тех, кто жил так же бедно, как ее учительская семья, или еще беднее, она просто не замечала. И зависть ее была острым, болезненным чувством, заставляющим ее по-настоящему страдать.

Зарифа завидовала всем, но больше всего завидовала Софичке за то, что та никому не завидовала и не испытывала тех страданий, которые испытывала она. Софичка счастливая, думала Зарифа, ей ничего не нужно. Независтливость Софички она воспринимала как следствие удобной дурости ее. А свою завистливость она воспринимала как страдание умного существа, понимающего, что к чему, как неудобство от ума. И поэтому ей казалось естественным рвать и рвать у Софички все, что можно, и не испытывать при этом никакой жалости и никакого стыда.

И вдруг Зарифа в один из приездов к Софичке стала плакаться, что она с мужем и двумя детьми живет в однокомнатной квартире и ей до того стыдно перед людьми, что она не знает, как быть дальше и не наложить ли ей на себя руки. Софичка ужаснулась и вспомнила, что и отец ее покончил с собой и, наверное, это у нее в крови.

— Что ты говоришь, Зарифа?! — воскликнула Софичка. — Мы что-нибудь придумаем!

— Покамест вы что-нибудь придумаете, меня не будет, — жестко отвечала Зарифа, — лучше бы я погибла в Сибири, а не мой брат!

— Зарифа, замолчи! — крикнула Софичка. — У меня сердце разорвется!

— Продай дом, — вкрадчиво предложила Зарифа, — у меня ведь тоже здесь своя доля.

Софичке стало неловко. Ей даже не пришла в голову мысль, что никакой доли Зарифы в ее доме нет.

— А мне куда? — робко спросила Софичка, думая, что Зарифа позовет ее в город к себе. Но она так не любила бывать в городе с его пылью, грохотом и суматохой. Но Зарифа не предложила ей переехать к себе.

— А ты переезжай в Большой Дом, — сказала она Софичке, — ты же всю жизнь ишачила на них. Да и дедушка любил тебя больше всех! А дом этот строил твой дедушка!

— Дедушка больше всех любил Тали и меня, — поправила Софичка. И опять ей в голову не пришло, что она в девятнадцать лет вышла замуж и никак не могла всю жизнь ишачить



на Большой Дом. Но напор нахальства на деликатную душу — своеобразный гипноз. В силе напора как бы подразумеваются знания, которых нет у деликатной души, и она покоряется напору, как превосходству больших знаний.

В сущности, так и можно было сделать. В сущности, и дядя Кязым, и тетя Нуца неоднократно предлагали ей перейти жить в Большой Дом. Они жалели ее за одиночество, но и такую работницу иметь в доме кто бы не пожелал.

— Хорошо, — сказала Софичка, — продадим.

Зарифа, не ожидавшая такой быстрой победы, порывисто обняла Софичку и даже прослезилась.

— Только ты меня жалеешь в этой жизни, больше никто! — воскликнула она.

— Кого же мне жалеть, как не тебя, сироту! — воскликнула Софичка и тоже расплакалась.

Зарифа уехала. Софичка на следующий день пришла в Большой Дом и сказала, что ей в самом деле приелась ее одинокая жизнь и она хочет вернуться в Большой Дом. Но теперь, когда Зарифа уехала и она сама приостыла, ей показалось стыдным признаться в том, что свой дом она собирается продать и отдать деньги за него Зарифе. Она знала, что дядя Кязым недолюбливает Зарифу и часто насмехается над ней. Недолюбливает — это было не то слово. Он ее просто ненавидел, зная, как она беззастенчиво грабит Софичку. Но, жалея Софичку, он дальше насмешек над этой теперь городской кекелкой не шел. Сейчас он сразу все понял, зная, что Зарифа приехала к Софичке.

— Софичка, — сказал дядя Кязым, — наш дом — это твой дом. Ты здесь выросла. Но с одним условием, Софичка...

— Каким? — спросила Софичка, ничего не понимая.

— Чтобы духу этой кекелки никогда не было в нашем доме!

— Не будет, дядя Кязым. Но ты к ней несправедлив. В городе так стыдно быть бедным!

— А знаешь, что нужно было бы для справедливости, Софичка? — насмешливо спросил дядя Кязым.

Он спросил спокойно, но изнутри весь клокотал. Он умел себя держать в руках, как настоящий горец.

— Что? — наивно спросила Софичка.

— Надо было бы все шнурометры, на которые ты нанизывала табак, — сказал дядя Кязым, — сунуть ей в задницу и тянуть изо рта. Небось лет десять пришлось бы тянуть. Вот тогда бы она поняла, кто ты и кто она! Дом они сами будут продавать, или мне тебе его продать?

— Ты продай, — сказала Софичка, убитая его презрением к Зарифе и одновременно чувствуя, что он продаст лучше.

— Правильно, — насмешливо сказал дядя Кязым, — они оба такие дураки, что и дом твой толком продать не сумеют. Облапошат их.

— Но он же не из простых, он же учитель, — сказала Софичка.

— Учитель, — презрительно повторил дядя Кязым, — чему может научить детишек этот учитель, если сам эту куклу, набитую опилками, спутал с женщиной.

Через месяц дядя Кязым продал дом Софички человеку из местечка Наа. Кязым получил хорошие деньги за дом. Новый хозяин дома разобрал его и на быках вывез к себе. Софичка отвезла деньги Зарифе в Кенгурск. Та приняла деньги без особой радости, как должное.

— Деньги — это не главное, — сказала она, пряча их, — надо теперь продать эту однокомнатную и найти трехкомнатную квартиру. А мой муж такой остолоп, кроме своей школы, ничего не знает...

В конце концов ей удалось купить хорошую трехкомнатную квартиру. И Софичка продолжала ей помогать, втайне от дяди Кязыма, потому что новая квартира требовала новой мебели.

Кстати, когда Зарифа выходила замуж, из Мухуса Нури дал знать, что хочет приехать на ее свадьбу с хорошими подарками, но Софичка наотрез отказалась и от его подарков, и от его присутствия на свадьбе. Однако через некоторое время он сам приехал в Кенгурск, нашел Зарифу и подарил ей роскошный персидский ковер и золотые часы. Такой богатый подарок потряс Зарифу, и ей очень понравился этот пожилой, но интересный и, по слухам, всемогущий мужчина. Сам он был в восторге от нее. И хотя она была еще почти девчонкой, но они успели многое сказать друг другу глазами. Нури просил не говорить Софичке о подарке, потому что она его не может простить за грех молодости, о чем он день и ночь жалеет. Он вечный виновник перед Софичкой, но, увы, не может искупить свой грех. Софичка не хочет его простить.

Нури знал, что Зарифа рано или поздно передаст его покаянные слова Софичке. И это будет ему полезно. Он в самом деле жаждал прощения Софички.

Он уже был крупным табачным воротилой в Мухусе. Работал он всего лишь приемщиком табака на табачной фабрике, но сколотил себе солидное состояние. Имел особняк на краю Мухуса и две машины. Жил припеваючи, дом — полная чаша, жена, двое детей и на стороне бесчисленное количество самых изысканных шлюх. Многие годы он прирабатывал тем, что, определяя сортность табака, входил в незаконные отношения с председателями колхозов. Каждый колхоз должен был сдавать определенное количество табака первого, второго и третьего сорта, у некоторых колхозов был избыток первого сорта, и фабрика в его лице частным образом откупала этот избыток, чтобы потом, перепродав в тридорога, приписать этот табак колхозу, который недовыполнил свой план по сдаче первосортного табака. Это был его прочный постоянный заработок, но с появлением цеховиков и развитием их тайных фабрик он стал вкладывать в них деньги и получать от них солидный доход. Он был дерзок и бесстрашен, но придерживался уголовных правил игры, и за это его уважали в подпольном мире. Многие секретари обкомов и работники прокуратуры были куплены кланом, к которому он принадлежал, но был еще один клан, который купил остальных секретарей обкомов и оставшихся прокуроров. В сущности, борьба шла между ними.

И во всей этой опасной и захватывающей игре Нури не имел ни одной осечки, и все его операции кончались удачей.

Но чем удачней он играл здесь, тем чаще он думал, что потерпел полный крах с сестрой. Ни купить, ни умиловать ее он никак не мог. Но он не понимал, что это чувство вины перед сестрой удерживало его часто на краю пропасти, не давало идти на безумный риск, подсознательно останавливало его, как бы оставляя за ним простор для будущего, где бы он мог наконец получить прощение. Но сам он все это ощущал по-другому. Он чувствовал, что в этой жизни он добился всего, но счастья нет, и нет именно потому, что он не смог добиться прощения сестры. И все его попытки за тридцать лет сблизиться с ней и получить от нее прощение пока ни к чему не приводили. Но он был упорен, надеялся и ждал, когда Софичка простит ему и душа его наконец освободится для полного счастья.

Софичка, конечно, не собиралась никогда простить брату убийство мужа. Но странным образом в ней это твердое решение сочеталось с гордостью за благополучие, богатство и высокое положение брата, о чем она, конечно, слышала. Она считала, что брат ее — умный человек, большой знаток табачного дела, и богатство его — следствие его трудолюбия и тонких знаний. И она тайно гордилась им, его хорошей семьей, его особняком, его машинами. «Хорошо, что один из наших добился всего», — думала она.

Нури правильно рассчитал, привезя подарки Зарифе, каюсь в своем грехе и прося Зарифу ничего о его приезде не рассказывать Софичке. Зарифа, конечно, все рассказала Софичке. Она даже преувеличенно долго говорила о его покаянии. И она, желая поближе сойтись с таким богатым и щедрым

родственником, почти униженно просила Софичку простить его. Софичке было приятно, что обычно почти надменная с ней Зарифа так кротко и настойчиво умоляет ее простить брата. И ей было приятно, что у нее такой богатый и щедрый брат, а ее гордая Зарифа заискивающе ищет сближения с ним.

— Пусть он тебе помогает, если хочет, — сказала Софичка, — но прощения от меня ему не будет.

И вот прошел год с тех пор, как Софичка перешла жить в Большой Дом. Был чудный сентябрьский день. Солнце жарко светило, но в табачном сарае, устланном свежим папоротником, где сидела Софичка и низала табак, было прохладно и тихо. Пахло усыхающим табаком и папоротниковым духом. Редкие струи ветерка время от времени доносили сюда запах зреющего винограда.

— Хороших тебе трудов, — вдруг услышала она голос своего брата Нури.

Софичка подняла голову. Он стоял в дверях табачного сарая, коренастый, среднего роста, в кожаном черном пиджаке. Такие пиджаки сейчас носили в городе некоторые люди. Не из последних. Софичка удивилась, что не услышала ни его машины, которую он, видимо, оставил на дороге, ни его собственных шагов.

— Здравствуй, — сказала она, но навстречу ему не поднялась. Снова приподняла низальную иглу и стала низать табак. Брат продолжал молча стоять в дверях. В тишине раздавалось только быстрое цоканье нанизываемых на иглу свежих табачных листьев. Цок! Цок! Цок! Цок!

У Нури сжалось от жалости сердце при виде Софички. Он ее так давно не видел. Ей было пятьдесят лет, но она ему показалась вконец усохшей старушкой. Только большие лучистые глаза не изменились. На ее похудевшем лице они казались еще больше.

— Зачем приехал? — спросила Софичка, наполнив табачную иглу листьями и резким движением руки сдергивая листья на шнур, продетый в иглу.

— Ты же знаешь, Софичка, — сказал он, переминаясь в дверях.

— Я ничего не могу сделать, — вздохнула Софичка, приподняв голову и снова наклоняясь к табачной игле. И снова в глубокой тишине — цоканье табачных листьев, нанизываемых на иглу. И казалось, не быстрые пальцы Софички накалывают листья на иглу, а хищное острое иглы само вонзается в стебелек табачного листа: цок, цок, цок.

— Кто же может, как не ты? — сказал брат, снова переминаясь в дверях.

— Я не могу, — твердо повторила Софичка после некоторой паузы.

Снова в тишине зацокали табачные листья.

— Софичка, — выдавил Нури глухим голосом и вдруг неожиданно для Софички рухнул на колени в папоротниковую подстилку табачного сарая.

Софичка, хоть и не показывала виду, была сильно смущена этим его поступком. Она с ужасом подумала, что в табачный сарай может заглянуть бригадир или кто-нибудь из колхозников и застанет ее брата в нелепой, странной, недо-

стойной мужчины позе. Все-таки он был ее брат, и ей стыдно было за него.

— Так и будешь стоять? — спросила Софичка, стараясь не выдавать своего волнения. Она перестала низать табак и посмотрела на него. Он стоял на коленях, безвольно склонив голову, и казалось, что ноги его обрублены до колен.

— Так и буду, Софичка, — сказал Нури, — и, если ты меня не простишь, буду здесь стоять и день, и ночь, и сегодня, и завтра...

Софичка собралась с силами и сделала вид, что она спокойно продолжает низать табак. «Что же это будет, — думала она, волнуясь, — соберутся люди, а он здесь будет стоять на коленях и ждать моего прощения? Как стыдно!»

Она подняла голову и снова посмотрела на него. Он все еще стоял на коленях, склонив голову с несколькими седыми прядями, упавшими на лоб. «О, как время идет, — подумала Софичка, и жалость к брату пронзила ее. — Тридцать лет, а может быть больше, он ждет моего прощения!»

Она вспомнила, как они играли в детстве, как бегали в лес за лавровишней, за черникой, за каштанами. Как он ловко лазил по деревьям. Совсем недавно она увидела на стене кухни в Большом Доме свои и его пароходы, нарисованные химическим карандашом. Неумелые, милые рисунки пароходов, которые они отсюда, с чегемских высот, видели плывущими по морю. Куда они собирались плыть на этих пароходах?!

Картины детства, одна за другой, промелькнули в голове Софички, и все они были прекрасны, потому что были озаре-



ны ослепительным светом ожидания счастья. И Софичка вдруг подумала: всего достиг ее брат, и семья у него хорошая и ладная, и дом у него свой, и работа почетная, и машина, и только одного ему в жизни не хватает — ее прощения. И ей вдруг мучительно захотелось увидеть и почувствовать полностью счастья своего брата...

— Хорошо, — сказала Софичка, — встань, я тебя прощаю. Ты тоже исстрадался.

И Софичка вдруг заплакала, сама не зная отчего, и ей стало легко-легко.

— Софичка, — сказал Нури и, вставая на ноги, машинально отряхнул колени, — я теперь всю жизнь буду помнить...

Ему тоже вдруг стало хорошо-хорошо. Он постоял перед ней некоторое время, не зная, что сказать, и, стыдясь своих мокрых глаз, провел рукавом по глазам. И не зная, что делать дальше, повернулся, вышел из сарая и зашагал к своей машине.

— Ужужжал, — сказала Софичка, услышав шум мотора и улыбаясь сквозь слезы. На сердце у нее было легко-легко. И она заработала с удвоенной энергией.

Нури сел в машину и поехал. Еще когда он приехал в деревню, в Большой Дом, и узнал, что Софичка в табачном сарае, он решил пойти к ней и попросить прощения. И независимо от того, даст она ему прощение или нет, на обратном пути снова зайти в Большой Дом и пообедать. Но сейчас он решил, что незачем останавливаться в Большом Доме, и поехал дальше. Ему как-то стыдно было, что начнутся разговоры о прощении и, главное, о том, что он брякнулся на колени.

Тогда это как-то получилось само собой, а теперь ему было стыдно, что он стоял на коленях.

Вскоре он почувствовал, что то странное и прекрасное ощущение, которое он испытал в табачном сарае, улетучилось.

«Что случилось?» — думал он. Ничего особенного не случилось. Почему он этому прощению придавал такое значение? Он сам не мог понять и из-за этого сейчас злился на себя.

Раньше он мечтал, что, если Софичка простит ему его грех тридцатилетней давности, он устроит по этому поводу большое пиршество, на которое созовет всех родственников. Сейчас это ему казалось ненужным и глупым ребячеством.

Но зачем он, битый волк, король табачных махинаций, добивался прощения от сестры столько лет, он никак не мог понять. Неужели только из упрямства? Неужели только потому, что сестра ему этого прощения не давала? Он никак этого не мог понять, и сейчас злился на себя за всю эту глупость, и с особенным стыдом вспоминал, что во время прощения прослезился. Деревня, темнота, думал он, вспоминая многолетнее упрямство сестры, не хотевшей его прощать.

«Дурость, дурость все это», — думал он и, нажав на газ, обогнал ехавший впереди него грузовик и чуть не столкнулся с грузовиком, поднимавшимся навстречу из-за пригорка. Это был первый знак оттуда, но он этого не понял. Он успел свернуть направо и вывалился в кювет. К счастью, с ним ничего не случилось, и машина осталась цела. Удивляясь самому себе, как он в таком месте мог пойти на обгон, он выехал снова на дорогу. Теперь он проклинал себя за всю эту ненужную по-

ездку, удивляясь своей глупости. Почему он всю жизнь мечтал, чтобы сестра его простила, думая, что это ему что-то даст? Ни черта не дало и не могло дать, думал он.

Уже у выезда на приморское шоссе он остановил машину, чтобы заправиться.

— Что, Нури, к своим ездил? — спросил знакомый заправщик, наливая бензин в бак.

— Да, — сказал Нури, похаживая возле машины и раздраженно удивляясь, как это он мог решиться обгонять машину у самого пригорка, когда не видно, ждет ли встречная машина.

— Ну, как там? — спросил заправщик.

— Ничего хорошего, — сказал Нури и, сплюнув в сердцах, добавил: — Темнота.

— Деревня — она и есть деревня, — согласился заправщик, убирая шланг.

Нури выехал на приморское шоссе. Он собирался на обратном пути заехать к одному председателю колхоза и отдать ему его долю денег за незафиксированный, но сданный табак. Это было обычное дело. Он с председателем колхоза договорился по телефону, что заедет к нему, и деньги были у него в кармане.

Сейчас он внезапно решил, что не будет заезжать к нему и деньги оставит себе. Если председатель пригрозит — не страшно, он не из пугливых. А жаловаться властям тот не посмеет, потому что он и сам тогда сядет в тюрьму.

— Почему не заехал? — позвонив ему вечером, спросил председатель колхоза.

— У меня нет с тобой никаких дел, — ответил ему Нури, чтобы тому сразу все стало ясно.

Но тут случилось неожиданное. Председатель колхоза, обезумев от ярости, пожаловался в милицию.

По случайности это отделение милиции контролировал клан, враждебный клану Нури. И он, этот клан, ухватился за этот рычаг плотоядными пальцами. Знаменитое табачное дело завертелось с необычайной быстротой. Клан действовал стремительно и раздумчиво. Прежде всего председателя колхоза, спасая от смерти, по крайней мере до суда, упрятали в одиночную камеру смертников. Более надежного места в Абхазии не нашли.

Были схвачены многие люди. В том числе и Нури. По суду он получил пять лет тюрьмы. Сам он никак не мог понять, почему тогда пожадничал и не дал председателю причитающиеся ему деньги. Понять, что только долгое непощение Софички и тоска по этому прощению всю жизнь удерживали его хотя бы на уровне уголовной морали, он не мог. И он никак не мог понять, что с ним случилось. Он только догадывался, что его рискованный обгон машины и рискованное решение не отдавать председателю колхоза деньги имеют какой-то общий корень. Но какой именно, он так и не осознал.

...В полдень Софичка сдернула с низальной иглы на шнур последнюю порцию табачных листьев и, отложив иглу, встала и вышла из сарая. Она по-прежнему чувствовала необыкновенную просветленность и шла быстро, легко. Че-

рез несколько минут ей повстречался бригадир. И Софичке захотелось поделиться с ним своей радостью. Он был первым человеком, которого она встретила с тех пор, как она простила брата.

— Брата моего Нури не видел? — спросила она у него.

— Видел, — отвечал бригадир, — провонял тут мимо на своей машине.

— А ты знаешь, — сказала Софичка, чувствуя, что у нее глаза влажнеют, — я ему все простила.

— А чего ты ему должна была прощать? — спросил бригадир, нетерпеливо перекладывая топорик с одного плеча на другое.

Бригадир был совсем молодой, ему было лет тридцать.

— Как — чего? — удивилась Софичка. — Он же моего мужа нечаянно убил тридцать лет назад.

Бригадир что-то смутно слышал об этом, но думал, что это вообще дореволюционная история.

— А-а-а, — протянул бригадир, — что-то слышал. Долго же ты ему прощала.

— Да, — с горькой гордостью вздохнула Софичка, — тридцать лет...

— Сдается мне, — с безжалостностью молодости сказал бригадир, снова перекладывая топорик с плеча на плечо, — нужно было ему твое прощение, как собаке кубышка на хвост.

— Что ты! — всплеснула руками Софичка. — Он так мучился... Кого только не подсылал ко мне...

Но бригадиру надоел разговор о ее брате.

— Сколько шнуров нанизала с утра? — спросил он.

— Двенадцать, — ответила Софичка, закрутив, оттого что разговор так упростился.

— Ай да Софичка! Ай да молодец! — воскликнул бригадир и двинулся дальше и уже на ходу: — Не было и нет тебе равных в Чегеме!

Софичка не почувствовала радости от его похвалы. Ее огорчило, что бригадир не понял ее состояния. Но ведь это было давно, утешала она себя, его небось и на свете тогда не было.

Она подошла к Большому Дому и очень удивилась, что возле него не стоит машина Нури.

— А где же Нури? — с дурным предчувствием спросила Софичка у Нуцы, зайдя на кухню.

— Говорят, уехал, — отвечала Нуца, взясь у очага, — разве он к тебе не заезжал?

— Заезжал, — отвечала Софичка, радуясь, что сейчас обрадует тетю Нуцу: — Ты знаешь, я ему простила все...

— Молодец, Софичка, — сказала тетя Нуца, дую на ложку и пробуя, готов ли фаселевый соус, — твой дядя будет рад этому.

Но в самом ее равнодушном голосе Софичка не почувствовала никакой радости.

— Да, — задумчиво сказала Софичка, — мертвого все равно не подыметь, а что же брата всю жизнь мучить... Я так решила...

— Правильно, Софичка, — отвечала тетя Нуца и взяв вееник, начала подметать кухню. — Кстати, сходила бы за водой. Свежей воды нет.

— Хорошо, — сказала Софичка, готовясь перекусить. Она достала из шкафа холодной мамалыги, зеленого лука, плеснула на тарелку фасолевого соуса и присела к столу.

Перекусив, Софичка взяла медный кувшин и отправилась к роднику. Софичка чувствовала некоторое смущение, которое сама себе не могла объяснить. Смущение это было вызвано тем, что брат ее, получив прощение, не остановился у родных, а прямо уехал в город.

Она была уверена, что это великое прощение будет отмечено праздничным застольем, но поняла, что, оказывается, ничего такого не будет. И потом ее неприятно удивила будничность, с которой жена дяди поздравила ее с этим прощением. Нет, совсем не этого она ожидала. Софичка чувствовала, что случилось что-то не то, но что именно, она не могла понять.

Подойдя к роднику, она поставила кувшин на камень, запруживающий родник. Повернулась и пошла на могилу мужа. Сейчас она туда шла с некоторой тревогой и неуверенностью. Став в изголовье могилы, она не знала, с чего начать разговор с мужем, и, увидев несколько пожелтевших листьев, залетевших сюда от могучего грецкого ореха, росшего над родником, убрала их и отбросила.

— Сегодня я его простила, — сказала Софичка громче обычного, обращаясь к мужу, — ведь уже прошло тридцать лет... Чего человеку мучиться...

Софичка прислушалась к себе и не услышала внутри себя голоса своего мужа. Ей это показалось странным.

— Я же знаю, — сказала она, — если б он тогда тебя не убил, а ранил, ты бы его давно простил...

Софичка снова прислушалась к себе и не услышала внутри себя голоса своего мужа. Тихий ветерок прошелестел в деревьях, и с лавровишни слетело на могилу несколько пожелтевших листьев. Два из них упали на могильный холмик. Софичка удивленно взглянула на лавровишню. У лавровишни вечнозеленые листья. За тридцать лет саженец вырос с большое дерево, насколько лавровишня может быть большой. Она заметила на дереве надломленную ветку. Кто-то, когда ягоды созрели, срывал их и, видимо, надломил ветку. С нее-то и слетели пожелтевшие листья. Что-то порхнуло в глазах у Софички, и она заметила белку, рыжими спиралями взлетающую по стволу. Добравшись до ветки, обращенной в сторону могилы, белка двумя взлетами оказалась на ее кончике и оттуда, вцепившись в нее и покачиваясь, глядела на Софичку бусинками глаз, словно удивляясь ее приходу сюда и ее странным ожиданиям. Софичка постояла, прислушиваясь к себе и удивляясь, что внутри нее не возникает связи с мужем. Внутри было пусто. Муж не откликался.

— Он встал на колени, — сказала Софичка, голосом стараясь убедить своего мужа, — я, женщина, и то никогда не становилась на колени, а он мужчина... Он большой человек в городе. У него свой дом и машина... Даже две... А он стал на колени, чтобы я его простила. Кто я? Старая кум-хозяница...



Софичка снова прислушалась к себе, уже предчувствуя, что голоса не возникнет. И в самом деле муж молчал. Так ей показалось. Он заперся от нее там, в своем гробу.

И вдруг на Софичку нахлынула обида.

— Я всю жизнь была верна тебе, как собака, — сказала она. — Я в Сибирь поехала с твоими родителями. Я ухаживала за ними, когда они заболели. Я похоронила их с почестями... Я выдала твою племянницу Зарифу замуж за учителя... Я отдавала ей все, что зарабатывала в кумхозе... Я продала дом... Наш дом, чтобы она могла купить себе трехкомнатную квартиру... Ко мне трое сватались еще до войны... Но я была верна тебе, как собака. А теперь кому я нужна, старая кумхозница... А ты мне и отвечать не хочешь... Да, мой брат согрешил, и я тридцать лет не прощала ему! А твой брат не согрешил? Он бросил товарищей на фронте и удрал в Чегем. Он ведь тоже клятву давал быть верным... А мой брат не бросил фронта... Он был дважды ранен...

И вдруг Софичку обожгла мысль: но ведь это бунт против мужа!

— Нет, Шамиль тоже не виноват, — почти крикнула она, рыдая, — он защитил мою честь. Он достойный тебе брат. Меня из-за него поставили на конторские гвозди... Нет, из-за Чунки... Я уже не помню, из-за кого. Но это было так больно... Ты бы пожалел меня, если б знал... Меня никто, кроме тебя, никогда не жалел... А сейчас и ты меня не жалеешь...

И она еще с полчаса тихо плакала над могилой мужа, но ответного голоса так и не услышала. В тишине над ней долго

жужжал какой-то шмель, назойливо напоминая ей о великой мелочности вечности.

И Софичка, понурив голову, направилась к роднику. Она поймала тыквенную кубышку, плававшую на поверхности родника, и наполнила кувшин свежей водой. Потом она по привычке нарвала папоротников, сделав из них прокладку, чтобы кувшин поменьше отдавливал плечо, взгромоздила его на себя и пошла.

Она поднималась с кувшином в Большой Дом, и впервые тяжесть кувшина показалась ей непомерной, и эта тяжесть больно отдавливала ей плечо.

На следующее утро Софичка почувствовала во всем теле такую слабость, что не смогла встать. Софичка слегла. К ней приводили врачей, но они ничего не находили. На вопросы, болит ли у нее что-нибудь, она неизменно всем отвечала, что у нее ничего не болит.

— Так что с тобой, Софичка? — спрашивали близкие и односельчане.

— Силы утекли, — неизменно отвечала Софичка и старалась вытянуть руки, как бы показывая направление, по которому утекли силы. С каждым днем Софичка угасала. Весть о том, что Нури арестовали, она выслушала равнодушно.

Врачи ничего не могли понять. Скорее всего, это была глубочайшая депрессия. Клятва, данная умирающему мужу, была ею невольно нарушена, и прервалась духовная связь с ним, поддерживавшая ее великую жизненную энергию.

— Силы утекли, — повторяла она навещающим ее, стараясь вытянуть руки и показать, куда они утекли. Через месяц она

умерла. Ее со всеми почестями похоронили на семейном кладбище, и в тот же день, посоветовавшись между собой, родственники перенесли прах ее мужа и предали его земле рядом с ней.

Прошло десять лет. Нури просидел в тюрьме всего два года. Люди его клана вытащили его оттуда.

Сегодня он и его друзья на трех машинах приехали на чудную лесную лужайку, расположенную над Чегемом. Отсюда открывался прекрасный вид на далекое синее море с долгим профилем корабля, идущего на Батуми, на серебристые извивы реки Кодор и на могучие леса, росшие на холмах предгорий.

Их было шесть человек, трое мужчин и три женщины. Можно сказать, что Нури их сегодня угощал чегемским воздухом и чегемскими пейзажами. Впрочем, угощением этим отнюдь никто не собирался ограничиваться. Они приехали якобы на охоту и на пикник в горах. В глубине души все мужчины знали, что охота навряд ли получится. Из города были привезены всевозможные напитки, свежая зелень, отборные фрукты. А по дороге в Чегем у одного крестьянина был куплен молодой барашек как самый верный охотничий трофей.

Мужчины часа два бродили по лесу, не слишком отдаляясь от лужайки. Но ни одна косуля и ни один дикий кабан не пожелали выбежать им навстречу, и они вернулись на лужайку, хоть и не набив дичи, но набрав аппетит.

Женщины в это время возились возле барашка, привязанного на длинной веревке к одной из машин. Они кормили барашка, несколько обалдевшего от внимания трех женщин,

свежими листьями лещины. Женщины, смеясь, наперебой совали ему ветки с листьями, как бы радуясь неутомительности перехода от своей древней профессии к не менее древней профессии пастушек.

Увидев возвращающихся мужчин, женщины бросили барашка и побежали им навстречу с легкостью косуль, снова перебегая к своей древнейшей профессии, освеженной буколическими радостями. И тут-то самое время было перестрелять их за отсутствием другой дичи, и в этом, вероятно, не было бы большого преступления.

Однако эти мужчины были солидными коммерсантами, а не какими-нибудь чудовищами, чтобы убивать женщин, а равно и мужчин, когда этого не требует *дело*. Такими убийствами они брезговали как проявлением самого подлого, самого непотребного хулиганства.

Весело разожгли костер.

...Костер! Он всегда бодрит и успокаивает. Костер — прасушность человеческого уюта. У костра человек впервые почувствовал себя защищенным от холода и диких зверей. У костра человек впервые задумался о небе и о Боге, ибо с неба хлестнувшая молния, сопровождаемая громом, сожгла первое дерево, и человеку явился огонь, и он почувствовал, что Бог — всеблагая, но и грозная сила.

Человек никогда не перестанет удивляться чуду превращения твердого тела древесины в жидкое пламя, которое, изгибаясь, выгибаясь и загибаясь под порывами ветра, все равно всегда выпрямляется и тянется к небу, к своей родине.

Вполне вероятно, что идея дома впервые возникла в голове человека у костра. Сначала крыша, чтобы защитить костер от непогоды, а потом по той же причине и стены, а потом человек назвал домом место, где его костер защищен со всех сторон, и сам он защищен в том месте, где защищен костер.

Идея дома — костер. Хозяин идеи — костер. Путем не слишком долгих манипуляций в историческом плане цивилизация незаметно изгнала из дома костер. Хозяина дома изгнала из дома, выдав дому некоторое количество удобных заменителей костра.

И человек остался в доме, который он когда-то создал для костра. Дом остался — костра нет. Человек легко забыл, что в его доме когда-то был костер, был очаг. Но его прапамять об этом не забыла, и не забыл об этом его язык, великий хранитель народного опыта. И человек, не понимая горькой самоиронии своих слов, иногда автоматически называет родной дом родным очагом, как говорили в старину.

И часто человеку в родном доме неуютно, ему тоскливо, ему чего-то не хватает, а не хватает ему объединяющего семью горящего очага. Озаренная очагом, обдаваемая волнами тепла, ловя это тепло лицом и растопыренными ладонями, семья делилась у очага своими радостями и горестями, своими воспоминаниями и своими мыслями. Общение у очажного костра требовало от человека духовной работы, невольно развивало в нем мастерство общения, этику понимания собеседника. Тысячи народных пословиц и поговорок, все сказки

и легенды создавались и тысячелетиями оттачивались у домашнего очага.

Что же сейчас собирает семью и близких семье людей вместо домашнего очага? Алкоголь или телевизор. Иногда, как бы чувствуя собственную недостаточность, они действуют вместе. Люди пьют и одновременно посматривают телевизор. Или смотрят телевизор и одновременно попивают. Кайф!

Диалог в семье заменился монологом телевизора. У очага мы жили сами, а теперь вынуждены жить отраженной в стекляшке чужой жизнью, в которой ничего изменить нельзя.

У очага была переливающаяся, трепещущая, как огонь, импровизация нашей собственной жизни. И подумать только! Такая импровизация происходила каждый вечер в миллионах домов! И ни одна из них не повторяла другую, ибо каждая жизнь неповторима! А теперь в миллионах домов каждый вечер молча проглатывается один и тот же сюжет всегда чужой жизни. Господи, как скучна диктатура развлечений!

Другой заменитель живого огня — алкоголь. Очаг опасно перенесен на обеденный стол: в бутылке — мокрый огонь. И он действительно развязывает языки, как когда-то языки огня развязывали человеческий язык.

Но люди разучились обращаться с огнем, в том числе и с алкогольным огнем. И подкладывают, и подкладывают дрова в этот огонь, подливают и подливают в рюмки.

Раньше близость к пламени очага контролировалась прямой угрозой обжечься. Контролировать огонь алкоголя го-

раздо труднее. Чем больше пьешь, тем сильнее иллюзия его живительной безопасности. Последующая рюмка как бы приглашает опьянение предыдущей рюмки.

И потому так радует нас, как начало нашего выздоровления, живой огонь костра, выжигающий из наших душ мусор суетных и тщеславных забот. И да здравствует костер с печеной картошкой, с ухой или шашлыком! Да и без всякой еды радует нас вечно молодое, веселое пламя, мы тянем к его струям руки и, может быть, сами того не осознавая, молимся:

— Господи, вот мы снова у костра, с которого все начиналось. Мы забыли все неудачи и все несправедливости нашей жизни! И ты забудь! Мы забыли позор нашей истории и наш собственный позор! И ты забудь! Дай, Господи, грешному человеку еще одну попытку! Господи, дай! Мы только начинаем жить! Мы у костра!

...Весело разожгли костер. Нури прирезал барашка и умело разделал его. Мясо вместе с помидорами и болгарским перцем насадили на шампуры и приготовили пахучий, шипящий, сочащийся шашлык. Потом долго обедали на расстеленном ковре, сопровождая эту еду шутками и смехом. По мере насыщения смех компании делался все громче и дружнее: повышенное количество выпитого воспринималось как повышенное качество шуток. Пили «Хванчкару», точнее, запивали «Хванчкарой» французский и армянский коньяк.

Женщины пили, не слишком отставая от мужчин. Мужчины были в летах и богаты, и поэтому женщины у них были молоды, красивы и профессиональны в делах любви.

После еды и выпивки, так сказать, завершив не слишком головокружную первую часть программы, приступили ко второй, о головокружности которой не могло быть и речи, ибо эта часть программы самой природой всего более отдалена от головы.

Две пары устроились в машинах, а Нури, как более натуральный человек, вытащил из багажника свой старый плащ и повел свою раскосую красавицу на край лужайки, кстати целомудренно рассчитав, что этот край необозрим из машин. Эта кенгурская красавица уже много лет была его тайной (хотя бы от мужа) любовницей. Кстати, самая красивая и потому самая дорогая шлюха, приехавшая летом в Мухус, сочтя умеренный отдых с неумеренным промыслом, сказала однажды потрясающую по своей самоотверженности фразу.

— С Нури, — сказала она, — я бы даже бесплатно заперлась в номере на неделю.

Эта историческая фраза облетела деловые круги Мухуса.

— Да врут все они, — отвечал Нури, морщась, когда его поздравляли по этому поводу. Стыд за похотливость, или злозлость, как говаривали чегемцы, — последнее, что в нем оставалось от чегемства.

...Все еще мощный самец, он, не раздеваясь, стремительно овладел ею и теперь после сладостных телесных трудов пытался отдышаться.

Она все еще лежала рядом с ним с задранном платьем, но ее голые стройные ноги сейчас вызывали в нем только отвращение и ненависть.



— Прикрой занавеску, — клокотнул он в ее сторону. Она удивленно посмотрела на него и молча прикрылась платком.

Чем яростнее он брал женщину, тем сильнее поднималось в нем отвращение после близости. Иногда он не мог сдержать себя, правда, имея дело с другими шлюхами, и неожиданно после бурного соития они получали пару увесистых пощечин.

— За что? — случалось, начинали они плакать.

— За то и за это, — загадочно отвечал он.

Но он и сам не знал, за что. По-видимому, перед каждой близостью женщина создавала для него иллюзию достижимости счастья, и он всей своей бычьей страстью проламывался к нему, но путь к счастью всегда обрывался у самого пика, и он, обессиленный, каждый раз сползал в гнусную, грязную пустоту.

Но эту свою любовницу он никогда не бил. Она ведь была ему родственницей, хоть и не по крови, но все же. Но все же по чегемским обычаям он был достоин смертной казни и теперь второй раз в жизни избежал этой казни, на этот раз просто потому, что не было уже таких чегемцев, которые могли быть исполнителями древних обычаев.

Особенно чувственную тонкость этой связи придавало то, что его любовница была дочерью человека, который должен был казнить его за убийство брата и который сам уже давно гниет в земле. Тогда Софичка спасла Нури от смерти. Да, эту любовницу он никогда не бил после близости или тем более до близости, и он слегка гордился этим в глубине души. Однако после любовных утех она его раздражала не меньше остальных.

Что с ними поделаешь! Он-то хотел, чтобы всякая шлюха, вызвавшая пламя его страсти, после близости немедленно, как, бывало, жена, да, как жена, застенчиво прикрывала себя, приводила себя в пристойный вид. Но ни одна из них об этом не догадывалась, а валялась в разнузданной позе, в которой настигли ее последние содрогания. Бесстыжие стервы!..

При всем богатстве и уважении, которым он пользовался в подпольном мире и в мире чиновников, которых подкармливали подпольные воротилы, Нури был недоволен жизнью.

В последние годы все его раздражало: от правительства до жены. Этот покорно испытующий взгляд жены, когда он поздно возвращался домой, этот взгляд молча, но неизменно ему говорил: «Ты опять был с женщиной?» Невозможно было ей объяснить, что с женщинами он бывал гораздо реже, чем она думала, что он был занят своими бесконечными делами и бесконечными разборками с партнерами. Она всегда смотрела на него с этим немым упреком, от которого можно было сойти с ума. Слава Богу, еще с немым, хотя сама невозможность ответить на немой упрек еще больше его раздражала.

Его приводили в бешенство собственные балбесы, его взрослые дети, игроки и пьяницы, которых совершенно невозможно было подключить к какому-нибудь серьезному делу, требующему сообразительности и мужества. Слава Богу, что они еще вроде бы не кололись! Но с каким тайным, глупым, подбострастным азартом, он это знал, они ждали его смерти, чтобы прокутить, прожрать, просрать все его богатство! Ничтожества! Он и сейчас был физически здоровее их!

Но главное тупиковое противоречие его жизни было в том, что благодаря слабостям государства он и ему подобные люди скопили большие богатства, но, чтобы сохранить эти богатства, им теперь нужно было более сильное и более жесткое государство.

А государство, как назло, дряхлело и дряхлело, и уже появились молодые, столь дерзкие волки, что пытались их, старых волков коммерции, обкладывать подпольными налогами, и иногда небезуспешно. (Задолго до Москвы окраины репетировали новые общественные отношения в стране. А Москва, глядя на все это, хлопала глазами, уверенная, что до нее такое никогда не дойдет.)

Мир перевернулся! И некоторые коммерсанты уже трусливо платили. Нет, лично к нему, зная его бесстрашие, пока никто не обращался. Но он ставил вопрос принципиально! Что это за государство, спрашивается, которое вместе со своей купленной-перекупленной милицией не может защитить богатых, солидных людей от молодых и наглых голодранцев-шакалов?!

Вдруг он услышал далекий мальчишеский голос: «Хейт! Хейт!», сзывающий коз, и еле уловимый звук колокольца на шее козы. Он сам когда-то пас коз на этих склонах, иногда вместе со своей сестренкой Софичкой. Они тогда были детьми. Как давно это было!

И ему вдруг мучительно захотелось взглянуть на Большой Дом, где он вырос. Он знал, что дядя Кязым уже умер, что дети его и вдова живут в городе, но он не знал, что Боль-

шой Дом уже продан и новый хозяин разобрал его и свез в то же прожорливое местечко Наа, хотя кухню, примыкавшую к дому, он еще не успел разобрать.

Нури решил, что за час он успеет спуститься отсюда к Большому Дому и до заката поднимется.

— Я спущусь к Большому Дому и вернусь, — неожиданно сказал он своей любовнице и, быстро привстав, вытянул несколько глотков из слегка початой бутылки французского коньяка, стоявшей рядом.

Заткнув бутылку пробкой, он легко вскочил и, держа ее в одной руке, бодро пошел вниз, и охотничий нож болтался у него на бедре. Это последнее, на что обратила внимание его любовница, когда он стал спускаться к Большому Дому.

Он быстро спускался вниз по тропе, но зная, что эта тропа ведет к восточной части Чегема, вскоре свернул в заросли направо, потому что ему надо было двигаться к западной части Чегема.

Ниже лужайки, на которой они пировали, загустел туман, и Нури уже двигался в молочной полутьме склона, все меньше и меньше его узнавая. Ему казалось, что туман нарочно замаскировал местность. И, уже потеряв всякие ориентиры, плутая по одичавшему, разросшемуся кустарниками склону, он с бешенством дикого кабана пробивался сквозь них, скалясь от ярости и шепча:

— Сдохну, но выйду к Большому Дому!

Свирепея с каждый шагом, он рвался сквозь колючие плети ежевики, сквозь кусты бересклета, сквозь податливую бу-

зину, сквозь бодливые, негнущиеся, наждачные самшитовые заросли. Он выдирался из канканов лиан — обвойника, хмеля, павоя, сквозь заросли держидерева, хватавшего его злыми клювами колючек. Он рвался и рвался, иногда оскальзываясь и падая на каменных осыпях, иногда съезжая вместе с ними, но, и падая, он успевал высоко поднять бутылку с коньяком, сохраняя ее, как светильник разума, как источник энергии, и иногда после очень болезненного падения припадал к бутылке и выпивал несколько живительных глотков.

И дальше с еще большим упорством и яростью сквозь гибкий кизильник, сквозь лопухие кусты лавровишни, сквозь грохочущий молодой листвою неизвестно откуда взявшийся юный ольшаник, сквозь кусты лещины, лоха, миндаля, сквозь злобно ошетенные кусты дикой розы, так называемой собачьей розы, по-собачьи разодравшей ему брюки, сквозь резиново-упругие кусты рододендрона, сквозь шипастые плети заматерелого сассапарилля.

Снова скользил и падал на осыпях камней, и, падая, вновь героически выбрасывал вверх руку с бутылкой, и вновь припадал к ней, и, снова набравшись энергии, шептал сквозь зубы:

— ...вашу мать! Сдохну, но выйду к Большому Дому!

Лицо и тело его были исцарапаны, искусаны, измочалены, измолоты природой Чегема, словно она вознамерилась не пускать его в Большой Дом и вообще вырыгнуть его из себя.

Он уже плутал несколько часов, смертельно устал, был пьян и понял, что заблудился, но шел, не останавливаясь, те-

перь уже надеясь выйти хоть к какому-нибудь жилью, а там с помощью хозяев добраться до Большого Дома.

И хотя он разумом знал, что заблудился, но каким-то звериным чутьем, сам не подозревая об этом, хоть и петляя по склону, словно по течению инстинкта, медленно приближался к родным местам и уже в полной темноте ввалился во двор Большого Дома, но ничего не узнал.

Он только заметил какое-то строение — не то заброшенная хибарка, не то покинутый сарай. Это была кухня Большого Дома, примыкавшая к нему. Но отдельно он ее никогда не видел и потому не узнал.

Главным ориентиром Большого Дома был гигантский грецкий орех, посаженный дедом еще в девятнадцатом веке. Он рос на правой стороне двора. Но этот грецкий орех уже давно был кем-то срублен, а потом распилен на доски и увезен.

Точнее, дело было так.

Какой-то приезжий прохиндей, увидев могучее дерево, усеянное тысячами орехов, поленился или испугался взобраться на него и длинной палкой, как это обычно принято, побивать орехи. Зато он не поленился несколько дней подряд рубить орех и, наконец завалив его, собрал множество мешков грецкого ореха. Остановить его было некому.

К этому времени страна окончательно обэндурилась, и ее охватил жадный пафос одноразовости, как последняя стадия атеизма. Пафосом одноразовости определялась и вся жизнь человека, и все его действия (заработал — пропил) — вплоть

до лишения жизни столетнего плодоносящего дерева ради того, чтобы собрать с него один урожай.

А другой человек из того же неугомонного местечка Наа, увидев опрокинутый ствол исполинского орехового дерева, не поленился привезти на тракторе из Наа что-то вроде портативного деревообрабатывающего заводика. И он целый месяц трудился с помощниками, разрезая ствол и распиливая его на бесчисленные доски, которых хватило бы, вероятно, на строительство небольшого поселка. И в течение еще одного месяца доски были вывезены при помощи того же трактора в это муравьино-неутомимое местечко Наа.

Кроме гигантского грецкого ореха, как ориентир Большого Дома еще оставалась старая яблоня, но она была далеко не столь высока и тонула в темноте. Он ее просто не заметил.

Вдребадан пьяный, от усталости едва передвигая ноги, он с тяжелым скрипом открыл дверь кухни, совершенно пустой, с едва угадывающейся слева черной пастью очага. Нури допил коньяк, швырнул бутылку в дыру очага, дошел до правого угла кухни и, рухнув, заснул мертвецким сном.

Он проснулся на следующий день за полдень, когда кухня была залита светом солнца, льющим сквозь проломы окна. Пробудившись, он увидел перед собой стену, на которой были нарисованы кривотрубные пароходы, которые он в детстве рисовал здесь вместе с Софичкой. И он подумал, что это счастливый сон о детстве, и бессознательно, чтобы продолжить сон, закрыл глаза. И тогда вдруг видение ко-

раблей исчезло. И тут он опять открыл глаза и окончательно проснулся. Слегка размытые рисунки кораблей были на месте.

Значит, он все-таки вышел к Большому Дому! Но как он не узнал родной дом и родную кухню! Он перепил, черт возьми! Он вспомнил, как они в детстве вместе с Софичкой рисовали эти корабли, бесконечно слюнявя карандаш и отнимая его друг у друга. Вспомнил, как они пасли коз, как он ее храбро защищал от обидчиков, соседских мальчишек. Вспомнил, как он еще совсем малышом, но уже чувствуя себя мужчиной, стыдился, когда Софичка целовала его в то место между ключицами, где горло переходит в грудь и где, по абхазским народным поверьям, помещается душа.

Софичка была на два года старше него, и он вынужден был покоряться ей, хотя ему уже тогда было стыдно, что сестра его целует. И он нехотя раздвигал рубашку на шее, а Софичка, улыбаясь, говорила:

— Там, где душа! Только там, где душа!

И целовала его.

И вдруг он с ошеломляющей ясностью понял, что загубил ее чистую жизнь, что нет и никогда не будет ему прощения за это, и, с дикой, утробной тоской напрасного, запоздалого покаяния, закричал всей мощью своего голоса:

— Софичка!

Он звал сестру. Это был вопль отчаяния, сливающийся с криком о помощи проснувшейся души. Но в ответ только молчание ветхой, заброшенной кухни. На голос его с тихим



замирающим шорохом с потолка посыпалась какая-то труха, как последние песчинки в песочных часах жизни.

И проснувшаяся душа его захотела вырваться из вместилища собственного тела. И он, не сводя глаз с кривотрубных кораблей, так счастливо плывших куда-то в детстве, выхватил нож из чехла, раздернул защитного цвета охотничью рубашку, легко нашел острием отточенного, как бритва, ножа то место у основания горла, где якобы помещается душа, и с медленным сладострастием вонзил туда нож.

Потом он порывисто вырвал из раны нож и отбросил его. Кровь хлынула фонтаном! Уже теряя сознание, он судорожными движениями пытался прикрыть рану, а потом вдруг, словно вспомнив что-то, кровавыми ладонями стал мазать по стене, и никто никогда не узнает, что означали эти его движения: то ли желание сохранить нежные рисунки детства под защитным слоем собственной крови, то ли стереть их навсегда так, как будто их никогда не было. Минут через пять он, растянувшись у стены, тихо умер.

Его труп нашли в тот же день. Кенгурский следователь сначала настаивал, что это убийство пьяного человека, не очень ловко замаскированное под самоубийство. И убийство скорее всего совершено женщиной, которая нещадно оцарапала лицо защищающейся пьяной жертвы.

Кто его знает, может быть, следователь переживал за учителя, мужа любовницы Нури, и жажда возмездия внушила ему этот вариант. Но вариант этот был легко опровергнут всеми остальными показаниями. Тело Нури под изорванной

одеждой было исколото, исцарапано, в страшных синяках и ссадинах. Все это было никак не похоже на последствия женских побоев. Тут следователь природу-мать спутал с его красавицей. Участники пикника тоже дружно показали, что, когда Нури спускался к Большому Дому, никакая женщина его не сопровождала.

Оставшиеся родные, несмотря на его давнее изгнание из рода, хотели похоронить Нури на семейном чегемском кладбище. Но тут вмешался могущественный клан дельцов, к которому он принадлежал, и с непостижимым в своей сентиментальности культом своих мертвецов устроил ему пышные похороны на самом престижном мухусском кладбище.

Был привлечен и местный скульптор. И теперь Нури в виде мраморного памятника в свой естественный рост сидит на мраморной скамье над своей могилой. Он сидит с видом ученого-ботаника, благостно рассматривающего табачный лист, очень натурально распластаный на его ладони. Скульптор, проявив известную находчивость, вырезал или отлил табачный лист из бронзы. Но не всякий поймет, что это табачный лист, а не, скажем, виноградный, если не прочтет надпись, выведенную золочеными буквами под его именем и гласящую: *«Великому знатоку абхазских табаков от убитой горем группы товарищей»*.

## ПОЭТ

### Всем известный и никому не ведомый

Юрий Сергеевич Волков был романтическим поэтом, и притом очень талантливым. Однако стихи его редко печатали, и в сорок пять лет у него не было ни одной книги. Речь идет о блаженных временах блаженного Брежнева. У Юрия Сергеевича было хроническое свойство раздражать начальство. Раздражать всем — голосом, стихами, внешностью.

Начнем с голоса. Как известно, с глупыми говорят, как с глухими, громким голосом. Возможно, наш поэт бессознательно убедился, что этот мир глуп и в нем надо очень громко говорить.

У него был голос громовержца. Даже во время застольной беседы он говорил яростно и громко, как революционный оратор с трибуны. Если друзья делали ему замечания, он с некоторой самоиронией рассказывал о том, что в юности над ним шефствовал последний поэт-акмеист. Старик был так глух, что приходилось кричать ему в ухо. С тех пор он привык так говорить.

Когда он читал стихи в ресторане, а обычно он там их и читал, немедленно являлся метрдельник и пытался выяснить, чем вызван скандал. Если он до его прихода успевал прочитать стихи. А если не успевал, то, что бы ни говорил метрдельник, он продолжал их читать, пока они не кончались. Мошь

его голоса и могучая внешность производили неотразимое впечатление, особенно на незнакомых людей.

Однажды в жаркий летний день мы сидели с ним в незнакомом ресторане.

— Официант! — крикнул он. — Виски с айсбергом!

Официант был так потрясен его уверенным голосом, что растерянно ответил:

— Извините, айсберги еще не завезли.

Его стихи раздражали литературное начальство тем, что не были ни советскими, ни антисоветскими. Они были написаны так, как будто социальная жизнь вообще не существует. Это злило еще и тем, что невозможно было конкретно указать на какие-то строчки, которые надо убрать или переделать, чтобы стихотворение было достаточно приемлемо для советской власти.

Кое-как все это можно было бы простить, если бы поэт был какой-то божий одуванчик, далекий от действительности. Изливаясь мощной энергией, стихи его были полны примет места и времени, примет всех краев России, где он побывал, и — неслыханная наглость — примет всех краев Европы, где он явно не бывал. Это уж они знали точно. Кроме того, там были всемирные названия сигарет, напитков, гостиниц, городов и даже бесчисленных островов Средиземноморья, словно он на яхте с другом-миллионером, лениво прихлебывая джин с тоником, пришвартовывался к ним, точнейшие названия предметов интимного женского туалета и так далее и тому подобное.

А язык! Словарь филологов и шпаны, фарцовщиков и астраханских рыбаков, староверов и физиков, тюркизмы, украин-

низмы, с размаху вброшенные им в русскую речь, где они, мгновенно русея, свободно плавали, как в родном море!

Да, язык у него был богат, но он терпеть не мог выдуманные слова. Он считал Маяковского великим поэтом за его любовную лирику, но изображал преувеличенный ужас, когда речь заходила о его словотворчестве. Он считал это безумным кривляньем. Из всех словообразований Маяковского признавал только одно — «выжиревший»:

*Как выжиревший лакей на засаленной кушетке.*

— Здесь это слово уместно, — говорил он. — Оно хорошо передает длительность пребывания лакея на кушетке. Но с другой стороны, какой барин позволит лакею долго лежать на кушетке? Разве что Обломов.

Да, его богатый язык никогда не поворачивался против советской власти, но и никогда не пытался лизнуть ее.

Начальству было решительно непонятно, как с ним быть. В то же время он одинаково свободно общался с упертыми державниками и с непримиримыми диссидентами. Идея исторического величия России ему была не чужда, и державники ждали, когда он дозреет до мысли, что за это величие надо драться закатав рукава. Но он закатывать рукава не спешил, ибо под величием России подразумевал ее культуру.

Точно так же ошибались и диссиденты. Видя обилие примет западной жизни в его стихах, они считали, что он

вскоре созреет до западничества и станет диссидентом. Но и этого не случилось.

По поводу подозрений в нелояльности он написал шутивную эпиграмму, которую действительно нельзя было напечатать:

*Подсолнух следит за солнцем.  
Ромашка следит за подсолнухом.  
Я слежу за ромашкой.  
Цензура следит за мной.*

Наконец рукопись его стихов в одном издательстве передали критику, известному — да что известному! — главному расшифровщику антисоветского подтекста! Тот долго изучал стихи нашего поэта и наконец написал на них обширную рецензию, которую почему-то в редакцию прислал по почте. Этого с ним никогда не случалось. Обычно он расшифровки приносил сам, чтобы лично упиваться удивлением работников редакции своей безошибочной угадчивостью.

На этот раз работники издательства не успели удивиться его рецензии в виде письма, как вынуждены были поразиться ее содержанию.

Автор рецензии писал, что тщательный анализ стихов показал: антисоветский подтекст в них, безусловно, существует, но он так разросся, что отделился от текста и ведет автономное существование — по-видимому, там, где его хранит автор.

Пораженная редакция попыталась связаться с критиком по телефону, но услышала только истощный крик его жены, что мужа увезли в психбольницу.

— Что за стихи вы ему дали на рецензию! — визжала она. — Я по суду буду требовать уплаты штрафа за производственную травму!

Оказывается, в сознании критика стихи окончательно расщепились на текст и подтекст, что, в сущности, рано или поздно с ним должно было случиться. Через неделю ему удалось переправить из психбольницы коротенькую открытку, написанную второпях химическим карандашом. Он рекомендовал редакции, включив КГБ в поиски подтекста, обыскать квартиру автора в Москве и квартиру его родственников в Астрахани, откуда тот был родом. По словам критика, успех операции мог обеспечить только одновременный обыск в обеих точках, при этом именно по московскому времени, а не по астраханскому. В последнем случае все может развалиться.

— Я свел с ума десять женщин и одного критика! — гремел по этому поводу наш поэт.

— Уполовинься! — с хохотом отвечали ему на это друзья.

— По-вашему, правдоподобней звучит, — невозмутимо гудел в ответ наш друг, — пять женщин и полкритика?

Однако книги его по-прежнему не печатались, хотя издательские начальники не решались назвать его антисоветчиком. Во-первых, антисоветчины действительно не было, а потом, политически было нецелесообразно подталкивать его

в ряды антисоветских писателей, которых становилось все больше и больше по той простой причине, что их почти перестали арестовывать, хотя и не начали печатать.

Поэтому на рукописях его стихов, попадавших на глаза начальству, значилась бабья резолюция: «Надо годить». Вот и годили десятилетиями.

А если же он сам попадался на глаза начальству, годить приходилось еще больше. С одной стороны, огромный, как богатырь, а присмотреться — рыхловатый. С другой стороны, горящие, черные цыганские глаза под густыми черными бровями. Но цыганские ли это глаза, мучительно думали литературные начальники.

Сам он нередко с гордостью говорил, что в его русской крови есть цыганская примесь. Любил повторять стихи Дмитрия Кедрина, кончающиеся такой строфой:

*В цыганкиных правнуках слабых  
Тот пламень дотлел и погас,  
Лишь кровь наших диких прабабок  
Нам кинется в щеки подчас.*

Нет, в глазах нашего поэта тот пламень не дотлел и не погас! Однако патриотическое чувство начальства подсказывало: русскому народу не нужен рыхлый богатырь с черными цыганскими глазами. Некоторые наиболее рьяные патриоты, считая, что его псевдоцыганские глаза есть не что иное, как очередной еврейский обман русского народа, послали в его



родную Астрахань небольшую делегацию, чтобы она там порылась в архивах и выяснила его истинное происхождение. Кроме того, они посоветовали делегации попутно присмотреться к носам его родственников. Посланцы для облегчения своей задачи решили начать с носов, но потерпели фиаско: носов не оказалось. В доме, где раньше жили его родственники, соседи сказали, что все они разъехались по разным городам, а один даже живет в Москве и пишет стихи.

— Про него знаем, — сдержанно согласились члены делегации.

Стыдясь прямо спросить о носах родственников, они якобы из праздного любопытства поинтересовались, не осталось ли у них фотокарточек разъехавшихся, особенно в профиль. Соседи почему-то на это страшно обиделись.

— Нет никаких фотографий! — ответили они и злобно добавили: — Особенно в профиль!

Однако в архиве посланцы выяснили, что наш поэт дворянского происхождения, а в девятнадцатом веке его прадед в самом деле был женат на цыганке.

— Посланцы говорят, что русский дворянин, — повздыхали пославшие. — Если их по дороге евреи не перекупили.

Тогда еще, при советской власти, на фоне некоторого изнурения большевиков в вопросе выяснения классового происхождения сограждан, несколько оживился интерес к их расовому происхождению и одновременно стало модным быть причастным к русскому дворянству. Многие ринулись в дворянство.

Возможно, некоторые наивные люди решили, что остаткам самого истребленного класса в России будут платить пособия, подобно тому как немцы, удивляясь своей неаккуратности, платят пособия своим случайно недобитым евреям. Ожидавшие пособия явно погорячились. Но все еще ждут.

— Что ж ты молчал, что ты аристократ? — спросили у него державники.

— Запомните, аристократ и есть истинный демократ, — ответил наш поэт, чем немало смутил их. С одной стороны, было неприятно, что он причисляет себя к демократам, а с другой стороны, было приятно, что демократы-то наши липовые, поскольку они явно не аристократы. Он вообще мог припечатать словом. Одного глупого популярного романиста, обладавшего бешеной еврейской энергией и в год ухитрившегося выпустить два антисемитских романа, он назвал:

— Вулкан с головой цыпленка.

Слова его подхватили в литературных кругах. Злые языки говорят, что экспедицию в Астрахань снарядил, и притом за собственный счет, именно этот романист.

Несмотря на бедность, одет наш поэт был всегда франтовато. Какой-нибудь новый директор издательства, впервые увидев его в своем кабинете и пытаясь встретить по одежке, принимал его за процветающего советского писателя, терпя неимоверный голос и объясняя его близостью к начальству и робея перед его богатырским сложением, рыхловатость которого несколько скрывала ловко пригнанная одежда. Но потом, выяснив, что этот седовласый господин хлопочет об из-

дании своей первой книги, приходил в ярость, принимая его за авантюриста и графомана.

Когда он входил в кабинет начальника и голосом громовержца начинал говорить, начальник всей шкурой чувствовал, что этого человека слишком много, что он своим обилием делает кабинет тесным для двоих и тем самым выталкивает начальника, сдувает его голосом, что начальнику, естественно, не нравилось, и он спешил изгнать поэта, пока не оглох и силы его не оставили.

— Уполовинься, тогда, может, что-нибудь получится, — говорил ему единственный доброжелательный редактор, двадцать лет перетасовывавший стихи его первой книги, которая, по существу, уже была пятой, но находилась среди рукописей начинающих поэтов.

Так он жил в литературе, всем известный и никому не ведомый. Он жил, как ледакол, застрявший в океане ваты. Какой-то рок витал над судьбой его поэтических книг.

Одно время появился довольно либеральный секретарь Союза писателей. Ему доверяли, потому что его либеральность уравновешивалась общенародной склонностью к алкоголю. Он стал опекать нашего поэта с тем, чтобы в дальнейшем помочь ему выпустить книгу. Это был действительно культурный человек и в силу своей культуры понимал, что в стихах нашего поэта нет ничего антисоветского и он ничем не рискует.

Их связывала любовь к поэзии и любовь к выпивке. Выпивая с нашим поэтом, он коллекционировал и одновременно заспиртовывал его остроты. Излишне говорить, что наш

поэт был блестящим собеседником. Секретарь Союза писателей, сидя с ним в писательском ресторане, приучал издательское начальство, которое тоже не чуждалось ресторана, к тому, что наш поэт свой человек и только глупые рецензенты не могут привыкнуть к его оригинальности. И уже все было на мази, книга нашего поэта наконец попала в издательский план, и ему даже выписали аванс.

Но однажды секретарь Союза писателей вместе с нашим поэтом сидел в большой компании в писательском ресторане. В какой-то миг секретарь Союза посмотрел на часы и, вставая, сказал:

— Мне пора в президиум.

Предстояло большое писательское собрание. И вдруг наш поэт (кто его дергал за язык!) громогласно сострил:

— Он сказал: изыди, ум! И ушел в президиум.

Все рассмеялись, в том числе и секретарь Союза. Однако, оказывается, он затаил деятельную обиду. Мало того что дружба на этом кончилась, главное, книга нашего поэта таинственно исчезла из издательского плана. Правда, аванс назад никто не потребовал, да он и не отдал бы.

— Мне надоел этот директор комиссионного магазина культуры, — позже говорил про этого секретаря наш поэт.

Про одного малокультурного, но очень плодовитого прозаика он однажды сказал:

— Его надо немедленно внести в Книгу рекордов Гиннеса! Он уникальный писатель! Первая книга, которую он прочел в жизни, была его собственная первая книга!

Слух о сказанном, конечно, дошел до плодовитого писателя. И тот, по-видимому долго обдумывая, нашел злой ответ:

— Пусть он позаботится о внесении меня в Книгу рекордов Гиннесса. А я позабочусь о судьбе его книг здесь.

И, видимо, позаботился, как и многие другие. Книга нашего поэта никак не могла пробиться в печать.

Я забыл сказать, что у нашего поэта был высокий шанс издать книгу еще задолго до либерального секретаря Союза писателей. Это было время, когда вероломно сняли Хрущева и назначили Брежнева. Начальники не без основания были уверены, что в скором времени Сталина реабилитируют. Об этом они жарким, влюбленным шепотом говорили друг другу. Да и многие обычные люди догадывались об этом. Но наш поэт ни о чем таком не догадывался.

В пику нескольким диким выступлениям Хрущева против художников и писателей, где тот топал ногами и кричал на них, и выступления эти были еще у всех на слуху, хотя самого Хрущева уже сняли, — так вот, в пику этим его выступлениям Союз писателей рискнул поддержать нашего поэта и издать его книгу. Мол, не топаем, не кричим, но выискиваем таланты и поднимаем их.

А с Хрущевым, в сущности, вот что было. Друзья Хрущева прослышали, что номенклатура готовит против него переворот под кодовым названием «Атака на цыпочках». Они предложили Хрущеву упреждающий жест: мирно повесить на Красной площади пять-шесть интеллигентов, нет, не больше, и тогда номенклатура испугается и притихнет. А чтобы

Запад не поднимал шум, оформить повешенных интеллигентов как добровольцев.

А наивный Хрущев вместо этого топал ногами и кричал на художников и поэтов, при этом делал страшные гримасы, дескать, не к вам это относится, а к номенклатуре: вы не бойтесь, а только делайте вид, что испугались.

Ничего себе — делайте вид! А тут еще кто-то стал распространять слух, что пять-шесть человек повесят.

— Но не больше! — оптимистично добавлял он. — Хрущев покричит, потопает ногами, а потом пять-шесть интеллигентов повесит.

— Кого именно? — пытались дознаться представители художественной интеллигенции у того, кто эту весть принес.

— В том-то и дело, что неизвестно, — отвечал он.

Что делать? Если точно знать, что тебя именно повесят, можно было бы героически выступить против выпадов Хрущева. Но точно никто ничего не знал. Деятели искусства, как люди исключительно нервные, мягко говоря, растерялись, чего никак нельзя сказать про номенклатуру, которая, слушая топанье и крики Хрущева, бормотала среди своих:

— Ну и что! Ну и что! Пусть топает! Мы топать не будем.

И потому все так получилось. Другое дело, если бы Хрущев тихо-мирно повесил на Красной площади (даже не обязательно на ней!) пять-шесть интеллигентов, нет, больше не надо было, тогда, конечно, и номенклатура сильно призадумалась бы. И тогда вместо того, чтобы на цыпочках атаковать, она, скорее всего, на цыпочках разошлась бы. Да

что теперь говорить об этом! Да мы о другом! Да не наше это дело!

Мы о нашем поэте. Для начала решили попробовать его на эстонцах. Союз писателей устроил в Таллине вечера московских поэтов. Для укрепления дружбы народов. Как всегда, на такого рода мероприятиях наше пролетарское государство проявляло купеческое гостеприимство, по-своему используя ленинский лозунг: мы не все старые ценности сдаем в архив. И, как всегда, начальников приехало больше, чем поэтов.

Заключительный вечер состоялся в переполненном театре. Наш поэт имел бешеный успех. Впервые в жизни его голос естественно соответствовал размеру помещения.

Он читал стихи о России и о Европе. Чудные стихи о чудных, видимо средиземноморских, островах особенно понравились слушателям. Они дивились тому, что, сидя в Москве, можно восхищаться европейскими красотами и при этом не оказаться в районе Магадана с красотами его северных сопок.

Правда, говорят, небольшая наиболее консервативная часть местной публики решила, что Советский Союз так именно готовит почву для захвата этих теплых островов. Но таких было мало. Основная масса зрителей воспринимала его стихи как победу либерального направления в Кремле. А теплые острова — почти прозрачный символ потепления международных отношений.

Московскому начальству шумный успех нашего поэта тоже пришелся по душе. Пусть знают, думали они, и нам Европа не

чужда, и мы не лаптем щи хлебаем. Наш поэт настолько им понравился, что они взяли его с собой на торжественный ужин, устроенный в доме видного эстонского поэта. Все остальные поэты ужинали и пили в гостинице за собственный счет.

Видный эстонский поэт, он жил недалеко от театра, ведя гостей к себе домой, позволил смелую шутку, над которой хохотали даже московские начальники, правда, соразмеряя свой хохот с хохотом главного начальника.

Показав рукой на мусор, валявшийся на тротуаре, кстати, по российским меркам, вполне умеренно, этот эстонский поэт сказал:

— Эстонцы дураки. Они ждут, когда кончится советская власть, чтобы потом убрать мусор на улицах.

Шутка, конечно, прозвучала двусмысленно, но интонация была такова, что советская власть никогда не кончится. И потому начальство хохотало.

Но вот мы сегодня свидетели того, что советская власть в самом деле кончилась. Так что эстонцы в своих терпеливых ожиданиях оказались не такими уж дураками. Правда, надо сказать, что и мусора с тех пор скопилось порядочно.

Все было бы прекрасно, если бы не особенность местного национального обычая, о котором не знало не только начальство, но и наш весьма эрудированный поэт. Оказывается, в лучших домах Таллина принято сначала ужинать в столовой, разумеется с напитками, а потом переходить в другую комнату, где гостей уже строго испытывают на чистом алкоголе, без всяких закусок. Такая эстонская рулетка.



Но об этом из наших никто не знал. Никто не знал, что надо пить за первым столом, учитывая для равновесия предстоящий стол. Но о нем заранее никто ничего не сообщил. Поэтому наши начальники выложились за первым столом. Они действовали, как штангист, у которого единственный подход к снаряду.

Так вот, когда гостей перевели в другую комнату и усадили за второй стол, они были так пьяны, что чувствовали себя совершенно трезвыми. И они продолжали крепко пить. Тем более, что кто-то из них высказал остроумную догадку: согласно причудливым местным обычаям, предстоит еще один стол — в третьей комнате, где будут подавать уже одни закуски, а напитков не будет. Так что старались пить и в счет третьего застолья.

— Сколько же у него комнат, если на каждое застолье выделяется по комнате! — удивлялись московские гости.

Алкоголь, как известно, ускоряет движение времени.

И наши начальники дружески, перебивая друг друга, стали ласково рассказывать о том, что Сталина в ближайшее время реабилитируют. Им, видимо, казалось, что эстонцы сильно соскучились по Сталину, и они в благодарность за гостеприимство решили их взбодрить. Однако хозяева и другие прибалтийские гости смущенно молчали. Но не промолчал наш аполитичный поэт.

— Значит, осуждение Сталина на Двадцатом съезде было аферой Хрущева? — громко, как всегда, спросил он с раздражающим оттенком глобального академизма.

— Нет, аферы не было, — отвечал главный начальник, глядя на нашего поэта и взглядом охотно соглашаясь с ним, что лично Хрущев, конечно, аферист, но об этом нельзя говорить при эстонцах, так как они еще не обладают достаточной политической гибкостью. Но наш поэт ничего в этом многозначительном взгляде не уловил. Он только уловил его слова.

— Выходит, реабилитация Сталина — афера? — спросил он в согласии с логикой, но в полном противоречии с диалектикой. Теперь он спросил с еще более раздражающим оттенком еще более глобального академизма.

И что тут началось! Начальники взвились:

— Мальчишка! Дурак! Астраханский эстет! Кулацкое отродье!

— Что ты можешь знать о великих заслугах товарища Сталина, киприот недоделанный! — в отчаянье выкрикнул один из начальников, забыв, что астраханский эстет никак не совмещается с киприотом, даже недоделанным.

Скандал! Скандал! Скандал! Выражая неподдельную ярость, начальники кричали на него, одновременно не забывая поглядывать друг на друга, чтобы обнаружить в ком-нибудь слабость выражения этой ярости. Поэтому никакой слабости никто не проявлял.

Эстонцы и остальные прибалты молча слушали, как бы изучая особенность славянского спора между собой, которая, оказывается, заключается в том, что все бьют одного.

Потом начальники повскакали с мест и стали дружно одеваться, гневно вбрасывая руки в рукава плащей, как шашки в ножны после кавалерийской атаки. Они уходили, демонстративно отмахнувшись от третьего застолья, которое, впрочем, сами же и выдумали. Все заспешили в гостиницу, и бедный наш поэт, понурившись, последовал за ними.

Самый маленький начальник, занимавший тот же номер, что и наш поэт, неожиданно наотрез отказался от своего места, ссылаясь на то, что больше не может дышать с нашим поэтом одним воздухом, отравленным его дыханьем. Однако по случаю заполненности гостиницы и, вероятно, невозможности достать противогаз в столь поздний час ему предложили рискнуть и занять свою кровать. Ночью, временами вскакивая на постели и что-то быстро лопоча, он, не просыпаясь, во сне продолжал искренне симулировать возмущение. В те времена искренне симулировать возмущение могли многие, но чтобы во сне искренне симулировать возмущение — и тогда было величайшей редкостью. Пусть психологи будущего изучают этот феномен.

После этого скандала книга нашего поэта на несколько лет потеряла даже отдаленный шанс быть изданной.

Отсутствие более жестких санкций было вызвано тем, что Сталина и в самом деле не реабилитировали. Говорят, об этом взмолилось руководство европейских компартий.

— Я остановил реабилитацию Сталина! — позже грохотал наш поэт. По его словам, этот скандал проник в западную печать и Кремль вынужден был дать слово, что реабилитации

не будет, потому что наиболее талантливая часть России против. Ну что ты ему скажешь!

...Однако мне поднадоело комментировать его жизнь. Я передаю ему слово. Думаю, он это сделает лучше.

### Озимая кукуруза

В юности, знаешь, меня по знакомству устроили работать в центральную молодежную газету. Скажем так, чтобы никого не обижать. Полгода я жил припеваючи и пропиваючи свой гонорар. Я писал рецензии на книги, в основном иностранных авторов, отвечал на письма читателей. Я работал в отделе культуры.

Единственная трудность, которую я не сразу одолел, — это эпистолярное, а главное, личное общение с графоманами. Самое упорное и злобное племя людей. Стоило мне в письме такому человеку дать легкие указания на тяжелые недостатки его стихов или рассказов и пожелать ему в дальнейшем творческих удач, как он разражался целым трактатом критики на мою критику и посылал этот трактат на имя главного редактора. Тот, разумеется, не читая трактата, но стремясь к спокойной жизни, становился на его сторону и учил меня быть поласковей с молодыми авторами.

Еще упорней они бывали в личном общении, переходя от сентиментального предложения устроить загородный пикни-

чок с шашлыком к прямым угрозам пожаловаться в ЦК комсомола или даже партии. Кошмар.

Один из них купил меня на эти шашлыки, за что я потом сполна расплатился. Он писал рассказы, и я чувствовал в них некоторое мерцание таланта и возился с ними, пытаясь довести их до печатного уровня. Но пока не удавалось. Кстати, при этом он был удивительно одарен в практической области, зарабатывал достаточно много денег и уже тогда имел свою машину.

Согласие мое на шашлычный пленэр объяснялось еще тем, что мы оба жили в одном и том же подмосковном районе. Было удобно встретиться.

— Приведи с собой кого-нибудь из редакции, — щедро предложил он, — будет веселее.

Я предложил заведующему отделом приехать ко мне на шашлычный пикник, устроенный одним начинающим автором.

— Что ты, что ты! — всплеснул тот руками. — Я не поеду! Потом от него не отделаешься, прилипнет. И тебе не советую прикасаться к этому шашлыку!

Но я прикоснулся. До сих пор удивляюсь мудрости и прозорливости этого человека, а ведь он ненамного был старше меня.

В назначенный день этот автор приехал на своей машине, с шашлыками, водкой и певцом, исполнявшим собственные песни. Мы развели костер и поджарили шашлыки. Потом пили водку, закусывая дымным мясом, и слушали певца. Певец оказался не только талантливым, но и высококультурным че-

ловеком, и я про себя удивился, что его свело с моим автором, которому сильно не хватало этой самой культуры, и он ее, кряхтя, заменял упорством. Неужели только возможность выпить? Одним словом, мы хорошо посидели.

После этого рассказы моего автора довольно густо посыпались на меня, и каждый раз мне казалось, что в них что-то есть, и я рылся в них в поисках неведомого призрака таланта, но никак не мог довести их до печатного уровня. Потом он перестал приходить, но, оказывается, затаил на меня обиду. Он, видимо, никак не мог понять, что, даже если бы я по доброжелательности пропустил его рассказ, другие работники редакции его непременно остановили бы. И я, чтобы не морочить ему голову, сам возвращал ему его творения, тем самым обращая его дальнбойную злобу на самого себя. Но этого я тогда не понимал.

Прошли годы и годы! Наступило новое время, вакханалия свободы, но при этом надо сказать, что мои книги стали печатать в России и за границей. Я стал известным поэтом не только в узких кругах, как было раньше.

И вдруг этот автор, про которого я давно забыл, уже красиво поседевший, уже на новенькой машине, приезжает ко мне и дарит мне свою первую книгу. При этом усиленно зазывает меня выпить с ним хорошего грузинского вина, которое у него в багажнике, или, в крайнем случае, взять в подарок несколько бутылок.

Мистика! Какая-то божественная сила меня удержала! То ли смутное воспоминание, что мы перед расставанием не-

сколько поссорились, то ли его какая-то новая, вкрадчивая манера разговаривать. Я даже нагло солгал ему. Я сказал, что бросил пить, и он, не вынимая своего вина, скромно уселся в свою дорогую машину и уехал. Из дальнейшего рассказа у тебя может возникнуть мысль, а не хотел ли он отравить меня своим вином. Я уже об этом думал. Отвечаю: нет! Первое его предложение было сразу — вместе выпить. В таком случае я, будучи отравленным, не успел бы прочесть его рассказы. А с этим он смириться никак не мог. Более того, если бы он просто оставил мне вино, у него не могло быть никаких гарантий, что я после его ухода примусь за его рассказы, а не за его вино.

Как же он теперь пишет, подумал я и, чтобы сразу выйти на самое зрелое произведение, начал читать книгу с последнего рассказа.

Боже, Боже! Это был рассказ о нашем шашлычном пикнике, где с патриархальностью летописца он всех, и меня в первую очередь, назвал собственными именами. Больше от летописца в рассказе не было ничего.

Меня в этом рассказе он вывел величайшим глупцом и коварнейшим хитрецом. Я выгляжу в нем редакционным павлином, ни на секунду не забывающим, что я работаю не где-нибудь, а в центральной газете. При этом он приплел бессмысленную ложь, что я якобы хвастался, будто вырос на коленях известного поэта и на этих же коленях написал первые свои детские стихи. Вершина юмора!

Я этого поэта не только не знал, но даже никогда не видел. Он уже давно умер. Не обращаться же к родственникам его со

странной просьбой подтвердить, что я у покойника никогда не сидел на его выносливых коленях, учитывая, что и ребенком я был достаточно крупным.

Но еще сильнее меня раздражило, что он присвоил мне кавказскую привычку во время застолья хлопать ладонью в ладонь человека, сказавшего особенно острое словцо. Я терпеть не могу эту привычку, но получалось, что я же беспрерывно с размаху хлопаю кого-то в ладонь, и, конечно, в основном в его ладонь. По его словам, я прямо-таки отбил ему ладонь дня на два и он за это время не мог взять в руки пера. Намек на незримый траур читающего человечества. Сколько якобы скрытых комплиментов себе в одной фразе. С одной стороны, беспрерывный поток остроумия (хлоп! хлоп! хлоп!), а с другой стороны, затворническая жизнь истинного художника: ни дня без строчки. Ни дня — кроме этих двух дней.

Ну конечно, кое-что перепало и ладони певца после особенно задушевной песни.

Дальше началось полное безумие, возможно чуть-чуть основанное на факте. Когда он разжег костер для шашлыка, он несколько торжественно, чего я тогда не заметил, вручил мне кусок фанеры, чтобы я им раздувал пламя, а сам стал собирать поблизости всякие сухие сучья и ветки. И возможно, не видя возле костра никакого топлива, чтобы поддержать огонь, я сунул туда этот несчастный кусок фанеры. Возможно. Не отрицаю.

В этом месте рассказа он обрушил на меня рыдающую провокацию. Оказывается, эта фанера, будь она неладна, бы-



ла крышкой от посылки, присланной его любимой мамой — да что значит присланной! присылаемой ему в течение уже десяти лет из далекой провинции! Оказывается, она уже в течение десяти лет присылает ему сухофрукты в одном и том же ящике с одной и той же крышкой, потому что в ответ он дорогой мамочке в провинцию шлет консервы не только в том же ящике, но с той же крышкой, только перевернув ее и написав мамин адрес. Оказывается, эта крышка от посылки, как знак близости с любимой мамой, была ему дороже всего на свете, даже дороже машины! Спрашивается, если уж эта крышка от посылочного ящика так тебе дорога, зачем ты ее притащил для вздувания шашлычного костра? Лучше бы уж из дому веник принес, было бы куда размашистей раздуть костер! Но слушай дальше, ты умрешь!

Оказывается, я не случайно сунул эту крышку в огонь, отнюдь не случайно! Оказывается, я принял эту крышку от посылки за одну из крышек от посылок, которые регулярно получаю из-за границы, и не на московскую квартиру, где живет моя мама, а на этот районный адрес, где КГБ далеко не так тщательно, как в Москве, проверяет посылки. Оказывается, я, увидев на крышке написанный крупным почерком индекс хорошо знакомого почтового отделения, дальше не стал читать, приняв куриный почерк его мамы за почерк иностранца. Он так сурово и пишет — «куриный почерк мамы», что совершенно не вяжется с нежными признаниями в любви к ней. Тут сразу возникает несколько безответных вопросов. Почему он уверен, что я помахивал крышкой над костром именно той

стороной к себе, где господствовал куриный почерк мамы, а не той, где царствовал его петушиный? Почему он уверен, что у таинственного иностранца, неустанно снабжавшего меня посылками, был такой же или почти такой же куриный почерк, как у его мамы, что я их мог спутать? Были еще вопросы. Забыл.

С ума сойти! Я никогда в жизни не получал из-за границы посылок! Вообще ниоткуда не получал посылки! В получении посылок из-за границы даже в те далекие времена не было прямого криминала. Но из контекста следовало: легко мне быть поэтом, далеким от политики, когда за граница так нежно заботится обо мне. Но с другой стороны — противоречие. Откуда такой панический страх: немедленно сжечь крышку! Что, в посылке лежали антисоветские книги или наркотики?!

Но, допустим, если я после долгих поисков нашел такое странное почтовое отделение, которое КГБ по рассеянности (ха! ха!) не проверяет, как же я сам эту крышку вынес? И зачем вообще я ее хранил? Не посылал же я своему иностранцу с куриным почерком консервы из Москвы, перевернув ту же крышку, как мой автор?

Но, допустим, я пришел в невероятный восторг от предстоящего шашлыка и забыл про всякую опасность. Откуда я взял, что сейчас в России принято раздувать шашлычный огонь исключительно крышками от посылок? Тысячи вопросов! Ведь крышкой от посылки я раздувал костер еще далеко до всякой выпивки и, если обратил внимание на почтовый

индекс, столь устранивший меня, мог бы прочесть и дальше, несмотря на куриный почерк его мамы. Хотя бы подобие психологической правды! Хотя бы указал, что я все это проделал, когда уже надрался водки. Так нет!

Кстати, почему он этот рассказ поместил в конце книги? Я думаю, он решил, что я, читая его искрометные рассказы, окончательно расслаблюсь — и тут он вонзит в меня свой кинжал!

Я посмотрел выходные данные книги. Весьма странно.

Название какого-то издательства, каких сейчас тысячи, и я разумеется, о нем ничего не слышал. Но там забавные редакционные приписки. Во-первых, книга издана на средства автора, во-вторых (слава Богу!), всего пятьсот экземпляров, а в-третьих, и это самое главное, неслыханное для издания художественных произведений предупреждение: продажа книги запрещена!

Зачем же вы издаете, если запрещаете продажу книг? При этом на обложке исполненный бодрой доброжелательности уговор читателей присылать отзывы о книге по адресу автора. Каких читателей, если книга запрещена для продажи? Очевидно, выкупив издание, автор сам будет рассылать книги избранным читателям.

Мне он уже вручил, и, если мое признание с твоей помощью когда-нибудь попадет в печать, это и будет читательский отзыв на ласковые уговоры.

Прочитав рассказ, я сначала пришел в бешенство и хотел подать в суд на издательство и автора за клевету. Ведь, скажем, если я получал из-за границы посылки, на почте должны оста-

ваться какие-то данные об этих посылках. Но потом махнул рукой: черт с ним! Ему любой ценой нужна любая слава, так что суд ему даже выгоден. По этой же причине я не называю его имя — и это ему было бы выгодно. Любой скандал!

В сущности, КГБ должен был подать на него в суд за клевету. Якобы они, сосредоточив свое внимание на посылках, поступающих в Москву, сквозь пальцы смотрели на те, которые приходили в районные почтовые отделения.

Но как это все могло случиться? Деньги, деньги, деньги сейчас играют роль всесильной идеологии.

Но я отвлекся и отвел душу. Пусть и тебе это послужит уроком. Я знаю, что ты слишком много уделяешь внимания так называемым подающим надежды. Они и тебе рано или поздно отомстят, если уже не отомстили. Молодой автор должен подавать талантливые рукописи, а не надежды.

Возвращаюсь к своей газетной молодости. Наконец, когда графоманы меня совершенно загнали в угол, нужда заставила найти выход.

«Ваши стихи или рассказы гениальны, но их поймут только в следующем веке», — говорил я или писал в ответ на присланные рукописи. И каждый графоман, как бы воркуя, после этого замолкал. И только один, и то весьма вежливо, сделал еще одну попытку напечататься.

«А нельзя ли все-таки попробовать в этом веке?» — деликатно спросил он у меня в ответном письме.

«К сожалению, нельзя, — отвечал я ему, — для этого века они слишком гениальны».

И он навсегда замолк, по крайней мере в этом веке. Но вот однажды меня вызвал к себе редактор и говорит:

— Наши собкоры о комсомольской работе на местах пишут очень скучно. А у вас хорошее, легкое перо. Поезжайте в Вологодскую область. Мы вам выбрали большое, зажиточное село. Напишите, как там проходит комсомольская жизнь. Заодно можете прихватить и хозяйственную. Особенно обратите внимание на кукурузу, она теперь царица полей! Это сейчас революция в сельском хозяйстве! Покажите всем этим нашим замшелым собкорам, как крылато можно писать о комсомольской жизни, когда за это берется настоящий поэт!

Я был юн и польщен оценкой редактора моей поэтической работы, хотя именно он, кстати говоря, ни разу не опубликовал мои стихи.

— Пока не так поймут, — говорил он, возвращая мои стихи, чем натолкнул уже меня на формулу о следующем веке. Нет, до следующего века он меня не отсылал, это я сам придумал.

И вот я впервые приезжаю в это действительно большое село и действительно по тем временам достаточно зажиточное. В каждом доме водопровод и электричество. Я поднялся в правление к председателю колхоза. Он выслушал меня, не переставая покрикивать на бригадиров, собравшихся там, а потом сказал:

— Зайдите в библиотеку. Библиотекарша — секретарь нашей комсомольской организации. А потом приходите ко мне. Я вас повезу по полям.

Я зашел в библиотеку, которая находилась при клубе. Библиотекарьша оказалась молодой, худенькой, некрасивой и как бы вследствие всех этих причин навсегда притихшей девушкой.

На все мои наводящие бодрые вопросы о комсомольской работе она отвечала грустным отрицанием. Никакого молодежного кружка по изучению марксизма, никакой оживленной дискуссии по поводу приближающегося коммунизма, обещанного Хрущевым, никакой театральной самодеятельности, никакой хореографии, никаких литературных вечеров, ничего.

Кругом книги. Сидим одни в тихой библиотеке, и я как бы все время домогаюсь комсомольской работы, а она как бы на мои домогания, скромно опуская глаза, тихо отвечает:

— Нет.

Кругом книги, тишина, мы с молодой девушкой одни в библиотеке, и я все время слышу, как она, скромно потупившись, говорит:

— Нет.

При этом ни малейшего желания солгать или как-то оправдаться. Такая беззащитная искренность порождала желание пожалеть ее. А тут книги, тишина и мы вдвоем. Она была так некрасива, что возбуждала желание лечь с ней и сделать ее красивой! Но это, конечно, было невозможно! Парадоксальный секс! Я его открыл.

— Так что же бывает у вас в клубе? — спросил я, уже в полной безнадежности продолжая домогаться.

— Кино и танцы, — прошептала она, вздохнув, как бы наконец ответив на мои домогания в очень неудобной позе.

— А к вам в библиотеку ходят комсомольцы? — сделал я еще одну несколько извращенную попытку.

— Очень редко, — прошептала она после долгого молчания, видимо припоминая читателей. — В основном книги берут местный агроном и учителя.

Боже, какая печальная девушка и как мне хотелось приобнять ее и приласкать! А ведь мне предстояло по поводу слышанного написать гневную статью, в основном направленную против нее.

Я удрученно поплелся к председателю колхоза. Как я потом узнал, у него было прозвище Чапай. Он нервно набрасывался на всех, хотя, в сущности, был незлым человеком.

Посадив в свою машину, он с гордостью провез меня возле цветущих пшеничных полей. А потом мы подъехали к огромному, уходящему за горизонт кукурузному полю, где кукуруза, несмотря на середину августа, возвышалась над землей на двадцать, в рекордных случаях на тридцать сантиметров. Ждать от нее початков было бы все равно, что ждать ребенка от трехлетней девочки. А у нас под Астраханью, еще до всякой кукурузной кампании, я видел могучие заросли ее, с лихими метелками и иногда с несколькими початками на стебле.

— Нам приказали засеять кукурузой лучшие земли! — кричал председатель бесстрашно, как Чапаев, нападая на Хрущева. — А я не знаю, стоит ли здесь косить или дешевле пустить скот, пока снег не выпал!

Потом он мне показал коровник, птицеферму и другие колхозные заведения. Кстати, когда мы подъехали к птицеферме, десяток женщин, лузгавших семечки у ее входа, вбежали в помещение, весело крича:

— Бабоньки, Чапай приехал!

После этого мы зашли в какую-то столовку, где обед плавно перешел в ужин. Председатель, ругая Хрущева, непрерывно жаловался на кукурузу, которая не дает и не даст разбогатеть хозяйству. Я был польщен его доверчивой руганью при мне в адрес высшего начальства, но позже убедился, что люди чем дальше от центра, тем откровенней.

Потом он повез меня ночевать. Мы вышли из машины возле какой-то скромной избы. Я с хищным восхищением решил отметить в будущей статье простоту председательского жилья. Но он стал стучать в дверь, и ее вдруг открыла та самая библиотекарьша.

— Наташа, принимай гостя ночевать! — крикнул он и как бы для облегчения ее участи добавил: — Он уже со мной поужинал!

Он попросался, и мы с ней вошли в чистую, пустую избу с русской печкой, на которой, оказывается, кто-то спал, но я этого не заметил. Сидя за столом, мы еще с ней немного поговорили, и к скудной информации о ее жизни прибавилось, что она заочно учится в каком-то институте. Изучает немецкий язык. Мне стало ее совсем жалко. Зачем немецкий язык посреди Вологодской области?



Наконец, не переставая грустить, она постелила мне постель, постелила себе постель, разумеется в той же избе, а где ж еще, погасила свет, и мы легли.

Мне ее было безумно жаль, тем более что мне неотвратимо предстояло писать о развале комсомольской работы в этом селе. И в этом развале главной виновницей должна была стать эта хрупкая, некрасивая, беззащитная девушка. Я много раз мысленно пытался, отталкиваясь от реального водопровода и реального электричества, нарисовать пристойную картину комсомольской жизни. Но понимал, что не могу. Не за что было зацепиться. Думая обо всем этом, я тяжело вздохнул.

Она, видимо, услышала мой тяжелый вздох и по-своему его поняла. Она вдруг тихо встала, подошла к моей кровати и, как обиженный ребенок, которого до этого изгнали из игры, а сейчас он сам в нее вступает (дважды обиженный!), попросила:

— Подвиньтесь!

Я подвинулся, и она легла рядом со мной. Я обнял ее бедное тело. Было жалко, стало жарко...

В темноте я был уверен, что она похорошела. Мы разговорились в постели, и теперь ее голос был добрый и нежный. Никакой грусти. Мы договорились до того, что она после окончания института приедет ко мне. Я был в восторге и забыл свойство собственного голоса. И она настолько забылась, что не предупредила меня.

Оказывается, это ее бабушка лежала на печке. И вдруг откуда донеслось всхлипывание, переходящее в громкий плач. Я оцепенел от стыда и ужаса.

— Моя внучка блядь, моя внучка блядь! — доносилось сквозь рыданье старушки.

— Ну ладно, хватит, хватит, бабушка! — крикнула Наташа и ушла к себе в постель.

Старушка постепенно замолкла. Я лежал ни жив ни мертв! Как я утром встречу с ней глазами! Уйти сейчас — но идет дождь, и куда? Не буду спать, подумал я, а на рассвете, пока они спят, уйду. Приняв твердое решение не спать до рассвета, именно из-за этого твердого решения я тут же уснул. Но на рассвете в самом деле проснулся. Я тихо встал, оделся и вдруг увидел на столе кружку молока и горбушку хлеба. А вечером на столе ничего не было. Значит, Наташа поднялась раньше меня и, поняв, что я не могу увидаться с ее бабушкой, оставила мне завтрак. Милая, чуткая девушка, кто бы, кроме тебя, догадался обо всем этом и позаботился обо мне! Я решил, что есть хлеб в этом доме и запивать его молоком после всего, что случилось, было бы слишком нахально. Но одно из двух — можно! Я одним махом выпил кружку молока и, взяв с собой хлеб, съел его на улице.

Не буду говорить о том, как я добирался до Москвы.

Теперь после того, что случилось ночью, я тем более не мог написать горькую правду о комсомольской работе на селе. Но и дохлая полуправда меня не устраивала. Я понял, что меня спасет только вдохновенная фантазия.

И я написал! Я написал, что в этом селе, сияющем от электричества, как Москва, хоть по ночам иголки ищи по улицам (непонятно, кто и зачем их разбрасывал), жизнь прекрасна

и удивительна. Повсюду, вплоть до автопоилок на фермах, щедро льется водопроводная вода. Местные комсомолки из литературного кружка неожиданно спросили у вашего корреспондента, как понимать строчки Пушкина:

*Спой мне песню, как девица  
За водой поутру шла.*

Они с хохотом поинтересовались:

— Как это так? Впереди идет вода, а за нею девушка?

Возможно, это была шутка. Но даже если это была шутка — то характерная. Каково же было мое изумление, когда я, слегка углубившись в этот вопрос, узнал, что никто из них не понимает значения слова «коромысло», они дружно назвали его иностранным словом. И тут уже было не до шуток. Правильный ответ дал только один старик. Прости, бабушка, наворачивалось у меня на язык, может быть, и ты дала бы правильный ответ, но я этого не написал.

Вина перед бабушкой не давала мне покоя и постоянно просилась в текст, куда я ее не впускал, и оттого утолить это чувство никак не мог.

Колхозные поля цветут, писал я. А бесконечная кукурузная плантация — это настоящие джунгли, готовые с головой укрыть всадника, если, конечно, ему удастся вогнать туда коня, что сомнительно. Прости, бабуля!

Я написал, что каждый кукурузный стебель держит на своей груди пять, шесть, семь початков. Я написал, что неко-

торые кукурузные стебли не выдерживают этой тяжести плодов и иногда опасно накрениваются, но им не дают упасть мощные братские стволы рядом растущей кукурузы.

Эти кукурузные джунгли стали причиной, слава Богу временного, несчастья на селе. Оказывается, двенадцатилетний мальчик заблудился в них и не нашел дороги домой. И только на пятый день его отыскали работники районной милиции с собакой-ищейкой. Перед походом в кукурузные джунгли собаке дали понюхать его личную любимую книгу «Как закалялась сталь» Островского. И собака взяла след и нашла мальчика в этих джунглях. Она нашла мальчика, мирно спавшего у подножия особенно рослого стебля кукурузы. Мальчик безмятежно спал, обняв недоеденный початок кукурузы, так он был велик. Оказывается, все эти четыре дня мальчик питался кукурузой молочно-восковой спелости, и у него даже не испортился желудок.

Как выяснилось впоследствии, мальчик, срывая эти початки, вскарабкивался на мощный стебель кукурузы. Даже если бы он захотел, он был не в силах согнуть стебель кукурузы, чтобы дотянуться до початка.

Впрочем, и в своем бедственном положении мальчик не мог допустить такого варварства, чтобы валить царицу полей на землю. И дело не в его несовершеннолетии, тут я тонко пошутил, а в исключительно уважительном отношении к царице полей. Но редактор выкинул эту шутку, ссылаясь на то, что некоторые могут понять ее как скрытую симпатию (непонятно — мальчика или автора?) к монархии.

Мальчика нашли, но это не обошлось без забавного курьеза. Оказывается, собака осторожно, чтобы не разбудить мальчика, взяла зубами из его рук недоеденный початок и с большим аппетитом доела его и даже разгрызла кочерыжку, как сладкую кость. (Я знал, что голодные собаки едят кукурузу. Правда, у нас на юге.) После этого она, поглядывая вверх на могучие початки и тихо подвывая, чтобы не разбудить мальчика, просила милиционеров сорвать ей еще один початок. Милиционеры, легко поняв желание собаки, угостили ее еще одним початком. И она его с таким же аппетитом слопала и с наслаждением разгрызла кочерыжку. После чего, наевшись до отвала, она брякнулась рядом с мальчиком, думая, что ее здесь оставляют сторожить все еще безмятежно спящего мальчика, и, видимо, довольная этим. Но милиционеры, посмеявшись ее наивной хитрости попытаться остаться вблизи кукурузы, подняли ее вместе с мальчиком. Надо же было искать дорогу обратно! Прости, бабуля, но я ж, в конце концов, был не первый!

Но мало всего этого! Местный агроном вывел новый сорт озимой кукурузы, и часть полей засеяна ею. Озимая кукуруза колышется себе под ветерком и для озимого сорта выглядит достаточно крупной.

Любимого председателя колхоза за смелый, атакующий стиль руководства народ здесь называет Чапаем, по имени знаменитого героя Гражданской войны!

Культурную жизнь села неизменно возглавляет секретарь местной комсомольской организации Наташа Богданова. Ее чуткость у всех на устах! Несмотря на невероятную занятость

в селе, она успевает заочно учиться в Институте иностранных языков! Ваш корреспондент, услышав немецкую речь в селе, на миг подумал, что внезапно попал в Германию. Но оказалось, что чудес не бывает!

Наташа, сама заочно изучая немецкий язык в институте, организовала в селе кружок по изучению немецкого языка, и уже около десяти комсомольцев довольно сносно говорят по-немецки.

Под ее руководством создан хор, великолепно исполняющий русские народные песни. А также танцевальный кружок, преимущественно исполняющий испанские танцы, что отнюдь не означает примирительного отношения к генералу Франко! Прости, прости, бабуля, если можешь!

Более того! В селе есть комсомольский кружок по изучению философии. На наших глазах в клубе проводилась пылкая дискуссия между сторонниками «Анти-Дюринга» Энгельса и «Нищеты философии» Маркса. Но эта дискуссия не означала, что спорящие друг друга отрицают, они плодотворно дополняли друг друга.

Наташа Богданова, кроме всего, еще и библиотекарь села. Когда открывается библиотека, всегда устраивается очередь комсомольцев, обменивающих книги. Комсомольцы, чтобы не терять время, в самой очереди устраивают летучие дискуссии по поводу прочитанных книг. При всем при том нам надо сказать правду, ибо правда превыше всего! И мы должны признаться, что все-таки на селе больше всего читают агроном, создавший неслыханный в мире сорт озимой ку-

курузы, и местные учителя. Комсомольцам и здесь есть на кого равняться!

Когда ваш корреспондент уезжал из села, его славный председатель по кличке Чапай просил меня, когда я буду в Москве, лично от его имени поблагодарить Хрущева за кукурузу. О, святая чапаевская наивность! Он думает, что обыкновенному сотруднику газеты легко встретиться с товарищем Хрущевым. Но заочно через газету мы эту благодарность передаем. О, прости-прощай, бабушка, я уже не все помню, о чем я там еще написал!

Редактор взял перепечатанную на машинке статью в свой кабинет и через час вызвал меня к себе. По-моему, великолепие статьи его слегка пришибло. По-моему, он испугался, что Хрущев может посадить меня на его место. Такие были причудливые времена. Но забраковать статью было еще опасней.

— Там комсомольцы в самом деле читают «Анти-Дюринг» Энгельса? Ты не путаешь? — спросил он у меня с заискивающей осторожностью. В том, что комсомольцы этого села читают «Нищету философии» Маркса, он почему-то не усомнился.

— Может, спутал с «Диалектикой природы» Энгельса, — небрежно ответил я, — но это маловероятно.

— Потрясающее открытие сделал местный агроном! — добавил он, радостно переходя к безукоризненным фактам. — Это же надо додуматься! Озимая кукуруза! Строго между нами говоря, в некоторых районах кукуруза плохо растет. И нам в печати приходится скрывать это, чтобы у крестьян руки не опускались. Может быть, будущее за озимой кукурузой! Ме-

ня тоже интуиция не подвела, когда я тебя послал именно в это село. Статью — в набор! Быть ей на доске почета, а ты получишь гонорар по высшей ставке!

Так и случилось. Дней десять меня со всех сторон поздравляли. Я сделал великое открытие: коммунизм победил в отдельно взятом селе! Даже кличка председателя колхоза как бы подтверждала это. Лихая чапаевская атака — и коммунизм взят! Возможно, кое-кто и сомневался в этой победе, но вслух сказать об этом было страшновато.

Но вдруг редактору позвонили из ЦК комсомола. Ему сказали, что в это село на днях направляется немецкая делегация из ГДР для изучения опыта молодежной работы. У них статья перепечатана.

— Мы уже туда посылали своего инструктора, — сказали из ЦК, — все вранье, кроме электричества, водопровода и Наташи Богдановой, чья бабка не слезает с печки. Но сотрудника нельзя наказывать. Статья — прекрасный вдохновляющий пример для сельских комсомольцев. Раз это написано, значит, это достижимо!

А с немецкой делегацией мы управимся. Срочно посылаем из Института иностранных языков десять комсомольцев, говорящих по-немецки, во главе с бойкой, красивой аспиранткой, которая на время пребывания немцев в селе будет выступать в роли местного комсомольского вожака. Наталья Богданова не годится — чересчур невзрачная. Аспирантка будет жить у нее дома, а Наташа будет ее дальней родственницей, приехавшей погостить.



Посылаем десять студентов философского факультета. Посылаем профессионалов, исполняющих народные песни, и танцоров с испанским уклоном.

...Все прошло почти блестяще! Были только две небольшие заминки, которые тут же утряслись. Бойкая, красивая аспирантка, оказывается, так хорошо говорила по-немецки, с таким берлинским прононсом, что немцы завопили:

— Панама! Панама!

Они заподозрили, что эта псевдостудентка на самом деле немка, тайно выписанная из Берлина. Но при помощи немецкой же переводчицы удалось доказать, что она для немки слишком хорошо говорит по-русски. Немцы почти успокоились, но потом попросили показать им кукурузные джунгли.

Однако к этой просьбе наши были готовы. Немцам объяснили, что, увы, кукурузные джунгли уже скосили, но можно показать огромные поля под озимой кукурузой. Немцы осмотрели поля под озимой кукурузой и остались довольны, особенно рослостью озимой кукурузы. Им щедро пообещали зерна с будущего урожая, но они, посоветовавшись между собой, сказали, что по климатическим условиям ГДР не нуждается в озимой кукурузе. Не хотите — не надо, наше дело — предложить!

Вечером в переполненном местном клубе давали концерт московские артисты, которых немцы принимали за представителей местной самодеятельности.

Сельчане с бешеным азартом аплодировали артистам. Молодежь, резвясь, забрасывала их бумажными самолетами.

Немцы совсем растаяли:

— Так встречают только своих!

На следующий день они уехали, оставив Чапая с его гамлетовскими раздумьями: стоит ли косить эту лилипутскую кукурузу или уж лучше прямо пустить скот на поля?

Все было хорошо. Но, оказывается, в личной беседе — кто бы мог подумать! — Вальгер Ульбрихт — или черт его знает, кто тогда был! — рассказал Хрущеву о моей статье и о немецкой делегации. Хрущев приказал одному из своих помощников достать и прочесть ему вслух эту статью. И она ему очень понравилась. Кроме всего, к этому времени он, видно, устал от придворных интриг.

— Хочу затеряться, как этот мальчик, в кукурузных джунглях, — сказал он, — едем туда!

Помощники всполошились. Они позвонили редактору. Бледнея, редактор заявил им, что кукурузные джунгли, согласно немецкому варианту, уже скошены, хотя их никогда не было.

— Как — не было? — рассердились помощники.

— Наш сотрудник кое-что напутал, — сказал редактор, — но была и есть озимая кукуруза.

Помощники Хрущева, побаиваясь его великой безответной любви к кукурузе, не признались, что джунглей и мальчика не было, но сказали, что, в согласии с планами сельских работ, кукурузные джунгли уже выкосили, а озимую кукурузу можно посмотреть.

— Послать туда делегацию во главе с Лысенко, — неожиданно приказал Хрущев, — пусть проверит ее на озимость.

Пока все это происходило, пока собрали делегацию во главе с Лысенко, Чапай разом разрешил несвойственные его кличке гамлетовские сомнения: он пустил скот на кукурузные поля, и за две недели там не осталось и стебелька. Тут подъехала делегация во главе с Лысенко.

— Где же ваша озимая кукуруза? — спросил Лысенко у Чапая.

— Какая там еще озимая кукуруза?! — набросился на него Чапай. — Ты что, немец, что ли?

— Нет, я не немец, — ответил Лысенко, — но где же ваша озимая кукуруза?

— Да не было никакой озимой кукурузы! — рявкнул Чапай. — Мы ее сеяли в мае, а она, сволочь, в августе до колен не дотянула! Озимая кукуруза! Я думал, это для политики, для немцев нужно было так говорить!

— У нас не было озимой кукурузы, — торжественно заявил Лысенко, — но у нас будет озимая кукуруза, потому что я ее создам!

С этим делегация Лысенко и уехала. Когда Хрущев узнал, что и озимой кукурузы не было, он совсем рассвирепел.

— Да что ж это у вас: куда ни кинься — ничего не было! — заорал он. — Ну хотя бы мальчик был, который в кукурузных джунглях заблудился?!

— Был, — подтвердили окончательно оробевшие помощники, — мальчика можно найти.

— Не надо его искать, — приказал Хрущев, — пусть в следующем году заблудится в кукурузных джунглях, а я поеду

его искать. Может, вообще, к трепаной матери, уйду навсегда в кукурузные джунгли! А озимую кукурузу вам Лысенко создаст!

Не знаю точно, то ли перепуганные помощники Хрущева предложили меня выгнать из редакции, то ли, когда все стихло, редактор это решил сам.

— Знаешь что, Юра, — сказал он, вызвав меня к себе. — Иди-ка ты на вольные хлеба. А за идею озимой кукурузы — спасибо!

И я ушел на вольные хлеба, и как там развивалась эта идея — не знаю. То ли Лысенко умер, то ли Хрущева сняли.

— А с Наташей ты больше не встречался? — спросил я.

— Нет, — сказал он грустно, — тогда второпях я забыл ей дать свой адрес, а написать в редакцию после всей этой бучи она, видно, постеснялась. Но плач бабули — моя рана на всю жизнь. Прости, бабуля, хотя бы с того света — прости!

### Спасенный спасет

Иногда он о поэзии говорил оригинальные вещи. Так, однажды сказал, что все поэты делятся на прирожденных и переимчивых, как некоторые птицы. Прирожденный поэт отличается от переимчивого тем, что он все свои стихи, и хорошие, и слабые, создает из единого поэтического материала.

Переимчивый поэт изобличается тем, что его хорошие стихи — продолжение музыки хороших стихов другого поэта, а слабые стихи созданы из совершенно другого материала. У переимчивого поэта ярких стихов может оказаться больше, чем у самобытного поэта, но это не меняет сути дела.

Согласитесь, свежая мысль: единство материала у хороших и плохих стихов как признак самобытности, то есть разница в творческой силе, а не в органичности материала.

Я никогда ничего такого не слышал. Сам себя он, конечно, относил к самобытным поэтам. Он даже признавал, что у него есть слабые стихи, чтобы показать, что они из такого же органического материала, что и хорошие.

— Есть поэты, — сказал он как-то, — мысль которых заключается в самой музыке стихов. Таковы Верлен, Блок, Есенин. Такие поэты могут писать стихи в пьяном виде. В пьяном виде им музыка стихов даже ярче слышится. Но такие поэты, как Пушкин, Тютчев, Ахматова или, допустим, я, — добавлял он без ложной скромности, — не могут писать в пьяном виде. Мы — смысловики, у нас музыка все-таки играет подчиненную роль.

Было совершенно непонятно, жалеет он или гордится тем, что не может писать стихи в пьяном виде. Но с другой стороны, сколько горячего даром пропадает! А мог бы пить еще больше, оправдывая это потребностями стихотворной музыки!

Он носил крест и считал себя христианским поэтом. Но навряд ли некоторые его стихи укладывались в рамки хрис-

тианских заповедей. Так, у него были ураганные стихи под названием «Баллада о непрощенной обиде». Там каждая строфа кончалась рефреном:

*Прощенная обида и не была обидой,  
А коль была обидой, она не прощена!*

К счастью, наши державники не пронюхали, что такой образ мыслей имеет отношение скорее к Ветхому Завету. Молодежь с восторгом читала эти стихи.

Он знал тысячи стихов наизусть. Однажды, когда я с друзьями сидел в ресторане, он неожиданно подсел к нам и прочел пять совершенно незнакомых нам тогда гениальных стихов Мандельштама. Между чтением стихов он выпил всю нашу водку. С нами сидела единственная женщина, которая пришла в восторг и от стихов Мандельштама, и от его манеры чтения.

Прочитав стихи и выпив всю водку, он, по-видимому, решил, что теперь, кроме этой женщины, за столом не остается никаких ценностей, осторожно взял ее под руку, чтобы не расплескать ее восторг, и ушел вместе с ней, как раз в тот момент, когда в сторону нашего стола двигался метрдотель. А мы с любовью смотрели вслед нашему поэту. Скажите после этого, есть ли в мире другая страна, где так любят поэзию? Нет в мире такой страны! Про смысл своего творчества он повторял:

— Энергия стиха и никаких идей! Энергия стиха вливает в читателя энергию жизни, а дальше пусть он двигается сам!

Зайдешь ко мне, я тебе покажу неотвратимое доказательство своей правоты.

Вскоре я зашел к нему. Тогда он жил на Тверском бульваре, в коммунальной квартире. Жил один. Последняя жена ушла, а новая еще не подросла. Он показал мне письмо читателя. Этот еще явно молодой человек писал о том, что он со своими двумя самыми близкими друзьями решил заняться бизнесом. С разрешения отца он продал его машину и вложил все свои личные деньги в дело. Но друзья его обманули, и он остался ни с чем. Он был так потрясен вероломством друзей, что решил уйти из жизни. Накупил снотворных в разных аптеках с тем, чтобы на ночь выпить чудовищную дозу и покинуть этот жестокий мир, где никому нельзя доверять. На ночь перед тем, как выпить таблетки снотворного, он решил последний раз просмотреть «Литгазету». И тут наткнулся на стихи нашего поэта. Произошло чудо! Прочитав их и даже несколько раз перечитав, сам не зная почему, он пришел к выводу, что будет жить и не будет поддаваться панике. Он благодарил автора и просил редакцию передать ему свое письмо.

Я прочитал письмо и повертел в руках конверт. Письмо было прислано откуда-то из Северного Казахстана. Не скрою, что я и на штамп обратил внимание.

— Мистика! — громыхнул Юра, глядя на меня горящими глазами. — Я получил письмо, когда находился в невероятно тяжелой депрессии. Пытаясь вывести себя из нее, я перечитал свою любимую книгу — «Мастер и Маргарита» Булгакова. Но и она не помогла. Я перечитал ее, ни разу не улыбнув-

шись. О самой смешной сцене с Котом на люстре я подумал: теоретически смешно, а так нет. Я был один. Жены разбежались. Изредка печатаю стихи, а книги в сорок семь лет нет и не предвидится. Вся жизнь псу под хвост. Может, я был не прав, может, писать надо было совсем по-другому? Поздно меняться, но не поздно полоснуть бритвой по венам! Спускаюсь к почтовому ящику — и вдруг это письмо, любезно пересланное мне из «Литгазеты».

Я спас человека, а он спас меня! Спасенный спас! Я уже оправдал свою жизнь, я спас этого молодого человека, а он меня спас — и тоже оправдал свою жизнь! И самое главное — значит, я был прав, писать надо только так: энергия стиха и никаких идей! Я воспрял к жизни! Обойдусь без книги! Я спас человека, теперь вся моя остальная жизнь — чистый доход!

— Ты ему ответил? — спросил я.

— А зачем ему отвечать? — загудел он. — Я спас ему жизнь, а он спас мне жизнь. Мы квиты!

Ну что ты ему скажешь? Впрочем, я не исключаю, что он просто постеснялся пафоса случившегося: спаситель пишет письмо спасенному!

## Профиль

— Я сейчас тебе расскажу самый потрясающий случай из моей жизни, — сказал он однажды, сидя со мной за столиком в ресторане. — Этот случай отразился на всей моей личной



жизни. В молодости, как, впрочем, и сейчас, я легко знакомился с женщинами. Однажды взял билет на последний киносеанс. Шла иностранная картина.

Захожу в кинозал, и меня вдруг охватывает необычайной силы волнение. Мне было двадцать три года! Я, как и все молодые люди, мечтал о единственной, неповторимой любви. И вдруг я чувствую не только всей душой, но и всем телом, что здесь, сейчас я встречу девушку, которая на всю жизнь будет мне незаменимой подругой! Не подумай, что я был пьян, я был совершенно трезв! Испытываю невероятное волнение и чувствую невероятную уверенность, что эта встреча именно сейчас с минуты на минуту состоится. Я, лихорадочно озираясь, прохожу между рядами, вглядываясь в лица девушек, ища ее, но ничего подходящего не замечаю. Все не то! Однако продолжаю волноваться и продолжаю быть уверенным, что такая встреча ждет меня здесь. Я усаживаюсь на свое место. А девушки все нет и нет. Что случилось? Где она? Кстати, замечаю, что рядом со мной два кресла пустуют. А зрители уже сидят на своих местах. Гасят свет. Начинается картина. Но где же моя девушка? Она должна быть! Уже минут пять идет картина, а ее все нет.

И вдруг я в полутьме замечаю, что кто-то неуклюже пробирается к месту рядом со мной. Садится! Девушка! Я в полутьме разглядываю ее профиль. О, этот чуть вздернутый носик и чуть вздернутая верхняя губа! Сердце у меня останавливается. Я вижу нежнейший профиль нежнейшей девушки! Бо-

же, Боже! Я ни жив ни мертв! Предчувствие сбылось! Вот оно, мое счастье на всю жизнь!

Я делаю вид, что смотрю кино, но ничего не вижу и не слышу, только изредка украдкой кошусь на этот профиль. Время идет, но я почему-то не спешу с ней познакомиться. Уверен: все само собой получится, когда кончится картина. Ведь главное — предчувствие не обмануло и девушка сама явилась.

Картина кончается. Зажигается свет. И ты представляешь! Я не только не знакомлюсь с ней, у меня даже не хватает духу посмотреть в ее сторону! Я как сомнамбула иду к выходу, помнится, не спеша, чтобы, если судьба опаздывает, дать ей нагнать нас. Я ухожу, но при этом до идиотизма уверен, что какая-то сила вот-вот нас сведет. То ли общий знакомый окликнет и представит меня ей, то ли она сама подойдет и попросит ввиду позднего часа проводить ее до дому. Абсолютно уверен, что мы не можем пройти мимо друг друга!

Однако зрители разошлись. И я один стою перед опустевшим кинотеатром. А девушки нет, как не было. Я даже ее не видел при свете! Но я еще с час простоял возле кинотеатра, надеясь, что она почему-то вернется и мы познакомимся. Но, увы, чуда не случилось. Она исчезла навсегда, и я поплелся домой.

Ночью я не спал, я проклинал себя за малодушие. Я полгода потом ходил в этот кинотеатр, и всегда на последний сеанс, с гаснущей надеждой встретить ее там. Если было возможно, я даже брал билет на прежнее свое место, но ничего не

помогало. Потом я потерял и эту надежду, жизнь пошла своим чередом. Но стоило мне закрыть глаза, как я видел этот ангельский профиль.

Я тысячу раз анализировал случившееся. Я ясно понимал, что судьба не только обеспечила мне встречу с этой девушкой, но и всем моим неслыханным волнением предупредила меня об этом. Но в таком случае, почему та же судьба не дала мне сил даже взглянуть в ее сторону, когда зажегся свет? Или она испытывала меня: действуй! Перешиви стыд и познакомься с ней, иначе ты навсегда упустишь свое счастье! Я хотел понять философию своей вины, но не мог.

А жизнь продолжалась. Я, как ты знаешь, был много раз женат и неизвестно по чьей вине разводился. Иногда, мне кажется, что тот ангельский профиль изгонял их. Моя поэтическая судьба была трагична, но я верил, что я истинный поэт, и это держало меня на плаву.

Прошло с тех пор двадцать пять лет. Я тогда жил один. Поздно ночью возвращаюсь домой из одной компании. Конечно, подшофе. И вдруг вижу возле троллейбусной остановки молоденькую женщину, которая, прикрыв лицо платком, плачет. Внезапно она оторвала платок от глаз, и волосы на моем затылке зашевелились! У нее был тот самый ангельский профиль! Это она! Но как это может быть! С тех пор прошло двадцать пять лет, а тут юная женщина горько плачет. Я сошел с ума! Нет, я не сошел с ума! Это ее дочь! Судьба шепнула мне: «Вот тебе вторая попытка — с дочерью! А до внучки ты не доживешь!»

Я подошел к ней и, боясь спугнуть ее своим голосом, прошептал:

— Милая женщина, почему вы плачете? Может, я вам чем-нибудь могу помочь?

И она доверилась мне. Она рассказала, утирая слезы, что вышла замуж за приличного человека из приличной семьи, но он оказался законченным алкоголиком, и она с этим ничего не может поделать. Вот и сегодня ночью ввалился в дом, избил ее за то, что в доме нет водки, и послал ее за выпивкой, сказав, что, если она придет без нее, он ее убьет.

— А где я возьму водку, уже час ночи! — сказала она и снова горько расплакалась.

— Идемте со мной, милая женщина, — обратился я к ней, — я поэт. Я вам дам бутылку водки, и вы пойдете к своему мужу. Но если он такой изверг, можете остаться у меня. Вас никто не тронет. Я буду целовать только тень вашего профиля!

— При чем тут профиль! — вздохнула она и, подумав, добавила: — Но мне некуда деться...

Мы сели в троллейбус и через полчаса были у дверей моей квартиры. Чудовищное волнение не покидало меня! Перед исполнением мечты всей жизни должно случиться что-то страшное! Сначала я испугался, что потерял ключ. Но ключ оказался на месте. Я вынул ключ и понял, что сейчас случится позорная катастрофа и я от волнения не смогу открыть дверь! И в самом деле! Ключ тупо скрежещет в скважине, а я паралитическими движениями пытаюсь его повернуть. Я думал, через секунду умру.

— Давайте я, — вдруг говорит она мне. Берет у меня ключ и преспокойно открывает дверь.

— Это Божий знак, — говорю я, — это ваш дом. Дом небогатый, но вас всегда здесь будут любить!

— Чудачище! — отвечает она, с улыбкой оглядывая меня и входя в комнату.

Она сняла плащ и оказалась стройной, чуть полноватой, очаровательной женщиной. Не успел я прийти ей на помощь, как она легко сама нашла вешалку, словно когда-то здесь бывала.

Я достал бутылку водки из холодильника и молча вручил ей, показывая, что, несмотря на свой восторг от нее, я честно и мужественно выполняю свое слово.

— А знаете что, — сказала она, взяв в руки бутылку и улыбаясь, — вы такой большой, добрый чудак. Вы мне нравитесь. Давайте мы с вами разопьем эту водку ради нашего знакомства. Мой муж сейчас спит как свинья. И я завтра приду домой, пока он еще будет спать.

Пьянящая легкость разлилась по моему телу. Вдохновение вздымало меня под потолок. Я усадил ее и приготовил еду, пустив в ход все свои припасы. Начался ужин. Я недолил ей первую рюмку, но она вдруг сказала, что будет пить со мной наравне. Меня это несколько удивило, но я вспомнил: муж-пьяница приучил! Мы выпили всю бутылку.

Я подсел к ней, чтобы чаще видеть ее профиль, а потом посадил ее на колени и стал нежно и страстно ее целовать. Она созревала в моих объятиях, как плод! Я был снова потрясен, ког-

да узнал ее имя — Джульетта. Это был величайший намек судьбы, что сорвавшийся было мой юношеский роман сбывается!

— Я всю жизнь ждал вас, — бормотал я, целуя ее.

— Вот этого мне не хватало всю жизнь, — пылко отвечала она мне. — Вот этого! Ласки! Ласки!

Конечно, я заметил, что у нее несколько примитивный язык. Но это меня даже восхищало. А что она знала, видела в этой жизни, кроме своего пьяницы мужа? — думал я. Я займусь ее духовным воспитанием, я отшлифую ее, как алмаз! Теперь это главная задача моей жизни, думал я, стихи временно отойдут на второй план.

Мы провели бурную ночь: я — стареющий Ромео и она — все еще молодая Джульетта. Я исцеловал все ее тело, и она мне отдавалась бесконечно. Я только просил при этом лежать профилем ко мне, и она с улыбкой подчинялась моей просьбе. Уже к утру во время близости я вдруг почувствовал, что она уснула. Я удивленно замер.

— Трахайте, трахайте, я все слышу, — вдруг прошептала она, не открывая глаз, и все еще повернутая ко мне своим ангельским профилем.

Я оцепенел от вульгарности ее слов. Но потом взглянул на ее невинный, ангельский профиль, и истина осенила меня: ее пьяница муж других слов никогда и не употреблял! Святая наивность! Она думает, что так и надо говорить!

Я еще более вдохновенно подумал: надо работать, работать над ней! Надо заново лепить ее, оставив только профиль! И тут сам провалился в сон.

Проснулся я раньше нее. Почти не веря своему счастью, я взглянул на ее профиль. Он был на месте. Я тихо встал, принял душ, оделся, приготовил завтрак. Я разбудил ее поцелуями в оба профиля, и она, открывая глаза, улыбнулась и обняла меня.

Мы сели завтракать. Она была свежа, как ландыш. Она так кокетливо вертела головой, дразня меня то одним, то другим профилем, что я чуть не прервал трапезу. Я предложил ей слегка опохмелиться. Она не отказалась.

Мы договорились, что она будет приходить ко мне, пока не уговорит мать этого пьяницы перейти жить к нему. Мне показалось бесконечно трогательным, что она даже этого изверга пьяницу не может оставить без присмотра. Она вынула из сумочки записную книжку и вписала туда мой телефон.

Я был счастлив, как никогда! Я догнал судьбу, уцепился за ее хвост и притянул к себе через двадцать пять лет! Я очень хотел спросить о ее матери, о ее отце, но мне все стыдно было, потому что она их дочь, а я с ней спал. Мне было очень любопытно поговорить с ее отцом и иносказательно выяснить, не преследует ли его чувство мистической вины за то, что он всю свою жизнь провел с чужой женой.

И уже когда она надела свой плащ и я ее выпускал из дверей, я все-таки с замирающим сердцем спросил:

— Мама жива?

— Да, слава Богу.

— Познакомишь нас когда-нибудь?

— Конечно, если она приедет.

— А где она? — спросил я почему-то гаснущим голосом. Я что-то почувствовал.

— Как — где? — удивилась она. — В Казани. Разве я вам не говорила, что я оттуда.

— Она всегда жила в Казани? — спросил я, чувствуя, что дух из меня выходит.

— Всегда. А что?

— И она никогда не жила в Москве?!

— Она даже никогда не была в Москве! А что?

Дух из меня вышел вон.

— Ничего, — ответил я и, как говорят женщине, когда нечего ей сказать, добавил: — Звоните.

Так она и ушла. Оказывается, она не ее дочь! И профиль ее, оказывается, сам по себе мне не нужен! Крылья моей души повисли. Я вспомнил ее ночные слова и почувствовал, что не в состоянии забыть эту грубость. Сам я нередко бываю груб, но вот как я устроен — не выношу женской грубости.

Сейчас я вспомнил, что вечером, когда мы пили и целовались, она, подбежав к большому зеркалу, висевшему на стене, оглядела себя во весь рост и лихо сказала:

— С такими ножками не пропадешь!

Странно, что тогда меня не передернуло от этой пошлости! Но в тот миг, когда она говорила это, она стояла профилем ко мне, и я, замороженный им, не придавал значения ее словам.



Я вдруг ясно понял, что она шлюха и, разумеется, к той девушке, которую я когда-то встретил в кино, не имеет ни малейшего отношения. Но этот нежный, беззащитный профиль... Проклятье! К тому же я никогда до этого не имел дело с проституткой...

— И я никогда не изменял своим женам, — добавил он зачем-то с вызовом неизвестно кому.

— Имея столько жен, ты не мелочился, изменяя им, — сказал я, поддразнивая его. — Ты изменял всему институту брака.

— Кстати, ты хоть раз ударил женщину? — вдруг спросил он.

— Не помню, — ответил я.

— Как такое можно не помнить! — удивился он. — Я ни разу в жизни не ударил женщину!

— А мужчину? — спросил я.

— И мужчину! — ответил он.

— В таком случае, достоинство того, что ты ни разу в жизни не ударил женщину, сильно снижается, — сказал я. — У тебя, видимо, принцип: не бить двуногих.

— Четвероногих тем более! — с очаровательной поспешностью ответил он и продолжил свой рассказ: — С тех пор она мне целый месяц звонила, а я, ссылаясь на занятость, но не грубя, отказывался от встречи. В конце концов она поняла, что я больше не хочу с ней видеться, и вдруг сказала в трубку:

— Вы сильно пожалеете об этом.

Я не придавал значения ее словам. И вдруг однажды кто-то позвонил. Резкий мужской голос спросил у меня:

— Это ты, поэт?

— Да, — говорю.

— Верни Джульетте ее пять тысяч баксов! — грозно приказал он. — Иначе получишь пять пуль!

— Ты с ума сошел! — заорал я. — Какие баксы, какие деньги! Она никаких денег у меня не оставляла! И больше не смей звонить сюда!

Видно, я своим мощным голосом на минуту осадил его.

— Слушай, ты, — сказал он после некоторой паузы, — я серьезный человек. И не дурак, в отличие от тебя. Она мне соврать никак не могла, потому что знает, что я ее за это убью. Итак, через неделю пять тысяч баксов. Не сможешь, через две недели — семь. А если будешь дурить — смерть!

Кстати, скитаясь по стране, я давно заметил, что партийные работники, к которым я обращался с той или иной просьбой, всегда сразу заговаривали со мной на «ты». То же самое и этот уголовник. Что их объединяет? Все остальные люди классом ниже, и это немедленно надо подчеркнуть.

Я был потрясен. Я даже заново убрал постель, заглянул под кровать, думая, что, может быть, у нее эти деньги были и случайно вывалились. Но нет, там ничего не оказалось.

По голосу я понял, что этот человек не шутит. Он явно уголовник. Пять тысяч долларов! А я еще, хотя настали новые времена, в глаза не видел ни одного доллара! Что делать? Я уже знал, что с наездом уголовников можно бороться только при помощи других уголовных авторитетов. Я уже знал, что все бизнесмены только так и поступают.

У меня был хорошо знакомый джазовый певец, для которого я в свое время писал тексты песен. Я знал, что он якшается с людьми уголовного мира. Я поехал к нему и все рассказал.

— А у тебя ее телефон есть? — спросил он у меня.

— В том-то и дело, что нет.

— Я постараюсь тебе помочь, — обнадежил он меня. — Жди моего звонка в ближайшие дни.

Через два дня утром он звонит мне.

— Пляши, — кричит он мне в трубку, — пляши! С тобой сегодня встретится знаменитый человек. Вор в законе по прозвищу Еж. Сегодня в три часа он тебя ждет в своем черном «мерседесе» с затемненными стеклами возле... — Он назвал один из главных универмагов Москвы. — У него там дело. Но он тебе уделит полчаса.

И вот я к трем часам являюсь к этому универмагу и, сильно волнуясь, приглядываюсь к машинам. В самом деле, ровно в три подъехал черный «мерседес» с затемненными стеклами. Остановился. Я подошел к нему. Не решаюсь постучать в окно, но дверца сама открылась, и я услышал:

— Поэт?

— Да.

— Садись.

Я сел рядом с хозяином на переднее сиденье. Это был модно одетый, на вид тридцатипятилетний человек. Волосы на хорошо остриженной голове в самом деле торчали ежиком.

— Джазист мне сказал, — объяснил он свое появление, — что ты поэт, не работающий на государство. Уважаю. Рассказывай все, как было, ничего не скрывая.

И я стал ему все рассказывать, как было, хотя, конечно, о романтической предшественнице этой Джульетты не стал ничего говорить. И вдруг во время рассказа вижу, что голова его упала на грудь, глаза закрыты и он даже слегка посапывает. Я остановился. Думаю: кому я это все рассказываю? Он, видно, колотый, а теперь уснул.

— Говори, говори, я все слышу, — вдруг произнес он, не открывая глаз.

Я вспомнил ночные слова Джульетты. Мистика параллелей преследует меня всю жизнь, подумал я, и продолжал свой рассказ. И вдруг — чудо! Оказывается, он действительно все слышал и, как ястреб, стал выклевывать точные вопросы.

— Она у тебя один раз ночевала? — спросил он, позевывая.

— Да, только один раз.

— Понятно, — сказал он уверенно, — ни одна телка не оставит деньги мужику, с которым только раз переспала.

Я продолжал рассказ.

— А у тебя богатая квартира? — спросил он у меня через минуту.

— Какое там богатство! — ответил я. — Разбитая машинка да книги. Никакой аппаратуры. Я ее презираю.

— Или она тебя презирает? — вдруг жестко уточнил он.

— Мы друг друга презираем, — сказал я примирительно.

— Вот так будет лучше, — согласился он. — Значит, она не наводчица. Но что ей надо?

Я продолжал говорить. Его голова опять упала на грудь.

— Нет, — сказал он через несколько минут, поднимая голову. — Ты мне что-то недоговариваешь. Ты что, ей в любви признался, что ли?

— Да, так получается, — согласился я, чтобы не вовлекать его в мистику профилей.

— Тогда все ясно, — сказал он. — Проститутки любят завести мужика для души. Ты должен был всколыхнуться, когда она у тебя денег не взяла за ночевку. Она уже настроилась, что ты будешь ее ласковым лохом, а потом, когда поняла, что ты не хочешь с ней встречаться, решила тебе отомстить. Мужуку, который тебе звонил, передай вот этот телефон.

Он продиктовал мне телефон.

— Запомнил?

— Конечно, еще бы не запомнить! Это твой телефон? — спросил я, что показалось ему крайне наивным.

— Ты в самом деле лох, — рассмеялся он. — Мой телефон через два телефона после этого. Но по этому телефону его свяжут со мной, и я скажу ему пару слов.

В это время кто-то забарабанил по стеклу с той стороны, где он сидел. Он мгновенно подобрался, спружинился. Никакой вялости! Хищная настороженность! Он открыл окно. Возле машины стоял попрошайка.

— Дяденька, дайте денег!

И вдруг он психанул.

— Иди работай! — гаркнул он с такой силой, что мальчик отпрянул. И вдогон ему, не поленившись высунуться в окно, рывкнул: — Воруй!..

Возможно, он уточнил, что имел в виду под работой. Мы распрощались.

В назначенный день позвонил тот бандит.

Слушаю его.

— Сейчас отдашь баксы или поживешь еще неделю? Запомни: третьего звонка не будет, третий звонок будет с того света.

— Я встречался с Ежом, — сказал я нарочито спокойным голосом. — Я ему все рассказал. Он дал телефон и велел тебе позвонить. Записывай!

В трубке тяжелое молчание.

— Откуда ты знаешь Ежа? — спросил он, явно сбавляя тон.

— Знакомы, — сказал я. — Катался в его «мерседесе» с затемненными стеклами. Развлекал его историей с Джульеттой... Так записываешь телефон?

— Не будем беспокоить Ежа, — ответил он дружелюбным голосом. — Прости, браток! Вышла ошибочка. Видно, эта дура по пьянке сама не помнит, где оставила деньги.

— Только не убей ее, — сказал я.

— Кто же убивает дойную корову, — ответил он и положил трубку.

Позже мой неутомимый джазист рассказал некоторые подробности этой истории, которые ему удалось выведать чуть ли не у самой Джульетты.

Она целый год регулярно встречалась с крупным азербайджанским коммерсантом. И именно в ту ночь, когда я ее встретил, она доконала его своим любвеобилием. После третьего пистона, когда он мирно засыпал с чувством исполненного долга пожилого коммерсанта, она пыталась расторошить его для новых утех. И тут мирный коммерсант взорвался.

— Что, я эти пистоны в кармане держу, что ли?! — крикнул он, как бы философски доказывая, что у карманов имеется большая склонность к бесконечности, чем у человеческого тела. После этого он крепко ударил ее несколько раз и выгнал из квартиры. Правда, дав одеться вплоть до плаща.

Тогда-то я ее и встретил, плачущую возле троллейбусной остановки. Как видишь, у меня она могла бы заснуть и раньше.

И вот после всего этого ты мне скажи: почему некоторые шлюхи наделяются ангельским профилем?

— Потому что мужчины, гоняясь за ангельским профилем, делают их такими, — ответил я.

— Мне теперь не на кого молиться! — взревел он.

— Ну почему же? — пытался я его утешить. — Ведь тот юношеский профиль девушки остался незапятнанным. Молись ему!

— Я теперь никому не верю, прости Господи, — отвечал он и капризно добавил: — А почему она одна пришла в кино на последний сеанс?

— А кинотеатр был заполнен? — спросил я. — Ты помнишь?

— Да, — сказал он, — я хорошо помню! Только два места возле меня были пустыми.

— Это лишний раз говорит о чуде, которое ты сам ощутил, — подсказал я ему. — Девушка явно должна была прийти в кино со своим парнем, но под действием чуда она его отвергла и пришла к тебе одна.

— Опять я виноват?! — снова взревел он.

— Нет, — попытался я утешить его, — чудо, вероятно, сорвалось по каким-то космическим причинам.

— От всей этой истории, — мстительно громыхнул он, — у меня наворачиваются стихи о Нефертити, обладавшей лучшим профилем древнего Египта. С нее все началось! И она за все ответит! Вот набросок первых строк:

*Была ли сукой Нефертити,  
Скажите прямо, не финтите!*

— Вот и напиши, — посоветовал я ему.

Что-то в моем голосе ему не понравилось. Вероятно, он ему показался слишком благостным, вероятно, он решил, что я так и не осознал всю глубину его внутренней трагедии.

— Больше всего меня раздражают, — вдруг сказал он, — так называемые светлые люди темного царства. Они как напудренные негры.

Впрочем, никаких уточнений по поводу того, к кому именно относятся эти слова, не последовало. Возможно, он думал о чем-то своем.



## Посвящения

Однажды я его встретил, и он, о Боже, говорил еле слышным голосом.

— Что с тобой?!

— Ты знаешь, — просипел он, — я женился на необыкновенной красавице! Она прочла мои стихи в журнале и сама меня нашла, так ей стихи понравились. Представляешь, приехала ко мне из Владивостока, так ей стихи понравились! Но она почти глухая, как учитель моей юности. И все время умоляет меня читать ей стихи. При этом из женского кокетства она, красавица, не хочет пользоваться слуховым аппаратом. Мистика! Повторение истории с моим учителем! Это великий знак, что я должен остановиться на ней навсегда. Когда я умру, только она толково разберется в моем литературном наследии. Вот первые стихи, посвященные ей:

*Его признание навзрыд  
Ее внезапно отшатнуло,  
Потом в слезах к нему прильнула,  
Откинув волосы, как стыд.  
С улыбкой сверху Бог глядит.  
Там дуб, обугленный от страсти,  
Там ива, мокрая от счастья,  
Откинув волосы, как стыд,  
В слезах стоит.*

Поздравим иву, мокрую от счастья! Кстати, при внешней нередко грубой напористости наш поэт на самом деле обладал деликатнейшей душой. Он пять раз был женат, и каждый раз жены уходили от него, а не он от них. Он не мог решиться отнять у них такую драгоценность, как он. Но это была боевая хитрость его деликатности.

Если он чувствовал, что со своей женой больше не может жить, или влюблялся в другую женщину, он начинал регулярно напиваться и всю ночь вслух читал свои стихи, грозуно похаживая по комнате.

В конце концов полуконтуженная жена не выдерживала этого и сама уходила, предварительно скрупулезно собрав стихи, посвященные ей, иногда прихватывая и стихи, посвященные другим женщинам.

Я случайно оказался у него дома, когда от него уходила, кажется, четвертая жена. Тогда он жил в Химках, в отдельной двухкомнатной квартире. Он пригласил меня, уверенный, что к моему приходу жена уйдет и мы выпьем по поводу этого мрачного события. Но жена задерживалась, и он нервничал. Из другой комнаты доносились голоса спорящих людей.

— Да это же Люськины стихи, — гудел он, — куда ты их берешь! Что я ей скажу!

— Какая там еще Люська! — визжала в ответ жена. — У тебя от пьянства совсем вышибло память! Ты же при мне их написал, скотина!

— Да это же Люськины стихи, — продолжал он гудеть, — что я ей скажу, если она узнает?

— С Люськой я сама разберусь! — крикнула жена. — Лучше вызови мне такси!

Дело в том, что все его жены, считая его чудовищем, одновременно были уверены в его гениальности. И каждой было важно перед тем, как уйти от него в бессмертие, запастись достаточно солидным багажом стихов, посвященных ей. Оставленные жены, то есть, что я говорю, ушедшие жены, вели между собой бесконечные арьергардные бои по поводу тех или иных стихов, якобы самовольно присвоенных женой, которой они не причитались.

Иногда по этому поводу они изматывали его истерическими звонками, и он порой, не находя выхода из тупика, писал дополнительные стихи, выдавая их за стихи периода звонящей женщины, до этого случайно затерявшиеся в бумагах. После чего неблагодарная бывшая жена говорила:

— Неряха! Как следует поройся в старых бумагах, я уверена, там еще кое-что затерялось!

Уже в гораздо более поздний период, когда выход книги нашего поэта стал неотвратимым фактом, бывшие жены загудели, как растревоженный улей. Они снова стали донимать его бесконечными звонками, пытаясь наново перераспределить посвященные им стихи, каждая, разумеется, в свою пользу.

Отчасти в этой путанице был виноват и он сам. Дело не в том, что нумерацию посвящений он путал с нумерацией жен. Кстати, очередность жен он действительно иногда путал. Но над стихами он вообще никогда не ставил никаких

посвящений, как, впрочем, и под стихами не указывал не только дату написания, но и год.

— Столетие и так известно, — говорил он с богатырской неряшливостью. — А все остальное мелочи.

Бухгалтерия посвящений начиналась, когда он расстался с очередной женой. Это был своеобразный дележ имущества, учитывая, что другого имущества почти не было.

И вот однажды при мне, когда одна из его бывших жен начала по телефону качать права по поводу каких-то стихов, он взорвался и заорал в трубку:

— Я сниму в книге все старые посвящения в пользу Глухой, если вы не уйметесь!

Но они не только не унимались, но, по глупости, уповая на его рассеянность, стали претендовать и на стихи, посвященные последней жене, якобы припоминая, что они написаны в их бытность в качестве его жены.

Это было уже в новое, послеперестроечное время, когда стали публиковать его интимно-лирические стихи, которые до этого не печатали из пуританских соображений.

То, что дальше случилось, может быть следствием их наглых притязаний, а может быть и особенностью его поэтической фантазии. Скорее всего, и то и другое. Пусть литературоведы будущего это определяют.

Он написал целый цикл великолепных стихотворений, посвященных своей последней жене, где в той или иной мере не слишком навязчиво, но определенно указывалось на ее

глухоту. На эти стихи его бывшие жены никак не могли претендовать.

Здесь мастерство и его юмор, порой мрачноватый, достигли полного совершенства. Почему-то особенной популярностью пользовались стихи «С глухою женой в глуховатой стране». Стихи были замечательные, но разве мы не знаем, что пути к сердцу читателя порой бывают парадоксальными? Может быть, некоторые, прочитав эти стихи, самодовольно говорили про себя:

— Ну, у меня по крайней мере жена не глухая.

Я еще раз говорю: стихи отличные. Но другие стихи, исключительно виртуозные, где он, используя строчку Пастернака, чокается с ним, широкая публика не очень заметила. Он повторяет первую строчку стихов Пастернака «Глухая пора листопада». Он прямо с этой строчки начинает свои стихи, смело внося в нее собственную пунктуацию:

*Глухая, пора листопада,  
Но слышишь ли ты листопад?*

Все стихотворение — любовно-иронический дуэт с Пастернаком, где скрипка сопровождает фортепьяно, порой сливаясь с ним в уморительном экстазе, а порой, между прочим, роль смычка принимает на себя дружеская рапира!

Сквозь насмешки и усмешки в стихах нового цикла было столько нежности к предмету любви, что последняя жена явно смирилась с упоминанием ее природного недостатка, тем

более что по стихам получалось, что она именно благодаря этому недостатку лучше всего на свете слышит душу поэта, а не шум листопада. Бог с ним, с шумом листопада! Однако предыдущие жены на всякий случай притихли. Так он вышел из положения. В поэзии преодоление каждого нового барьера — лишняя (никогда не лишняя!) демонстрация свободы и мастерства.

Последняя жена, дай Бог не сглазить, уже шесть лет живет с ним и никуда уходить не собирается. Злые языки говорят, что она глуховата, как его учитель-акмеист, и этим все объясняется.

— Если вообще этот учитель-акмеист когда-нибудь был, — добавляют еще более злые языки.

Да, я забыл упомянуть, что голос вскоре к нему вернулся во всей своей первобытной силе и больше никогда его не покидал.

И вот я его встретил с его последней женой перед концертом в консерватории. Она действительно была интересной женщиной, но мне показалось забавным, что он с глухой женой пришел на концерт, при этом утверждая, что она из кокетства не пользуется слуховым аппаратом. Мы разговорились, и, к моему изумлению, оказалось, что его жена все слышит. Кстати, звали ее Ася.

— Что же ты говорил и писал, что она глухая! — расхохотался я. — Она же прекрасно все слышит!

— Он вечно клеветает на меня, — смеясь (вот умная женщина!), пояснила его жена. — Ну, у меня слышалка не-

много ослаблена. А он, дурак, не понимает, что в этом наше семейное счастье! Ничего себе глухая! Я расслышала его из Тулы!

— Во-первых, — загудел Юра, ничуть не смущаясь, — не забывай, что ты сам громогласен, почти как я. А во-вторых, посмотри на ее серьги! Это новейший слуховой аппарат, выпущенный из Италии. Его нам подарил один итальянский дипломат за то, что я, ни разу не видя Сицилию, описал ее лучше всех итальянских поэтов!

Жена его снова расхохоталась.

— Слушайте его, — сказала она, — это серьги от моей мамы!

— Что же, я и про Сицилию выдумал? — обиделся наш поэт.

— Нет, насчет Сицилии правда, — серьезно подтвердила его жена. — Этот дипломат при мне хвалил его стихи о Сицилии. Но насчет подарков у них туговато.

Концерт прошел прекрасно. Наш поэт не поленился встать в очередь поклонников, чтобы поблагодарить пианиста.

— Я — что, жена потрясена! — прогудел он, обнимая могучими руками не менее могучего пианиста. Но, оказывается, поблизости в очереди стоял один злой шутник, знавший нашего поэта.

— Не слушайте его, — сказал он пианисту, когда поэт отошел, — у него жена совершенно глухая, и он об этом уже написал целый цикл стихов.

— Как — глухая? — растерялся пианист.

— Как тетеря! — кратко пояснил злоязычник. Но пианист был человеком с юмором.

— Глухая поклонница — триумф для музыканта! — сказал он и расхохотался.

Кроме стихов наш поэт знал огромное количество вещей, почерпнутых из книг и из жизни. Он любил поговорить обо всем, кроме политики. Он так объяснял свое отвращение к политике:

— Я родился в роковом одна тысяча девятьсот тридцать седьмом году. В этот год Сталин, окончательно отчаявшись воспитать своего хулиганистого сына Васю, решил воспитать страну в целом, а через нее и Васю. Для этого он полстраны поставил в угол, отправив в Сибирь. Кстати, на Васю это никак не повлияло. Не надо никого воспитывать. Каждый воспитывается сам. Политики пытаются воспитать человечество, забывая, что сами невоспитанны.

О политике он знал так же много, как и обо всем. Просто он не любил о ней говорить и не впускал ее в стихи. С фантастичностью его памяти могла соперничать только фантастичность его воображения.

— Юра знает все, но неточно, — сострил про него кто-то из друзей.

Я должен вмешаться и поправить неточность самой остроты. Дело в том, что наш поэт укрупнял явления жизни как явления самой поэзии. Он хотел, чтобы мир был поэзией в готовом виде.



Издатель, который двадцать лет не издавал его книгу, по каким-то его астрологическим выкладкам оказывался родным племянником Люцифера. Издание книги нашего поэта означало бы для издателя верную смерть. Что характерно, сам издатель не знал, что он родной племянник Люцифера, но почему-то знал, что издание книги нашего поэта означает для него верную смерть. Кто же добровольно пойдет навстречу собственной смерти?

Глубоко затаенную иронию в его словах не все замечали. Иногда даже он сам ее не замечал.

Однажды его крепко обсчитал один официант. Но наш поэт из гордости не сказал ему ничего. Но потом по зрелым размышлениям он пришел к неотвратимому выводу, что этот официант — скрытый киллер и обсчитывает клиентов, чтобы смазать истинный источник своих доходов. На некоторых интеллигентных клиентов его логика произвела такое сильное впечатление, что они совершенно перестали проверять счет официанта, и он окончательно обнаглел, уже совсем не оставляя сомнения в том, что он скрытый киллер. По словам поэта, официанту удалось обдурить даже чекистов. Они долго следили за его работой и пришли к ложному психологическому выводу: официант, который постоянно обсчитывает клиентов, не может быть киллером. Но почему-то может оставаться официантом. Не исключено, что наш поэт, укрупняя явления жизни, боролся со скукой жизни. Даже преувеличение самой скуки есть форма борьбы со скукой.

Добро первично,  
и потому роза красивая

Кстати, вот его высказывания по поводу литературы и жизни. Некоторые из них я записывал, некоторые сохранила память.

Странно, что до сих пор никому не пришло в голову определить, кто из евангелистов наиболее талантливый. А может, так и надо: равны в любви к Христу.

Когда я пишу и вдруг во время писания боюсь умереть, не закончив стихотворения, — это признак того, что стихи будут настоящими.

— Меня никак не назовешь легковесным поэтом, — грохотал он однажды, намекая на оба смысла слова. — Я работаю над стихами до упора, пока не почувствую, что вес строки равняется весу моего тела: тогда, значит, гармония достигнута.

— Ты знаешь самую гениальную лирическую строку в мировой поэзии? — спросил он у меня однажды.

— Нет, конечно, — ответил я, уверенный, что он процитирует себя.

— А я знаю! — гаркнул он. — Она в Библии! Книга Бытия. Если ты помнишь, Бог велел Аврааму, чтобы проверить его преданность себе, принести ему в жертву своего люби-

мого сына Исаака. Богопослушный Авраам взял нож, нагнул дрова на ослика и повел с собой сына Исаака к месту жертвоприношения. А сын, конечно, ничего не знал. Мальчик только знает, что отец готовится к жертве животных:

— Отец мой, вот огонь, вот дрова, где же агнец для жертвоприношения?

Вот самая потрясающая строчка в мировой поэзии! Никто в мире не догадался, кроме меня, что Бог отменил жертвоприношение Авраама, побежденный наивностью мальчика. Бог понял, что святая доверчивость сына к отцу для него ценнее богопослушности Авраама. Это его и остановило, а не верность Авраама. Никто до меня об этом не догадался. В этот миг и был задуман Христос, который никогда так жестоко не мог испытывать человека на верность Богу. Через безгрешную доверчивость ребенка Бог догадался о возможности нового подхода к человеку. Потому и Христос так много говорит о детях: будьте как дети! Вот, кстати, новые стихи о Христе:

*Духовный обморок Христа.  
В кровавой пелене — ни зги.  
Тогда Он возопил с креста:  
— Отец Небесный, помоги!*

*От боли крикнул небесам,  
Уже не помня ничего,  
Уже забыв, что Бог Он Сам,  
Что пусто небо без Него.*

*И потому из века в век,  
Среди невзгод или тревог,  
По праву молвит человек:  
— Мои страданья знает Бог.*

— Мой принцип, — говорил он, — энергия стиха и никаких идей! Если человечество выживет, этот принцип будет всеобщим. Вся моя жизнь — служение ему. В этом, как ты говоришь, сюжет моего существования. Уже Пушкин об этом догадывался. Когда он говорил, что поэзия должна быть глуповатой, он хотел сказать: подальше от идей, а не от мыслей. Это разные вещи.

Через двести лет, уничтожив компьютеры и всякую подобную дьявольщину, люди, чтобы поднять себе настроение, будут собираться и читать стихи моего направления. Так мы сейчас собираемся, чтобы выпить и повеселиться. Сердечник не будет в кармане носить валидол, а будет носить в голове стихи Пушкина. Сердце забарахлило? Остановится и вместо того, чтобы, шевеля губами, подсчитывать пульс, будет читать шепотом Пушкина: «Мороз и солнце — день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный?»

Глядишь, по мере чтения стихов и сердце отпустило. Кстати, вот шуточные стихи о Пушкине:

*Смотритель-ангел Богу рек:  
— Взгляни на Пушкина, мой Боже,  
Над всеми этот человек  
Трунит — и над Тобой, похоже?*

*Бог не ответил ничего,  
А мог сказать слова такие:  
— Все знаю, но люблю его,  
Кого ж еще любить в России?*

— Интересно заметить, — прогудел он однажды, — романтические герои Пушкина: Сильвио, Германн, да и лермонтовский фаталист, — все европейцы по происхождению. Почему бы это? Россия была тогда прочной, консервативной страной. Декабристы — прививка от революции. Мышление развитого русского человека представлялось здравореалистическим. Европа была взбаламучена и измучена революциями.

Люди эмигрировали в Россию, как в спокойную, уравновешенную страну. Так наши теперь бегут на Запад. Характеры Сильвио и Германна казались Пушкину для русского человека недостаточно правдоподобными, и потому он их сделал иностранцами по происхождению. И подумать только! Всего через тридцать лет у Достоевского русский человек был готов на самые безумные парадоксы, и это было правдиво. Есть над чем подумать нашим критикам! Да что о них говорить, когда они меня, живого, до сих пор не заметили!

*О, Русь! Ни охнуть, ни вдохнуть  
Или вдохнуть и охнуть снова,  
Недолог оказался путь  
От Пушкина до Смердякова!*

Юмор — осколки счастливого варианта жизни, хранящиеся в прапамяти человечества.

Мысль — единственное выражение умственного мужества.

Чтобы понять поэта, надо его полюбить. Потом ты можешь охладеть к нему, но то, что ты понял, когда полюбил, уже никуда не уйдет.

— Я ему не подам руки, — охотнее всего говорят те люди, у которых в глубине сознания подавлено желание сказать: не подам!..

Здесь коренное отличие христианства от либерализма.

Помню, мы как-то спорили по поводу соотношения поэзии и правды в стихах. Это было лет двадцать тому назад. Он шутиливо симпровизировал на эту тему:

*Это братья-близнецы —  
Только разные отцы:  
У того отец небесный,  
А у этого телесный.*

Самое забавное: я недавно где-то прочел, что, оказывается, женщина в редчайших случаях может родить близнецов от разных мужчин, если имела с ними близость в течение одних суток. Поэзия обогнала науку. Он в своей шутке утверждал эту возможность.

Для поэта, говорил он, толковость в творчестве подразумевает bestолковость в жизни. Закон сохранения энергии. С этим надо иметь мужество примириться раз и навсегда. Многие поэты безуспешно пытались с этим бороться.

Маяковский сделал колоссальные усилия, чтобы преодолеть это естественное противоречие. Он хотел быть толковым в творчестве и стать толковым в жизни. Он даже гордо писал: «Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак».

В результате он разладил толк в творчестве и не наладил в жизни. И тогда, потеряв сюжет существования, он застрелился.

Конечно, хорошо, когда жена, брат или друг ведут поэта по аду жизни, как Вергилий. Но где их взять? Это чистое везение.

Когда парикмахер, вымыв мне голову, сорвал с меня покрывало, я почувствовал себя памятником. Так вот кто нам делает славу!

— Визгливость — признак бессилия, — сказал он как-то и добавил: — Прошу не путать с громким голосом.

Однажды в застольном разговоре, как бы противореча своей знаменитой балладе, он выпалил тут же сочиненную эпиграмму:

*Всех подлецов заочно  
Прощаю. Нет обид!*

*Поскольку знаю точно,  
Что Бог их не простит.*

Одному бывшему своему другу, который крепко продал его в молодости и с тех пор делал неоднократные напрасные попытки снова сблизиться с ним, он при мне сказал:

— Если ты человек, это твоя проблема с Богом, а не со мной. А если ты не человек, то на хрен ты мне сдался!

Идеальное стихотворение — это румяный с мороза ребенок, вбегающий в комнату и бросающийся тебе на шею!

Чем талантливее художник, тем ярче, отчетливее он видит образ того, что он хочет показать. И поэтому он намного больше работает над черновиками, чем средний художник, ведь он стремится уподобить то, что он пишет, тому яркому, отчетливому образу, который он видит в воображении.

Средний художник не может столько работать над рукописью, сколько большой талант, потому что он достаточно расплывчато видит в воображении свой образ и создает его именно таким расплывчатым, как видит. Если бы он попытался большими трудами достигнуть больших результатов, он бы испортил и то малое, чего достиг. Он не видит отчетливо свой идеал и потому не знает, куда работать.

Воспоминание детства. Астрахань. Я сижу под деревом с кулечком присок, купленных мне дядей. Блаженство! Обожаю приски!



Но от них у меня болят зубы, и одновременно эту боль зубов перебивает сладость ирисок. Особенно сильно я чувствую боль, когда одну ириску уже высосал, а другую еще не успел бросить в рот. Поэтому, высосав ириску, стараюсь следующую быстрее бросить в рот. Я чувствую какую-то таинственную связь между болью, которая вызывается сладостью, и ослаблением боли, которую я этой же сладостью заглушаю, иногда сразу две ириски бросая в рот. Но понять, хотя пытаюсь, таинство этой связи не могу. Мне лет шесть.

По-видимому, любопытство к мудрости дается некоторым людям от природы, как музыкальный слух.

*Ум динамичен. Без улыбки  
Он с козностью вступает в бой.  
Его победы и ошибки  
Почти равны между собой.*

*А мудрости статичный разум,  
Он все сомнения души  
Как бы учитывая разом,  
С улыбкой шепчет: «Не спеши».*

Маленькую, трехлетнюю девочку, рассказывал он однажды, отправили в детский сад.

— Ну как, хорошо тебе там было? — спросили у нее дома вечером.

— Плохо, очень плохо, — ответила она.

— Но там же столько детей, столько игрушек! — удивились родители.

Девочка подумала и сказала:

— Дома светлей!

Даже если она имела в виду физический свет, она сказала очень важную вещь. Мы недостаточно отдаем себе отчет, как высветляет душу светлое помещение. И как притемняет душу тусклый свет. России климатически всегда не хватало света. Вот почему ей так необходима светоносная поэзия.

Тирану не дает покоя призрак убийцы. И чем тише вокруг него, чем меньше признаков существования оппозиции, тем подозрительней тишина. Ужас тишины, вызванной страхом перед ним, тиран воспринимает как ужас подготавливаемого в тишине заговора. Чем тише вокруг, тем явственней по ночам встает над ним призрак убийцы. Наконец, этот призрак делается невыносимым.

И тиран начинает убивать сам, разрушая, как ему кажется, зреющий заговор. Ухватившись пальцами за реальную, теплую глотку, он постепенно освобождается от видения невыносимого призрака, за глотку которого невозможно ухватиться. И чем больше реальных глоток хрустит под его пальцами, тем видение призрака делается слабее и слабее. Реальность освобождения от призрака еще больше вдохновляет его удушать реальных людей. И чем больше он удушает реальных людей, пусть через мнимые суды, тем призрачнее делается призрак.

И наконец, в зависимости от страны, истории, от силы мании, убив сотни или сотни тысяч людей, он вдруг радостно ощущает, что призрак исчез.

И тогда он перестает убивать. Исчезновение призрака, мучившего его, он воспринимает как следствие своевременного подавления зревшего заговора. И он некоторое время живет нормальной жизнью, весело, бестревожно. А вокруг него полная тишина, никакого мышинного шороха оппозиции.

Но вот сама полнота этой тишины постепенно становится подозрительной. И ночами снова появляется призрак убийцы. И теперь тиран мучается, с трудом засыпая на рассвете. И тогда он с тоской вспоминает: отчего еще совсем недавно ему было так весело и спокойно и никакие призраки его не тревожили?

Оттого, с железной логикой отвечает он самому себе, что я в зачатке раскрыл заговор, уничтожил заговорщиков и их некоторое время не было. Оттого мне было весело и спокойно и призрак убийцы не являлся.

А теперь он снова появился. Вон покачивается в углу спальни. Почему? Ясно почему. Моя гениальная интуиция подсказывает мне, как и в тот раз, что снова появились заговорщики. А призрак мучает по ночам, мучает невыносимо, и так как призрак нельзя задушить, руки тянутся к реальной глотке. И снова начинается террор.

И как только начинают хрустеть реальные глотки, призрак бледнеет и бледнеет и в конце концов истает после

какого-то числа переломанных теплых глоток. И в один прекрасный день тиран успокаивается, приходит в равновесие и лишней раз убеждается, что вовремя подавил заговор.

Через некоторое время все повторяется. И так до тех пор, пока действительно кто-то из приближенных к тирану, предчувствуя новый виток борьбы с заговорами и боясь стать его жертвой, в самом деле его не убивает или просто тиран не умирает своей смертью.

Он был так рассеян, что не заметил, как жена от него ушла. Через несколько дней, узнав об этом, жена из самолюбия вернулась. Она не могла смириться с мыслью, что уход ее не замечен.

— Ты что, у мамы была? — спросил он, увидев ее.

— Но ведь моя мама умерла, — ответила она в отчаянии.

— Извини, дорогая, — смутился он, — совсем замотался.

И снова погрузился в работу. И тут жена окончательно ушла, но он этого опять не заметил. Через день он вспомнил о прошлом уходе жены и стал соображать: раз она не была у мамы, значит, где-то была. Но где?

Он хотел спросить у нее, но ее опять не оказалось дома. Наверное, к маме ушла, подумал он, опять забыв, что мама у нее умерла. Очень уж давно она умерла.

Цветаева гениально сказала, что женитьба Пушкина на Наталье Николаевне — это стремление переполненности к пустоте. Но можно продолжить ее мысль. Пушкин, на удивление друзьям, нередко любил общаться с пустыми людьми.

Электричество его переполненности требовало заземления, иначе он взорвался бы. Друзья этого не понимали, скорее всего, и сам Пушкин этого не понимал.

Тот, кто думает так, но не осмеливается сказать, что думает так, на самом деле только думает, что думает так, но думает иначе.

Все шлюхи в старости делаются ханжами. В чем дело? Жадность. Уже неспособная обжираться телом старается как можно больше отожрать от добродетели.

Сплетня — сладость заговора без его опасности.

Пьяницами становятся в первую очередь люди с очень здоровой психикой. Они долгое время не испытывают похмельного ужаса. Потом, конечно, психика сдает, но уже отказаться от питья трудно — алкоголик. Я, к счастью, застрял на первой стадии.

Если ты дурак, то будь хотя бы флегматиком.

Лакей лучше всего узнается не в лакействе, а в дерзости.

Высокомерие — комплекс неполноценности в прочности своего положения. Через высокомерие человек убеждается в реальности своего высокого положения или представления о себе.

Шаблонные рифмы типа «любовь — кровь» не потому плохи, что сами стерты, а потому плохи, что тянут за собой избитый смысл строки. Если же поэт, пользуясь шаблонной рифмой, все-таки может освежить смысл строки, мы получаем дополнительное удовольствие от смелости поэта, и перешаблоненная рифма сама освежается, как бы иронически подмигивая своему шаблонному смыслу.

— У нас было потрудней, — сказал он, попав в ад и обустроиваясь в нем.

— Ты из какого лагеря, браток? — спросили у него обитатели ада.

— Планета Земля, — ответил он. — А у нас считают, что Вселенная необитаема.

...В самом деле, если есть тот свет, только там мы узнаем, обитаема ли Вселенная. Не может же Бог быть столь мелочным, чтобы для обитателей разных планет устраивать особый рай или особый ад.

Пьяный сунул в клетку с обезьяной палку и ткнул ее. Обезьяна взвизгнула.

— Интересно, что она этим хотела сказать? — удивился пьяный.

— Она хотела сказать, что человек еще не произошел от обезьяны, — пояснил я.

— Произойдет, куда денется, произойдет, — гениально утешил пьяный.

Бессонница — потеря простодушного отношения ко сну, навязчивость недопрожитого или пережитого дня. Боязнь бессонницы порождает бессонницу. Когда путается сознание, то есть начинаешь засыпать, — вдруг толчок, и сознание проясняется. Откуда этот толчок? Психика, не управляемая разумом, зафиксирована на сне. Вместо того чтобы разумно приказать организму: тише, тише, он засыпает, — она орет: он засыпает! — и ты вздрагиваешь и просыпаешься.

Бывает, хочешь припомнить нужное слово — и никак не можешь. Напрягаешь память, но ничего не получается. Плюнул, махнул рукой и стал думать совсем о другом, и вдруг нужное слово само всплывает в памяти. Значит, работа памяти по воспоминанию нужного слова продолжалась помимо воли? Но зачем ей нужен был этот перерыв? Или излишнее понукание сбивало память с толку, как излишняя строгость снижает сообразительность ребенка? Интересно, что об этом думает наука?

В чем дело? Чем хуже в стране идут дела, тем этот человек делается все веселее, размашистее, уверенней. Может, его доходы увеличиваются? Нет. Может, его личная жизнь становится осмысленнее и богаче? Как была нелепой, так и осталась. Видимо, дело в том, что разложение внешней жизни все более и более совпадает с разложением его внутренней жизни. Внешний распад все более гармонизируется с его внутренним распадом, и это улучшает его настроение. Страшный сон: он с хохотом входит ко мне в дом, и я понимаю, что все кончено. Не дай Бог!

Жалоба современного Прометея:

— Мне не то обидно, что клюют мою печень. А то обидно, что попугаи, а не орлы клюют мою печень. При Зевсе было величественней.

У входа в метро подтаял лед. Очень скользко. Парень, шедший впереди меня, поскользнулся и долго извивался, чтобы удержать равновесие, героически приподняв над головой сумку, в которой виднелись бутылки с выпивкой. Было ясно, что он не столько пытается удержаться на ногах, сколько старается, даже упав, удержать сумку над головой. Наконец я его схватил и восстановил равновесие.

— Судя по звуку, бутылки уцелели? — заметил я.

— Уцелели! — радостно подтвердил парень и вошел в метро.

Кажется, все рекорды в беге на длинную дистанцию у африканцев. Родина страусов.

Человек, у которого большие полушария мозга работают с такой же интенсивностью, как большие полушария задницы.

Очаровательная строфа Фета:

*В моей руке — какое чудо! —  
Твоя рука,  
И на траве два изумруда —  
Два светляка.*



Очевидцы чуда — светляки. Их было два. Трезвоарифметическая цифра настаивает, утверждает, что чудо было реальным. Если бы поэт написал, что светляков было множество, чудо было бы не столь убедительным: мало ли, что показалось. А тут именно два. Два светляка — и две руки. Совпадение парностей. Чудо совпадения парностей делает еще более реальным первое чудо. При этом абсолютная непринужденность строфы, как выдох. Это уже мастерство.

Свободный человек — это человек, чуткий к свободе другого и потому непринужденно самоограничивающийся. Это непринужденное самоограничение и есть вещество свободы. Понимать свободу как вещь для собственного употребления — все равно что сказать: «Я щедрый человек. Я хорошо угостил себя».

Хочу написать статью «Байрон и Чехов». Байрон — певец мужества, но всегда при зрителях и для зрителей. Чехов — писатель деликатно и глубоко скрытого внутреннего мужества. Байрон внешне героичен, но внутренне прост и однообразен. Чехов внешне прост, но внутренне многообразен и скрыто героичен.

Понижение уровня всякой обсуждаемой проблемы прямо пропорционально количеству обсуждающих проблему людей. Двое, трое, четверо — еще можно удержать

ся на хорошем уровне. Дальше идет спад. Идеал тупости — толпа.

Забавный случай рассказал ему один его приятель, а он пересказал мне. Вот как было дело:

— Пришел к товарищу юности в гости со своим сыном, взрослым балбесом. Сидим за столом, слегка выпиваем, товарищ рассказывает, как его сын в наше трудное время помогает отцу, регулярно подбрасывая ему деньги. Во время рассказа случайно ловлю взгляд собственного сына со страстным укором, обращенным на меня. В чем дело? Сначала не мог понять, потом догадался.

В голове моего сына, вечно выклянчивающего у меня деньги, все перевернулось! Он вообразил себя отцом, а меня своим сыном. Его страстный, молчаливый укор означал: ты видишь, как сын помогает отцу? А ты? И тебе не стыдно?

Он сам не замечал лихого сальто собственного эгоизма.

Управляющий страстью — более страстный человек, чем тот, кто проявляет безумную страсть. Слаломист, неожиданно тормозящий, делающий резкие зигзаги и броски, производит впечатление большей страстности, чем лыжник, сломя голову летящий с горы.

Один из застольцев неожиданно вторгся в разговор.

— Ганди был китайцем, — взволнованно сообщил он, — его истинный отец — китаец! Я лично читал об этом!

Как — китаец? Откуда китаец? Почему китаец? Да ниоткуда! Оскорбленный невниманием к своей особе, он решил всех огорошить: Ганди был китайцем! И добился минутного внимания к себе. Это минутное внимание иногда длится годами, если вовремя крикнуть:

— Ганди был китайцем!

Звонит читатель:

— Я прочел ваши стихи в журнале! Мне они очень понравились!

— Спасибо!

— Я хотел бы приехать к вам домой и познакомиться с вами.

— Боюсь, что вы ничего в них не поняли!

— Как не понял? Я все понял!

Тогда откуда такое нахальство, хотелось сказать, — но не сказал.

Видел сон, и во сне было страшно. Во сне я видел родное море возле Астрахани. Море отошло от берегов метров на двести, и оголилось дно, из которого торчали острые, злые скалы. А ведь я все детство купался в этих местах, сотни раз нырял и никаких злых скал там не видел. Во сне было горькое и грозное чувство, что я всю жизнь не знал истинного состояния своего моря. Обнажившиеся острые, слизистые скалы предрекали какую-то беду. Думаю, что этот сон ткнул меня в мою излишнюю доверчивость к народу. Любому народу.

В англосаксонской литературе немало произведений, где герои соревнуются в благородстве. Например, «Запад и Восток» Киплинга. В нашей литературе я что-то не могу припомнить таких героев. У нас есть прекрасные, благородные герои, но им не с кем соревноваться в благородстве, они всегда в одиночестве.

Может быть, дело в том, что в нашей истории не было рыцарства? Чешутся руки написать стихи о состязании двух людей в благородстве. Но не могу найти сюжета. Может быть, не хватает благородства, чтобы найти сюжет?

Чем глупее человек, тем он дольше говорит по телефону: неясность отсутствия информации.

Рука женщины, нежно глядящая больного ребенка и утешающая его этим. Рука фокусника, виртуозными пальцами выделяющая невероятно ловкие движения и этим развлекающая зрителей. И тут все понятно, все на месте: и рука женщины, и рука фокусника.

Но точно так же существуют два типа ума: один из них — рука женщины, а другой — рука фокусника. И рука фокусника часто изображает руку женщины, и ей чаще верят, чем истинной руке истинной женщины.

Анкетные данные. Человек надежный, в подозрительных единениях с совестью не замечался.

Что это был за человек! Мы кружились вокруг его головы, как мотыльки вокруг лампы!

Иногда в хмельном состоянии лучше узнаешь человека. Не потому, что ты лучше соображаешь, а потому, что он хуже маскируется.

Помню, как в студенческие времена после весенней сессии ехал в поезде из Москвы в Астрахань. В тот раз я был совсем без денег и без еды. Три девушки были со мной рядом в купе. Ехать надо было три дня. С небольшим опозданием в один день, заметив, что я ничего не ем, девушки стали подкармливать меня. Доехали весело. Позже, летом, я их несколько раз встречал в Астрахани, здоровался, но подойти не мог из глупого стыда. Мне казалось, что на их милую, скромную щедрость я должен здесь ответить пиршеством, но денег на это не было. А тогда казалось, что не ответить пиршеством — позор.

В те же годы в Астрахани справляли поминки по одному знакомому нам человеку. Столы по-южному поставили во дворе под деревьями. Люди еще не успели рассестись. За одним из этих столов уже сидела необычайно красивая девушка, казавшаяся сказочно красивой здесь, в черной рамке смерти. Я обратил на нее внимание. Заметив это, она стала очень быстро есть. Видимо, кокетство вызвало в ней аппетит. Не ест, а исполняет сексуально-гастрономический танец. От былой за минуту до этого красоты ничего не осталось. Смерть, красота, пошлость.

В молодости один милый поэт время от времени читал мне свои новые стихи. Если я говорил, что стихотворение неудачно, он с комическим постоянством повторял:

— Опять перетончил!

Главный признак провинциализма в литературе — стремление быть модным.

Нужно движение, непрерывное трение о мир, чтобы задымилась искра мысли, а потом нужны тишина и одиночество, чтобы эту искру раздуть.

Чем богаче еда, тем вонючей дерьмо. У вегетарианца, надо полагать, благородный козий помет.

Современный, интеллигентный мальчишечка сказал женщине:

— Тамара Ивановна, будьте любезны, скажите мне, пожалуйста, вы не видели, где моя подушка-пердушка?

Этот человек свою трагедию пережил с таким деликатным мужеством, что никто не заметил этого мужества. Все решили, что он холодный человек.

Ночью в купе. Бессонница. Соседи по купе то дружно, то вразнобой храпят. Дискуссия глухонемых. У одного из храпящих аргумент иногда достигал такой хамской силы, что он

перекрывал им храп обоих и, перекрыв, успокаиваясь на минуту, затихал. Потом он начинал скромно храпеть, как бы предлагая вести дискуссию в джентльменских тонах. На что один из двоих взрывался в храпе, укоряя за его предыдущий наглый выпад.

Что делать? Как заснуть, не убивая их? Я долго думал и наконец, догадавшись о чрезвычайной выгоде своего положения, успокоился и уснул. Я подумал, насколько же безопасней лежать в купе, слушая храп пассажиров, чем лежать в палатке в джунглях, слушая рыканье хищников возле палатки. Храп — признак близости цивилизации. Успокоившись на этом, я уснул. Но я не знал, что, уснув, ввязался в их дискуссию и разрушил ее под утро.

— Я из-за вашего храпа проснулся, — сказал мне утром как раз тот, чей храп достигал наибольшей хамской силы.

— А я под ваш храп уснул, — ответил я ему.

Мне показалось, что он остался очень доволен — то ли миролюбием своего храпа, то ли его особой музыкальностью.

Имя знаменитой шпионки Мата Хари звучит как псевдоним русского мата.

Обрывок разговора. Парень, стараясь занять девушку, рассказывает ей:

— Я тогда в горах попал под такой ливень, что получил сотрясение мозга.

— Град или ливень? — переспрашивает девушка.

— В том-то и дело, что ливень, — уточняет парень, — град — это неудивительно... В тот раз в горах был такой град, что на моих глазах убил лошадь.

— А ты как уцелел? — спрашивает девушка, не очень удивляясь, что явно огорчает парня.

— В дупло залез, — говорит он, — потому и уцелел.

— А дупло было большое? — спрашивает девушка.

— Огромное! — радостно подхватывает парень. — Вся наша туристская группа уместилась в нем.

Девушка опять не очень удивляется. Что же надо такое сказать, черт побери, чтобы удивить ее!

Мы знаем две истории человечества — античную и христианскую. Античная история имела огромные культурные достижения, но, не сумев создать гармоничский мир, рухнула. Христианская история создала грандиозную культуру и цивилизацию, но, не сумев создать гармоничский мир, видимо, приближается к своему концу. По законам мистики и спорта, уверен — будет третья попытка истории человечества. Но это будет последняя попытка. Если человечество и на этот раз не сумеет создать достаточно гармоничный мир, боюсь, оно будет навсегда дисквалифицировано.

Оскал старой красавицы — кокетливый призыв смерти. У всех старых красавиц источенные лица. Шутка ли? Лицо, как мотор соблазна, десятилетиями работавший непрерывно, и чем гуще смазка, тем заметнее, как он источился.



Пьяный сидел на скамье электрички, закрыв глаза и уронив голову на грудь. Напротив него сидела его жена. Он время от времени клал руку ей на колени и быстрыми, умоляющими, призывающими движениями пальцев просил взять его руку в свою ладонь. Это было понятно. Но женщина не брала его руку в свою ладонь, а время от времени небрежно снимала его руку со своих колен. При этом всем своим обликом она как бы говорила: будешь знать, как пить!

Пьяный снова клал руку ей на колени и быстрыми, умоляющими, долгими, терпеливыми движениями пальцев призывал ее руку. Но женщина была неумолима. Через некоторое время она сбрасывала его руку со своих колен все с тем же выражением на лице: будешь знать, как пить!

Через некоторое время пьяный снова дотягивался рукой до ее колен и терпеливо призывал ее ладонь. Казалось, пальцы его стремились докарабкаться до ее руки и просили ее помочь ему. Видно, он чувствовал ужас похмельного одиночества. Но она была неумолима. Так продолжалось полчаса, пока я ехал в электричке.

Конечно, нехорошо, что он так напился. Но она стерва. Возможно, он и напился, потому что она стерва.

Если человек не тяжело болен, бестактно говорить: «Когда я умру...» Можно подумать, что те люди, которым это говорится, бессмертны.

В молодости на пароходе плыл первый раз в Одессу. На пароходе все девушки казались привлекательней и таинственней, чем на суше. Пароход, да еще летний — новая жизнь, новая земля, новая любовь! Всеобщее желание обратить обычное путешествие в свадебное.

Играл на палубе в пинг-понг с китайскими студентами. Все они играли хорошо и ракетку странно для нас держали между пальцев. Возможно, привычка к палочкам для еды. После игры я решил угостить их пивом. Сказал им об этом. Они собрались в кучу и, некоторое время посоветовавшись по-китайски, смело приняли мое предложение. Видеть их совещание было смешно. Мы были на разных уровнях идеологии. Они еще ползли вверх, а мы уже сползали с вершины.

Один из ускользающих и одновременно точных признаков гения — это ощущение: неужели он в самом деле жил? Ближайший пример — Осип Мандельштам. Неужели он был? По этой же причине гений редко при жизни признается гением. Мешает, что он живой. Даже если отбросить невежество и зависть, остается глубинный, хотя и неосознанный аргумент: живой, а поет райские песни. Что, он там был, что ли? Откуда он их знает? Значит, песни только кажутся райскими. После смерти легче признать: как бы отчасти оттуда поет.

Фокус — пародия на чудо с целью погасить ностальгию по оригиналу.

Он давал взятки чиновникам только для того, чтобы они действовали в рамках закона. Чиновники в этом случае брали взятки за дискомфортность ситуации, в которую он их ставил.

Этот человек, разговаривая с богатыми, неизменно впадал в какое-то неаполитанское сладкогласие. Ему ничего от них не надо было! Он готов был отдать им последнее! Пся кровь!

Однажды в брежневские времена в писательском ресторане я крепко выпил с друзьями. К нам за столик вдруг подсел один ничтожный писателишка. Явно заметив, что я сильно пьян, он, потеряв контроль над собой от радости, что я потерял контроль над собой, не сводил с меня умоляющего взгляда в ожидании, что я скажу. Я всей шкурой почувствовал, что он стукач. Впоследствии так и оказалось.

Мне решительно нечего было сказать. А он, явно понимая мою сущность, с жадным сладострастием ожидал, что я эту сущность выражу в нескольких фразах. Я этого не только не хотел, но и не умел, а он ждал, ждал, ждал, как ждут козырную карту. Я для них тогда был загадкой. Но что сказать? Так, либеральная болтовня. За половиной столиков в ресторане занимались этим. Но он продолжал умолять меня своим взглядом: сейчас — или никогда, карьера висит на волоске!

Я знал, что я этого не могу, даже если бы захотел. И потому продолжал пить. В том числе и с ним.

Видел сон, как будто я после купания в море надеваю ботинок. Почему ботинок в купальный сезон? Я не думаю об этом. На мокрую ногу ботинок трудно влезает, я натягиваю его, он сопротивляется, огорчаюсь своей неловкости. К тому же, озираясь, не вижу второго ботинка. Куда он делся? Нельзя же в одном ботинке идти.

Просыпаюсь. Вспоминаю свой сон. За окнами холодная, зимняя Москва. В этот же день, выходя из троллейбуса, решил закурить. Вынимаю из пальто сигареты, зажигалку, закуриваю.

Покурив, чувствую, что голые руки озябли. Лезу в карман за перчатками. Одной перчатки нет. Огорченный, поворачиваю назад, надеясь, что, может, уронил перчатку, когда доставал сигареты. Одновременно вспоминаю свой сон и никак не припомню, нашел ли я тогда второй ботинок.

Прохожу метров пятьдесят до остановки троллейбуса. В самом деле, перчатка валяется там. Радуюсь своей догадливости (понял, где искать) и тому, что ее никто не подобрал. Надеваю перчатки и снова вспоминаю свой сон.

Кажется, что сон предупреждал о надвигающемся дневном событии, только получилась какая-то путаница в моем мозгу или в самой мистике сна: ботинок спутал с перчаткой. Или Там верхние и нижние конечности проходят по одной категории? Или бог сна со сна ботинок спутал с перчаткой? Однако, какая мелочность! Подумаешь, чуть не потерял перчатку! Во сне все было гораздо значительней и неприятней, особенно та неловкость, с которой нога входила в ботинок. Это была моя неловкость в обращении с жизнью, не-

умение к ней приспособиться. Вернее, слабое умение. Ботинок все-таки надел.

Евреи особенно любят поговорить на половую тему. Бессознательное отвлечение собеседников от антисемитизма.

За многие годы впервые ходил босыми ногами по траве. Щекочущее, слегка колющее, приятное прикосновение травы к ставшим девственными подошвам ног. Все это напоминало далекое первое прикосновение к женщине в далекой юношеской постели. А впереди зеленый шелковистый холм. Ходи себе, гуляй вдосталь! Всю жизнь перегуляешь за несколько часов!

Солнечный, морозный день. Озаренные солнцем, книги на полках разноцветно вспыхнули! Сияние мысли навстречу сияющему солнцу. Весело!

Храбрость — разгоряченность человека до степени равнодушия к своей жизни или охлажденность его до этой же степени.

Ни один самый великий мастер не может скрыть, что в том или ином стихотворении или прозаической странице его покинуло вдохновение. Хотя сам он этого мог не заметить. Скрыть отсутствие вдохновения невозможно.

Достоинство человека в кандалах — не размахивать руками.

Настоящий читатель — это не тот, кто прочел книгу, а тот, кто возвращается к ней. Но для этого и книга должна быть настоящей. Классика — это принципиальная неисчерпаемость книги.

Интеллигентному человеку кажется, что бритва тоже комплексует.

Умер на посту. Так и похоронили с недописанным доносом на груди.

Маленький, динамичный ум. Динамичный, потому что маленький.

В молодости пьют, чтобы почувствовать себя старше своих лет. В старости пьют, чтобы почувствовать себя молодыми.

Новые времена. В аэропорту стоял в очереди к пограничному контролю. Как всегда, волновался. Вечно к чему-нибудь придерутся: то неправильно заполнил декларацию, то почему столько книг в чемодане и тому подобное. Очередь двигалась. Я подхватывал свои чемоданы, а потом, когда очередь останавливалась, от волнения забывал их поставить на пол. Впереди меня стоял какой-то молодой иностранец с большим рюкзаком у ног. Он лениво жевал жвачку и по мере продвижения очереди ногой подпихивал вперед свой рюкзак. Ногой

подпихивал рюкзак! Эпос свободы! Вот это свободный человек, подумал я, и ничего тут не поделаешь!

*Чтоб тупости ее разжать замок,  
Он так кричал, что дребезжали стекла!  
Но ничего ей доказать не мог.  
Зачем же, Гамлет, ты связался с Феклой?*

Когда я спросил, кому посвящено это четверостишие, он, по-моему, смутился и ответил, что не помнит. Неужели Глухой?! Бедная Ася, если это она!

Душа, в которой конь не валялся, но ослы бегали вперегонки.

Невозможно представить, чтобы Лев Толстой и Федор Достоевский могли дружить, хотя жили в одну эпоху и возвышались над всеми. Представить их дружбу — все равно что представить, что два действующих вулкана, продолжая действовать, договорились бы об условиях всемирной тишины.

Хорошо, что восстанавливают храм Христа Спасителя. Но надо было бы его назвать храмом памяти храма Христа Спасителя. Но этого никто не собирается делать. А надо внушать народу мысль, что святыни невосстановимы, чтобы он испытывал священный ужас перед мыслью разрушить их. Через

сто лет только специалисты будут знать, что храм был разрушен, а потом его восстановили. А надо, чтобы народ всегда это помнил.

Говорят, Хлебников — гениальный поэт. Сомневаюсь. У Хлебникова есть прекрасные строчки. Иногда строфы. Но у него нет почти ни одного законченного прекрасного стихотворения. В чем дело? Он в стихах не может создать эмоциональный сюжет. Стихи — или сразу удар! и постепенно звук затихает. Или чаще всего постепенно накапливается определенное настроение и взрыв в последних строчках. У Хлебникова — ни того, ни другого. Следствие его неполной нормальности. У него прекрасная строчка всегда в случайном месте случайно прихвачена словесным потоком. Но «Зверинец» — гениален! Тут звериная клетка стала формой, не дающей поэту растекаться.

Отгоняю от себя все виды жизни, чтобы не мешали думать о них. Если смогу создать для них корм — сами прибегут, как куры.

В Хьюстоне перед великолепным университетом памятник человеку, финансовая помощь которого помогла создать университет, и до сих пор его деньги поддерживают этот храм науки.

Организатор университета прожил восемьдесят пять лет и умер оттого, что, сговорившись между собой, его отравили



любовница и дворецкий. Они отравили его, зная, что он собирается вложить свои деньги в строительство университета. Надеялись, что деньги достанутся им.

Однако они не учли, что он своими планами поделился с другом. Друг заподозрил злодейство, обратился в суд, обвинение было доказано, любовница и дворецкий получили по заслугам.

Возникает невольный вопрос: зачем восьмидесятипятилетнему человеку любовница? Скорее всего, она раньше с ним жила и достаточно давно перестала быть его любовницей и стала любовницей дворецкого. Но как горделиво звучит: в восемьдесят пять лет был отравлен любовницей! Может, потому что грозился в девяносто завести новую!

Картина юности в Астрахани. Перед лестницей, ведущей на второй этаж, стоит билетерша. Наверху танцы. Молодежь, показав билеты, весело поднимается к музыке.

Хулиган несколько раз пытался прошмыгнуть мимо билетерши, но она его останавливала и отталкивала. Наконец она зазевалась, и он проскочил мимо нее.

— Назад! Назад! — кричала билетерша, спохватившись, но он ее не слушал, зная, что она не решится покинуть свой пост.

Но как раз в это время, на его беду, сверху по лестнице стал спускаться директор клуба.

— Не пускай его! Он без билета! — крикнула билетерша директору.

И тут хулиган заметался на месте, не зная, что ему делать. А молодежь весело проходит мимо него. Через три-четыре секунды директор клуба окажется рядом. Хулиган лихорадочно ищет решения, как эти последние секунды нахождения в запретной зоне использовать. И находит! Он смачно плюет на спину проходящей мимо девушки. Сорвал удовольствие! После этого спокойно идет вниз, как бы говоря: на большее я и не рассчитывал.

Много лет назад рассказывал мой родственник.

Вдруг стук в дверь на рассвете. Думаю: кого это несет в такую рань? Открываю дверь. Стоит высокий молодой человек в военной форме. Это был мой племянник, я его еле узнал! Но как страшно он изменился!

— Проходи! Какими судьбами?

— Я из Афганистана! Привез гробы солдат.

Позже за завтраком он мне много рассказал об афганской войне. Вот одна из его историй.

У нас было задание: с двух сторон подойти к кишлаку, где, по нашим сведениям, было много духов, окружить его и уничтожить их.

Наш отряд шел низиной, а другой — через горы. Строго рассчитали, что через шесть часов встречаемся в районе кишлака, окружаем его и уничтожаем врага.

И мы пошли. Идем, идем, идем, а кишлака не видно. Идем с предельной скоростью. Проходит шесть, семь, восемь, девять часов. Наконец вышли к кишлаку. Отряд, с которым мы

там должны были соединиться, весь перебит, а кишлак пустой. Духи вместе с женщинами, детьми, стариками, скотом куда-то ушли.

Командира нашего арестовали за невыполнение приказа, судили, но судьи из Москвы оказались честными людьми. Они на практике убедились, что по нашей дороге за шесть часов дойти до кишлака было никак нельзя. В чем дело? Оказывается, мы воевали с неграмотным картами. Командира нашего отпустили.

...Вспоминая об этом рассказе, думаю: а были ли у наших командиров в Чечне грамотные карты?

В животном мире самцы бешено бьются за самку. При этом самка, чаще всего пощипывая траву, спокойно дожидается победителя. Насколько я знаю, только в человеческом мире женщины могут враждовать за обладание тем или иным мужчиной. Идея равенства. Чем цивилизованней народ, тем чаще женщины активны. Возможно, при полной победе феминизма женщины будут яростно сражаться за мужчину, а мужчина в это время будет сидеть в сторонке и покуривать.

Если начальник шутит, хохочи, — хохоча, взойдешь.

У человека в сумке яблоки. Мы попросили у него одно яблоко. Он нам дал одно яблоко. Но из искренней ли доброты он это сделал, трудно судить: он это мог сделать из

приличия или других соображений. Но если на просьбу дать одно яблоко он нам протягивает два, то тут второе яблоко как бы свидетельствует об искренности дара первого яблока. Щедрость — наиболее убедительный признак искренности. Точно так же, если человек на просьбу дать яблоко достал бы из сумки одно яблоко и, разрезав его пополам, дал нам пол-яблока, ясно было бы, что он очень неохотно расстается со своим даром. В искусстве высшим доказательством искренности тоже является щедрость. Пушкин на просьбу дать одно яблоко с хохотом сыплет из сумки яблоки, особенно в подол женщины. Щедрость в искусстве порождает искренность, искренность порождает обаяние автора. Щедрость и есть причина обаяния автора.

Иногда от долгого пьянства казалось, что эта рыхлая глыба отчаянья вот-вот рухнет. И ему уже ничем нельзя помочь. Было жалко его до безумия. Но ему всегда приходило на помощь вдохновение. Оно иногда длилось месяц, полтора, и в это время он испытывал отвращение к алкоголю и капли не брал в рот.

В такие времена он становился сильным, ясным и по-своему подтянутым. Именно таким я его однажды встретил.

— Написал лучшие стихи в русской поэзии о первой любви! — закричал он. — Если это не так, вот тебе крест, я их порву и выброшу!

И он мне прочел их.

*Баллада о первой любви*

*После похвальных трудов  
Или законченной песни,  
Или наломанных дров  
Только рассядешься в кресле,*

*Хлопает смерть по плечу  
И призывает к ответу.  
— Несправедливо, — кричу, —  
Дай докурить сигарету.*

*Вновь припадает к плечу,  
Как парикмахер за стулом.  
— Та, что любила, — шепчу, —  
Только снежинку смигнула.*

*Только смигнула — и нет.  
Господи, это ли мало!  
В сессию, помнишь, студент,  
Ночки одной не хватало.*

*В библиотеке вдвоем.  
В книгу глаза опустила.  
Пальцев борьба под столом.  
Страсть или знание — сила?*

*День этот давний любя,  
В ночь погружается тело.  
Та, что любила тебя,  
Слово сказать не успела.*

*Та, что любила, во сне  
Свитер под лампой не вяжет,  
Словно из космоса мне  
Все еще варежкой машет.*

*Впрочем, не надобно слез,  
Даром ломаются копья.  
Если об этом всерьез,  
Как не поверить в загробье?*

*Жить — это значит потом  
Думать. Сие непреложно.  
Жизнью наполненным ртом  
Мямлить о ней невозможно.*

*Вот и полярная ночь.  
Времени много, полярник,  
Мыслию мрак превозмочь,  
Коль не зарежет напарник!*

*Вот и полярная ночь!  
Для новобрачных удобно  
Ласкою лед протолочь,  
Долго любить и подробно.*

*Что нам Большая земля  
Или большие обиды?  
Мы позабыли не зря,  
Мы окончательно квиты.*

*К морю родному домой  
Нас никогда не потянет.  
Только из пены морской  
Сын мой стремительно глянет!*

*Милая, счастья нет.  
Разве что, нежно расслабься,  
Пылкий, патлатый студент  
Будет бубнить эту запись.*

*В библиотеке. Вдвоем.  
Помнишь с верандою зальчик?  
Пальцы сплелись под столом.  
Крепче держи ее, мальчик!*

— Это стихи о моей землячке. Мы с ней вместе учились в Москве. Я надеюсь, ты понял, что сын не от нее. У нас с ней ничего не было.

— Да, конечно, — сказал я, — пожалуй, про сына самые сильные строчки. А где он?

— Он сейчас в Америке, — был сумрачный ответ, — моя бывшая жена вышла замуж и уехала туда.

Конечно, я ему не мог дать право разорвать эти стихи, если бы он в самом деле был готов исполнить свою угрозу.

Если художник, стремясь к беспредельному совершенству своего произведения, подсознательно не надеется, что с достижением этого совершенства начнется кристаллизация гармонии в мире, начнется спасение мира, значит, это не художник!

В гостинице. Случайно задев рукой, сбросил с тумбочки хрусталеобразный стакан, из которого собирался запить снотворное. Обычный стакан или остался бы цел, или раскололся бы на несколько кусков. Этот разбился вдребезги на сотню маленьких осколков. Казалось, идею разбиться вдребезги он радостно нес в себе и радостно ждал своего часа. Мистика, но таков материал, из которого он сделан.

И вдруг я догадался, что вся наша цивилизация такая же хрупкая и так же радостно разлетится на тысячи осколков при малейшем толчке. Таков материал, из которого она сделана.



Поэзия прочности сильнее, чем у всех писателей мира, выражена у Льва Толстого. Вот что надо бесконечно развивать в искусстве!

Мыслящий человек, не сумев воспитать собственного сына, без всякого смущения продолжал воспитывать человечество. Когда ему указали на это противоречие, он, пожав плечами, ответил:

— Ничего не попишешь! Привычка иметь дело с большими величинами!

Человек зачат в ярости сладострастия. Если, как утверждают атеисты, природа сама создала живую материю, можно представить извержение грандиозного вулкана, как половой акт.

Но нет доказательств, что неживая материя могла забеременеть жизнью. Чтобы забеременеть жизнью, неживая материя, как женщина, уже заранее должна нести в себе идею жизни. А откуда ей взять эту идею жизни? Вот гранитная глыба. Она стоит миллионы лет. Представить, что она идею жизни несет в себе, так же нелепо, как представить, что она несет в себе идею стать ласточкой. Идея жизни привнесена Богом. А зачем? Нам не дано знать.

Этот поэт претендует на роль Гамлета, но ужас заключается в том, что гамлетовский текст он сам себе пишет.

Я так туп в живописи, что понимаю только великие картины.

Подобно тому, как мы совершенно ясно сознаем, что ребенок не может стать разумным человеком без первоначального толчка взрослого человека, без родительства, подобно этому немыслимо, чтобы первичный человек-ребенок не имел этого первоначального толчка, родительства. Он, конечно, имел этот первоначальный толчок, и родителем ему был Бог, поскольку никого другого не было. Опыт? Но прежде чем воспользоваться опытом, нужен разум, диктующий нам мысль воспользоваться им. Однако современные дикари, которых иногда показывают по телевизору, смущают. Пожирают людей. Неужели Бог к ним прикасался? А если не прикасался, то почему?

Западный человек ближе к полицейскому мышлению, чем русский человек. Именно поэтому русское общество больше нуждается в полиции и больше ее производит. Но именно поэтому же полиция у него плохая. Нет дара полицейского мышления, и полиция не чувствует границы данного ей законом насилия.

Я однажды сказал ему:

— Странное дело. У меня почему-то путаются в голове все эти родственные обозначения: свахи, свояки, девери... Смешно, но не могу запомнить.

— Это потому, что ты с детства не слышал их, — ответил он мне, — но я тебе помогу.

— Как?

— Вот увидишь! — озорно улыбнулся он.  
И в самом деле, через три дня он принес мне целую поэму,  
посвященную этому.

*Урок русского языка*

— Что такое, братцы, шурин?  
— Брат жены, запомни, дурень!  
— А золовка — это кто?  
— Вот башка, что решето...  
Мужнина сестра — золовка...  
Где с водярой упаковка?  
Мы ж сюда не с ночевой —  
Кто поближе там, открой!  
— Деверь, деверь, как понять?  
— Мужнин брат, ядрена мать!  
Ну, разжамкал, кто они?  
Сухота. Где стаканы?  
— Что такое свояки?  
— Закусь, закусь, мужики!  
— Холодец забыл в пальто.  
— Для начала грамм по сто!  
— Что такое свояки?  
— Дай ему, мне не с руки!  
— Сваяки — мужья сестер.  
Не допер или допер?  
Две подушки, две сестры.  
То-то вылупил шары!

— Видно, наш салам алейкум  
Рвется в русскую семейку!  
— Отметим кулаками —  
После будем кунаками!  
— Что за шум, а драки нету?  
Помни русскую примету:  
Кум болтает наобум,  
А кума — бери на ум.  
— На Востоке наших баб  
Любят. Тут один араб  
Взял соседку. Воблой вобла.  
Пир — горой. Гуднула шобла!  
Пишет письма из Алжира.  
Потолстела от инжира.  
Климат вроде как в Одессе.  
При чадре, но в «мерседесе».  
Но однажды — пых, как порох!  
Навела в гареме шорох.  
Разогнала восемь жен,  
Каждой выдав пенсион.  
И засела за Коран.  
Муж притих, как таракан...  
— Ша! Забулькали еще.  
Хорошеет. Хорошо!  
— Что такое, братицы, сват?  
— Ухайдакал азиат!  
— Что такое, братицы, братицы!

*— Нам с тобой не вековаться!  
Развопился, словно выпь,  
Убирайся или выпь!*

Мы, конечно, сели выпить по этому случаю. Смешно, но двусмысленно прозвучали строки:

*Отметелим кулаками,  
После будем кунаками.*

Тогда шла чеченская война, и было совершенно не ясно, кто кого отметелил.

— Ты будешь смеяться, — сказал я шутливо, — но мне и теперь непонятно, кто такой сват, тем более что в стихах ты оборвал этот вопрос.

— «Сват — это тот, кто идет сватать невесту по поручению жениха или его родителей». Считай, что ты пять раз был моим сватом — и все неудачно. А потом привез Глухую. Ура! Выпьем за нее!

Вот стихи, написанные в год смерти его матери. Весь этот год он прожил в полном одиночестве. Так он сказал.

*Я ничего не боюсь  
Даже при слове: крах,  
Только порой взорвусь,  
Путаясь в черновиках.*

*Я ничего не боюсь,  
Ибо боюсь пустоты.  
Прожитой жизни груз  
Выломал все мосты.*

*Чую ногами дно,  
Крепко стою теперь,  
Я потерял давно  
Даже список потерь.*

*Нежен запах айвы.  
Сладок запах детей.  
Вспомню людей, увы,  
Каждый второй — лакей.*

*Чуден родной простор.  
Через овраги и рвы  
Скачет во весь опор  
Всадник без головы.*

*Чтобы его поймать,  
Не щадя головы  
Рвется навстречу рать,  
Тожже без головы.*

*Ты говоришь: — Мираж,  
Лучше протри виски. —*

*Я говорю: — Пейзаж  
Или его куски.*

*Впрочем, напрасен труд.  
Сам же теряю нить,  
Ибо в комнате тут  
Не с кем поговорить.*

*Воз и поныне там,  
Где призадумалась плетъ.  
Каждый решает сам,  
Жалить или жалеть.*

*Я ничего не боюсь.  
Это приятно знать.  
Даже змеиный укус  
Брезгую отсосать.*

*Призраками пустынь  
Стыдно страшиться мне.  
Вместо любых святынь —  
Мамин портрет на стене.*

*Это ее плечо,  
Как там ни назови,  
Держит меня еще  
Силой своей любви.*

*Чувствую горячо:  
Руки ее в мольбе  
Держат меня еще  
И не пускают к себе.*

Не уверен, что это стихотворение написано в трезвом виде.

### *Привиденье*

*Увидев привиденье,  
Сказал я: — Ну и что? —  
Взглянувши на него.  
Краснея от смущенья,  
Забыв надеть пальто,  
Исчезло привиденье,  
Ответив: — Ничего!*

Когда ко мне приходит вдохновение, прервав любую выпивку, я месяц или полтора работаю над стихами. Мне даже противно думать о выпивке. Но вот я иссяк, а вдохновение продолжается. Я чувствую, что могу впасть в безумие. И тогда выпивкой я гашу пожар вдохновения. Таким образом, вдохновение спасает от излишка выпивки, а выпивка спасает от излишка вдохновения. Но не грех ли? Вдохновение — дар свыше. С другой стороны, безумия боялся даже Пушкин.



Новые времена. В Крыму на рынке подошли к продавцу арбузов. Двое молодых парней в шортах и в майках с могучими, отовсюду выпирающими мускулами выбирали себе арбуз. Я все видел и слышал, но думал о чем-то своем.

У продавца был какой-то растерянный вид. Он кивнул на вторую кучу арбузов, побитых в дороге.

— Вон сколько испортилось, — сказал он, оправдываясь.

Парни уже выбрали арбуз. Продавец дал одному из них какие-то деньги. Я думал — сдача.

— А что я скажу, если другие придут? — обратился к ним продавец.

— Скажи — Эдик уже был здесь, — ответил один из них, и они ушли.

Я и тут ни о чем не догадался. Мы купили арбуз и пошли к себе.

— Как обнаглели рэкетеры, — сказала жена на обратном пути.

Тут только я понял смысл увиденной картины. Поразила ее будничность. Среди бела дня на рынке спокойная обираловка. И унылая уверенность продавца, что защиты нет и не будет.

В саду Дома творчества шныряют машины. Раньше им въезд сюда был запрещен. Одна из них чуть не наехала на меня. Владелец машины притормозил, высунулся из окна и, кивнув на ресторан, гостеприимно сказал:

— Приглашаю на ужин в восемь вечера. Вместе с вашей спутницей, не знаю, кто она вам.

И поехал дальше.

То, что он не понял, что я с женой, почему-то охлестнуло чудовищным оскорблением. Мол, там, в ресторане, он выяснит, кто она мне. Редкостный сукин сын, редкостный!

В тот же день на пляже. Направо от меня шагах в пяти устробились двое: мужчина средних лет и молоденькая женщина. Видимо с похмелья, они время от времени лениво потягивали шампанское из одной бутылки. Молоденькая женщина, не стесняясь того, что на пляже много купальщиков, в том числе детей и подростков, была без лифчика, в одних трусах. Глаза ее, как и молодые крепкие груди, слегка косили. Можно сказать, что она четыремя глазами оглядывала пляж.

— Сегодня вечером не пойдем в ресторан, — благостно сказал мужчина, потягивая шампанское, — съедим на берегу шашлычки...

— Нет, пойдем! — безжалостно перебила она, и он замолк. Косящие глаза и косящие груди продолжали исследовать пляж.

Все люди связаны универсальным стремлением к наслаждению. Если в исключительных случаях человек ненавидит наслаждение, он наслаждается своей ненавистью к наслаждению.

Но в обычной жизни один человек, скажем, получает наслаждение от чтения Евангелия, а другой получает наслаждение, пропустив рюмку водки и зажевав ее пупырчатым соле-

ным огурчиком. Конечно, ценность наслаждения первого гораздо выше, чем ценность наслаждения второго. Но не надо преувеличивать примитивность наслаждения второго. Иногда он вправе сказать первому:

— Отложи Евангелие! Выпей с нами рюмку и захрусти ее этим пупырчатым огурчиком. Что, не хочется? Совсем? И ничего подобного?! И никогда?! И ни при каких обстоятельствах?! Тогда тебе и Евангелие ни к чему!

Моя покойная мама говорила:

— Человек, который украл, грешен перед тем человеком, у которого украл. Человек, у которого украли, подозревая многих невинных в воровстве, грешен перед многими.

Это стихотворение тоже написано в год смерти матери. Карабкающееся по обрыву отчаянье с удивительными ужимками юмора. Будем надеяться, что детская улыбка спасает. Может быть, затянуто? Но и тема ведь нешуточная.

### *Разговор с жизнью*

*Дай отойти на три шага!  
Жизнь, ты такая, ты сякая,  
Течешь, сквозь пальцы протекая,  
Придурковатая слегка.  
Дай отойти на три шага!*

*Путана, путаница, стерва,  
Шалавая, в который раз  
То дергаешь за кончик нерва,  
То тычешь в ухо или в глаз.*

*Я, кажется, дошел до точки.  
Кричу в упор:  
Прочь, твои клейкие листочки  
И прочий вздор!*

*От ран твоих себя врачуя,  
Хочу узреть твои черты.  
Со стороны взглянуть хочу я —  
Какая ты.*

*Людским страданиям не внемля,  
Течешь как есть.  
Но кто плеснул на эту Землю  
Тебя? Бог весть.*

*Что Бог? Вместить Его обиду  
Не может наша голова.  
Он потерял людей из виду,  
Но мы Его сперва.*

*И если человеку зелье  
Служило много тысяч лет,*

*То, значит, в уровне веселья  
Самодостаточности нет.*

*Чем может нас твоя обуза  
Смягчить, привлечь?  
Увы, в жару ломоть арбуза,  
А в холод женщина как печь.*

*Без тяжести твоей и речи  
Мы слышать не хотим ничьей.  
А кто взвалил тебя на плечи,  
Тому, боюсь, не до речей.*

*Мысль о тебе всегда ошибка.  
Поскольку ты ее суфлер.  
Нас ожидает или шишка,  
Или смирения позор.*

*Ты шепчешь: — Силе будь покорен,  
Подальше от грызни...  
Все так. Но страшен общий корень  
У казни и казны.*

*Мысль о тебе трепещет зыбко,  
Хватя! Но монетой — в щель,  
И только детская улыбка —  
Намек на цель.*

Тот же год. Видимо, вышел из отчаянья и поспешил упрекнуть нас в недостатке веры и мужества.

*Вся Земля, как тяжелый паром,  
Повернулася трудно.  
Безобразные крики ворон  
Обозначили утро,*

*Новый день, новый свет из окон  
Льетса, льетса — неясный.  
Но скрипучие крики ворон  
На рассвете опасны.*

*Безобразные крики ворон  
Сам я вырву и выскоблю слухом,  
Но любители правды: — Вор он! —  
После вымолвят глухо.*

*Этот день обернулся, как стон,  
Не охватишь умишком.  
...В безобразные крики ворон  
Вы поверили слишком!*

Все эти стихи не вошли в его позже изданные книги, и потому я их здесь помещаю. Думаю, по свойственной ему неряшливости он о них забыл. А может, они недостаточно четко выражали его мысль: энергия стиха и никаких идей!

Сложный вопрос, но я все-таки склонен считать, что художнику в зрелом возрасте надо стараться избегать эпигонических мотивов. Молодых бездарных поэтов не читаю вообще. Читаю стареющих талантливых поэтов — и испытываю смущение. Как будто в больничной палате больные репетируют похоронный марш. Да, надо безжалостно стараться знать о смерти все, что может знать живой человек, но избегать мотивов угасания. Сам грешу. Но в высочайшем смысле эти мотивы бестактны.

Бывало в истории, что того или иного хорошего художника при жизни не признавали, признание приходило после его смерти. Но никогда и нигде не бывало, чтобы тот или иной художник создал свой шедевр не при жизни. Следовательно, все главное происходит при жизни, из которой сам художник случайно выпал, но жизнь продолжается. Та самая жизнь, в которой и был создан шедевр.

И при чем тут время признания? Если художник слишком озабочен временем признания, то он в иных случаях может его добиться, но не может одновременно создать шедевр. Первоначальным толчком может быть страстное желание быть признанным. Но сильная вещь получается только тогда, когда художник в процессе работы забывает обо всем на свете, кроме желания следовать художественной правде. В могучих произведениях искусства всегда проглядывает величавая особенность: равнодушие к нашему признанию. По равнодушию к нашему признанию, которое оно спокойно излучает, мы подсознательно и угадываем шедевр. Дело рук человека

приобретает свойство природы: красивое дерево, гора, море равнодушны к нашему признанию.

Российский человек (независимо от национальности) не потому глуп, что глуп, а потому глуп, что не уважает разум.

Русский человек силен этическим порывом и слаб в исполнении этических законов. Могучий этический порыв, может быть, — следствие ужаса при виде этического беззакония. Результаты всего этого? Великая литература и ничтожная государственность.

Бродский в своей Нобелевской речи наряду с замечательными мыслями высказывает крайне наивную вещь. Он говорит, что эстетическое восприятие мира человеком старше этического. Ребенок начинает воспринимать мир сначала эстетически.

Все наоборот. Ребенок начинает улыбаться прежде всего матери и тянется к ней ручонками, как к источнику добра. Это совершенно очевидно. И уже позже источник добра воспринимается ребенком как источник красоты.

Известный анекдот. Ребенок, потерявший в толпе маму, называет главный признак ее — самая красивая.

Тут нет никакого противоречия с тем, что я утверждаю. Это уже достаточно разумный ребенок, и он догадывается, что по признаку «самая добрая» его не поймут. Он сознает, что этот признак не наглядный. И он называет, как ему кажется, наглядный признак — самая красивая.



Первичность добра отражена и в самом языке: добро, добротно, то есть хорошо, то есть красиво.

Более позднее расщепление в сознании человека этики и эстетики — признак трагического падения человека.

Но и сейчас нравственно здоровый человек, глядя на изысканно окрашенную змею, не чувствует ее красоту, а чувствует отвращение к ее узорчатой красивости. Он воспринимает ее красоту как отвратительную маскировку зла.

Глаза как бы и видят ее красоту, но душа отказывается воспринимать ее таковой. И человек глазами души перекрашивает змею в ее зловещую сущность: подтягивает эстетику до этики.

Добро первично, и потому роза красивая. Если бы добро не было первично, мы бы не поняли, что роза красивая. Эстетика — дитя этики. Дитя, иногда восстающее против родителей.

У Бродского — самое бесстрашное и потому самое страшное описание смерти в русской поэзии. Возможно, это навязчивое видение смерти у человека с хронически больным сердцем. С ледяным мужеством он вглядывается в смерть. Пожалуй, именно это внушает ужас.

*Здесь по тому, что скисло молоко,  
молочник первым узнает о вашей смерти<sup>1</sup>.*

<sup>1</sup> Точный текст И. Бродского:

Здесь утром, видя скисшим молоко,  
молочник узнает о вашей смерти. (*Примеч. автора*)

Ночью в гостинице:

*Смерть — это та же тьма,  
только глаз, к ней привыкнув, не различает стула<sup>2</sup>.*

У него постоянно холод смерти, космическая стужа проникает в жизнь, и жизнь очень часто мало отличается от смерти. Как далеко от этого горячее отчаянье Есенина:

*В зеленый вечер под окном  
На рукаве своем повешусь.*

Все внутри жизни! Даже самоубийство! У Бродского все внутри смерти — даже жизнь!

Многие стихи Бродского покоряют обаянием ума, могучими образами, мрачным юмором. Но некоторые вызывают отчуждение и неприязнь. Кажется, так может думать только инопланетянин. Но это не вызывает никакого любопытства, хочется оттолкнуться, быть от них подальше. Нечеловеческое.

Если глупость влетает тебе в одно ухо, подставь второе. Что легче подставить — вторую щеку или второе ухо? Еще вопрос.

<sup>2</sup> Точный текст И. Бродского:

«Ты боишься смерти?» — «Нет, это та же тьма;  
но привыкнув к ней, не различишь в ней стула». (*Примеч. автора*)

Познакомился со своим земляком-бизнесменом. Высокий, сухощавый, в сильных очках. Похож на преподавателя вуза. Сейчас живет в Париже. Объясняет это тем, что Париж в центре Европы, откуда проще ездить по всем европейским городам, с которыми связан его бизнес.

Очень богат. Все нажил сам, без всякой помощи со стороны. Образование — всего десять классов, но производит впечатление блестящего интеллигента. Достаточно свободно говорит по-французски, но дела ведет только на английском языке, который, видимо, знает в совершенстве. Неправильно понятый оттенок слова, говорит он, может вызвать большие деловые неприятности.

Репутация многих богатых людей, по его наблюдениям, часто оказывается фикцией: все знают об их виллах, машинах, предприятиях, но никто не знает об их долгах. Однажды это становится ясным. Иногда после смерти.

Рассказал о шутке в кругу французских друзей. Он посадил на стул посреди комнаты негритянского бизнесмена, вероятно, как человека, который может судить о всех белых объективно.

— Какая нация хуже всех остальных? — спросил он у него.

Негр подумал, подумал и ответил:

— Французы.

Французские друзья дружным хохотом встретили это сообщение. Тогда он у него спросил:

— Но кто хуже: немцы или французы?

Негр подумал, подумал и сказал:

— Французы.

Тут французы протестующе завывали: хуже всех — они со- гласны, но хуже немцев — никогда. Конечно, все это шутка, но у каждого народа свои немцы и даже свои евреи.

Он блестящий самоучка. Прекрасно разбирается в литера- туре. Меня обрадовало совпадение наших взглядов. Он, как и я, считает Льва Толстого величайшим писателем планеты.

Зашла речь о «Хаджи-Мурате». Говорили о знаменитой сцене, где Хаджи-Мурат рассказывает о том, как он однажды струсил и с тех пор, вспоминая об этом случае, уже никогда ничего не боялся. К моему удивлению, бизнесмен всех героев этой сцены и предыдущих событий назвал по именам. Видно, великолепная память.

Несколько лет назад он обменивал свою квартиру в Москве. Дал объявление. Какой-то человек позвонил и сказал, что хочет посмотреть ее. Хозяин был дома с пред- ставителем квартирного агентства, когда явился этот чело- век. Внезапно этот человек распахнул портфель, вынул из него гранату и закричал:

— Ложитесь на пол! Мне нечего терять! Всех взорву!

Представитель агентства забился в угол, а хозяин кварти- ры стал подходить к человеку с гранатой, который стоял в ка- ком-то квартирном закутке. Лицо его выражало невероятное отчаяние и злобу.

Бизнесмен подходил к нему, чтобы наброситься на него и обезоружить. При этом он говорил:

— Не делайте глупостей! Если у вас материальные затруд- нения, я вам помогу.

Говорил он это искренне или старался выиграть время, по интонации его рассказа трудно было понять, а переспросить было неловко. Скорее всего, тогда у него в голове лихорадочно взвешивались оба варианта.

Но, видимо, нервы у человека с гранатой не выдержали. После того как он несколько раз приказал лечь и ему не подчинились, он кинул гранату! Граната взорвалась, но никого не задела. Бросивший гранату кинулся бежать. Бизнесмен — за ним. На каком-то лестничном марше бегущий обернулся, вынул вторую гранату из портфеля и швырнул в него. Граната перелетела через него, а так как он бежал вниз, осколки опять не задели его. Однако этому человеку удалось убежать. Потом — переполох, милиция. Портфель свой человек этот бросил. В нем оказалась только клейкая лента, которой он, видимо, собирался опутать тех, кто ляжет на пол.

Храбрости его подивились и милиционеры. Об этой истории я слышал еще до того, как познакомился с ним. Он добавил, что читал в газете: где-то на Украине бывший офицер взорвал гранатой себя и свою семью. Он подозревает, что это был тот же человек.

Бизнесмену сейчас сорок пять лет. Он рассказал, что в тридцать один год был страстно влюблен в одну женщину, у них был сказочный роман. Это было еще в России. Однажды приехал из командировки домой — ни любимой женщины, ни вещей, вся квартира очищена.

Возможно, потрясенный этим случаем, он до сих пор не женат, хотя, конечно, монахом не стал. Со смехом рассказал,

что все мужчины, услышав от него эту историю, неизменно говорили одно и то же:

— Вот блядь!

И все женщины неизменно говорили одно и то же:

— А что она взяла?

Получил огромное удовольствие от знакомства с ним. Кстати, он высказал интересную мысль. Иногда, сказал он, очень сильный ум мешает быстроте и точности принятия деловых решений.

— Почему? — спросил я. — Слишком много ассоциаций?

— Нет, — ответил он и сравнил такой ум с чрезвычайной развитостью мускулатуры у культуриста, что делает его менее ловким и подвижным.

Маяковский по натуре был игроком. И в жизни он постоянно играл во все игры. Думаю, что игра отвлекала его от невыносимой тяжести трагического сознания, данного ему природой.

После революции он включился в игру «строительство социализма». Как он, с его огромным природным, к сожалению только природным, умом мог поверить этим людям?

Образование Маяковского. Главных поэтов России он знал прекрасно. Сильно сомневаюсь, что он знал прозу. Жуткая картина: Маяковский бредется, а Брик в это время ему зачитывает что-то. Образовывает его.

Среди причин, смягчающих облик большевиков, мы часто забываем главную. Это грандиозное преступление всех буржуазных стран — Первая мировая война с миллионами смертей, неслыханными до этого, У большевиков нет и не было

никакой вины за это преступление. И они утверждали: при нас это будет невозможно.

Он поверил им, как великий игрок, ставка — жизнь. Думаю, что он никогда в жизни не читал Ленина, хотя славил его до умопомрачения. Допустим, он раскрыл Ленина и часа два, что маловероятно при его темпераменте, читал его. Что бы он сказал себе, отложив Ленина? Он сказал бы: видимо, это настолько гениально, что мне, необразованному человеку, кажется глупым. Надо верить в него, а не читать его!

И он верил. А как не поверить, когда ставка уже сделана — собственная жизнь.

Я буду последним рабом социализма, сказал он себе — и служил социализму, как вдохновенный раб. Перевернутая гордость. Однако в тридцатом году он окончательно убедился: опыт с социализмом полностью провалился.

Ты был последним рабом социализма, а теперь станешь первым лакеем партии, шепнула ему судьба.

— Нет! — рявкнул он в ответ. — Я честный игрок!

И застрелился!

О, если бы вовремя кто-нибудь ему убедительно сказал:

— Поэт! Игрок! Играй во что хочешь, но никогда ни в какие игры — с государством! Здесь ты все проиграешь!

Легко сказать! В России с государством заигрывали и Пушкин, и Достоевский. Государство всегда было слабоумным, как же им, людям с великим умом, с великой любовью к Родине, не поделиться умом со своим же государством? Од-

нако этот же ум подсказывал им осторожность: слишком далеко не заходить.

Они заигрывали, а он заигрался. Мероприятие — социализм — оказалось бесчестным, и он застрелился, как будто именно он его затеял.

Он совпал в одной части своего темперамента с большевиками:

— Крушить!

Грех немалый.

Но он не заметил, что большевикам отродясь несвойственна другая часть его темперамента:

— Жалеть!

Редко кто умел так жалеть, как он: лошадь упала, упала лошадь... Это он упал. Пал.

Психологический признак кризиса государственности — это когда средний гражданин страны чувствует себя умней правительства.

Умный человек, но вызывает брезгливость. С ним неприятно иметь дело, как с умным пауком. Что характерно: при всем его уме, когда я в разговоре с ним коснулся тонких нравственных проблем, он глядел на меня бараньими глазами, ничего не понимая. Технологический ум, и когда речь идет о культуре, он хорошо разбирается в ее технологической части.

Чем больше Бога, тем меньше полиции.



Поэт может быть каким угодно, но не может быть скользким.

Понятия «народ-богоносец», «народ-судьбоносец» долго и ревниво проповедовались русской интеллигенцией. Более трезвый, мужественный, критический подход ко многим явлениям народной жизни, выраженный у Чехова и Бунина, уже ничего не мог изменить. Правило хорошего тона интеллигенции — народ свят. Большевики неожиданно расщепили понятие «народ-судьбоносец», остался рабочий класс-судьбоносец. Слабое теоретическое и даже политическое сопротивление большевикам вызвано стыдливой традицией: нельзя критиковать что-либо, идущее от народа. Как ни относились к большевикам, все-таки всегда верили, что они идут от народа. Когда опомнились, было уже поздно. Сам же народ даже отдаленно не подозревал, что он богоносец или судьбоносец. Но в той своей части, которая соприкасалась с интеллигенцией, он оказался беспредельно развратен. Он понял, что ему по какой-то ученой причине все прощается, и плюнул на свои вековые нравственные устои, которые все-таки у него были когда-то.

Идеалист Маркс (тут Гегель, хоть и перевернутый) предложил материалистическое спасение мира, ибо ничего другого он не видел.

Глубочайший атеизм Достоевского привел его к мысли, что там ничего нет, там действительно ничего нет, и он делает со дна грандиозный рывок к Богу.

Парадокс. Маркс был недостаточным атеистом и потому не понял ошибочность атеизма.

Считается, что самозванство в России процветало из-за доверчивости народа. Но откуда эта доверчивость? Самозванство — тайная мечта подавленного человека. Когда в человеке подавлена личность, в нем вырабатывается тоска по личине, которую будут уважать. Народ полусознательно был рад самозванству: фокус получился, мог быть и я.

Теоретически говоря, лучшую статью о Моцарте после его смерти, даже если Моцарт умер своей смертью, должен был бы написать Сальери. Никто так не знает о достоинствах музыки Моцарта, как Сальери, потому что никого эти достоинства так не мучили, как его. Теперь, когда эти достоинства его больше никогда не будут мучить, он ему так благодарен, что скажет всю правду о них.

Мысль — это то, что вносит ясность. Мысль, которая вносит темноту, это так же нелепо, как сказать: зажгли лампочку, и стало темно.

Какая же это лампочка? Особенно у поэтов часто бывает: что-то забрезжило в голове — поспешил записать. Если то, что забрезжило, не вносит ясность, незачем это записывать. Никакое виртуозное рассуждение не может быть мыслью, если оно не вносит ясность. Никакая шахматная комбинация не может быть красивой, если она не учитывает ответных хо-

дов противника. В двадцатом веке декадентское красноречие стали принимать за мысль.

Ехали в машине. Попали в пробку. Стоим. Вижу, впереди нищенка — старуха, правда довольно бодрая, обходит стоящие машины и просит деньги. Безуспешно. У меня в голове мелькнула слабая жалость к ней, но я подумал, что неловко опускать стекло, незнакомому шоферу это может не понравиться. Но вдруг сам шофер говорит: «Надо дать денег старушке». Сам открывает окно и дает. И я следом дал ей денег, и все остальные пассажиры. И было явно, что, если бы шофер не захотел дать ей денег, скорее всего, никто не решился бы открыть окно. Цепная реакция добра. Но бывает и цепная реакция зла.

Однажды в студенческие времена проходили практику в деревне. Вчетвером вскарабкались на стену давным-давно разрушенного монастыря. Только одна эта стена торчала. Самый старший из нас вдруг стал мочиться с этой стены вниз. За ним и остальные. Я был последним. Когда очередь дошла до меня, я почувствовал какой-то слабый укол совести, я почувствовал, что это нехорошо. Ни атеизма, ни религии тогда в душе моей не было. Душа заполнена была творческими мечтами.

Тогда откуда этот слабый голос совести? Скорее всего, высосанное с молоком уважение к предкам. Но стыд перед товарищами, боязнь, что меня сочтут смешным чистоплюем, заставили меня сделать то же самое, что и они.

С тех пор прошли десятки лет, и я со стыдом, еще до того, как стал задумываться о Боге, всю жизнь вспоминал этот поступок.

Совершенно ясно, что, если бы я, рискуя быть осмеянным товарищами и даже будучи осмеянным ими, не последовал их примеру, на третий день я начисто забыл бы дискомфорт от этого стыда перед товарищами. А вот стыд, пусть и слабый, перед голосом совести, к которому я тогда не прислушался, до сих пор ношу в себе. Из этого ясно, что любой стыд перед людьми надо преодолеть, если ему противоречит голос совести, даже очень слабый.

Глупому человеку в известных случаях можно разъяснить смысл умной шутки, и он рассмеется. Сделает шаг вперед.

Умному человеку никак невозможно внушить, что глупая шутка смешна. Он никогда не рассмеется глупой шутке. Не может сделать шаг назад.

Но эта же шутка или равная ей по уровню, высказанная младенцем, может вызвать искренний смех умного человека.

В чем дело? Можно сказать, что ребенок из двух фигур, которые только и есть на его умственной шахматной доске, создал комбинацию, равную по сложности комбинации взрослого глупого человека, у которого умственная доска, по нашему естественному предположению, полна фигур, но он может пользоваться только двумя, как ребенок. Ос-

тальными фигурами он сам без нашей помощи не может пользоваться. Характерно, что умную шутку, которую в иных случаях можно разъяснить глупому человеку, ребенку невозможно разъяснить. У него просто в голове нет других фигур, кроме этих двух. Но шутка ребенка при его бедных возможностях — шаг вперед, и потому умный человек искренне смеется этой шутке.

И когда ту же примитивную шутку придумывает взрослый человек, но при этом умственно поврежденный, и умный человек заранее это знает, он опять искренне смеется этой шутке, понимая, что взрослость этого человека — фикция, он младенец.

Но ведь и глупая шутка глупого человека для него может быть шагом вперед? Почему же взрослый умный человек, зная это, все-таки не смеется? Теоретически действительно для глупого человека это может быть шагом вперед. Можно допустить, что до этой шутки он вообще пользовался только одной фигурой. Но умному человеку мешает это понять взрослая нормальность глупого человека: он пьет водку, говорит о политике и даже небезуспешно ухаживает за женщинами, иногда пуская в ход такого рода шутки. Правда, в данном случае, если женщина неглупа, ее смех означает не признание шутки умной, а признание его мужской привлекательности. Какой милый, наивный человек, думает она, восхищенная его мужской привлекательностью и придавая его уму детскую (еще один повод к восхищению), нормальную непосред-

ственность. То же самое происходит и с мужчинами, когда в таком роде шутит женщина.

Каждый раз, когда удается написать особенно смешную вещь, через некоторое время приходит особенно пронзительная грусть. Кажется, маятник для равновесия откачивается на столько же в обратную сторону и постепенно затихает. Но почему же мы не испытываем эту пронзительную грусть после того, как отсмеялись над чужими смешными страницами? За наше наслаждение уже уплатил автор? Бедный автор!

Бедный Гоголь!

*Разумеется, разумеется —  
В человеке разум имеется!  
Ну а счастье, коль разум имеется,  
Далеко не всегда разумеется.*

«Как я ему в глаза посмотрю?» — пока еще мир держится на этой фразе. Но дьявол подшептывает: «А ты ему по телефону все скажи — и тебе не придется смотреть ему в глаза».

Бешенее всех взрываются терпеливые народы, как и терпеливые люди. Психологически это вполне естественно.

За спиной сентиментальности всегда топор. Отсутствию внутренних тормозов в размягченном состоянии соот-

ветствует отсутствие внутренних тормозов в ожесточенном состоянии.

Чем дар отличается от способностей?

Всякий дар в своем деле предполагает соучастие души, тогда как в деле даже очень способного человека соучастие души не требуется.

Настоящий поэт — это человек, который выхватывает из костра уголек и пишет им ясным почерком. Уголек должен быть горящим, а почерк ясным. Третьего не дано.

При всей его тупости удивительней всего не то, что у него мозги всегда отторгали мысль, удивительней всего то, что они всегда правильно угадывали, что отторгаемое и есть мысль.

Человек сухой и крепкий; чуткий и четкий. Завидую, особенно с похмелья.

Население — бывший народ.

Вливаю в ненавистное тело ненавистную водку. Пусть выясняют там отношения без меня, хотя и за мой счет.

Когда перед тобой загадочная политическая ситуация, сделай наиглупейшее предположение, и ты окажешься прав.

Могучая шевелюра. Какая плодородная почва, во всяком случае для волос!

Каждый раз замечаю: чем больше народу в компании, тем больше я пью. Чем объяснить? Подсознательное отвлечение к толпе. Опьянение, отупение помогает не замечать ее.

Заумь — халат психбольницы, прикрывающий банальность. Не всегда маскировочный.

- Перепрыгни через человека!
- Зачем?
- Будешь сверхчеловеком!
- Но перепрыгнуть через человека трудно!
- А мы его пригнем!

Обожаю детей и стариков. Духовно можно опереться только на тех, на кого физически опереться нельзя.

Умный человек отличается от глупого не тем, что он не говорит глупости, а тем, что он их говорит гораздо реже.

Поверил в Бога — и на трактор! Но русский человек, поверивший в Бога, останавливает тракториста и начинает выяснять, верит ли он в Бога. Кончается тем, что тракторист выключает трактор, сходит с него, и они, усевшись под кус-



том, под водочку продолжают выяснять проблему. И невозможно установить, что ему важнее — Бог или напарник для выпивки.

### Всадницы без головы и мустанг

Но на что он жил? Он приспособился зарабатывать деньги, отшлепывая на машинке сценарии научно-популярных фильмов. Кроме того, или даже это самое главное, с коробками уже готовых фильмов по путевкам Московского бюро пропаганды литературы он ездил по стране и выступал в клубах, где сперва показывал эти вегетарианские фильмы, а потом с пылу, с жару извергал лавину своих стихов, которые провинциальная публика зачастую принимала за комментарий к фильму. Однако она хорошо ощущала энергию, которая вместе со стихами обрушивалась на нее со сцены, и взбадривалась из чистой благодарности. К тому же излишняя понятность фильмов уравнивалась некоторой непонятностью стихов.

За такой вечер он получал шестнадцать рублей, не считая командировочных. Денег, конечно, мало, но он брал количеством таких встреч и был доволен романтикой гостинично-поездной жизни.

Вот случай, рассказанный им о его еще достаточно молодой жизни кинематографиста.

Я несколько лет писал сценарии научно-популярных фильмов для одного и того же режиссера. Написав сценарий, я уже не знал никаких забот, все усилия по проталкиванию моей работы через начальственные фильтры он брал на себя. Для меня это было очень удобно.

Правда, он настоял на том, чтобы всегда быть соавтором сценария, и половину гонорара за него получал он. Но и так мне это было выгодно, потому что я почти никогда не показывался на глаза начальству, которое всегда и везде при виде меня испытывало неприятное беспокойство за свое кресло. Он все сам улаживал.

Мы брали путевки в Дом творчества, где он всегда занимал двухкомнатный номер-люкс, потому что приезжал с очередной любовницей и вообще обожал комфорт. Я занимал обычный номер, за две недели иногда успевал написать два сценария, при этом безжалостно отбросив страницу или две его жалких поползновений действительно быть соавтором.

О чем бы я ни писал, он всегда ухитрялся на своих удивительно бездарных страницах внести какой-нибудь эротический элемент. Так, к моему сценарию о жизни дельфинов он ухитрился ни к селу ни к городу написать страницу, где в летний зной очаровательная полураздетая женщина, с полураскрытыми губками, легкой походкой, оставляя в размягченном асфальте глубокие следы от своих модных каблучков, движется в сторону дельфинария. Интересно, как она ухитрялась сохранять легкую походку, вырывая каблук из сексуально размягченного асфальта?

— Ты, дельфин, — сказал я ему, выбрасывая в корзину его страницу, — твоя полураздетая женщина на острых каблучках движется в сторону дельфинария, а попадает в твой номер-люкс.

Он самодовольно рассмеялся, ничуть не жалея свою замужнюю страницу, и, как бы подтвердив право быть соавтором, удалился в свой номер, где целыми днями, валяясь на диване, читал детективные романы или занимался любовью с очередной пассией, надо полагать, по неряшливости забыв вытащить из-под нее раскрытый детектив, что грозило удушением — он был довольно грузный мужчина — искомого убийцы, сыщика, невинно подозреваемых, которых было жалко, а заодно и автора — вот уж кого совсем не было жалко!

А между прочим, в застолье он бывал удивительно мил и остроумен. Трудно было поверить, что его человеческая речь на пути от головы к пишущей руке столь безнадежно глупеет, а на пути от головы к языку сохраняет очаровательную свежесть и остроумие.

Звали его Георгий Георгиевич. Он был голубоглазым евреем с идеальной внешностью славянина. Да не просто славянина, а пятидесятилетнего барина, уже полнеющего и благородно седеющего. Люди, мало знавшие нас, встречаясь с нами в застолье, принимали его за русского босса, а меня, учитывая мое черноглазие, за трудолюбивого еврея при нем.

Любовницы у него всегда были русскими. Это обстоятельство меня совершенно не трогало, но он считал необходимым

по этому поводу объясниться и несколько раз это делал, забывая или делая вид, что такого рода объяснение уже состоялось.

— Что я могу с собой поделать, — говорил он, сокрушенно пожимая плечами, — я половой антисемит.

И вот в последний раз мы вместе в Доме творчества. С ним была очередная любовница — высокая стройная блондинка, на целую голову и отчасти шею выше его. Приподняв собственную голову, он не без гордости оглядывал ее, словно многие годы выращивал и вырастил именно такой большой, как мечтал. Она же постоянно двусмысленно мне улыбалась, словно деликатно намекая, что по росту она больше подходит мне. Люди, видя нас втроем, вполне могли принять нас за молодоженов с папашей. И принимали иногда.

И вот я почти две недели тружусь в своем номере, дописываю второй сценарий, а он трудится у себя в номере-люкс, лежа на диване то с детективом, то со своей любовницей. Такой Обломов, деятельный в пределах дивана, как Штольц. За эти две недели он ни разу не вышел прогуляться на воздух. Иногда мне казалось, что он и картины снимает на диване, переместив его на съемочную площадку.

Каждый вечер после ужина мы выпивали в его номере, и он всегда был оживлен и остроумен. А любовница его даже на его остроты двусмысленно улыбалась мне: мол, мы бы славно обошлись и без всяких острот! Но я строго держался и не давал ей переходить границу. Кстати, откуда

что берется! Этот пьяница и бабник чутко понимал мои стихи, и я ценил это.

И вдруг он однажды вечером врывается в мой номер, бросает исполненный непередаваемого комизма молниеносный взгляд на мою постель, словно пытаюсь поймать глазами женщину, пока она ловко не закатилась за кровать.

— Люду не видел?! — спрашивает он у меня тревожно и подозрительно.

Я представил себе, как эта несколько угловатая дудоня закатывается за кровать, и чуть не расхохотался.

— А куда она делась? — спросил я.

— Не знаю, — сказал он, — я заснул на диване. Просыпаясь — ее нет. Думаю, может, в другой комнате. Окликаю — ее нет. Близких знакомых, кроме тебя, у нас здесь никого нет. Куда же она могла деться?

Как бы в состоянии задумчивой рассеянности он открыл дверь в туалет и заглянул туда.

— Может, гулять пошла? — предположил я.

— Пойдем поищем, — оживился он, — уже темно. К ней могут пристать хулиганы.

Он пошел к себе в номер и вернулся одетый. Я тоже оделся, и мы вышли наружу. Холодный осенний ветер слегка пронизывал мое пальто. Мы целый час слонялись вокруг Дома творчества, но ее нигде не было.

— Мы слегка поцапались, — вдруг припомнил он, — может, она разозлилась и уехала в город.

— Так позвони, — сказал я.

— У нее нет телефона, — сокрушенно ответил он, — но как я буду спать один!

Фантастическая личность! По его словам, он с двадцати лет ни одной ночи не спал один! Если бы за этот стаж платили! То, что я был верен жене, для него оставалось необъяснимой астраханской дикостью. Но его слегка примиряло со мной то, что за время нашего знакомства я успел развестись и заново жениться.

Мы еще целый час, уже прихватив шоссе, искали ее, и он иногда подходил к редким прохожим и спрашивал, не встречалась ли им случайно высокая стройная блондинка. Нет, высокую стройную блондинку никто не видел.

— Да, она уехала в город, — с каждым разом все уверенней говорил он. — Слава Богу, что хулиганы ее здесь не побили. Они терпеть не могут высоких стройных блондинок. Их раздражает порода.

Однако мы продолжали ее искать. Я заметил, что чем дольше мы ее ищем, тем чаще он подходит к прохожим женщинам, чтобы узнать, не видел ли кто из них высокую, стройную блондинку. Я в таких случаях стоял несколько в сторонке. Потом он вообще перестал у мужчин спрашивать, видимо решив, что, если уж мужчина встретил высокую стройную блондинку, он ее непременно умыкнул бы. А раз мужчина ее не умыкнул, значит, он и не видел ее. Потом мне показалось странным, что он, спрашивая у женщин о высокой стройной блондинке, все больше

и больше тратит времени, чтобы получить эту нехитрую информацию.

И наконец вижу, что он с одной небольшого роста, но тоже блондинкой вовсе заговорился о своей высокой стройной блондинке. И вдруг он достает из кармана бумажник, отсчитывает деньги при свете фонаря и дает их этой маленькой блондинке. Она прячет деньги в сумочку. Только я подивился необычайной ценности информации о высокой стройной блондинке, полученной им от маленькой полненькой блондинки, как он вдруг взял под руку информаторшу и подошел ко мне.

— Да, — говорит он, — Люда, конечно, на меня обиделась и уехала в город. Но мы проведем время с этой милой девушкой. Скорее домой! Надо выпить! Замерзли! Я художник, я не могу спать без женщины!

Я с ума схожу, когда подобные люди называют себя художниками! Но чаще всего именно такие люди и называют себя художниками, хоть умри! И вот так странно завершились наши поиски высокой стройной блондинки. Он, видите ли, художник!

У себя в номере он быстро и умело накрыл на стол, достал из холодильника бутылку водки, открыл ее, и мы уже весело ужинаем и пьем водку. Георгий Георгиевич в ударе, как всегда в присутствии новой женщины. Он непрерывно шутит, а эта молоденькая пышечка непрерывно хохочет. Да и я смеюсь, потому что он в самом деле необычайно весел, находчив и остроумен.

И вдруг раскрывается дверь второй комнаты — и оттуда выходит Люда в халате. Боже! Немая сцена. Георгий Георгиевич застыл с приоткрытым ртом, откуда почти явно торчала, извиваясь, недовысказанная острота.

— Что это вы расшумелись? — говорит Люда, позевывая. — Я тут прикорнула.

— Я тебя звал, неужели ты не слышала? — обрел наконец дар речи Георгий Георгиевич.

— Значит, плохо звал, — отвечала Люда, присаживаясь за стол и оглядывая незнакомую девушку.

И тут бог застолья нашелся!

— Пока ты спала, к нашему другу приехала его подружка, — сказал он, толкая меня под столом. — Мы решили отметить это событие. Она завтра уезжает!

Люда, зловеще сверкнув рубинами в сережках, иронически улыбнулась мне: мол, неужели ради этой пигалицы ты не отвечал на мои призывные улыбки.

А эта пышечка тоже посмотрела на меня. До нее, видимо, не сразу дошло случившееся. А теперь дошло! И она стала, посматривая на меня, дико хохотать. Георгий Георгиевич явно испугался, что она своим смехом возбудит в Люде какие-нибудь подозрения.

— Ну что вы, Танечка, так смеетесь, — с некоторым упреком обратился он к ней. — Ничего особенно смешного не случилось.

— С тех пор как я не видела своего друга Юру, он вырос! — кричит она сквозь смех и, взглянув на меня, снова заводится.



Тут все решили, что моя девушка большая шутница, хоть и несколько плебейского толка. Георгий Георгиевич рассказал, как мы втроем искали Люду в окрестностях Дома творчества и очень боялись, что какие-то хулиганы могли ее обидеть. Оказывается, когда он проснулся и не увидел Люду, он несколько раз окликнул ее, но, не услышав ответа из другой комнаты, решил, что она вышла (ко мне!), и, не заглядывая туда, ринулся за ней.

Георгий Георгиевич на радостях открыл еще одну бутылку водки, и я налегал на выпивку, потому что мне впервые предстояло спать с женщиной в одной комнате и объяснять ей, что я не изменяю жене.

Труднее всего втолковать людям, что ты не изменяешь жене. Тебя после этого начинают презирать даже те, кто сами не изменяют своим женам, но никому не выдают этой якобы постыдной подробности своей жизни.

Я порядочно надрался, и уже во втором часу ночи мы с пышечкой, прихватив свои одежды, спустились в мой номер. А Георгий Георгиевич, поняв, что ему удалось обмануть бдительность Люды, окончательно осмелел и, зная, что я из принципа не изменяю женам, с величайшим любопытством ждал этой ночью моего падения.

— Действуй, — шепнул он, провожая нас до дверей, — за все уплачено!

Уже у себя в номере, когда я стал на диване стелить постель щебечущей пышечке, она удивленно спросила:

— Мы что, отдельно будем спать?

— Да, — сказал я, — видите, как получилось. Оказывается, Люда не уехала. А я всегда верен своей жене.

— Совсем всегда? — поразилась она.

— Когда женат, — объяснил я.

— А сейчас вы женаты? — спросила она.

— К сожалению, да, — сказал я несколько лицемерно, потому что, кроме принципа, я вообще не любил иметь дела со шлюхами.

— С кем же мы спим, — вслух задумалась она, — если мужчины верны своим женам?

— Ну, не все мужчины, — примирительно сказал я.

— Никогда в жизни этого не было, — произнесла она с пафосом, — чтобы я отдельно от мужчины спала в одной комнате! Подруги не поверят!

— Спокойной ночи, — сказал я и погасил свет. — Раздевайтесь и ложитесь.

В темноте мы оба разделись и легли.

— А если я к вам приду? — спросила она у меня через пять минут.

— Придется вас прогнать, — сказал я, чувствуя, что на меня наваливается сон.

— У меня никогда не было такого большого мужчины, — вздохнула она в темноте. И вдруг через некоторое время стала тихо и долго задышаться от хохота.

— Что вас смешит? — уже сквозь сон спросил я.

— Мысли, — сказала она, стараясь заглушить смех.

Я провалился в сон. Утром, когда я проснулся, она уже была на ногах. Веселая, подвижная пышечка. Если б я не был

женат, если б она не была шлюхой, хорошо было бы с ней побаловаться, подумал я.

— Отвернитесь, — сказал я, почему-то чувствуя, что это необычайно глупо звучит.

Она отвернулась, многозначительно хохотнув. Я оделся, умылся, побрился. И тут в дверь раздался характерный стук Георгия Георгиевича. Я открыл дверь и вижу — он прямо умирает от любопытства. Отзывает меня в коридор.

— Ну как? — жарко шепчет.

— Никак, — отвечаю я, почему-то особенно раздражаясь именно его жарким шепотом. Если б шепот не был таким жарким, было бы терпимо.

— Как это? — удивляется он, слава Богу, переходя на нормальный язык. — А она что?

— Я ей все объяснил, — сказал я, — она была очень удивлена, но примирилась.

Надо сказать, что Георгий Георгиевич был странно скуповат, когда дело не касалось женщин или застолья. Тут он был щедр, как король. Но, например, в жаркий летний день купить на улице мороженое он считал глупой и даже развратной тратой денег. Такой он был. Со своими строгостями.

— Но я же заплатил деньги за ночь, — сказал он обиженно, разводя руками, — так не годится. Нельзя без толку бросаться деньгами. Я сейчас с ней пересплю, а ты стой с этой стороны. Если вдруг появится Люда, скажи, что я к одному знакомому в номер зашел. Не подпускай ее к дверям.

— Хорошо, — согласился я, глотая его унижительное предложение, и он вошел в номер.

Минут через десять он вдруг открывает дверь и говорит:

— А ну-ка зайди!

Я захожу, удивляясь, что он так быстро справился со своим делом. Но не тут-то было!

— Она говорит, что спала с тобой в эту ночь, — раздраженно объяснил он мне, — поэтому не отдается мне!

— Да! — топнула ножкой пышечка. — Я договаривалась спать с одним, а не с двумя!

— Но ты же со мной не спала, — говорю я.

— Спала, — твердо отвечает она, — спала!

— В одной комнате, а не в одной постели! — уже раздражаюсь я.

— В одной постели! — утверждает она.

— Ты что, с ума сошла? — говорю я.

— Ничуть, — отвечает она, — я пришла к тебе в постель, когда ты спал. И все сделала, что надо!

— Но это же физически невозможно! — воскликнул я. — Когда мужчина спит!

— Очень даже возможно, — отвечает она, — спит-то он спит, да не весь!

— Но я бы проснулся! — воскликнул я.

— Ты был пьян, — ответила она достаточно разумно, — поэтому и не проснулся.

— Но чем ты докажешь, что это правда? — с величайшим любопытством спросил Георгий Георгиевич.

Она стыдливо потупилась.

— Ну? — строго настаивал Георгий Георгиевич.

— У него родимое пятно, — все еще стесняясь, тихо ответила она, — пониже пупка.

Георгий Георгиевич пронзительно посмотрел на меня — вероятно, взглядом одного из бесчисленных сыщиков, о которых он читал. Я кивнул. Это было правдой. Смутно вспомнил, что в ее словах есть что-то из какой-то восточной сказки. Шехерезада, что ли?

— Но как ты это заметила? — не унимался Георгий Георгиевич, видимо, входя в роль своих проницательных сыщиков, — ты что, свет зажгла?

— Фонарь из окна светил, — призналась она, снова потупившись.

— Правда, я два раза в жизни спал со спящей женщиной, — вдруг ни с того ни с сего признался Георгий Георгиевич, как всегда ревнуя и боясь, что чей-то эротический опыт может оказаться богаче, — они были пьяны. Ничего особенного. Теплый труп.

— Ой! — испуганно воскликнула пышечка. — Ничего подобного!

— А тебе ничего не приснилось? — вдруг спросил у меня Георгий Георгиевич, видимо, переходя на роль психоаналитика.

— Ничего! — ответил я резко.

— Но что же это получается? — стал соображать Георгий Георгиевич. — Мужчина платит женщине деньги, чтобы полу-

чить удовольствие. А так ты сама и удовольствие получила, и деньги получила, а он остался ни с чем. Заплати ему за эту ночь деньгами, которые я тебе дал, а он их мне вернет. Иначе получается насилие!

— Мне это даже смешно слушать! — воинственно воскликнула пышечка. — А еще такие интеллигентные люди! Кино снимают! Это же позор, чтобы мужчина брал деньги за то, что с ним женщина спала. Я только слышала, что очень старые американки молодым итальянцам платят. А у нас в России это стыд!

— Ну, ладно, иди, иди, — примирительно сказал Георгий Георгиевич, — ты не виновата, что Люда спала в той комнате. Слава Богу, что она еще вовремя проснулась! Было бы крику, если бы мы пошли в ту комнату спать, а она бы тут проснулась!

— Скажите спасибо, что я все вовремя усекла и подыграла, — сказала пышечка, — другая дура по глупости раскололась бы!

— Да, ты молодец! Ты хорошо держалась, — важно заключил Георгий Георгиевич, — а теперь до свиданья, иди!

Она оделась и ушла.

— Любопытный случай, — сказал Георгий Георгиевич, — можно, я расскажу об этом Люде? Вот она посмеется! Я только расскажу, как тобой овладели во сне. Кстати, я попрошу Люду, чтобы она попробовала овладеть мной во сне. Интересно, что мне приснится, если я, конечно, не проснусь.

— Можешь сказать, — отвечал я. — Главное, я не могу решить философскую суть вопроса. Изменил я жене или нет?

— Думай! — весело ответил Георгий Георгиевич. — Я пойду и Люде все расскажу! Вечером по этому поводу надо как следует встряхнуться!

Я весь этот день с особой яростью работал над сценарием, не отрываясь ни на минуту. Я закончил его.

Вечером я занес Георгию Георгиевичу свою готовую работу. Люда, улыбаясь уже без всяких намеков, смотрела меня. Она быстро и ладно накрывала на стол. Что-то непрерывно напевая, она летала по комнате. Мы крепко пили с Георгием Георгиевичем, и Люда на этот раз была так добра, что не останавливала нас. Георгий Георгиевич всесторонне общучивал мое падение, а Люда, в свою очередь, хохотала до упаду. Мне показалось, что она на этот раз несколько завывает возможности его юмора, а обычно она их сильно занижала. Я был рад, что она теплела к нему.

Весьма пьяный, в прекрасном настроении вернулся я к себе в номер и заснул как убитый. Утром я еще был в постели, когда ко мне вломился Георгий Георгиевич.

— Людка у тебя была ночью? — вдруг спросил он, пронизательно заглядывая мне в глаза.

— Что, опять пропала? — спросил я. Это уже становилось скучным.

— Да нет, не пропала, — ответил он, — но ночью я проснулся, и мне показалось, что она вставала и только улеглась, когда я проснулся.

— Ну и что? — сказал я. — Мало ли для чего человек может встать ночью.

— Да, конечно, — согласился он и с жаром добавил: — Но дело в том, что я ее после этого захотел взять, но она мне наотрез отказала. Первый раз за все время, как мы вместе! Очень подозрительно, очень! Неужели эти всадницы без головы объездили дикого мустанга так, что он даже не заметил этого?

— Да пошел ты к черту! — крикнул я ему. — Не было, не было, не было здесь никакой Люды!

Он ушел не то довольный своей остротой, не то успокоенный моим негодованием. Я встал, умылся, побрился и уже готовился идти завтракать. Вдруг кто-то стучится в мой номер. Открываю. Улыбающаяся Люда. Молча подходит к моей постели, откидывает одеяло, роется в простынях и вдруг достает оттуда сережку с рубиновым камнем, словно землянику сорвала на лужайке.

Я офонарел. Еще ничего не понимаю. Она деловито вдевает сережку в мочку уха, потом из кармана достает вторую сережку и вдевает ее в мочку второго уха.

После этого она с хохотом прильнула ко мне и сказала:

— Прости, я бы никогда тебе в этом не призналась, но это фамильные серьги!

Она вышла. Я понял, что моя миссия здесь закончена. Если у меня была хотя бы тень подозрения, я бы запер дверь. И пьяный, и трезвый, если уж я заснул, то сплю как убитый. Признак дурацкого доверия к миру. Все животные



спят чутким сном — признак недоверия к миру. И правильно делают!

В бешенстве я покидал вещи в чемодан и, не прощаясь ни с кем, уехал из Дома творчества. Гонорар за сценарий я все же получил, но больше никогда не встречался с Георгием Георгиевичем.

Было ли все это изменой жене в философском плане, я так и не решил, но из принципа с женой разошелся. Впрочем, я и так собирался с ней разойтись. Она благополучно вышла замуж, благополучно уехала с мужем в Америку, куда увезла моего единственного сына. Я по нему иногда безумно скучаю. Скучаю, как Наполеон по сыну, согласно легенде, если вообще эта скотина могла по чему-нибудь скучать, кроме славы.

### На ловца и зверь бежит

Итак, я уже говорил, что он ездил по стране и зарабатывал деньги, выступая в клубах со своими фильмами, а потом читая стихи.

Но однажды у него с этими встречами случилась трагическая накладка. Он приехал в один туркменский районный город, где должен был, как обычно, показать фильм и почитать стихи.

До выступления он обязан был явиться в райком, где получал добро на эту встречу, и оттуда следовало распоряжение

относительно киномеханика, афиши, а зачастую и явления публики, занятой на местном производстве.

В этом районном городе гостиницу заменял Дом колхозника, где он занял номер, умылся, побрился, приделся, а потом отправился в райком. Он закрыл номер и зашагал к выходу.

Сейчас он выглядел так импозантно, что работники Дома колхозника с удивлением и подобострастием глядели на него, думая, что из Москвы приехал большой человек, который, скорее всего, займется ревизией работы райкома партии.

То, что столь яркий мужчина приехал в Дом колхозника без машины и без сопровождения райкомовских работников, подтверждало догадку о его инкогнито. Да и слыхано ли было, чтобы большой человек из Москвы останавливался у них! Для таких людей у райкома есть собственный удобный и уютный дом без вывески.

Да, он собирается неожиданно нагрянуть в райком, чтобы его работники растерялись и не успели спрятать концы в воду, видимо, ближайшего арыка. Когда он проходил по коридору, директор этого заведения стоял у окошка администраторши. Увидев нашего поэта, он понял, что это последний шанс в жизни.

— Крыш течет, — сказал он печально, но внятно, когда поэт поравнялся с ним, — райисполком не помогает...

Он успел все учесть. На случай гнева большого московского начальника за то, что к нему обращаются с такими ме-

лочами, он это сказал в сторону администраторши, как бы обмениваясь с ней элегическими впечатлениями.

— Все образуется! — бодро гуднул наш поэт и победно вышел вон.

— Все образуется, сказал? — удрученно повторил директор. — Это как надо понимать? Образованья не хватает?

— Видно, уже решил этих всех отправить в партшколу, а прислать других, — подсказала бойкая администраторша.

— Уже решил? — удивился директор.

— Конечно, — уверила его администраторша, — видишь, какого прислали? Лев!

— Марусия! — оторопело окликнул директор уборщицу. — Быстро поставь в номер московского гостя горшок!

— Сейчас! — охотно откликнулась уборщица. Дошатая уборная Дома колхозника была во дворе.

Единственный, правда, огромный, горшок этого заведения предназначался редким почетным гостям.

Наш поэт легкой походкой нес свое грузное тело в райком. Такими делами там занимался второй секретарь по фамилии Кирбабаев. Но секретаря на месте не оказалось. Кабинет его был заперт. Какая-то женщина, проходившая мимо, сказала, что Кирбабаев обедает.

Наш поэт полтора часа шагал взад-вперед по длинному райкомовскому коридору, мысленно выбирая стихи, которые он будет читать местному населению, выбирая и привередливо отбрасывая стихи чересчур сложные. Он все шагал и шагал, удивляясь не только затянувшемуся

обеду Кирбабаева, но и полному отсутствию признаков жизни в райкоме. Намаз творят, что ли? — думал он шутливо.

И вдруг, когда он был в одном конце коридора, в другом его конце, куда поднималась лестница с улицы, появился человек. Он был среднего роста, на нем был желтоватый чесучовый китель, а на голове соломенная шляпа.

И тут наш герой совершил свой первый промах, который неминуемо привел его к роковой ошибке. Как бы озаренный догадкой, не дождавшись приближения человека и тем более сам застыв на месте, он громовым голосом сотряс, впрочем, недрахлые своды райкома:

— Вы случайно не Кирбабаев?!

Это был Кирбабаев, и ему сразу стало обидно. Случайно? Нет, Кирбабаев случайно не мог оказаться Кирбабаевым! Он вздрогнул и с выражением крайней подозрительности оглядел сановитую фигуру поэта.

— Кирбабаев буду, — скромно согласился он и поспешил к сановитой фигуре. О, если бы не поспешил, все могло бы обернуться по-другому!

— На ловца и зверь бежит! — прогудел поэт, улыбаясь и распахнув руки, но все еще не двигаясь навстречу, превращая роковую ошибку своих слов в полный провал. Однако ничего этого не понимая.

Кирбабаев нахмурился и подошел к нему. Какой-то русский корреспондент газеты, подумал он, что-то хочет выяснить по поводу кляззы какого-то местного негодяя.

— А ви кто будете? — спросил он с несколько замороженным любопытством.

— Я из Москвы, — отвечал поэт, по привычке не соразмеря свой голос с близостью собеседника, — у меня путевка! Я в вашем клубе покажу научно-популярный фильм и прочитаю стихи!

Кирбабаев почувствовал, как, легко прожурчав, откатилась от сердца волна тревоги и тут же прикатила и залила его волна багровой ярости.

— Лектор будете? — уничтожающе обобщил он, оглядывая его и поражаясь наглому несоответствию огромности лектора его ничтожному занятию. Будь наш поэт заезжим фокусником-гиревиком, он бы не вызвал у него такой высокой степени ненависти.

— Можно считать, — мирно согласился поэт, привыкший в провинции к такого рода упрощениям.

— Как вы сказали, — прошипел Кирбабаев, — на ловца и зверь бежит? Выходит, я зверь? Шакал, лисица, волк?

— Да нет, — захохотал наш друг, — я вас здесь жду полтора часа. Вижу — кто-то идет. Оказалось, Кирбабаев идет в мою сторону. Вот я и сказал: на ловца и зверь бежит. Такая русская пословица.

— Молчи, большой верблюд! — гневно воскликнул Кирбабаев. — Кирбабаев идет в твою сторону! Твоя сторона далеко отсюда! Значит, Кирбабаев как зверь бежит к тебе? Великорусский шовинизм не кушаем! Тем более от лектора!

— Вы меня неправильно поняли! Я хотел сказать...

— Ты все, что хотел, сказал! Теперь Кирбабаев будет говорить! Я твой засранный путевка подписать не буду! Сейчас — к первому секретарю! Я доложу! Если хочет, пусть подпишет!

Потрясенный поэт последовал за обезумевшим, как ему показалось, Кирбабаевым. Когда они подошли к дверям первого секретаря, Кирбабаев приосанился, снял шляпу, пригладил свои поредевшие волосы и, перед тем как открыть дверь, оглянулся на поэта:

— Жди! Визовем!

Все это происходило в предбаннике кабинета первого секретаря. Юная секретарша сидела за столиком. Кирбабаев что-то по-туркменски сказал ей, зыркнув на нашего поэта. Секретарша кивнула головой. Поэту показалось, что слова Кирбабаева означают:

— В случае побега этого типа немедленно дай сигнал!

Поэт окончательно уверился, что Кирбабаев обезумел.

Похоже, что я свел с ума одного критика и одного партийного работника, подумал он. Но сейчас он в этом не видел юмора. Опять мистика парности нагнала меня, вспомнил он угрюмо.

Минут двадцать он стоял и слышал из-за двери, обитой дерматином, голоса из кабинета. Было тревожно, но он все-таки был уверен — первый секретарь поймет, что никакого оскорбления не было.

Наконец дверь приотворилась, и Кирбабаев зловеще поманил его пальцем. Поэт понял, что Кирбабаев все еще

полон враждебности, но смело шагнул в кабинет. За большим столом, уставленным телефонами, сидел первый секретарь райкома.

— Здравствуйте! — прогремел поэт в его сторону, почти по системе Станиславского, пытаясь своим голосом разогнать миазмы враждебности, внесенные сюда Кирбабаевым.

Но, увы, ответного приветствия не последовало, по-видимому, система Станиславского в Азии не срабатывала.

Было тихо и решительно непонятно, что делать. Первый секретарь, не чувствуя никакой неловкости, перебирал янтарные четки. Поэт заметил, что шляпа Кирбабаева стоит на столе рядом со шляпой первого секретаря. Он подумал, что это плохой признак. Потом он заметил, что шляпа первого секретаря побольше шляпы Кирбабаева. Это внушало некоторые надежды. К тому же она была и поновей. Потом он заметил, что сам первый секретарь, как и Кирбабаев, в чесучовом кителе, но китель у него посветлей и поглаже. Потом он заметил, что и физически первый секретарь покрупней и поплечистей Кирбабаева.

Гениальная догадка, смутно напоминающая таблицу Менделеева, промелькнула в голове поэта. Постой! Постой! — сказал он себе, сильно волнуясь. Каков же третий секретарь, если пользоваться данными двух секретарей? Если моя догадка верна, третий секретарь должен быть пониже второго секретаря, а чесучовый китель его должен быть более мятым и темным, чем у второго. Не вполне ис-

ключена даже оторванная пуговица, но одна. Надо сейчас же проверить догадку! Сам понимая, что рискует вызвать яростную вспышку Кирбабаева, он, сверкая горящими черными глазами из-под черных бровей, уставился на Кирбабаева и властно произнес:

— Третий секретарь ниже вас ростом? Правильно?

Но гнева почему-то не последовало, последовал смех, и при этом довольно добродушный.

— Большой дурачок, — назидательно произнес Кирбабаев, — конечно, он ниже рост имеет. Он же третий секретарь, а Кирбабаев второй!

— Я все угадал!.. — с такой силой выдышал поэт и посмотрел на Кирбабаева такими горящими, пронзительными глазами, что тот на миг смутился, думая, что поэт намекает на взятки.

Как бы переждав мелкие технические разъяснения, первый секретарь с убийственной иронией спросил у поэта:

— Значит, у вас получается так: на ловца туркмен бежит?

— Да что вы, — возразил поэт, — я совсем не то сказал. Я ожидал товарища Кирбабаева...

— Кирбабаев тебе не товарищ! — поспешно перебил его Кирбабаев, как бы боясь, что грядущий суд примет по ошибке его за однодельца нашего поэта.

— ...и вдруг он идет в мою сторону. Узнав, что это Кирбабаев, я вспомнил русскую пословицу: на ловца и зверь бежит. Эта пословица означает неожиданность встречи с человеком, которого ты хотел увидеть.



— Зверь при чем? — вдруг заорал первый секретарь и, схватив свою шляпу со стола, неожиданно ловко прихлопнул ею шляпу Кирбабаева. — Кирбабаев зверь?!

Поэт проследил за рукой первого секретаря и так понял его жест: несчастного Кирбабаева неожиданно прихлопнули, как зверя!

Кирбабаев стоял в почтительной близости к первому секретарю, а сейчас он совсем повернулся к нему, и они быстро заговорили по-туркменски. Поэт, конечно, ничего не понимал, кроме некоторых международных слов.

— Бзим партия хулум-булум, хулум-булум, хулум-булум — зверь бежит!

— Бзим Ленин хулум-булум! Хулум-булум! Троцкизм-бухаризм! Булум-хулум! Булум-хулум! Булум-хулум! — зверь бежит!

— Бзим интернационализм! Булум-хулум! Булум-хулум! Булум-хулум! Булум-хулум! Булум-хулум! — зверь бежит! Ничего не получается!

Наконец, отшлифовав на родном языке теоретические основы дружбы народов, первый секретарь обратился к поэту:

— Будь честным — и я тебе все пирощаю! Кто из местных людей научил тебя оскорбить Кирбабаева? Кирбабаев прекрасный работник. Грамотный. Четыре раз бил в Москве. Если меня завтра возьмут в обком или ЦК, Кирбабаева могут назначить даже первым секретарем. Конечно, с моей рекомендацией.

Он посмотрел на свою шляпу, нахлобученную на шляпу Кирбабаева, что-то сообразил и, сняв свою шляпу со шляпы Кирбабаева, поставил ее рядом, что могло означать: не мешаем Кирбабаеву расти по партийной линии.

— Да я ничего не имею против Кирбабаева! — с воплем отчаяния отвечал наш поэт.

— Ты, глупый, не имеешь, но тебя научили враги Кирбабаева! Я все знаю, что в районе говорят. Кирбабаеву завидуют, потому что он работает рядом со мной. Говорят: а почему Кирбабаев поставил посередине своего села памятник своему дедушке? Отвечаю! А потому, что имеет право! На свои деньги поставил! Его дед бил великий скотовод! Двадцать тысяч овец имел! А эти босяки что имеют? Когда пришла коллективизация, он всех своих овец сдал в колхоз. Добровольно. Потому что умный бил, знал — все равно отнимут. А другие, дураки, держались за курдюк своего овца и в Сибирь попали. Так кто бил умный, кто помогал советской власти?

— Да я ничего не имею против Кирбабаева! Поймите меня! — уже в полную мощь голоса, сорвавшись, закричал наш поэт.

— Молчать! — неожиданно пискляво-пронзительным голосом взвизгнул первый секретарь и с такой невероятной силой ударил кулаком по столу, что обе шляпы подпрыгнули. Шляпа первого секретаря, по-видимому, уже привыкшая к таким жестам, слегка подпрыгнула и скромно опустилась на свое место, тогда как шляпа Кирбабаева мало того что

весьма фривольно подпрыгнула, она еще петушком насела на шляпу первого секретаря.

— Почему ты здесь все время киричишь?! — продолжал хозяин кабинета. — Ты что, секретарь обкома или инструктор ЦК?

— Я даже не член партии, — отвечал поэт, всячески пытаюсь унять свой голос.

— Дважды тем более! — крикнул секретарь райкома. — Ты оскорбил Кирбабаева и еще здесь киричишь в мой кабинет, как будто хочешь сесть на мое место! А гиде партийный этика? Знаешь, кто по тебе плачет, плачет?

— Кто? — растерялся поэт, вспомнив, что оставил в Москве больную маму.

— Турма плачет, — пояснил первый секретарь и вдруг обратил внимание на нагловатое положение шляпы Кирбабаева на его шляпе. Он нахмурился и водворил шляпу второго секретаря рядом со своей, но на этот раз несколько подальше, вероятно от дурного соблазна снова вспрыгнуть на шляпу первого секретаря.

А ведь и в самом деле могут посадить эти безумцы, подумал наш герой.

— Дело в том, что мой учитель юности был последним поэтом-акмеистом, — начал он, совершенно не понимая неуместность своего объяснения, — он был такой старый, что почти ничего не слышал. Мне разговаривать с ним приходилось очень громко. И я так привык.

— Твой аксакал бил меньшевик, — неожиданно гениально угадал секретарь райкома, — я, слава Аллаху, все слышу. Кир-

бабаева никому в обиду не дам. Гиде твой путевка? — добавил он подозрительно миролюбиво.

Но поэт ничего не заподозрил. Наоборот, он обрадовался. Суетливо порывшись в карманах твидового пиджака, он достал путевку и положил на стол секретаря райкома.

Тот взял в руки путевку, нежно разгладил ее и, вдумчиво разорвав, выбросил в корзину.

— Вот твоя лекция, — сказал он. — Отсюда куда едешь?

— В Ташкент, — удрученно сказал поэт. Он ужаснулся, что не получит шестнадцать рублей и завтра и послезавтра как минимум придется голодать. Денег было только на один день. Ради них он вынес все унижения, и все оказалось напрасным. Слава Богу, у него был хотя бы билет до Ташкента. Мистика, подумал он. Именно в Ташкенте он три года назад три дня (малая мистика) голодал без денег, подбирая под базарными стойками выпавшие фрукты, и ел их, правда, тщательно вымыв под краном.

— Ташкентский поезд завтра утром, — снова взяв в руки четки, спокойно соображал секретарь райкома, — перночевать дадим. Но больше ничего не дадим. Пусть узбеки слушают твой лекция. Они не скажут: а гиде партийный этика? Но туркмен совсем другое дело. Когда туркмен идет по базар...

Он вдруг воодушевился, бросил четки, вскочил, важно выпятил грудь и гордо, поглядывая по сторонам, прошелся по кабинету.

— ...когда туркмен идет по базар... Учти, даже в чужой республике! Он так идет. И люди тихо ему вслед говорят: «Турк-

мен идет! Туркмен идет!» А когда узбек идет по базар, это даже стыдно сказать, как он идет...

Он согнул ноги в коленях, бессильно опустил руки вдоль тела и слегка сгорбился, неожиданно талантливо изображая бескостность спины. Так он стоял секунды три. Потом, словно вдруг вспомнив, что даже подражать узбеку слишком долго опасно, потому что можно так и остаться им, быстро выпрямился и стал гордым туркменом.

— На ловца Кирбабаев бежит, как шакал! — сказал он, усаживаясь на свое место и снова взяв в руки четки. — Этому нас партия учит? Нет, не этому нас партия учит. А где партийный этика? Иди отсюда и благодари Аллаха за мою доброту. Пилачет, пилачет по тебе турма!

Потрясенный поэт покинул райком и отправился к своему пристанищу. Директор Дома колхозника, словно все еще дожидаясь его у окошка администраторши, увидев его, глухо сказал уже прямо в его сторону:

— Криш течет... Никто не помогает. И Москва не помогает!

Поэт заподозрил, что директор что-то знает о его неудачном посещении райкома. Но ему ни с кем ни о чем сейчас не хотелось говорить. Ему хотелось крепко напиться и заснуть до следующего утра.

Поэт вошел в свой номер и грузно опустился на кровать. Он долго так просидел, собираясь с мыслями. Он заметил, что ковер, висевший на стене, куда-то исчез, но не придал этому значения. Вдруг кто-то постучал.

— Войдите! — гуднул он.

Вошла русская старушка. Видно, уборщица.

— Я должна взять горшок, — сказала она несколько стесняясь.

— Какой горшок? — не понял поэт.

— У нас для почетных гостей горшок, — разъяснила она, — чтобы ночью во двор не бегать.

— Вот как, — сказал он, рассеянно озираясь и не видя горшка, — а где он?

— У вас под кроватью, — ответила старушка и, став на колени, выволокла из-под огромной кровати огромный горшок.

Поэт был изумлен в силу особенностей своего поэтического мышления. В жизни он видел только детские горшки и представлял, что все горшки обязаны оставаться таковыми. А в этом горшке можно было сварить плов на десять человек.

— Разве такие горшки бывают? — с величайшим раздражением спросил он, подсознательно связывая величину горшка с величиной обрушившегося на него скандала.

— Бывают, милоч, бывают! Здесь все бывает, — ласково ответила старушка и вышла с горшком из номера.

Поэт проследил за уходящей старушкой, и, возможно, от ее ласкового голоса его мысль сделала совершенно неожиданный скачок: а хватило бы ему сексуальной смелости лечь с этой старушкой? Он ведь сейчас не женат. Вопрос почему-то принимал принципиальный характер. А что, аккуратная старушка, попытался он себя взбодрить. Но тут же помрачнел, ясно поняв, что такой сексуальной смелости ему не хва-

тило бы. Главное — беспощадная честность по отношению к себе, подумал он.

А вот Артюру Рембо такой смелости хватило бы! Он бы переспал со старушкой и на следующий день написал бы великолепный сонет о гнилости западного человека.

Бедный Артюр Рембо! В шестнадцать лет первый поэт Франции, он в девятнадцать бросил писать и в погоне за золотом уехал в Африку. И в самом деле: за долгие годы пребывания в Африке добыл восемь килограммов золота и на поясе таскал его с собой. Тяжелый пояс, особенно для поэта. А дальше — гангрена, смерть. Ставка на золото оказалась ложной.

Артюр Рембо, думал сейчас наш поэт, и крупные слезы капали у него из глаз, мой гениальный мальчик! Зачем ты ради злата покинул Францию и уехал в Африку?! Тебе было так много дано, но ты проиграл свою игру, Артюр Рембо! Ты никого в жизни не спас, и поэтому тебя никто не спас!

Нет, я создаю здоровое искусство, думал наш поэт, и потому не могу лечь со старушкой, как Артюр Рембо! Не могу! И я прав!

Он с такой силой выразил про себя свое окончательное решение, как будто старушка стояла возле его постели и, всхлипывая, просилась к нему под одеяло.

Через минуту старушка уже без стука вошла к нему в номер, все еще слегка согбенная под тяжестью горшка. В первую секунду ему показалось, что старушка, мистически угадав его мысли, пришла, чтобы соблазнить его. И горшок

принесла, чтобы соблазнить его! Нашла, чем соблазнять! Он решил держаться как можно тверже. Но старушка своим добрым лицом не выражала никакого сексуального стремления. Тогда зачем же горшок? И вдруг он встрепенулся от проблеснувшей надежды. Райком сменил гнев на милость! Горшок водворяется! Выступление состоится! Голодовка отменяется!

Поэт выжидательно смотрел на старушку. Она приблизилась к нему с горшком в руке и с лукавой улыбкой на губах. Она проникновенно сказала:

— Молодец! Спасибо от всех трудящихся!

— За что? — спросил поэт, ничего не понимая.

— А то не знаешь, за что? — все еще улыбаясь, сказала старушка. — За то, что ты Кирбабаева назвал шакалом. Он шакал и есть. Весь район об этом знает, но никто не осмеливался сказать ему в лицо.

— Да не говорил я этого, бабуся! — взревел поэт.

— Тише! Тише! Меня нечего стесняться, — сказала старушка, не выказывая никаких признаков намерения водворить горшок под кровать.

Поэт понял, что райком своего решения не изменил.

— Буфет у вас есть? — спросил он, чувствуя, что надо перекусить и выпить, выпить, выпить.

— Есть, сынок, есть, — грустно ответила старушка, — только не ходи туда. Осрамят. Приказали тебя не обслуживать.

— Это кто, Кирбабаев приказал? — спросил поэт.



— А кто ж еще. Он здесь хозяин. Но ты не печалься. Зайдешь за угол и иди прямо, прямо, прямо, никуда не сворачивая. Там хорошая шашлычная.

— Спасибо, бабуля, — сказал поэт, — черт его знает что здесь творится! И что это за горшок? Неужели им пользуются взрослые здоровые люди?

— Еще как пользуются, — почти весело ответила старушка, — уборная же во дворе! Ну, я побежала! Молодец!

Старушка исчезла с горшком. Видимо, горшок без присмотра нельзя было оставлять, пока окончательно не утвердится, кого он должен обслуживать.

Поэт вдруг почувствовал, что к нему возвращается энергия жизни. Глас народа его оживил! Он подтянул галстук, причесался и покинул номер, закрыв его на ключ.

Минут через двадцать он уже был в шашлычной. Там он уселся за столик и на последние деньги заказал шашлык, зелень и поллитра водки. Официант почти мгновенно его обслужил. Поэт приятно удивился. Ни в Москве, ни, тем более, на ленивом Востоке этого никогда не бывало. Потом, случайно поймав взгляд буфетчика, он заметил, что тот гостеприимно ему улыбается и поощрительно кивает головой: мол, крой их, крой! Поэт понял, что слухи о его мнимом подвиге достигли шашлычной.

Теперь, целенаправленно озираясь, он заметил, что многие посетители шашлычной доброжелательно, с далеко идущей надеждой поглядывают на него и перешептываются. И тогда он понял, что слухи о его подвиге окатили город ожиданием освежающих перемен.

Он уже выпил почти всю свою водку и чувствовал себя великолепно. Со всех сторон шашлычной люди глядели на него с восхищением. Даже мое небольшое сопротивление режиму, вдруг подумал он, воодушевило город. Сейчас он как-то подзабыл, что никакого сопротивления режиму не было, а был только скандал. Но теперь он этот скандал воспринимал как следствие сопротивления режиму. Теперь он был уверен, что в его словах: на ловца и зверь бежит — была безумная дерзость, была брошена боевая перчатка Кир-бабаеву в коридоре его же райкома! Коррида началась в коридоре, подумал он, как поэт, не упуская созвучия.

Он всегда считал, что поэт — борец со Злом, но в высшем смысле, и никогда не должен опускаться до социальной борьбы. Хотя ему было приятно чувствовать себя социальным борцом, но и сейчас он понимал, что это детский, упрощенный вариант божественной борьбы со Злом.

Но этот упрощенный вариант социальной борьбы со Злом имеет то преимущество перед божественным вариантом, что быстро и наглядно приносит реальные плоды. Не так ли великий Эйнштейн говорил, что завидует дровосеку, потому что тот сразу видит плоды своих трудов.

И вот кругом в шашлычной шепчутся о нем. Даже после редких, но замечательных публикаций его стихов он нигде никогда не замечал, что о нем шепчутся. Пусть это минутная слабость. Но надо ее иногда себе позволять.

Лучше синица в руке, чем журавль в небе! Побудь в небе, не ревнуй, журавль поэзии!

Вспомнив эту поговорку, он на миг смутился: как бы ее поняли в райкоме? Лучше узбек в руке, чем туркмен в небе? Да пошли они все к чертовой матери!

Он выпил еще одну рюмку и окончательно воодушевился. А что такое райком? Вот я только шевельнул пальцем в сторону Кирбабаева — и весь город восторженно смотрит на меня!

Может, в конце концов, надо преодолеть брезгливость, написать вулканические стихи, вызвать взрыв народного гнева и взять власть в свои руки! Пора, пора преодолеть брезгливость и взять власть в свои руки во всей стране!

Водка кончилась, а он чувствовал себя так, как будто только сейчас и надо было начинать пить. В это время к нему стал пробираться молодой туркмен с двумя большими рюмками водки в руках. Он шел решительно и осторожно, чтобы не расплескать водку. И он остановился возле нашего поэта. Поэт почувствовал, что вся шашлычная притихла в ожидании его слов и действий. На вид подошедшему парню было лет двадцать. Однако, довольно фамильярно, подумал поэт, но выпить очень хотелось. К тому же рюмки, которые парень держал на весу, могли расплескаться. И народ ждал его слов.

— Я хотел бы с вами чокнуться и выпить, — с улыбкой сказал молодой человек.

Поэту пришла в голову благородная мысль, и он решил ее произнести, несмотря на то что эта мысль грозила оставить его без щедрой рюмки. Но на то мысль и благородна, что не заботится о корысти!

— Молодой человек, — прогудел он на всю шашлычную, — когда вам хочется с кем-нибудь выпить, вы прежде должны подумать, хочется ли выпить тому человеку, с кем вам хочется выпить!

Шашлычная восторженно зашущукала. Но парень не растерялся. Возможно, он угадал, что тому человеку хочется выпить.

— Я с вами хочу выпить, — сказал он, держа в растопыренных руках две большие рюмки, как два потенциальных факела, — потому что вы мужественный человек! Вы сказали в лицо Кирбабаеву, что он шакал! Вы учите нас мужеству. Весь район знает, что он шакал, притом бешеный шакал, но никто ни разу не осмелился сказать ему об этом.

Поэт ощутил необыкновенный прилив духовных сил и одновременно понял, что дольше нельзя рисковать переполненной рюмкой в вытянутой руке: выплеснется! Туркмены — прекрасный народ, подумал он, за них стоит повоевать. И, взяв у молодого человека рюмку, почувствовал, что она теперь в полной безопасности. Он приподнял рюмку и прогудел на всю шашлычную:

— И это еще не последнее мое слово!

Они чокнулись и выпили.

— Если вы не спешите, — сказал парень, — окажите честь нашему молодежному столу. Мой отец — председатель колхоза, и я могу многое рассказать о подлостях Кирбабаева.

— Спешить мне некуда, — ответил поэт доброжелательно, — мой поезд в Ташкент идет завтра. Официант!

Поэт встал во весь свой внушительный рост.

— Уже заплачено! Уже заплачено! — замахал парень руками, и они двинулись к его столу.

Там сидело еще шесть молодых людей, и они восторженно глядели на поэта. Кадры есть, подумал поэт, с революционной деловитостью оглядывая их; в сущности, басмачи были последними могиканами Белого движения.

Теперь он вместе с молодыми людьми продолжал пить и закусывать. Сын председателя колхоза рассказал, что Кирбабаев каждый месяц берет ясак с каждого колхоза района. Две тысячи рублей. Конечно, делится с первым секретарем, который, кстати, сам ничего не берет. Кирбабаев не только посреди родного села поставил памятник своему деду, но и протянул, конечно за счет государства, единственную в районе асфальтовую дорогу не только вплоть до села, но и до могилы деда дотянул ее!

Поэт с яростной горечью вспомнил о своих финансовых делах.

— А меня лишил шестнадцати рублей, которые я должен был сегодня получить за выступление в клубе! Мне придется три дня голодать в Ташкенте! — прорычал он и с ненавистью вонзил вилку в мясо, словно всю жизнь боролся, но не в силах был побороть в человеке низкое стремление есть.

— Вы не будете голодать! Не допустим! Это позор для Туркмении! — завопили молодые люди и полезли в карманы за деньгами.

Они собрали двести рублей, по тем временам деньги немалые, и почти насильно сунули их поэту в карман. Поэт, конечно, сопротивлялся, но было бы недостойным преувеличением назвать его сопротивление отчаянным. У него мелькнула и тут же стыдливо погасла мысль, что, оказываясь, борцом за справедливость быть иногда даже выгодно.

В сущности, вся его поездка в Среднюю Азию должна была дать примерно такие же деньги. Теперь кое-где в ответ на хамство можно было и покапризничать с неопасным риском лишиться выступления. Терпеть нового Кирбабаева он был не намерен.

По давней привычке преувеличивать Зло и Добро, он успел рассказать молодым людям, что его телефон в номере отключили, чтобы он не мог связаться с Москвой, содрали со стены ковер, унесли горшок величиной с казан, которым он и не собирался пользоваться. А самое главное, его в буфете Дома колхозника собирались отравить, но нашлась прекрасная, мужественная женщина, которая, рискуя жизнью, предупредила его, чтобы он туда не ходил. Вот почему он здесь.

Сейчас он был уверен, что слова старушки относительно буфета были замаскированным предупреждением, что его в буфете отравят. Гнев молодых людей достиг предела. Для начала они предложили избить директора Дома колхозника. Но он им разъяснил бессмысленность преждевременного выступления, намекая на существование гораздо более обширного и далеко идущего плана.

Ему вдруг захотелось немедленно всей шашлычной прочесть стихи. Перебирая в голове, что бы им прочесть, он остановился на одном стихотворении, где есть упоминание песков пустыни, родственных местному Каракуму.

— Читайте стихи, слушайте! Их еще никто в мире не слышал! Вы — первые! — загремел он в притихшую шашлычную. Потом встал и прочел грозным голосом:

*Страстей неистовых течение —  
Его раздвоенный заслон:  
Щемящей совести веленье  
И угрожающий закон.*

*К чему восторги пустозвона?  
Что нам сулит грядущий век?  
Чем совершенней суть закона,  
Тем бессердечней человек.*

*Закон карает и возносит,  
Закон прощает, а не друг.  
И совесть человек отбросит,  
Как архаический недуг,*

*Уже ненужную, как жабры  
Уползающих по земле,  
Как клинопись абракадабры  
В песках азийских на скале.*

*Но и тогда, в грядущем то есть,  
Последний, может быть, пиит  
Вдруг ставку сделает на совесть,  
И мир дыханье затаит.*

Он кончил читать и продолжал стоять. Шашлычная затаила дыхание.

— Пропал Кирбабаев! — раздался чей-то голос в тишине.

— Вы поняли, о чем эти стихи? — торжественно спросил наш поэт, не задерживая внимания на такой мелочи, как Кирбабаев.

— Конично! — вдруг сказал один аксакал с белой кисточкой бородки, сидевший недалеко за столиком. — Закон хорошо, но совесть лучше. Вот о чем. Мой отец тоже так говорил.

— Закон хорошо, но совесть лучше! — радостно закричали со всех сторон.

— В общем, правильно, — громогласно согласился поэт и сел на свое место.

— Пока у нас Кирбабаев, — скривил рот сын председателя колхоза, — у нас не будет ни закона, ни совести!

И тогда наш поэт произнес свой последний, сокрушительный гост.

— Я пью за великий туркменский народ, с которого начнется возрождение страны, — загремел он, — а что касается горшка из Дома колхозника, то считайте меня трепачом, если завтра перед отъездом в Ташкент я его не нахлобучу на голову Кирбабаеву!



Оказывается, об этом горшке местные люди много слышали и считали, что он оскорбляет национальные обычаи. Поэтому последние слова поэта потонули в таком воодушевляющем громе аплодисментов, что он решил их сделать предпоследними.

— В следующий мой приезд, а он не за горами, — продолжал гремять поэт и вдруг вспомнил, что здесь могут странно трактовать русские пословицы и поговорки. — Не за горами, — стал разъяснять он, — по-русски значит: не долго ждать. Дело в том, что Россия долинная страна и горы всегда далеко... Так вот. В следующий мой приезд мы завернем Кирбабаева в асфальт, который он протянул до своего села, и завернутого в этот асфальт поставим рядом с памятником деду!

— Рядом! Рядом! Рядом! — зашумела шашлычная. Аплодисменты, смех, свист.

Провожать его пошло человек пятнадцать молодых людей. Давно у него не было такого легкого, веселого настроения. А может быть, и никогда в жизни не было. Однако на углу, где надо было сворачивать к Дому колхозника, он распрощался с провожатыми, не без основания опасаясь, что они могут попытаться этот дом взять штурмом.

Он горячо расцеловался со всеми и вышел на пустынную улицу, ведущую к месту его ночлега. Уже метрах в двадцати от Дома колхозника он заметил, что на тротуаре стоят три милиционера. А рядом на улице машина. Оказывается, пока он со своими поклонниками двигался к ме-

сту ночлега, кто-то позвонил в милицию и сказал, что лектора из Москвы провожает пьяная воинственная толпа молодых людей. Начальник милиции дал приказ: толпу разогнать, но лектора из Москвы не трогать. Увидев, что он один, милиционеры с веселым любопытством наблюдали приближение человека, который осмелился назвать шакалом самого Кирбабаева.

Наш поэт, увидев милиционеров, тем более улыбающихся, вдруг решил ошарашить их гомерической шуткой.

— На ловца и зверь бежит! — загремел он на всю улицу. — Я зверь! Я бегу на ловца!

И побежал на милиционеров, не в силах соразмерить бег ни с грузным телом, ни с опьянением. Не сумев вовремя притормозить, он врезался в среднего милиционера, повалил его и упал на него.

Милиционеры, сочтя этот поступок агрессивным нападением, стали нещадно его колотить. Он сопротивлялся, он выл, как зверь, попавший в капкан, но, несмотря на свою могучую силу, ничего не мог сделать. Их было трое, а он один. Они были трезвые, а он пьян. Они всю жизнь избивали людей, а он никогда.

Все это случилось в тот недалекий исторический период, когда кандалы в Средней Азии уже исчезли, а наручники еще не появились. В конце концов милиционеры продолжающего вырываться поэта обвязали веревками, перебрасывая и затягивая их с бесстрашной ловкостью крестьян, навьючивающих верблюда. Они вбросили его в машину и увезли в боль-

ницу. Там ему сделали успокаивающий укол, и он, запеленутый в веревки, уснул глубоким, привычным сном побежденного богатыря.

На следующий день он проснулся в купе поезда, мчавшегося в Ташкент. Он потянулся, с удовольствием почувствовав, что на нем нет не только веревок, но и одежды. Она аккуратно висела над ним. Да не приснилось ли ему все это? Но, увы, боль в теле и синяки на голых руках были реальны, и, значит, Кирбабаев был реальным. Он хорошо помнил, с какими шутивными словами он помчался на милиционеров, а что дальше было, представлял смутно. Он только точно помнил, что милиционеры не оценили его шутки.

А поезд летел все дальше и дальше. Потом поэта долго беспокоила мысль: как его внесли в поезд? Уже раздетого до трусов и майки, в которых он сейчас лежал, или раздели его здесь? Ему очень хотелось, чтобы все было достаточно прилично и раздели его уже здесь, в купе.

В провинции почетного гостя после затянувшегося банкета, случается, приводят в купе, придерживая за руки. Иногда приносят. Особенно ревизоров. А потом раздевают и укладывают в постель.

Ему хотелось, чтобы вагон считал его почетным гостем, которого привели после слишком обильного застолья. О веревках он и думать не хотел. Об этом думало его затекшее тело. О том, что он был приведен как исключительно почетный гость, указывал тот факт, что в купе он был совершенно один.

Но с другой стороны, это могло быть следствием ограждения пассажиров от буйствующего человека.

Вдруг его пронзила мысль, целы ли его деньги, документы, билет. Его твидовый пиджак висел над ним на крючке. Он лихорадочно порылся в карманах и, не веря своему счастью, убедился, что все на месте.

Правда, состояние его пиджака, согласно его же теории, едва тянуло на чесучовый китель третьего секретаря. И даже одной пуговицы не хватало. Он раскрыл чемодан: коробки с фильмом и одежда были на месте.

Теперь, при его богатстве, перед тем как в Ташкенте явиться к начальству, он приведет себя в полный порядок. Он сменил брюки и галстук, оставив в купе пиджак отдыхать после милиционеров, и с екнувшим сердцем убедился, что купе не заперто снаружи. Вариант буйного пассажира отпадал. Да, конечно, его в приличном виде привели сюда. Или принесли? Главное, что в приличном виде. Опохмелиться! Без единого слова! Склонный преувеличивать все хорошее, как и все плохое, сейчас он был потрясен, что деньги и все остальное имущество уцелело. Туркмены — прекрасный народ, думал он, а Кирбабаев — исключение. Такой честной милиции нет нигде в мире! И даже хорошо, что они меня связали, думал он в порыве благородства, а то я мог бы в ярости пьяного буйства раскидать этот глинобитный городок!

Тут мы должны слегка подправить нашего поэта. По более поздним сведениям, дошедшим до нас через сына председате-

ля колхоза, начальник милиции, распоряжаясь отправить в Ташкент все еще спящего не то летаргическим, не то вечным сном странного лектора и чувствуя, что дело принимает межреспубликанский оборот, пригрозил милиционерам, занятым телом и вещами нашего поэта, что он лично из своего личного пистолета пристрелит каждого из них, если у лектора что-нибудь пропадет.

Все быстрее и быстрее двигаясь в ресторан, как бы отстреливаясь от Кирбабаева ржавыми выстрелами хлопающих за спиной железных дверей, наш поэт все восторженнее думал: о, как я был прав, что никогда в жизни не допускал в свои стихи социальной темы! Не допускал и не допущу! Энергия стиха и никаких идей!

\* \* \*

После перестройки его книги, обгоняя одна другую, стали появляться на прилавках. Он изъездил Европу по следам своих поэтических снов. По его словам, сны были интересней.

— Хорошо, что я успел о Европе написать до того, как увидел ее, — говорил он, — там много интересного. Но так написать, как я написал до того, как увидел ее, теперь я не смог бы.

Сейчас он один из самых видных поэтов страны. Недавно он получил Государственную премию.

Ему эту премию вручал лично Ельцин, впрочем, как и всем остальным. Но навряд ли, да и просто невозможно

представить, чтобы кто-нибудь из остальных лауреатов услышал слова, сказанные нашему поэту. Если верить ему (я хочу сказать — поэту), Борис Николаевич Ельцин, пожимая ему руку, широко улыбнулся и сказал: — На ловца и зверь бежит.

— Мистика! — по привычке произносил поэт, пересказывая нам слова президента. — А разве не мистика, — добавлял он в сторону тех, кто явно сомневался, что президент произнес эти слова, — что я — поэт, всю жизнь гонимый издательствами, стал лауреатом Государственной премии?

— Юра, — сказал я шутливо, — ты, оказывается, не великий поэт.

— Почему?! — взревел он.

— Вспомни судьбу великих русских поэтов, — сказал я, — разве у кого-нибудь она увенчалась таким блестящим успехом?

Он помрачнел и надолго задумался.

— Так что же?

— Еще не вечер, — сказал он впервые в жизни тихим голосом.

## думающий о россии и американец

Вестибюль солидной московской гостиницы. На переднем плане в креслах сидят и разговаривают Думающий о России и американец. На заднем плане спиной к нам сидит неизвестный человек и рассказывает что-то жене американца. Видно, рассказ его производит сильное впечатление на

него самого и на американку. Иногда у рассказчика плечи трясутся, американка подносит к глазам платок, а порой подходит к бару в углу вестибюля и подает рассказчику успокаивающие его бокалы крепких напитков. К концу сцены рассказчик передает американке какую-то картину, получает за нее деньги и покидает гостиницу. В вестибюле снуют разные люди. Некоторые из них выпивают в баре, переговариваются со своими спутниками и далекими деловыми партнерами при помощи карманных телефонов. Внятно мы слышим только разговор американца и Думающего о России.

— Что делают в России?

— Думают о России.

— Я спрашиваю, что делают в России?

— Я отвечаю: «Думают о России».

— Вы меня не поняли. Я спрашиваю, что делают в России! Какими делами занимаются? Дело, дело какое-нибудь есть?

— В России думают о России. Это главное дело России.

— Ну, хорошо! Если думать о России — главное дело россиян, то какое-нибудь второстепенное дело у них есть? Какие-нибудь люди в России есть, кроме тех, которые думают о России?

— Ах, вы про остальных? Так бы и сказали. В России многие думают о России, а остальные воруют.

— Все остальные?

— Да, все остальные.

— Не может этого быть! Чтобы все, кроме Думающих о России, воровали!

- Как не может быть? Так оно и есть. У нас все это знают.
- И никто с этим не борется?
- Нет.
- Почему?
- Некому бороться.
- Как некому? Это же безумие!
- Те, кто в России думает о России, тем некогда бороться. А те, кто ворует, не могут же бороться с самими собою. Да это не значит, что в России слишком уж много воруют. Дело в том, что в России очень многие думают о России.
- Так кого же больше в России: тех, кто думает о России, или тех, кто обворовывает Россию?
- Это невозможно подсчитать.
- Почему?
- Потому что те, кто думает о России, больше ничем другим заниматься не могут. А те, кто ворует, заняты воровством, им некогда подсчитывать тех, кто ворует.
- Но те, кто ворует, могут заняться этим в свободное от воровства время.
- У них такого времени нет.
- Почему?
- Потому что те, кто ворует, в перерывах между воровством тоже думают о России. Выходит, и у них времени нет.
- Значит, те, кто ворует, в свободное от воровства время присоединяются к тем, кто думает о России?
- Конечно!
- Но для чего?!



— Во-первых, когда воры присоединяются к тем, кто думает о России, их нельзя отличить от тех, кто думает о России. А это им выгодно. А во-вторых, им любопытно думать о России. Думать о России для них — кайф. Чем больше они думают о России, тем сильнее убеждаются в необходимости воровать. Это подымает дух!

— В таком случае, те, кто думает о России, во время отдыха от думанья о России могли бы подсчитать: сколько людей думает о России, а сколько людей обворовывает Россию. Нужен же какой-то баланс. Иначе страна погибнет.

— Им тоже некогда. Те, кто думает о России, когда отдыхают от российских дум, тоже подворовывают.

— Как, и они воруют?!

— Нет, когда думают о России, не воруют! Боже упаси! Но в свободное время подворовывают. Жить же надо! К тому же, подворовывая, они сливаются с теми, кто ворует, и становятся незаметными. В России думать о России всегда было гораздо более опасно, чем воровать. Такая традиция. Вот они и маскируются так. Но главным образом, они думают о России.

— Выходит, в России все думают о России?

— Я же с этого начинал.

— Но так же выходит, что в России все воруют. В том числе и те, кто думает о России?

— А что им делать? Государство же не содержит тех, кто думает о России, а им жить надо. У них жены и дети, которые с детства начинают думать о России или воровать. В последнем случае отныне еще глубже задумываются о судьбе России.

— А если бы государство содержало тех, кто думает о России, они бы, наверное, перестали подворовывать?

— Ничего бы из этого не вышло. Те, кто ворует, быстро смекнули бы, что думать о России выгодней, чем воровать, и переквалифицировались бы в Думающих о России.

— Так за этим должна была бы следить какая-то комиссия, чтобы все было честно!

— Не получается. Места раздают те, кто ворует. И они объявят своих, тех, кто ворует, Думающими о России и возьмут их на государственное довольствие.

— Хорошо. Разберемся в деталях. Я так понял, что в России те, кто внизу, подворовывают. А те, кто сверху, надворовывают, что ли?

— Полная чепуха. Сразу видно, что вы иностранец и не чувствуете самых трепетных тонкостей нашего языка и нашей психологии. Подворовывать — это человечно, скромно, даже уважительно по отношению к тому, у кого подворовывают. А по-вашему, вероятно, подворовывать — значит грубо выдергивать то, что лежит снизу.

— А что это значит?

— Подворовывают — это значит, воруют с оглядкой на совесть. Воруют и плачут, воруют и плачут.

— Одновременно?!

— Именно одновременно!

— А те что сверху, значит, не надворовывают? Тогда что они делают?

— Нет, конечно! «Надворовывают» — звучит высокомерно. «Надворовывают» — значит, презирают тех, кто подворовывает. Этого мы им не позволим. Мы люди гордые и обидчивые. «Надворовывать» — у нас даже в языке нет такого слова. Гордый язык! Наверху у нас воруют!

— Какая же разница между теми, кто ворует наверху, и теми, кто внизу?

— Огромная. Наверху сурово воруют. А внизу мягко подворовывают. Воруют и плачут.

— Одновременно?!

— Одновременно. Более того, у нас народ такой сочувливый, что иногда даже начинает плакать перед тем, как начать воровать. Еще не ворует, а уже плачет. Порой это заметно и на улице. И сразу видно, бедняга подворовывать идет. Ему жалко человека, у которого он идет подворовывать. Бывает, порой встретит на улице знакомого, поплачутся друг у друга на груди и расходятся в разные места подворовывать.

Только в России человек жалеет человека, у которого ворует. Он братские чувства к нему испытывает. Он ведь хорошо знает, что украденное у близкого было в свое время близким украдено у другого. И он сразу жалеет всех троих. Как же тут не расплакаться!

Сколько у России жалельщиков! Соборный мы народ! А так как в конечном счете все подворовывают у России, включая и тех, кто ворует сверху, все жалеют Россию. Ни один народ в мире так не жалеет свою страну, как мы!

У нас даже милиционер, видя плачущего человека и понимая, что тот идет подворовывать, жалеет и его, и того, у которого он собирается подворовывать. И от жалости сам начинает плакать! Так что иногда не поймешь, милиционер плачет по своим воровским надобностям или жалея того, кто идет подворовывать.

— По-моему, вы мне голову морочите! Что-то я не видел плачущих милиционеров и рыдающих воров, хотя уже месяц в Москве! В проходах метро видел просящих деньги, иногда всхлипывающих, впрочем, фальшиво. А того, что вы говорите, я не видел.

— И не увидите никогда, потому что вы иностранец. Потому что, как сказал наш великий классик, мы в основном плачем невидимыми миру слезами.

— Ладно. Это не главное. Но из ваших слов получается, что в России воруют и те, кто ворует, и те, кто думает о России. Я не вижу между ними разницы. А вы видите?

— Да, иностранец нас никогда не поймет! Огромная, принципиальная разница! И мы на этом настаиваем! Те, кто думает о России, подворовывают в свободное от российских дум время. А у них этого времени так мало! А те, кто ворует, думают о России в свободное от воровства время. И у них этого времени тоже мало. Получается колоссальная разница! Главное, как человек проводит свое рабочее время, а не свободное.

— Удивительное дело! У нас на Западе мы привыкли уставать от работы и отдыхать за разговорами. А здесь в Рос-

сии я постоянно устаю от разговоров! Скажу честно: я и от вас устал.

— Естественно. Вы не привыкли. У вас — быт. У нас — метафизика. Вы научились делать, не думая. А мы научились думать, не делая.

— Ну, хорошо. Какая самая характерная черта Думающих о России?

— Самая характерная черта Думающих о России — это принципиальное нежелание заниматься практическими делами при поощрительной дозволенности давать практические советы правительству. Правительство все равно нас не слушает, но мы все равно даем ему советы.

Сужу по себе. Когда жена подходит ко мне с молотком и гвоздем и говорит: «Вбей этот гвоздь в стену!» — я прихожу в тихую ярость. Я готов вбить этот гвоздь ей в голову. В Россию вбито столько гвоздей! Мы, Думающие о России, можно сказать, зубами выдираем эти ржавые гвозди, а она мне предлагает вбить еще один гвоздь!

Недавно мы с женой были на даче. Дача эта к нам перешла по наследству от ее родителей. Вышли погулять. Ну, я, естественно, и гуляя, думаю о России. Довольно увесистая сосулька свисала с крыши, где проходила наша тропка. Ну, висит. Пусть себе висит, греется на солнце. Кому она мешает. Так жена мне говорит: «Надо попросить у соседей стремянку. Влезь на нее и сбей эту сосульку, иначе она рухнет на нашу голову». «Это абсолютно невозможно», — говорю я ей. «Почему невозможно? — упрямо настаивает жена. — Ты сбивай себе сосульку и думай о России».

Сбивай сосульку и думай о России! Какой цинизм! «Сосулька никак не может рухнуть на нашу голову, — отвечаю я ей, — слушай мои доказательства, хотя ты отвлекаешь мою мысль от размышлений о России. В сутках двадцать четыре часа. Один час содержит в себе шестьдесят минут. Минута — шестьдесят секунд. Перемножь, и получится астрономическая цифра секунд. Даже если мы три раза в день пройдем под этой сосулькой, на это уйдет шесть-семь секунд, если не стоять под сосулькой разинув рот. Практически нулевая возможность попадания сосульки в голову. Но даже и в этом случае она попадет в голову одного из нас. Значит, и без того почти нулевой шанс уменьшается вдвое. К тому же по принятому у Думающих о России обычаю, проходя под сосулькой, женщину надо пропускать вперед, чтобы удар принять на себя».

Мои мощные аргументы на жену так подействовали, что она промолчала. На обратном пути, надо же, сосулька грохнулась с крыши и упала в пяти шагах от нас. Я еще не успел пропустить ее вперед. «Вот видишь!» — злорадно говорит жена.

«Что видишь, — отвечаю я ей, — сосулька не могла упасть на нашу голову и не упала».

«Но ведь ты останавливался прикурить от зажигалки, — ехидно вспоминает она. — Если б не эти секунды, сосулька рухнула бы на нашу голову!» «Как видишь, — говорю, — твоя попытка заставить меня бросить курить стоила бы тебе головы. Как Думающий о России я это предвидел».

Чтобы вы лучше поняли русский национальный характер, я вам расскажу одну веселую историю. Мне о ней поведала профессор-глазник.

Много лет назад она работала со знаменитым офтальмологом профессором Авербахом. Однажды к нему приводят слепого, чтобы он ему выдал справку для получения пенсии по причине полной слепоты. Профессор Авербах исключительно долго исследовал его зрение при помощи всяческих лампочек. И его коллега удивилась такому особенному вниманию к этому пациенту. Когда они на несколько минут оказались в соседнем помещении, она спросила профессора Авербаха: «Что вы так долго занимаетесь его глазами?» «Да понимаете, — вздохнул профессор, — у меня такое ощущение, что он видит, но доказать никак не могу».

«Ну, если доказать не можете, — отвечает она ему, — пишите справку о его слепоте».

И профессор Авербах, хоть и с некоторыми сомнениями, написал ему такую справку. Слепому сунули в ладонь справку и его увели близкие. И тут гениальное совпадение! Через три дня профессор Авербах идет в свой институт и вдруг видит, что навстречу ему шагает его пациент без палочки и без всякого сопровождения. В пяти шагах от него профессор Авербах остановился и стоит как вкопанный. А слепой смотрит на него с дружеской улыбкой и говорит: «Здравствуйте, профессор!» «Но ведь вы меня не должны были увидеть?» — взревел профессор. «А кто вам сказал, что я вас вижу, — не

растерялся пациент, — я вас слышу. Я ведь не глухой, а слепой». «Но ведь вы первый поздоровались со мной!» — крикнул профессор. «Но ведь вы остановились при виде меня, — продолжал слепой как ни в чем не бывало, — а у нас, у слепых, очень развит слух. Я почувал, что кто-то впереди меня остановился. И я подумал: кто же будет останавливаться перед несчастным слепым, кроме доброго профессора Авербаха, выдавшего ему справку о его слепоте». «Да я сам слепой!» — махнул рукой профессор Авербах, и они прошли мимо друг друга.

Давайте проанализируем эту историю.

— Давайте.

— Как вы думаете, мнимый слепой, здороваясь с профессором Авербахом, издевался над ним?

— Ну, если не издевался, так насмешничал. Иначе он молча прошел бы мимо.

— Ничего подобного! Вы не понимаете специфики русской души. Она способна на величайшую хитрость, но хитрость всегда одноразовая.

Русскому человеку скучно все время хитрить. Сколько тонкости проявил этот народный умелец, чтобы обмануть профессора со всеми его приборами. И профессор, хоть и не без некоторого смущения, выдал ему нужную справку.

И вдруг он его встречает на улице. С одной стороны, он видит профессора и испытывает к нему благодарность. С другой стороны, он теряет бдительность и забывает, что



он профессора не может видеть и здороваться с ним. Но он здоровается с профессором. Благодарность победила бдительность.

Когда же профессор, некоторым образом возмущенный, попытался его разоблачить, снова включилась хитрость, и он фактически победил профессора.

Кстати, это случилось возле института, где работал профессор. Вероятно, его находчивый пациент жил где-то поблизости. Вероятно, он, имея возможность наблюдать над подслеповатыми людьми, бредущими в институт, и над слепыми, которых туда вели, пришел к своему парадоксальному решению.

Но вернемся к нашей теме. Как вы считаете, этот мнимый слепой, получая пенсию по слепоте от истинно слепого государства, ворует у него или подворовывает?

— Ворует, определенно ворует!

— Опять ошибка! Именно подворовывает. Это государство воровало у него всю жизнь. И он, чтобы кое-как компенсировать это воровство, вынужден был притвориться слепым.

— Я удивляюсь, сколько умных людей в России! Почему же они никак не могут попасть в правительство?

— Надо, чтобы в России были люди, Думающие о России.

— А разве в правительстве нельзя думать о России?

— У них времени нет. Тем более они знают: зачем думать о России, когда вся Россия и так думает о России. Но говоря всерьез, вот что происходит. Ум — это тяжелый груз у двига-

ющегося к вершинам власти. Кто решительнее сбрасывает этот груз, тот быстрее поднимается, глупея на ходу.

— Это все хорошо. Но как у вас дела с бизнесом? Я никак не пойму.

— У меня лично?

— Хотя бы у вас.

— Этого я вам сейчас сказать не могу.

— Почему?

— Потому что таковы условия игры. Я о своем бизнесе расскажу вам в конце нашей беседы. Я вам лучше расскажу о бизнесе моего племянника. Все прямо из жизни. Мой племянник работает на одной московской фирме. Недавно приходит ко мне. Садимся ужинать. «Как дела фирмы?» — спрашиваю. «Еще кое-как держимся на плаву». «В чем дело?» — говорю. «Денег нет ни у кого. Купили зерно и заказали комбикорма, расплатившись с заводом частью зерна. Продали комбикорма большой свиноферме. Свины в отличие от людей не могут терпеть голод. Но у свинофермы денег не было, и они с нами расплатились сахаром, которым государство в свою очередь им заплатило за свинину. Но на сахар цена упала. Продавать его невыгодно. Что делать? Купили шпалы у начальника лагеря, где заключенные занимались лесоповалом. Расплатились сахаром. Сахар поддерживает силы заключенных. Продали шпалы железнодорожной организации, но у нее тоже денег не было, и она с нами расплатилась правом на бесплатный провоз товаров по стране. Купили рис у одной иностранной фир-

мы и расплатились с ней этим правом на бесплатный провоз ее собственного риса. Продали свой рис населению и немного заработали». Конечно, казалось бы, первоначально-общинный обмен продуктами. Но скажите честно, способны ли ваши бизнесмены на такой головокружительный крутеж?

— Уверен, что не способны! Что вы за народ! Чем больше о вас думаешь, тем вы загадочней. Можно сойти с ума! И это страна, первой взлетевшая в космос!

— Я хорошо помню день, полный ликования, когда Гагарин взлетел в космос и дал кругалю над земным шаром! Именно в этот день, возможно, именно по этому поводу, один пьяный гражданин валялся на тротуаре. Он спал и во сне помочился. Сдается мне по обилию мочи, что он сперва долго пил пиво, а потом, резко перейдя на водку, спикировал. Прихотливые трещины старого тротуара привели к тому, что струя мочи описала круг над телом пьяницы.

Я тогда же почувствовал, что круг Гагарина над земным шаром и круг под пьяницей имеют какой-то символический смысл. Но какой? Вероятно, такой: не космосом надо было заниматься, а вот этим пьяницей, спящим в петле своей мочи.

Однако ваш покорный слуга его не поднял, и никто его не поднял. И если вдуматься, может быть, по этой причине случилось все, что с нами случилось. Но по этой же причине Гагарин первым прорвался в космос!

— Да я вижу, вы философ.

— Все Думающие о России — философы. Но вот вам эпизод из жизни одного нашего истинного философа. Он объясняет некоторую нашу космичность.

Когда-то наш философ был женат. Но жена его спуталась с одним из его учеников. Узнав об этом, философ воскликнул в сердцах: «Тьфу, сволочь! Какого собеседника ты меня лишила!»

Жена его, потрясенная столь высокой оценкой философом своего ученика, ушла к этому ученику совсем. С тех пор наш философ жил один, тайно ликуя: хороший собеседник исчез, но при этом освободил его от очень плохой собеседницы. Разница в пользу философа.

Итак, он жил один. Но однажды заболел. И одна одинокая женщина, его знакомая, позвонила ему. Узнав, что он болен, она предложила приехать, приготовить еду, сходить за лекарствами, постирать. Философ подумал, подумал и отказался. «Почему?» — удивилась женщина. «Видишь ли, — отвечал философ, — если ты приедешь и будешь ухаживать за мной, это значит, когда ты заболеешь, я тоже должен приехать и ухаживать за тобой. А это отвлекает мою мысль. Болезнь мне не страшна. Страдание только обостряет мою мысль». «А сострадание?» — спросила одинокая женщина. «Сострадание человечеству тоже обостряет мою мысль, — признался философ и честно добавил: — а сострадать отдельному человеку я еще не пробовал».

Мы слишком космичны. Отсюда наши беды. Обрабатывать свой виноградник — не наша философия. А вот вырастить виноградник в тундре — это нам интересно.

В это время к ним вкрадчивой походкой приближается какой-то человек. Наклоняется.

— Ребята, девочек хотите? Как раз две. Из балетной школы. Конфетки!

— А где они?

— У меня в машине.

— Они блондинки или брюнетки?

— Одна блондинка. А другая брюнетка. Сразу выбирайте!

— А сколько это будет стоить?

— По двести долларов с головы.

— Дороговатые у вас девочки.

— Зато двадцатилетки.

— Для балетной школы перестарки.

— Они давно окончили балетную школу. А что дорого...

Опять же швейцару заплати, администратору заплати, девочкам заплати, и я хочу немного заработать. Номер для вас бесплатно.

— Но как же мы, солидные люди, в одном номере будем с двумя девочками? Он будет кувыркаться с ней в постели, а я что, следить буду за ним?

— Зачем следить? Сами кувыркайтесь. Номер двуспальный.

— Я так не могу. Это что же: на старт! внимание! марш! Кто быстрее!

— А второй номер на два часа стоит еще пятьдесят долларов. Если можете, приплатите.

— Зачем мне на два часа? Что я, черепаха, что ли? Часа вполне достаточно!

— Но они меньше, чем за пятьдесят долларов, не сдают номер. А вы можете там находиться хоть десять минут.

— Нет, такое не пойдет. Так как же нам быть в одном номере?

— Раз уж вы такой чистюля, идите со своей девушкой в ванную комнату, пока он со своей девушкой накувыркается. А потом они пойдут в ванную, а вы кувыркайтесь.

— А что же нам делать, пока он будет кувыркаться?

— Ждать. Или, знаете, некоторые любят под душем. Дело вкуса.

— Ну, нет, я еще не дельфин!

— Ну, тогда ждите, пока они накувыркаются.

— Что же, она потом голая мимо меня пройдет в ванную? Неприлично.

— Впервые вижу такого капризного клиента! При этом учитите, девочек можно и не угощать. На ваше усмотрение.

— Как так не угощать? Они ведь могут обидеться.

— Нет, они не обидчивые, веселые девушки. Только после постели обязательно душ. И они уходят. Чистоплотные девушки.

— Правда, чистоплотные?

— Очень. Можете не угощать, но душ после постели обязательно.

— А до постели?

— Прикажете — примут.

— Нет, нет, я не могу. Я люблю свою жену и верен ей.

— Мы не только любим своих жен и верны им! Я к тому же еще верен его жене! А он верен моей жене!

— Как так? Я ничего не понимаю.

— Думать, думать надо. Не думать — грех.

— Но если вы верны своей жене, как же вы можете при этом быть верным жене друга? А! У вас что — семейная коммуна? Я что-то слышал про такое. Тем более вам не привыкать кувыряться друг у друга на глазах!

— Никакой коммуны. Каждый живет со своей женой, но при этом верен жене друга.

— Пойдите! Пойдите! Этого же не может быть! Если верен жене друга, значит, с ней живет. Как же при этом быть верным своей жене?

— Каждый из нас верен жене друга, потому что не знает ее. Я не знаю его жену, а он не знает мою. Потому — мы верны им.

— Тьфу ты, голову мне заморочили! Я думал серьезным людям девочек предложить! Пойду в бар, там люди посерьезней.

И молодой человек уходит.

— Я думаю, он здесь быстро найдет клиентов.

— Похоже... Кстати, говоря о тундре, вы напомнили мне то, что я хотел у вас спросить. О московском бизнесмене вы мне рассказали. Но как обстоят дела хотя бы с малым бизнесом в глубине России?

— Как раз за развитием малого бизнеса я полгода назад наблюдал в Краснодаре. Тоже российская глубинка.

Сидим в краснодарском аэропорту в отсеке, выходящем на летное поле. Люди ждут объявления посадки на свой само-

лет. Возле урны, расположенной у выхода на летное поле, несколько человек курят.

Объявлена посадка на очередной самолет, и подъезжает автобус. Курящие делают последние затяжки, чтобы выйти из помещения и сесть в автобус. В это время откуда-то выныривает милиционер и подходит к ним: «Штраф. Здесь курить нельзя». «А зачем урна? А где надпись, что курить нельзя?» — протестуют курящие. «Ничего не знаю. Штраф».

Дверь на летное поле распахивается, и люди проходят к автобусу. Курившим явно на этот самолет. Они волнуются, торопливо достают деньги и суют милиционеру По двадцать тысяч. «Я вам сейчас выпишу квитанцию», — говорит милиционер с олимпийским спокойствием. «Ради Бога, не надо квитанции!» — испуганно умоляют курившие. «Как хотите», — милиционер снисходительно берет у них деньги. Курильщики хватают свои вещи и бегут к автобусу.

Снова водворяется тишина. Милиционер куда-то исчезает. Спешащие на следующий рейс топчутся у выхода. Наиболее нетерпеливые начинают курить. Объявляется посадка на следующий самолет, и подъезжает автобус. И тут вновь откуда-то выныривает милиционер и подходит к курильщикам. Сцена повторяется. «Я сейчас вам выпишу квитанции», — миролюбиво объявляет милиционер. А люди уже бегут к автобусу. «Только без квитанции», — умоляют курильщики и суют ему деньги. Милиционер снисходительно берет деньги. Курильщики хватают свои вещи и бегут к автобусу. Милиционер снова исчезает.



Так повторялось четыре раза, пока мы сами не улетели. У милиционера малый бизнес, основанный на знании людей, спешащих на самолет. Возможно, с кем-то делится. С одной стороны, гостеприимная урна у самого выхода на летное поле, а с другой стороны — никаких знаков, что можно или нельзя курить. Как говорится: всюду жизнь!

— А новые русские богачи помогают бедным?

— Я слышал, что один миллионер проявил миллиосердие и подарил детскому дому тысячу долларов.

— Как вы оцениваете современное состояние России?

— Даю медицинскую справку: галопирующий распад при вялотекущем капитализме.

— Да за вами надо записывать!

— Мы в России не любим, чтобы за нами записывали. Наши экреры имеют привычку относить свои записи в КГБ. Да еще все так напутают в своих записях, что ни КГБ, ни вызванный автор не могут разобраться. После чего автора, а почему-то не путаника, сажают в психушку.

— Я вижу — несмотря на тяжелое положение страны, вы не теряете чувства юмора.

— Чтобы выжить в гибельных обстоятельствах, надо проявлять гибельную веселость и распространять ее по всей стране. Я всегда говорил: если нечем распилить свои цепи, плюй на них, может, проржавеют.

— Я часто задумываюсь над одним вопросом и оказываюсь в тупике. Предположим, бессовестный человек совершает бессовестный поступок. Его судят и сажают в тюрьму

му. Но ведь с философской точки зрения это абсурд! Раз человек бессовестный, он, совершая бессовестный поступок, не ведал, что творил. Как же его за это можно сажать в тюрьму?

— Ваше рассуждение кажется логичным только на первый взгляд. Безумпция невинности! Абсолютно бессовестных людей не бывает. Самый бессовестный человек не бывает настолько бессовестным, чтобы в глубине души не знать о своей бессовестности. Поэтому суд над ним справедлив.

— Что больше в России сейчас ценится, совесть или честь?

— Для думающей России — совесть, а для ворующей России — честь.

— Почему?

— Честь — последний человек в свите совести, но он делается первым, когда совесть дает задний ход. Честь — совесть картежника. Скажем, уголовник убил уголовника за то, что тот в каком-то деле его обманул и недодал денег. На самом деле не в деньгах дело. Самая глубинная причина убийства — задетая честь.

В России сейчас бесчестные люди бесконечно судятся друг с другом, отстаивая свою сомнительную честь. И ни у одного судьи не хватает воли встать и сказать: «Суд отменяется по причине отсутствия предмета спора».

Христос все время говорит нам о совести и никогда — о чести. Меня вот что волнует. Допустим, в России после нашего смутного времени укрепится правовое государство. Будут развиваться и развиваться законы, по которым человек дол-

жен жить. Но не приводит ли бесконечное развитие законов к постепенному усыханию совести?

Человек живет преимущественным пафосом общества. Сейчас в России преимущественный пафос — беззаконие. Но вот закон победил, и преимущественным пафосом жизни становится подчинение законам. Но, воцарившись в обществе — как главный пафос жизни, — закон не вытесняет ли совесть?

— Да, вы в чем-то правы. У нас в Америке, знаете, кто самые бессовестные люди? Это юристы, законники. Если попадешь к ним в лапы, они так ловко будут манипулировать законами, что оберут тебя до последнего цента. Не дай Бог попасть к ним в лапы.

— Это само собой, но я говорю о более широкой вещи. Если закон становится преимущественным пафосом жизни, совесть хиреет. Но как бы ни были развиты законы, всегда были, есть и будут случаи в жизни, где человек должен действовать, согласуясь с совестью. Но как же ему действовать, согласуясь с совестью, когда она у него усохла? И усохла именно потому, что хорошо развились законы и человек привык себя ограничивать только законом?

— Да, сложный вопрос. Видимо, надо, чтобы и законы, и совесть развивались параллельно. Но та драма, о которой вы говорите, — дело далекого будущего. В России, как я понимаю, сейчас актуально закрепить демократические законы, чтобы они действовали. А то, о чем вы говорите, дело далекого будущего. Считается, что культура развивает совесть. Что вы думаете о ее роли?

— Холодно в мире, холодно! Я говорю культуре: «Согрей меня или я напыюсь!»

— А она что отвечает?

— Она отвечает: «Ах, ты так ставишь вопрос? Будет тепло!»

Всерьез говоря, или книга будет греть человека, или человек будет греться над костром из книг. Третьего не дано!

— Тогда поговорим о литературе. Я преподаю русскую литературу в университете. Что вы думаете о русской литературе советского периода?

— Я считаю, что вся советская литература имеет два направления. Первое — это литература идеологов, их детей и внуков. Второе направление — это литература жертв идеологии, их детей и внуков. Второе направление полностью победило первое. Но были и перебежчики с обеих сторон.

— А что вы думаете о Шолохове и романе «Тихий Дон»? Я прочел горы литературы об этом, но только окончательно запутался.

— Шолохова не было, но он мог быть.

— Загадочный ответ.

— Зато не ловится.

— Но все-таки он написал «Тихий Дон» или кто-нибудь другой?

— Это сейчас в России самый острый политический вопрос. Я на него могу ответить только в присутствии своего адвоката.

— Но я даю вам слово джентльмена, что никогда, нигде не буду ссылаться на вас.

— Хорошо. Я вам верю. У меня одно доказательство — психология пишущего. Это совершенно невозможно подделать. Читая «Тихий Дон», чувствуешь, что его писал отнюдь не молодой человек. Его писал очень сильный и очень усталый от жизни человек, которому не менее сорока лет. Защитникам авторства Шолохова надо было бы прибавить ему лет двадцать, тогда их позиция была бы более убедительна.

— Интересное доказательство. Но оно единственное у вас?

— Да.

— Но одного этого доказательства, мне кажется, маловато.

— А вы знаете, что обилие доказательств правдивости того или иного случая как раз может быть доказательством его лживости.

— Как это?

— Вот вам пример из жизни. Я о нем узнал от моего знакомого следователя. Очень умный человек. Произошло убийство. Ни единого свидетеля не оказалось. Мой следователь по каким-то своим соображениям заподозрил одного человека, назовем его Иванов, и арестовал его. И вдруг начали приходить письма, отдельные и коллективные, что Иванов честный человек, он ни в чем не виноват. При этом об убийстве и аресте Иванова ничего не было в газетах. Письма приходили не только из Москвы, но и из других городов. Во

всех письмах говорилось, что Иванов никак не мог убить человека. И тогда следователь окончательно уверился, что именно Иванов убийца. И Иванов, в конце концов, сознался, что он убийца и член шайки, которая своими письмами пыталась его спасти. Следователь понял, что честного человека столько людей не защищают. Как видите, обилие доказательств, что он честный человек, привело к доказательству, что Иванов убийца.

— Оригинально, оригинально. Я об этом случае расскажу моему другу, американскому юристу. Но продолжим разговор о литературе. Я понимаю, что Пушкин великий поэт. Я даже признаю, что он выше Байрона. Но нет ли странного преувеличения, культа Пушкина в России?

— Никакого преувеличения, уверяю вас! Мы все еще живы благодаря Пушкину. От Пушкина струится столько добра, что каждый россиянин, читавший и понимавший Пушкина, убеждается: раз Пушкин жил в России, значит, Россию ждет что-то хорошее. Иначе появление Пушкина в России было бы необъяснимо. Я очень рад, что вы Пушкина ставите выше Байрона. Я давно так считаю.

— В таком случае, назовите лучшее произведение Байрона.

— Думаю — «Дон Жуан».

— Абсолютно точно. Но «Евгений Онегин» выше «Дон Жуана». Я как англосакс это утверждаю.

— Это делает честь вашему вкусу. В «Евгении Онегине» даже ошибки очаровательны.

— А разве там есть ошибки? Никогда об этом не читал и сам не замечал.

— Есть. Например, в первой главе Пушкин дважды пишет, что Онегин создавал чудные эпиграммы. «И возбуждал улыбку дам огнем нежданных эпиграмм» и так далее. Но в той же главе он пишет об Онегине — «Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить». Это противоречие. Милое противоречие. Кстати, «милый» — любимое слово Пушкина. Но ведь понимание техники того, как один поэтический размер отличается от другого, намного проще умения писать блестящие эпиграммы. Так в чем же дело? В первой главе Пушкин еще только нащупывает образ Евгения Онегина, он ему еще не совсем ясен. И Пушкин иногда невольно придает ему свои черты. Блестящие эпиграммы — это дело самого Пушкина. А Онегин как раз мог не уметь отличить ямба от хорея. Не потому, что туп, а потому, что его охлажденный ум не может сосредоточиться на таких пустяках. «Огнем нежданных эпиграмм». Огонь — свойство самого Пушкина, а не Онегина. Первая глава «Евгения Онегина» еще заражает нас необыкновенной внутренней радостью самого поэта. Откуда эта радость? Впервые гений Пушкина вышел на замысел, равный его гению. И эту радость он скрыть не может и не хочет.

— В ваших рассуждениях много оригинального, хотя писанием эпиграмм в те времена увлекались многие люди. Почему бы вам не попросить какое-нибудь издательство опубликовать ваши мысли?

— У нас в России говорят: просить и ждать хуже всего. Для меня просить настолько хуже, чем ждать, что я готов столько ждать, чтобы просить стало поздно. Не дождутся моей просьбы. В России можно только что-нибудь выклянчить или выгрызть. А это недостойно для Думającego о России.

— Ну, хорошо. От Пушкина как раз уместно перейти к теме любви. Что вы думаете об этом загадочном чувстве, которое Пушкин неустанно воспевал?

— Да, все тексты Пушкина, впрочем, как и Льва Толстого, плавают в спермическом бульоне. Для меня самое загадочное в любви — это то, что непонятно: отчего она возникает и почему она вдруг исчезает.

Во времена студенчества я безумно был влюблен в одну девушку из нашего института. Наконец она разделила мое чувство. Родители ее были в заграничной командировке, она одна жила в трехкомнатной квартире. Нам никто не мешал любить! Мы ходили, клейкие от медового месяца. Она жила на втором этаже. Однажды после театра приходим к ее дому, и вдруг она обнаруживает, что забыла на столе ключ от входа в подъезд. Что делать? Будить соседей неудобно. Ночь пропадает! Но я не дал ей пропасть! Цепляясь за карниз и за всякие выступы кирпичного дома, я докарабкался до ее окна, пролез через форточку в квартиру, взял ключ со стола, спустился и открыл входную дверь.

Еще через месяц опять возвращаемся вечером домой, и она опять забыла ключ от входной двери. Я решил повто-



рить свой небольшой подвиг. Но что за черт! Я никак не могу доползти до второго этажа. Руки срываются и срываются, когда я пытаюсь ухватиться за мокрые выступы в стене. Пришлось будить соседей, и они нам открыли дверь. Ключи от английского замка ее квартиры она никогда не забывала. А я все никак не пойму: почему месяц назад я вдохновенно докарабкался до ее окна, а сейчас не смог. И только потом я понял, в чем дело. Оказывается, я ее разлюбил. Когда я второй раз попытался долезть до ее окна, мускулы мне отказали. Они уже знали, что я не люблю, а я еще не знал. Вот, оказывается, как бывает! Мускулы уже знали, что не люблю, а разум не знал.

— Чем же закончился ваш роман?

— Она вышла замуж за другого студента, моего однокурсника. Я имел глупость рассказать ему о ее рассеянности и о том, как я через форточку влез в ее квартиру и достал ключ.

Этот студент, над которым мы всегда посмеивались, оказался весьма непрост. Во время экзаменационной сессии он от волнения почти непрерывно ел. И чем хуже сдавал сессию, тем больше ел. К концу сессии он обычно сильно округлялся. «Ну что, килограммов на пять сдал сессию?» — шутило спрашивали мы у него. Смеясь над глупцом, всегда помни: в шашки он играет лучше тебя.

И вот этот простак всех перехитрил. Однажды во время лекции он попросил мою подружку показать ему ключ от входной двери. Она показала ему, ничего не подозревая.

А у него к этому времени был готов хорошо обмятый хлебный мякиш. Он мгновенно отпечатал ключ на этом мякише и вернул ей. Учитывая его аппетит и бедность, он пошел на некоторую жертву. Этот хлебный мякиш он отдал какому-то слесарю, и тот ему изготовил новенький ключ. И этот ключ он аккуратно носил в кармане.

Однажды он провожал ее домой и, когда они дошли до дверей ее дома, он вытащил этот ключ из кармана и, к ее немому изумлению, открыл входную дверь. «Откуда у тебя этот ключ?» — спросила она. «Ты же мне показывала свой ключ, вот я и сделал такой же!»

Потрясенная его талантом, она вышла за него замуж. Больше она не заботилась о ключе от входных дверей, он его всегда держал в кармане. Но тут из-за границы приехали ее родители. Произошел скандал. Они выгнали этого бедного студента. И он, уходя от них, забрал с собой второй ключ, как единственную свою вещь в квартире.

Родители ее, с некоторым опозданием узнав об этом и боясь, что он будет приходить к их дочери в их отсутствие, и стараясь в дальнейшем сохранять невинность дочки, затребовали ключ обратно. Но он заломил за него такую цену, что родители, было, решили вообще сменить замок от входной двери. Однако после зрелых размышлений, поняв, сколько ключей им придется заказать для остальных жильцов, впали в некоторую протрацию. Но мысль сохранять в дальнейшем невинность дочки, в конце концов, победила, и они выкупили этот ключ.

Кстати, была веселая студенческая попойка по поводу возвращения ключа, куда и меня этот студент пригласил. При этом он делал вид, что все предвидел заранее и заказал этот ключ, якобы зная, что родители его выгонят, но будут вынуждены выкупить ключ по назначенной им цене.

— А что, может быть, так оно и было. Он, вероятно, стал новым русским?

— К сожалению, я его потерял из виду. Возможно, он сейчас стал банкиром, сменил фамилию, сделал пластическую операцию, чтобы я, соединившись с ее родителями, не подал на него в суд за нанесение мне морального ущерба и последующего шантажа родителей при помощи ключа. У нас это сейчас модный бизнес. Один богатый человек подает на другого богатого человека в суд за нанесение ему морального ущерба. Как только он выигрывает этот суд, проигравшая сторона немедленно подает на него в суд за нанесение ей морального ущерба путем вызова в суд и тем более оскорбительного выигрыша дела.

— И суд принимает такие дела?

— Еще бы! Единственная тонкость заключается в том, что помещение суда и сам судья должны быть другими.

— Почему?

— Не может же один и тот же судья брать взятки с обеих сторон по одному и тому же поводу. Судья тоже дает зарабатывать своим коллегам.

— Но как же вы можете подать на него в суд, когда сами принимали участие в студенческой попойке? Он же найдет свидетелей!

— Очень просто. Я скажу на суде, что тогда мне было всего двадцать лет и я по незрелости не понимал, что мне нанесен моральный ущерб. Не понимал и не понимаю! Но я это вам говорю.

— История с вашей девушкой забавна. Но такое и в Америке бывает. Не можете ли вы что-нибудь рассказать о более глубинном характере русской женщины.

— Кому как не мне, Думаящему о России, знать глубинные тайны русской женщины. Вот история одной из них.

Все это началось в конце двадцатых годов. Она была из хорошей интеллигентной семьи, которая относилась к советской власти примерно как к победившей чуме.

И вдруг их единственная дочь-красавица влюбляется в лихого большевика. Влюбилась — и все! Родители всеми силами пытались удержать ее от замужества, но она вырвалась и порвала навсегда с родителями, чтобы выйти за него замуж. Он был, видимо, обстоятельный мужик, хотя и малообразованный, но с бешеной энергией и хорошими организаторскими способностями. Он сделал карьеру, стал директором завода.

Однако этот лихой большевик оказался еще более лихим выпивохой и сердцеедом. Всю жизнь она боролась с его любовницами. Одних драла за косы, других, войдя в союз с их мужьями, общими усилиями выволакивала из-под своего богатыря. Иногда он уходил от нее, и тогда она обращалась в партком с неизменной просьбой: «Верните мне моего мужа». И партком всегда возвращал его, и он на

некоторое время затихал. Потом начиналось все сначала. А у них уже было двое детей. Но она его так любила, что все прощала. Однажды она сидела на заводе в его кабинете и туда вдруг влетела не заметившая ее молодая смазливая секретарша: «Лёник, ты что же...» — обратилась она к ее мужу. «Какой он тебе Лёник!» — закричала она и швырнула в секретаршу графин с водой. Но та увернулась, видимо, с привычной ловкостью. Скандал кое-как удалось уладить.

И вдруг он тяжело заболел. В больнице она сама ухаживала за ним, оставив детей соседям. Однажды, будучи без сознания, в бреду он пробормотал: «Аннушка, любимая, единственная, спаси меня!»

И это ее потрясло. Ее звали Анна. И она наконец почувствовала себя победительницей всех его любовниц! Значит, в глубине души он любил только ее и в бреду обращался к ней! И она ему все окончательно простила: мол, баловство! Радостная, счастливая, окрыленная, она не спала ночами, она выходила его, поставила на ноги, и он снова стал ездить на свой завод.

А через некоторое время она узнает, что его последнюю любовницу тоже зовут Анна. И она поняла, к кому он обращался! И тут она не выдержала! Сама прогнала его из дому, оставшись с двумя детьми. Она все ему прощала наяву, но из-за бреду не могла простить.

И кстати, сам он после этого покатился вниз. Она все-таки держала его в каких-то рамках. А тут его пьянки-гулянки,

наконец, надоели парткому, ему припомнили и жалобы жены и перевели его в рядовые инженеры.

После этого, то ли раскаиваясь, то ли потому, что его вторая Аннушка мгновенно покинула его, когда он потерял пост директора, он стал приходить к своей бывшей жене и, грохаясь на колени, умолял ее простить его и начать новую жизнь. Но нет, сколько он ни просил, она не могла ему простить ту измену в бреду!

Он окончательно рухнул, спился, а она поставила своих детей на ноги, день и ночь, тайно от фининспекторов обшивая своих знакомых и их друзей. С какой радостью ее любимые родители теперь, когда она прогнала его, приняли бы ее в свои объятия. Но, увы, о том, что случилось, она могла рассказать им только на их могилах!

— Да, вот это история. Значит, все прощала, но бред его не могла простить. А что, если он в бреду и в самом деле звал именно ее, жену?

— Нет, конечно. Тут нашла коса на камень! Там есть еще много подробностей. Эта вторая Аннушка во время гулянок заставляла его становиться на четвереньки и лихо ездил на лихом большевике!

— Однако, я вижу, нравы у вас довольно свободные. А та ваша девушка, студентка, была феминисткой?

— Да что вы! Она и слова такого не слыхала! Феминизм — это половой сальеризм. Кстати, год назад я в Москве познакомился с одним американским социологом. Большой чудак! У нас с ним был бизнес.

— Какой бизнес?

— Я вам напоминаю, что о своем бизнесе я вам расскажу в конце нашей беседы. Так вот. Идем мы с ним по улице. Он так же, как вы, хорошо говорил по-русски.

— А кстати, вы знаете английский?

— Я знаю английский настолько, что англичане в моем присутствии не могут меня обмануть. Но и я их не могу обмануть на английском языке. Высшее знание языка — это умение правдоподобно обманывать на этом языке.

Так вот, значит, идем мы с ним по тротуару одного из московских переулков. Впереди нас какая-то пара пожилых людей бродяжьего вида. Они ругаются. Через некоторое время мужчина, видимо исчерпав словесные аргументы, начинает лупить женщину. Я подбегаю к ним, а мой американец, пытаясь удержать меня, кричит: «Не вмешивайтесь! Это некультурно!»

Ничего себе некультурно, когда мужик бьет бабу, хотя она и пытается отбиваться. Я подскочил, схватил его за руки и крепко держу: «Подлец! Как можно бить женщину?!»

Он вырывается, кроет меня матом. Я продолжаю его крепко держать. И вдруг несколько увесистых ударов обрушиваются на мой затылок. Это женщина стала лупить меня, приговаривая: «Муж с женой спорят! Третий лишний!»

Я его отпустил, и они, перестав драться, пошли дальше. Оба полупьяные, я это чувствую по запаху. Но он оценил, что она за него вступилась.

«Вот видишь, — говорит мой американец, — я тебя предупредал. Я сразу понял, что она феминистка». «Какая она феминистка, — говорю, — это просто пьяные бродяги». «Феминистка, феминистка, — утверждает он, — настоящие феминистки и бродяжничаньем занимаются. У них принцип: ничто мужское нам не чуждо». «Да какая она феминистка, — пытаюсь я достучаться до здравого смысла, — у них у обоих похмельное раздражение. Вот они и подрались. У мужчины, который, вероятно, больше выпил, было большее похмельное раздражение. Он и пустил первым в ход кулаки». «Феминистка, — настаивает он, — я феминисток за километр узнаю. Она как феминистка и в выпивке старалась не отставать от мужа». «Да при чем тут феминизм, — кричу я уже, — они просто пьяницы!» «Россия — родина феминизма, — объясняет он мне, — я по этому поводу и приехал сюда. Роюсь в архивах. Хочу написать большую работу об этом». «Какая там еще Россия — родина феминизма, — отвечаю я ему, — у нас своих проблем по горло хватает». «Россия — родина феминизма, — повторяет он, — и вы можете этим гордиться! Екатерина Великая была феминисткой, знаменитая Керн была феминисткой, жена Чернышевского была феминисткой, даже возлюбленная Ленина, Инесса Арманд, была феминисткой». «У вас получается, что ни шлюха — то феминистка», — говорю. «Ничего подобного, — отвечает он, — принципиальная разница. Вольные отношения с мужчинами у них — следствие феминизма, а не феминизм — следствие вольных отношений. Совсем другая причинно-



следственная связь! Да вы знаете, что февральская революция, в сущности, была феминистической революцией?! А Октябрьская революция была контрреволюцией мужского шовинизма! Это мое открытие, и я его никому не отдам. Готовлю большую работу».

Я с ума схожу. «Да почему февральская революция была феминистической?!» — кричу. «Правительство Керенского и сам Керенский были феминистами, — продолжает он, — тут много тонкостей, еще не известных вам. Но вы же знаете, что от речей Керенского дамы приходили в неистовство. Иногда даже падали в обморок от восторга. Вы же знаете, что только женский батальон пытался защитить Зимний дворец. Неужели это случайно? Подумайте сами — законное правительство защищает только женский батальон! И даже легенда, что Керенский бежал из Зимнего дворца в женской одежде, подтверждает мою мысль. Но Россия была слишком патриархальной страной. И мужской шовинизм победил. Однако феминистические настроения были еще настолько сильны, что Ленин вынужден был бросить лозунг: “Кухарку научим управлять государством!”». «Да что вы говорите, — пытаюсь я его переубедить, — Ленин хотел сказать, что простой, безграмотный человек может управлять государством. Что и случилось!» «Нет, — отвечает он, — Ленину надо было утихомирить феминисток. Иначе бы он сказал: “И повара научим управлять государством!” Первым Ленина раскусила Инесса Арманд. Она поняла, что Ленин говорит одно, а делает совсем другое. На этом осно-

ван их трагический разрыв и впоследствии загадочная смерть Инессы Арманд».

Забавный чудак. Мы весь вечер спорили, иногда взбавриваясь выпивкой. Я его проводил до его, кстати, скромной гостиницы, когда уже было далеко за полночь. Дверь в гостинице была заперта. И он вдруг с такой яростью руками и ногами стал барабанить в дверь, что я понял — несмотря на увлечение феминизмом, в нем еще слишком сильно мужское начало. Я даже испугался, что получится политический скандал, и я первый как Думающий о России от этого пострадаю. Но ничего. Обошлось. Сонный швейцар открыл дверь и впустил его.

— Да, у нас в Америке феминизм иногда принимает безобразные формы. Но Америка всегда была слишком мужской страной. Кстати, вы бывали в Америке?

— Да, я был в Америке.

— Что вас больше всего удивило в Америке?

— Америка меня больше всего удивила еще до того, как моя нога ступила на ее землю. В одном европейском аэропорту жду самолета в Америку. Рядом со мной большая группа американских старушек. Они возвращаются домой. Одна из них неустанно что-то рассказывает, а остальные хохочут. При этом одна из старушек особенно громко хохочет, выхохатываясь из общего хохота. Потом она, не переставая хохотать, садится рядом со мной на скамейку. В брюках. На вид крепкая восьмидесятилетняя старушка. Закуривает и, лихо поставив одну ногу на скамейку, продолжает при-

слушиваться к рассказу, перехохатывая остальных. Поза со вздетой на скамейку ногой — вульгарна. Но какой жизненной силой веет от нее! Старушка-хохотушка! Закроешь глаза — расшалившиеся студентки! Откроешь — вздрогнешь! Скажите, это старушки так хохочут, потому что за ними могучая страна, или страна могуча, потому что там старушки могут так хохотать?

— Боюсь, что эти старушки-хохотушки загубят Америку. От нечего делать они во все вмешиваются. Смешливость не столько признак чувства юмора, сколько признак здоровья. А что в самой Америке вас больше всего удивило?

— Больше всего в Америке меня удивило то, что американцы с такой жадностью пожирают лед, как будто они мстят всем айсбергам за гибель «Титаника»!

— Да, мы, американцы, любим лед. Для нас лед даже средство гигиены, как для старушки Европы кипяток. А чем еще вас удивила Америка?

— Чуть не забыл самое главное. В Америке я встретил человека, в прошлом Думавшего о России, а теперь превратившегося в Думающего об Америке. Любопытная метаморфоза.

В Нью-Йорке я несколько дней жил у своих друзей. К ним в гости пришел известный в прошлом русский диссидент, неоднократно выступавший у нас с протестами по поводу нарушения властями собственных законов. Его посадили. Но он и в тюрьме продолжал отстаивать права заключенных, которые нарушались. За это он был неоднократно бит стражника-

ми и неоднократно зашвыривался в карцер. И, наконец, его выслали из страны.

Он вошел в квартиру с овчаркой. Среднего роста, яростно-веселый крепыш. Прекрасно говорит по-английски.

Когда-то в России, находясь в какой-то провинциальной тюрьме, он ухитрился дозвониться в Москву своим друзьям. У нас заключенным не разрешают пользоваться телефоном. Потрясенные друзья решили, что он бежал из тюрьмы и этим звонком выдаст место своего пребывания. Но он звонил из тюрьмы. Как он это сделал, было непонятно и по российским условиям абсолютно фантастично. Может быть, думаю я, во время допроса следователь вышел из кабинета, а он воспользовался его телефоном. Не знаю. Сам он не стал объяснять, как именно он оказался у телефона, только мимоходом сообщил, что нужно было знать код, при помощи которого соединяют с Москвой, и подделать голос под голос начальника тюрьмы, чтобы телефонистка ни о чем не догадалась и соединила его с Москвой. Так оно и получилось. После этого звонка в тюрьме произошел великий переполох, некоторых работников выгнали, а его самого заслали в один из самых суровых сибирских лагерей. «Зачем тебе овчарка?» — спросил я у него. «В Нью-Йорке, — отвечал он весело, — овчарка незаменимый друг. Недавно прохожу по одной глухой улице. Смотрю, на спинке скамьи, стоящей перед сквером, сидит негр и пьет пиво из банки. Выпил пиво и бросил банку прямо на тротуар, хотя урна рядом. А я терпеть не могу, когда нарушается порядок». «А ну, подыми банку и положи ее в ур-

ну», — говорю ему. А он презрительно скалится и ничего не отвечает. Несколько раз повторяю ему, а он продолжает презрительно скалиться. «Джим, возьми его!» — крикнул я и отпустил собаку. Она прыгнула на него, но он с необыкновенной ловкостью перевернулся и упал на плотные кусты сквера по ту сторону ограды.

Собака тык-мык, не знает, как взять негра. (Почему она прямо не последовала за негром, он не стал объяснять. Возможно, следя за порядками в Америке, он приучил собаку к тому, что ограду перелезть нельзя.) Собака сначала заметалась, но потом побежала вдоль ограды, нашла вход в сквер и выбежала на негра. Но покамест она добежала до него, он вновь взгромоздился на спинку скамьи. Собака выбежала из сквера, долетела до негра и прыгнула. Но он опять успел перевернуться и рухнуть на кусты сквера. Собака опять побежала к выходу. И так несколько раз.

«Что вы делаете! — вдруг закричала какая-то сердобольная американка, оказавшаяся рядом. — Вы травите нефа собакой! Я позвоню в полицию!» Я показал ей на банку и объяснил, в чем дело. «Безобразие, — кричит она, — я сейчас позвоню в полицию!» «А я сейчас спрошу у Джима, как он к этому относится», — отвечаю я. Я посмотрел на Джима, после чего Джим внимательно посмотрел на женщину. Женщина испугалась и пошла дальше.

Собака снова взялась за негра. На этот раз, пока она бежала в сквер, негр выскочил на улицу, поднял банку из-под пива и зашвырнул ее в урну. Скорбно уселся на спинку скамьи.

В глазах тысячелетняя тоска. Но порядок был восстановлен, и я против него больше ничего не имел.

Я надел на собаку поводок и пошел дальше. На другой день прохожу по той же улице и вижу: несколько негров стоят за стеклянной дверью кафе. Среди них мой. Показывает на меня и что-то говорит своим друзьям, таким же пьянчужкам. Однако пока я не прошел с собакой, они не осмелились открыть дверь кафе. Был бы я без своего верного Джима, неизбежно предстоял бы драка. Может быть, пырнули бы ножом. А так не осмелились.

Так Думающий о России превратился в Думающего об Америке и наводящего в ней порядок при помощи овчарки. Америка — практичная страна. А нам, Думающим о России, как-то и в голову не приходит заводить овчарок.

— Пожалуй, ваш знакомый слишком активно наводит порядок в Америке. А что вам больше всего понравилось в Америке?

— Я заметил, что если где-нибудь в метро или в магазине случайно останавливаешь взгляд на американце, он в ответ тебе дружелюбно улыбается. А у нас, если на тебе кто-то случайно останавливает взгляд, ты внутренне сжимаешься в ожидании хамства. Какая уж тут улыбка. Дьявольская разница. Общее впечатление от Америки — неряшливое благополучие. У нас — нервная нищета.

— Оторвемся от политики. Лучше скажите, что думают Думающие о России о природе женственности? Или они об этом не думают?

— Думающие о России думают обо всем, что связано с будущим России. А правильное понимание природы женственности имеет отношение к будущему России.

Основа женской поэтичности — робость. Женщина должна преувеличенно бояться за судьбу своих близких, должна преувеличенно бояться темноты, грозы, крыс, тараканов, плохих снов, тревожных предчувствий. Трепет робости — основа ее поэтичности. Татьяна, Лиза, где вы? Это возбуждает в мужчине влечение к ней, мужество и чувство ответственности. Разве вы не замечали — у мужей смелых женщин всегда растерянные лица. Нарушен баланс природы, хотя сами они могут этого не понимать до конца своих дней. Они растеряны и от этого делаются робкими, а их смелые жены от этого делаются еще смелей и нахальней, от чего их мужья окончательно теряются. Беда стране, где слишком много смелых женщин. Робкая женщина может быть героична, как ласточка, защищающая своего птенца!

Наш знаменитый поэт сказал о русской женщине: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!» Робкая женщина как раз вбежит в горящую избу, спасая своего ребенка. А смелая женщина, бросив своего ребенка, победит коня на скаку останавливать. А какого черта его останавливать! Кто тебя просил лезть под коня! Конь — мужское дело!

— Хорошо, что вас не слышат наши феминистки. Они бы вас разорвали! Как вы думаете, секс связан с душевной расположенностью партнеров друг к другу? Я этот вопрос

никак не могу решить. Иногда кажется — связан, иногда — нет.

— Секс вообще никак не связан с душой. Я вам буду отвечать притчей. Вот что рассказывал один мытарь. У него была добрая, верная, набожная жена. Но она была некрасива. У этого неутомимого мытаря была также любовница. Очень красивая, но со стервозным характером. Когда мытарь спал с женой, он воображал на ее месте свою красивую любовницу, и это придавало ему дополнительную пылкость.

Когда же он спал со своей стервозной красавицей, он пытался представить, что у нее добрая, боголюбивая душа его жены. Но, к его удивлению, он этого никак представить не мог, и на его пылкости это никак не отражалось. Обо всем этом поведал мне сам мытарь. Из его опыта следует, что чувственное воображение влияет на секс, а нравственное воображение никак не влияет. Душа на секс не влияет. Точно так же наш ум не влияет на наш образ мыслей.

— Почему это?

— Ум только выполняет задание души. Я, например, считаю, что душа человека намного выше ума. Этим самым я унижаю ум, но все доказательства преимущества души логизирую через ум. Ум не обижается на свое унижение, он честно выполняет мой заказ. Но точно так же все человеконенавистнические идеи логизирует ум. Ум — что-то вроде самогонного аппарата. В его змеевике охлаждаются и превращаются в жидкость виноградный алкоголь или алкоголь, добытый из любого дерьма.



Ум всего лишь машина логизации того, что вибрирует и закипает в нашей душе. Точно так же секс — машина логизации нашего чувственного стремления. Вмешательство души только мешает сексу. Секс даже требует отупения. Как гениально сказал наш Тютчев, «угрюмый и тусклый огонь сладострастья». Тут особенно точное, особенно яркое слово — тусклый.

Помню, студентом на комсомольских собраниях, забившись где-нибудь в угол, я слушал отупляющие речи и, отупев от них, нередко чувственно просыпался: ложный сигнал отупения. И обратите внимание — человек в момент наибольшего напряжения сексуальных сил может разрыдаться, но не может расхохотаться. Серьезное дело! К этому я могу добавить только то, что неаппетитная добродетель не допускается к состязанию добродетелей, поскольку неясен источник ее добродетельности. И на этом мы закрываем тему.

— Однако Думающие о России, я вижу, думают не только о России!

— Попутно прихватываем.

— Вот о чем мы еще не говорили — о религии. Один мой друг так объяснял свой атеизм. «Как-то неприятно думать, — говорил он, — что кто-то, хоть и с неба, за тобой следит, следит, следит. Утомительно».

— Остроумно. Но не хватает гибельной веселости. Мне тоже один мой знакомый говорил: «Вот я крестился, а с похмелья все так же тяжело. Зачем же я крестился?» То, что

вера плодотворней неверия, это сейчас ясно всякому мыслящему человеку, но чувство Бога, соприкосновение с его духом — большая редкость. Я его недавно испытал. В тот день я беспрерывно думал о России. И весь вечер, до того как лечь, думал о России. И мне стало совершенно ясно, что не думать — грех. Большинство человеческих грехов происходит оттого, что человек не думает и не понимает, что не думать — грех.

И я невольно сказал себе перед тем, как лечь спать, сказал с не поддающейся сомнению искренностью: «Господи, благодарю Тебя за этот день!»

И было мне хорошо, а когда я сказал себе это, стало мне еще лучше. И я понял в тот вечер, что услышан Им и одобрен Им. Во всяком случае, за этот день. Вера — неистребимая потребность человека в высшей благодарности и в высшей жалобе. Неистребимость этой потребности в веках и тысячелетиях доказывает естественность веры в Бога.

Кроме того, есть и чисто житейские преимущества веры.

— Вот о них я и хотел бы услышать. Мы, американцы, пламенные поклонники прямой выгоды. Ничто так не убеждает, как выгода.

— Расчетливые люди плохо считают, но это выясняется на том свете. Вот житейское преимущество веры.

Верящие в Христа, Магомета, Будду стараются быть достойными учениками. Им и в голову не приходит сравняться с Учителем или тем более превзойти его. А неверующий человек всегда создает себе кумира, с которым наде-

ется сравняться, а если повезет, и превзойти его. И это развивает два разных человеческих качества. Недостижимость Учителя — источник сдержанности и восхищения всем недостижимым для верующего человека. Вечная мечта сравняться с кумиром или превзойти его — развивает в человеке наглость.

— Что такое гордость?

— Гнев, скованный презрением.

— Что такое скромность?

— Очень терпеливая гордость.

— Что такое зависть?

— Ложное чувство, что другой украл нашу судьбу, и одновременно неприятная догадка о неправильности нашей жизни.

— Безвыходное положение?

— Это когда человек пьет от застенчивости, а лечится от пьяного буйства.

— Что такое антисемитизм?

— Вот вам метафизика антисемитизма. Евреи старше нас и якобы могли нас спасти, пока мы были маленькими, но не спасли и при этом имеют наглость выглядеть не старше нас.

— Может быть, вы знаете, что такое шутовство?

— Тайная целомудренность истины.

— Кто пользуется наибольшим авторитетом?

— Наибольшим авторитетом пользуется тот, кто не пользуется своим авторитетом.

— Тогда скажите, что такое христианское терпение?

— С христианским терпением я недавно оскандалился. Я ночевал на даче. Перед тем, как заснуть, как всегда думал о России. Но какой-то упорный комар мне и заснуть не давал, и думать о России мешал. Он то зудел надо мной, то садился на меня. Как я ни пытался его прихлопнуть — не удавалось. И вдруг я увидел картину своей борьбы с комаром в истинном свете. Человек, царь природы, могучий психологический аппарат, заставляет свое тело находиться в ложной неподвижности, чтобы перехитрить комара. Какой позор! И я решил: пусть комар сядет на меня, напьется крови, я потерплю, а он, напившись, улетит. Я замер. Он позудел, позудел надо мной, а потом сел на мое тело. Угомонился. Воткнул в меня свой хоботок и начал пить кровь. Потерпи, говорю я себе. Но что-то ему вкус моей крови, видимо, не очень понравился, и он добровольно слетел с меня. Неужто, думаю, так быстро напился? Слышу, опять зудит, капризно выбирая место, где бы ему сесть. Я опять замер. Думаю, теперь-то он напьется. Сел, немного поерзал и снова вонзил в меня свой хоботок. Терпи, говорю я себе, теперь-то он напьется. Отвалил, но почему-то не улетает. Снова зудит надо мной. Долго выбирал место. Сел, лапками сучит. Успокоился. Снова вонзил в меня свой хоботок. Пьет. Неужто комар знает о нашей крови больше нас, думаю. Может, и в самом деле кровь в разных местах нашего тела имеет разный вкус? А он все выбирает. После пятого раза я не выдержал! Забыв про христианское терпение, я навалился на него и раздавил, как взбесившаяся бочка своего дегустатора! «Да будет то же самое с паразитами Рос-

сии», — подумал я и, постепенно успокоившись, уснул. Как сказал один человек, тоже Думающий о России, убивая комара, мы проливаем собственную кровь.

— После комара самое время поговорить о паразитах России. Как все это могло случиться в России? В стране Пушкина, Толстого и Достоевского?

— Наш знаменитый философ Бердяев как-то сказал: в русском человеке есть что-то бабье. Я бы сказал — бабья доверчивость последнему впечатлению.

Знаменитое изречение Ницше: «Падающего толкни». Предположим, это становится государственным законом. Сколько непадающих толкали бы. «Он же не падал, почему ты его толкнул?» «А мне показалось, что он падает».

Марксизм — в сущности, ницшеанство, только без его поэзии. В роли сверхчеловека — диктатор. Его главный лозунг: «Буржуазное общество падает — толкни его».

И толкали как могли. В результате развалились сами, при этом без всякого внешнего толчка. Это лишний раз напоминает нам о том, что каждый человек в отдельности и каждое общество должны быть озабочены собственной устойчивостью. Сосредоточившись на мысли о чужой неустойчивости, мы поневоле забываем о собственной устойчивости.

Но как они победили? Кроме насилия, есть один психологический эффект, который использовали большевики. Человек, разрушающий свой собственный дом, по меньшей мере, кажется безумцем. Человека, разрушающего все

дома на улице, мы склонны воспринимать как проектировщика новой, более благоустроенной улицы. Человеческий мозг отказывается признавать тотальное безумие и ищет ему рациональное оправдание. Такой особенностью человеческого сознания всегда пользовались творцы всех великих переворотов. У наших предков в свое время не хватило духу признать безумие безумием, хотя Думающие о России и тогда предупреждали, что все это кончится катастрофой.

— Но сегодня что делать? Все сходятся на том, что вы стоите перед пропастью.

— Думающие о России разработали несколько вариантов выхода из катастрофы. Я лично обдумал самый тяжелый случай: как вести себя, падая в пропасть. Мы сейчас с вами разыграем этот случай. Представьте, что мы с вами летим в пропасть.

— А я при чем? Я американец.

— Но мы же пока теоретически разыгрываем этот вариант. Значит, мы с вами летим в пропасть, имея возможность разговаривать друг с другом. Спросите что-нибудь у меня.

— Что я должен спрашивать?

— Включайтесь в этот пока теоретический эксперимент. Выше голову, мы летим в пропасть и разговариваем. Спросите что-нибудь у меня, а я буду отвечать, как здесь. Все время спрашивайте у меня что-нибудь!

— Что-то я не пойму. Мы еще летим или уже там, на дне?

- Еще летим. На дне не поговоришь.
- Значит, нам конец там, на дне?
- Не обязательно. Мы можем ногами пробить дно и полететь дальше.
- А разве можно ногами пробить дно?
- Можно. Еще Пушкин сказал: «вышиб дно и вышел вон». Дно наше. А раз у нас все прогнило, значит, и дно прогнило. Пробьем ногами дно и полетим дальше. Только ноги надо держать параллельно. Не забывайте!
- И будем лететь до следующего дна!
- Да, до следующего. Следующее дно тоже наше. Значит, и оно прогнило. Пробьем его ногами и полетим дальше.
- А по-моему, в русском языке нет множественного числа от слова «дно». Мы обречены остаться на первом дне.
- Ошибаетесь! В русском языке все есть. Множественное число от слова «дно» — «донья». Все предусмотрено. Да здравствует великий и могучий русский язык!
- Странное слово — «донья», я его никогда не слышал.
- Но вы никогда и не летели на дно. Еще не такое услышите!
- Вы считаете, что мы пробьем ногами и второе дно?
- Уверен. Если у нас все прогнило, значит, и все донья прогнили. Пробьем ногами. Только нам на время полета придется стать сыроедами. Склоны пропасти довольно плодородны. Попадаются черника, ежевика, грибы, кизил. Только не хлопайте глазами. На лету цап рукой и в рот! Теперь я понимаю, почему у нас в стране многие

сыроедством стали заниматься. Предвидели! Ох и хитер наш народ!

— Выходит, хорошо, что у вас все прогнило. Это сохранит нам жизнь.

— Да, выходит. Если уж гнить, то до конца!

— Как хорошо, что есть донья! Да здравствуют донья! Но ведь и доньям когда-нибудь придет конец?

— Есть шанс, что мы когда-нибудь плюхнемся в рай. Представляете — радость-то какая! Здравствуй, мамочка! Здравствуй, папочка! А вот и я!

— А если плюхнемся в ад?

— Еще лучше! Я все обдумал, я об этом мечтал всю жизнь. Там мы встретим всех вождей революции. Я им крикну: «Учение Маркса всеильно, потому что оно суеверно!»

Я так мечтал встретиться с ними. Увидев Сталина, я скажу: «А с вами, товарищ Сталин, я хотел бы продолжить дискуссию о языкознании!» Но он скорее всего мне ответит: «Тэбэ не по рангу».

Тут из своего адского кабинета выскочит уже навеки бодрый Ленин. Он воскликнет: «Ходоки из России? А вы, товарищ, из Коминтерна? Превосходно. Там у вас кухарки управляют государством, как я предсказывал? Очень хорошо!»

А мы опять в эмиграции. Архидикая страна! Далековато им до Швейцарии! Азиатчина! Какие-то странные аборигены. Никакой агитации не поддаются. При этом утверждают, что именно для нас, как для родственного племени, создали



почти кремлевские условия. Ничего себе кремлевские условия, чай и то пахнет серой. Кругом горячие реки! В них купаются какие-то ревматики, и день и ночь кричат, по-видимому, от болезненного удовольствия. Я их вождям говорю: “Горячие реки! Надо тепловые электростанции ставить. Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всего ада!”

Как только начинаю их вождям говорить об этом, они делают вид, что не понимают языка. Я уж с ними и по-русски, и по-французски, и по-немецки! Они на все отвечают: “Моя твоя не понимай! Бесы и черти — братья навек!” Чушь какая-то! На днях прямо вывели меня из себя, и я закричал: “Папуасы проклятые! Я вам не Миклухо-Маклай! Я Ленин! Я прикажу Феликсу Эдмундовичу вас расстрелять!”

Нервишки пошаливают. Это, конечно, можно истолковать как шовинизм. Получается, что русские выше папуасов. А мы, большевики, всегда утверждали, что все народы равны. Особенно перед расстрелом! Придется извиниться перед товарищами. Извиниться и расстрелять! Диалектика!

А тут еще Коба продолжает свои интриги. Он считает, что по моему тайному указанию гроб с его телом вынесли из Мавзолея. Бред какой-то! И это при том, что мой труп без моего разрешения поместили в Мавзолей. Архиглупость! Вообще Коба относится к своему трупу с недопустимым для большевика пиететом. Помесь идеализма с язычеством. Не стыдно, Коба? Я могу этот вопрос поставить перед ЦК».

«Труп трупу рознь, — угрюмо надувшись, ответит Сталин. — У меня труп генералиссимуса». «И вот этого интригана, — воскликнет Ленин, — местные аборигены считают главным теоретиком партии! И это затрудняет мою работу! Невежество немыслимое!»

И тут я им врежу всю правду. Об этом я мечтал всю жизнь. Я крикну: «Вот вы все здесь вожди революции. Скажите, есть ли во всей вашей истории хотя бы один благородный поступок?»

И тут они сначала загалдят со всех сторон, заспорят, а потом придут к единомыслию и станут кричать: «Голодный обморок Цурюпы! Голодный обморок Цурюпы!»

— Кто такой Цурюпа? Я что-то не слыхал о нем.

Был такой деятель, он заведовал всеми продуктами Советской республики и действительно однажды упал в голодном обмороке. «А где же сам Цурюпа? — спрошу я. — Что-то я его не вижу». «А его направили в рай, — вмешается Калинин, поглаживая бородку, — к нему приводят делегации ангелов и показывают на него: вот большевик, который заведовал всеми продуктами страны, а сам упал в голодный обморок. Святой Цурюпа! И ангелы плачут от умиления, глядя на Цурюпу. А мы, между прочим, уже налаживаем связи с Цурюпой. С его помощью мы переберемся в рай и взорвем его изнутри». «Знаю я этот ваш голодный обморок Цурюпы, — вмешается тут вечно завистливый Сталин, — я его попросил выдать из складов ЦК дюжину бутылок кахетинского. Гостей ждал. А он мне отказал. Тогда я на него так посмотрел, что он в обморок

упал. Вот вам и голодный обморок Цурюпы». «Коба опять клеветает, — вмешается Ленин, — голодный обморок Цурюпы подтвержден всеми кремлевскими врачами. А то, что в раю его признали, — тоже неплохо. Иногда признание врагов служит лучшим доказательством нашей правоты. А кстати, среди сегодняшних ваших вождей бывают голодные обмороки?» «Среди вождей не слышал, — отвечу я, — но среди шахтеров и учителей случаются». «Подвиг заразителен! — воскликнет Ленин. — Народ подхватил голодный обморок Цурюпы! Я всегда стоял за монументальную пропаганду!»

— Боже, какой кошмар! Но, может, мы пролетим мимо ада?

— Все может быть! Летим себе, пробивая донья! Наговоримся всласть и разрешим все неразрешенные русские вопросы. Видно, их надо было разрешать на лету. А мы пытались на своих кухнях под чай или под водочку их разрешить. Не получилось. А ведь недаром какой-то мыслитель сказал: движение — все. Цель — ничто.

— Но что толку разрешать ваши вопросы, когда вы ничего не можете передать наверх, своим.

— Зачем наверх? Наши все будут внизу.

— Все?

— Все, кто долетит.

— Долетит до чего?

— Вот этого я не знаю. Главное — долетит.

— Так вы считаете, что не все долетят?

— Конечно, не все долетят. Но те из нас, кто долетит, поделятся своими мыслями с согражданами.

— Так вы считаете, что мы все-таки долетим?

— Все так считают.

— И те, кто не долетит, тоже так считают?

— Конечно.

— Мне жалко их. Но ведь у нас шансов больше?

— Конечно. У меня опыт прыжков с парашютом. Я увлекался парашютным спортом. Но потом все парашюты у нас отобрали и засекретили. Уже тогда можно было догадаться, что дело плохо, но я не догадался. Доверчивый.

— Так ведь мы летим без парашютов?

— Но у меня большой опыт приземления. Делайте, как я. Кстати, ноги у вас опять ножницами. Держите их параллельно! Привыкайте!

— Тогда начнем обсуждать: кто во всем этом виноват и где выход?

— Сейчас поздно обсуждать, мы приближаемся ко дну. Пробьем его ногами и начнем обсуждать.

— А если не пробьем?

— Тогда тем более было бы глупо сейчас это обсуждать.

— Как вы думаете, начальство перед падением прихватило с собой парашюты?

— Не думаю, а уверен! Недаром они сперва засекретили парашюты, а потом разворовали. Но как раз из-за этого их ожидают полные кранты.

— Почему?

— Мягкая посадка. Они никак не смогут пробить ногами дно. Так и останутся на первом дне — ни вверх, ни вниз. С голоду перемрут.

— Но, может, им будут гуманитарную помощь спускать на парашютах?

— Не смешите людей! Никто же не будет знать, где они. Они сами во всем виноваты. Оторвавшись от народа, они решили, что дно окончательно. А народная мудрость гласит, что нет дна, но есть донья.

— А что дает эта мудрость?

— Все! Народ уверен, что ничего дном не кончается, потому что есть донья, а не дно. И вся жизнь продолжается между доньями. Народ, падая, живет, потому что верит в донья. И потому народ — бессмертен. А начальство не верит в донья и потому, падая, гибнет.

— Да здравствуют донья! Да здравствуют донья! Все-таки странное слово. В нем есть что-то испанское.

— А разве вы не слышали о всемирной отзывчивости русской души? Революция, инквизиция, гражданская война. У нас с испанцами много общего.

— А где Франко?

— Долетим, будет и Франко.

— Как вы думаете, он уже летит?

— Летит. Даже с опережением.

— А что, если он с парашютом летит?

— Не такой он дурак. Когда будем пролетать первое дно, мы мельком увидим начальство всех мастей. Одни будут

кричать: «Остановитесь, мы уже в коммунизме!» Другие будут кричать: «Остановитесь, у нас полная демократия!» А мы пролетим и крикнем: «Привет от Цурюпы! Да здравствуют донья!»

Пусть они там сами выясняют отношения друг с другом. А мы пролетим мимо них и ногами пробьем дно! Только ради этого стоило лететь! Мы приближаемся к первому дну. Ноги параллельно! Глубже дышите!

— Привет от Цурюпы! Да здравствуют донья!

— Привет от Цурюпы! Да здравствуют донья! Будем надеяться, что мы пробили первое дно. Те из нас, кто долетит, узнают, наконец, в чем спасение России...

В это время к ним подходит какой-то парень.

— Купите полное собрание сочинений Ленина и Сталина?

— Боже мой, последние национальные богатства уплывают! И сколько они стоят?

— Пятьдесят долларов собрание сочинений Ленина и столько же Сталина.

— А где они у вас?

— В машине.

— Прямо как балетные девочки! Но как же у вас получается — полное собрание сочинений Ленина, кажется, пятьдесят пять томов. А Сталина — всего десять томов. А цена одна.

— А когда начали запрещать Сталина? Еще при Хрущеве! А Ленина фактически никогда не запрещали, хотя и не

переиздавали. Поэтому собрание сочинений Сталина — редкость. Его начали раскупать еще при первых запретах.

— А где вы их достаете?

— У внуков и правнуков старых большевиков.

— Ну и как покупают?

— Неплохо покупают. Марксистские кружки и иностранцы.

— Что, опять марксистские кружки?! Я этого не вынесу! А на таможне не отбирают сочинения Ленина и Сталина?

— Даю гарантию! Не отбирают! Есть тайный приказ правительства поощрять вывоз марксистской литературы из России. Особенно в Америку.

— А что это дает?

— Наивняк. Они думают, что марксистская литература мешает реформам. Они думают, что и коммунисты покинут страну вслед за марксистской литературой. А коммунистам нужна власть, а не сочинения Ленина и Сталина. Сам я демократ...

Я вижу, что вы иностранец. Берите собрание сочинений Сталина — всего пятьдесят долларов.

— Нет, вы знаете, я этой литературой мало интересуюсь.

— Даю в придачу к собранию сочинений Сталина бесплатно два тома Ленина с письмами к Инессе Арманд. Берите, не пожалеете!

— Нет, спасибо, обойдусь как-нибудь без писем к Инессе Арманд.

— Боже, что я слышу! Ленина бесплатно в придачу к Сталину! Ленин перевернется в гробу, если, конечно, то, что в гробу, это он! Впрочем, это месть истории. В последние годы жизни Ленина он уже был в придачу к Сталину.

— А если купить собрание сочинений Ленина, можно в придачу бесплатно получить два тома Сталина?

— Нет. Сталин — дефицит. Его еще при Хрущеве стали запрещать, поэтому почти все раскупили. Редкость. Так вы купите что-нибудь или мы будем время терять?

— Нет, молодой человек, таких книг мы ни при какой погоде не читаем.

— Ну, ладно. Я здесь похожу. Если передумаете, дайте знать.

— Мы уже и так все передумали.

И молодой человек отходит.

— Однако, я вижу, личных машин в Москве стало гораздо больше. В прошлый свой приезд я этого не заметил...

— Да, личных машин стало больше... Боже, как грустна наша Россия! Марксистские кружки! Это меня убивает, даже если он врет!

— Кстати, что вы думаете о Ленине как о мыслителе?

— Ленин — мировой рекордсмен короткой мысли. Если вы увидите документальное кино с его участием, то вы заметите, как он бесконечно жестикулирует. Все люди, у которых короткие мысли, пытаются удлинить их при помощи жестикуляций. Они думают, что мысль при помощи вытянутой ру-



ки удлиняется. У Ленина была жесткая душа, а монета мысли лучше всего отпечатывается на мягкой душе.

— Но ему никак нельзя отказать в последовательности.

— Последовательное безумие и есть самое подлинное безумие.

— Интересно, был он суеверен хоть в чем-нибудь?

— Не думаю. Суеверие — следствие неуверенности во внутренней правоте. Суеверие бывает свойственно очень простым и очень сложным людям. Пушкин был суеверен, но человек с гипертрофированной уверенностью в своей внутренней правоте не бывает суеверным. Ленин не мог сказать: «Понедельник — тяжелый день. Нельзя начинать революцию в понедельник».

— Но кого же из деятелей русской истории вы считаете самым великим?

— Видимо, все-таки Петра Первого. Он обладал могучей волей, обширными планами и в самом деле был работником на троне. Но, как пишет наш замечательный историк Василий Осипович Ключевский, Петр защитил Россию от ее врагов, но при этом он так ее разорил, как не могли бы ее разорить все враги вместе взятые. В России никто никогда не считался с жертвами, и сейчас не считаются.

— Есть среди новых политиков России харизматическая личность?

— Харизматической личности не видел, но харизматических много.

— Вы прямо как Собакевич Гоголя.

— Из всех героев Гоголя, к сожалению, Собакевич больше всего прав. В самом деле — кругом разбойники.

— Ну, хорошо. Еще до чего-нибудь додумались Думающие о России? Только коротко и ясно.

— Есть еще два варианта. Первый. Божий гнев потрясет Россию, а затем явится мощная личность и скажет: «Братья, надейтесь! Мы вместе с Россией распрявимся! — И тут же громовым голосом: — А вы, сволочи, по местам!»

И сволочи расползутся по местам, и свет надежды заструится над Россией.

— А второй вариант? Только так же коротко и ясно.

— Думающие о России додумались до великой планетарной мысли, которая повернет ход мировых событий.

— В чем она заключается?

— Если коротко, она заключается в том, что еврейское время должно оплодотворить русское пространство.

— Ну, это слишком коротко. Как это понять?

— Оказывается, мы и евреи — это два духовно родственных народа. Только эти два народа в течение многих веков говорили о своей особой исторической миссии на земле.

Получилось так, что евреи захватили время. Официально пять тысяч лет, а сколько у них в заглавнике, никто не знает. Может, еще десять тысяч лет. Но, увлекшись захватом времени, евреи потеряли пространство. А мы, русские, увлекшись захватом пространства, выпали из времени. Величайшая задача природы — соединить еврейское время с русским пространством.

Что такое Израиль? Это наша русская лаборатория, хочет он того или нет. Через десяток лет русский язык станет вторым государственным языком Израиля.

— Допустим. Что это меняет?

— Это создает между русскими и евреями новый закон всемирного тяготения. Значит, в руках у евреев время. У нас в руках пространство.

А что такое время? Кстати, американское научное открытие: время — деньги. Время тянется к пространству или пространство тоскует по времени. Это безразлично. Но это факт, хотя и метафизический. В результате соединения времени с пространством инвестиции, инвестиции, инвестиции посыплются на Россию, строго и равномерно оплодотворяя ее пространство.

— Интересно у вас получается. Еврейское время тянется к русскому пространству, а сами евреи бегут из России. Надо думать, прихватив свое время.

— Никакого противоречия! Истинная любовь как раз проявляется только на расстоянии. Полюса времени и пространства принимают законченный вид и уже неостановимо тянутся друг к другу.

— А если они не захотят оплодотворять деньгами ваше пространство?

— Как не захотят? Заставим! Вернее, закон природы заставит. Это не зависит от личной воли евреев или русских. Время ищет свое пространство, пространство ищет свое время, и они в конце концов соединятся. Израильская лаборатория

работает на нас, сама этого не ведая. У них процветают кибуцы. Но это же хорошо отредактированный наш колхоз! И это не случайно.

Выпав из времени, мы запутались, мы не знали, где, когда и как надо было начинать. Поэтому у нас колхозы провалились. Но вот вам доказательство действия мировых законов, независимо от воли человека. Почему при огромных внешних связях с Америкой евреи не развивали фермерское хозяйство? Тайная любовь. Тяга времени к пространству. Скоро, скоро в историческом смысле в России начнется изумительная жизнь.

— Допустим, я поверил в эту безумную, хотя и оригинальную идею. Но куда же денутся ваши бесчисленные воры? Если верить вам, они кишмя кишат в России.

— О, тут своя хитрость! Каждый, кто живет в России, знает, чувствует на своей шкуре, как буквально с каждым днем воруют все больше и больше, все быстрее и быстрее!

— Что ж тут хорошего?

— Это результат могучего сближения времени с пространством. Чем больше крадут, тем неизбежней момент, когда воровать будет нечего и воры самоистребятся, как крысы после кораблекрушения, выплывшие на голую скалу. Гениально!

— И до этого додумались Думающие о России?

— И до этого, и до многого другого, что пока из политических соображений нельзя раскрывать.

— А вам не кажется, что Думающие о России однажды окажутся в сумасшедшем доме?

— Новая сталинщина? Тоже возможно. Но что для истории пятьдесят или сто лет? Миг! Никто и ничто не может остановить тысячелетнюю тягу друг к другу времени и пространства. Тут планетарные законы!

— Я знаю, что вы из Думающих о России. Но какая-нибудь гражданская профессия у вас есть? Где вы работаете?

— Россия — так красиво звучит, что работать неохота. Шу-чу. Я физик по профессии, но нашу лабораторию уже три года как закрыли: денег нет.

— А сейчас это ваше рабочее время или свободное?

— Свободное. Потому-то я и оказался в вестибюле вашей гостиницы.

— Но согласно вашей теории, что делают Думающие о России в свободное от думанья время?

— Как джентльмен джентльмену могу признаться. Мой друг художник мне сказал: «Займи этого господина, а я постараюсь продать его жене лжестаринную икону». Судя по тому, что он уже удалился, операция завершена.

— Мэри, ты что-нибудь купила?

— Да, милый. Пока ты шлифовал свой русский язык с этим человеком, я приобрела чудесную икону шестнадцатого века! И всего за двести долларов. Продавец иконы оказался отпрыском потомственных священнослужителей. Он сам чудом уцелел во время сталинских чисток, хотя был еще совсем ребенком. Душераздирающая история. Я тебе потом расскажу. Она сама стоит не менее двухсот долларов.

— Считай, что ты за нее уже заплатила.

— Он сперва запросил пятьсот долларов. Но я ему сказала, что я жена не богатого бизнесмена, а всего лишь профессора-русиста.

«Ах, русиста, — приятно удивился он, — тогда другое дело! Отдаю вам икону почти даром за поддержку нашей культуры». Видишь, как я тебя удачно приплела. И все правда! Но какой он патриот! Я только боюсь, пропустят ли в таможне такую ценную вещь. Не связаться ли с нашим посольством, чтобы они помогли?

— Поздравляю тебя с удачной покупкой! Уверен, что помощь посольства не понадобится... Но, мой друг, вы за ваши соображения о России, сделав из них лекцию в Америке, могли бы заработать гораздо больше двухсот долларов.

— Как джентльмен джентльмену могу признаться, что я заработал сто долларов. Мой друг художник, чтобы внедриться в шестнадцатый век, тоже потрудился на сто долларов. Для нас, Думающих о России, это немалые деньги.

— Клянусь Мэри, вы мне нравитесь! Но неужели вы не записали на магнитофон свою фантазию? Неужели вы каждый раз так импровизируете?

— Конечно. Если бы я записал на магнитофон свои соображения, а потом повторял их, как попугай, это было бы воровством. Что касается моей лекции в Америке, то это исключено. К лекции надо заранее готовиться, а я могу только импровизировать. Можете сами воспользоваться моими соображениями для своей лекции, только не ссылайтесь на меня.

— Почему?

— Потому что неизвестно, кто в России будет у власти, когда вы будете читать свою лекцию.

— Выходит, и я заработаю на вашей лекции. Выходит, я подворовываю с вашего согласия.

— Выходит.

— Из вашего рассказа мне показалось, что в России подворовывают меланхолично. Но на вас это не похоже.

— У нас подворовывают довольно бодро, но при этом плачут невидимыми миру слезами.

— Я приглашаю вас в этот бар выпить со мной виски. Разумеется, за мой счет.

— Охотно принимаю ваше приглашение. Но было бы в высшей степени странно, если бы вы пригласили меня в бар выпить за мой счет.

— Удивительное дело! Оказывается, у вас в России проблемы со льдом.

— Это недоразумение. Среди природных богатств России снег и лед занимают первое место.

— А вот послушайте меня. Это забавно. Мы с женой были на юге России. Зашли в ресторан. Мы заказали водку, закуски, минеральную воду, а я еще попросил официанта принести нам лед, не без основания догадываясь, что сам он этого не сделает. Он как-то странно на меня посмотрел и неуверенно удалился. Его так долго не было, как будто он этот лед добывал на горных вершинах. А потом приходит и приносит нам пузырек с йодом. «Лед! Лед! А не йод!» — кричу ему.

Он был совершенно ошарашен, а потом спрашивает у меня: «Зачем вам лед?» Я говорю ему уже раздраженно: «Мы, американцы, обедаем со льдом». «Но у нас, — говорит он, — лед электрический, его кушать нельзя». «Что еще за электрический лед?» — спрашиваю. «Из холодильника», — отвечает он сокрушенно.

Тут я расхохотался. «А вы думаете, мы лед привозим со Шпицбергена? Мы тоже достаем лед из холодильника».

Он все еще удручен чем-то. «А йод пока оставить или взять?» — говорит он. «Если у нас не предстоит драка, — говорю ему, — можете забрать».

Как бы не уверенный, что драка не предстоит, он забирает йод и удаляется. Вскоре принес тарелку с каким-то ноздреватым льдом и перечницу с собой прихватил. «Спасибо, — говорю, — но зачем перечница?»

И тут он не выдержал. «Но ведь лед пэресный, пэресный!» — вспыхнул он и оскорбленно удалился, однако перечницу оставил. Тогда я сказал жене: «Это страна дураков!» Но теперь глубоко извиняюсь и беру свои слова обратно.

— О невежестве официантов я вам могу сейчас же прочесть лекцию, и притом совершенно бескорыстно. Мой бизнес завершен.

— Нет, знаете ли, достаточно. Пить будем с одним условием: молча.

— Виски стоят такого условия. Идет!

— Мэри, мы пошли в бар. Присоединяйся к нам.

— Нет, я здесь еще посижу и погляжу на людей.



— Если тебе предложат что-нибудь вроде вазы времен государства Урарту, воздержись от покупки.

— Хорошо, милый. Я сама знаю, что два раза подряд так повезти не может. Не такая я дурочка.

## СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА

### Знакомство с героем

Здесь, в горах, на альпийских высотах в пастушеском шалаше, радио принесло весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел Ла-Манш на самодельном самолете, работающем при помощи мускульной силы пилота.

Обычно такого рода новости меня мало трогают, но тут что-то ударило меня в грудь, я покинул шалаш и пошел по цветущему лугу к своему любимому месту над обрывом. Пастушеская собака со странной для Кавказа кличкой Дунай увязалась за мной. За время моего пребывания у пастухов мы с Дунаем полюбили друг друга. Меня бесконечно забавляло в нем сочетание свирепых, рыжих, мужичьих глаз и добрейшего характера. У людей чаще бывает наоборот — глаза вроде добрые, а душа поганая.

С одушевленной человеческой осторожностью Дунай заглянул в обрыв, мотнул головой, скорее всего в знак неодобрения увиденного, и, повернувшись к обрыву спиной, брякнулся у моих ног.

Зеленые холмы, кое-где покрытые пятнами снежников, пушились золотом цветущих примул. В провале обрыва, словно раздумывая, куда бы им направиться, медленно роились клочья тумана и шумела невидимая в бездонной глубине речка. Далеко за обрывом тяжелел темно-зеленый пихтовый склон горы и желтела ниточка дороги от Псху на Рицу.

Меня ударило в грудь воспоминание о Викторе Максимовиче. Он тоже всю жизнь занимался летательным аппаратом, движущимся на мускульной силе пилота. Аппарат его назывался махолетом, то есть он после разбега набирал высоту взмахами крыльев. Виктор Максимович шесть раз ненадолго взлетал на своем махолете, четыре раза падал, но отделялся сравнительно легкими ранениями.

Сейчас, узнав об англичанине, перелетевшем Ла-Манш, мне стало горько за Виктора Максимовича и стыдно за себя. Англичанин, вероятно, получит премию в сто тысяч фунтов, назначенную за такой перелет неким любознательным богачом. Об этой премии Виктор Максимович неоднократно говорил, и он был так близок к последней, самой летной конструкции махолета. Зная Виктора Максимовича, невозможно было усомниться, что эта премия его интересовала как мощная возможность окончательного усовершенствования своего любимого детища.

Мне стало стыдно за себя, потому что ни разу в жизни я не проявил настоящего интереса к тому, что он делал. Как и все мы, поглощенный своими заботами, я не придавал

должного значения жизненной цели этого огненного мечтателя. Ну, получится, ну, полетит, думал я, что тут особенного в век космоса?

Но я любил этого человека за многое другое. Он был отличным собеседником, и я никогда не встречал ни в одном другом человеке такой размашистой широты мышления и снайперской точности попадания в истину. Немыслимая преданность своему делу как-то свободно и спокойно уживалась в нем с интересом к окружающей жизни и людям. Его многие любили, но некоторые и побаивались попадаться ему на язык. Его терпеливая доброта с безвредными глупцами неожиданно обращалась в обжигающую едкость насмешки в адрес местных интеллектуалов.

Он был начитан, хотя я встречал людей и более начитанных. Но я никогда не встречал человека, который бы так много возился с понравившейся ему книгой. Он ходил с ней по кофейням, зачитывал куски и охотно одалживал ее тем, кто, по его разумению, был в состоянии ею наслаждаться.

— Культура, — говорил он, — это не количество прочитанных книг, а количество понятий.

Жил он за городом у моря. Изредка он появлялся в городе, одетый в штормовку защитного цвета и такого же цвета спортивные брюки. Он был чуть выше среднего роста, худ, загорел, крепкого сложения. На хорошо вылепленном лице кротко и неукротимо светились маленькие синие глаза. И иногда трудно было понять — то ли свет его глаз неукро-

тим от уверенности во всепобеждающей силе кротости, то ли сама кротость в его глазах — следствие неукротимой внутренней силы, которая только и может позволить себе эту кротость.

На шее у него всегда был повязан платок, что придавало ему сходство с художником или артистом. Кстати, из-за этого шейного платка однажды тень разочарования омрачила мое отношение к нему. И раз я вспомнил об этом — договорю, чтобы больше к этому не возвращаться.

Так вот, обычно у него шея была повязана голубым платком. Но однажды он явился в кофейню с красным платком на шее. Я шутовски спросил у него, мол, не означает ли этот новый платок некие сдвиги в его мировоззрении.

— Нет, — сказал он без всякой улыбки, глядя на меня своим кротким и неукротимым взглядом, — неделю назад я услышал какие-то жалобные крики, доносящиеся с моря. Я подошел к берегу и увидел дельфина, кричащего и бьющегося у самой кромки прибоя. Я подошел к воде, наклонился и заметил на спине дельфина глубокую рану возле хвоста. Не знаю, то ли в драке с дельфинами он ее получил, то ли напоролся на сваю возле каких-то ставников. Я стоял некоторое время над ним. Дельфин никуда не уплывал и продолжал издавать звуки, подобные стону. Я понял, что он ищет человеческой помощи. Я вернулся домой, взял в аптечке у себя несколько пачек пенициллинового порошка, подошел к берегу, разделся, вошел в воду и высыпал ему в рану весь пенициллин. После этого я пе-

ревязал ему спину своим платком. Дельфин продолжал биться мордой о берег и барахтаться в прибое. Тогда я приподнял его, отошел на несколько метров в глубь воды, повернул его мордой в открытое море и опустил в воду. После этого он уплыл.

Так как я знал, что этот человек никогда не говорит неправды, я был сильно ошарашен. Слушая его и глядя в его яркие синие глаза, я вдруг подумал: он спятил! У него пропал шейный платок, а остальное — галлюцинация!

— Ну и как, дельфин этот больше не приплывал? — осторожно спросил я, делая вид, что поверил ему.

— Нет, — сказал он просто. Мне показалось, чересчур просто. Я любил этого человека, и меня некоторое время мучил его рассказ. Он меня настолько мучил, что я придумал сказать ему, мол, местные рыбаки поймали в сети дельфина, обвязанного голубым платком. Мне хотелось посмотреть, опустит он свои глаза или нет. Однако сказать не решился и никак не мог понять, был этот дельфин в конце концов или нет.

Все же через некоторое время я как-то успокоился на мысли, что в жизни всякое бывает. Тем более об этих чертовых дельфинах чего только не рассказывают. Да и мало ли в жизни случается неправдоподобного. Я, например, однажды бросил окурочек с балкона восьмого этажа и попал им в урну, стоявшую на тротуаре. Неправдоподобность этого случая усиливается тем, что я именно целился в эту урну и попал. Если б не целился, было бы более правдоподобно.

Так и дельфин этот, если бы плавал в море не в этом голубом платке, а как-то поскромнее, скажем, обвязанный бинтом, было бы более похоже на правду. Во всяком случае, более терпимо.

Обычно, придя в город, Виктор Максимович останавливался возле одной из открытых кофеен и пил кофе. Я знал, что чашечка турецкого кофе — это единственное баловство, которое он может себе позволить на собственные деньги. Я знал, что последние десять по крайней мере лет он питается только кефиром и хлебом, не считая фруктов, которые растут на его прибрежном участке. Все, что он зарабатывал, уходило на сооружение очередного махолета.

Сам он об этом говорил просто, считая, что невольная диета помогает ему сохранить форму, ибо каждый лишний килограмм веса — это трагедия для свободного воздухоплавания. Впрочем, для полной точности должен сказать, что его охотно угощали и он с царственной непринужденностью принимал угощения, снисходительно слушая бесконечные шутки по поводу его фантастического увлечения. В нашем городе чудаков любят и подкармливают, как птиц.

Обычно, приходя в кофейню, он озирался в поисках нужного ему человека. Наши кофейни представляют собой биржу для деловых встреч. Здесь он виделся со спекулянтами, снабженцами, вороватыми рабочими, которые доставали необходимые ему краски, смолы, полиамидные пленки, пласт-

массу, одним словом, все, чего нельзя было купить ни в одном магазине.

Думаю, что пора рассказать все то, что я знаю о прошлом Виктора Максимовича Карташова. Отец его, дворянин по происхождению, приехал в Абхазию вместе с семьей в 1920 году.

В те времена довольно много представителей русского дворянства, я говорю, довольно много, учитывая масштабы маленькой Абхазии, бежало сюда. Это было своеобразной полуэмиграцией из России. По имеющимся у меня достаточно надежным сведениям, их здесь почти не преследовали, как почти не преследовали и местных представителей этого сословия. Я думаю, тут сказались и закон дальности от места взрыва, и более патриархальная традиция близости всех сословий, которой невольно в силу всосанности этих традиций с молоком матери в достаточно большой мере подчинялась и новая власть.

Настоящее озверение пришло в 1937 году, но тогда оно коснулось всех одинаково.

Отец Виктора Максимовича, по образованию агроном, устроился работать в деревне недалеко от Мухуса. Мать маленького Виктора, когда он чуть подрос и его уже можно было оставлять на попечение бабушки, тоже пошла работать в районную больницу. В те годы отец Виктора чуть ли не первым построил дом на диком загородном берегу моря, впоследствии ставшем крупным курортным поселком.

Перед войной Виктор Максимович окончил летную школу и на фронт попал военным летчиком. Судя по всему, он хо-

рошо воевал, был трижды ранен и однажды дотянул до аэродрома горящий самолет. После войны он демобилизовался, вернулся в Абхазию, устроился на местном аэродроме и стал летать на По-2 по маршруту Мухус — Псху.

Однажды из-за нелетной погоды самолет его на несколько суток застрял в горах на Псху. В это время на Псху жил немецкий коммунист. Они встретились на какой-то вечеринке, и Виктор Максимович, вероятно, находясь в состоянии легкого подпития, рассказал анекдот о Сталине.

Услужливый немец написал донос. Не исключено, что донос полетел вместе с почтой, загруженной в самолет Виктора Максимовича, потому что другого цивилизованного пути на Псху не было. Нельзя же представить, что донос был отправлен на вьючной лошади.

Так или иначе Виктора Максимовича арестовали, а на аэродром приехала комиссия по проверке идеологической работы. Кстати, мой родственник, работавший тогда на аэродроме и редактировавший стенгазету, рассказывал, что комиссия подняла номера стенгазет за многие годы в поисках подрывных материалов.

После смерти Сталина постепенно стало ясно, что рассказанный анекдот потерял свою актуальность, и Виктора Максимовича отпустили домой. Он приехал в Абхазию, но дома его ждало печальное запустение: отец и мать умерли. Бабушка умерла еще раньше, перед самой войной.

Отец его, страстно любивший своего единственного сына, в сущности, умер от горя, и мать вскоре последовала за ним.



В те времена политические заключенные, даже если отсиживали свой срок, очень редко отпускались на свободу, и, конечно, отец Виктора Максимовича хорошо об этом знал. Как это ни странно, на смерть Сталина тогда никто не рассчитывал, и те, кто ненавидел лютой ненавистью рябого дьявола, и те, кто боготворил его, как бы слились в согласии, что он никогда не умрет.

Виктор Максимович вернулся домой, но к своей старой профессии не вернулся или, вернее сказать, теперь решил вернуться к ней более сложным путем. Он решил сам создать воздухоплавательный аппарат и сам полететь на нем.

На жизнь он зарабатывал, починяя окрестным жителям все, что можно было починить, от моторов автомашин до электроутюгов. Он хорошо зарабатывал, но приходилось на всем экономить, потому что только через спекулянтов удавалось доставать материалы, необходимые для его дела.

Виктор Максимович когда-то был женат, и притом, говорят, на красавице, но я ее никогда не видел. Ко времени нашего знакомства он был один. Много лет назад они разъехались или разошлись, и она отправилась к себе в Москву.

Возможно, однажды, показав ему рукой на очередной махолет, она сказала: «Или он, или я» — и, не дожидаясь ответа, потому что ответ и так был ясен, навсегда уехала в Москву.

Виктор Максимович и сам почти каждую зиму, разобрав и сложив свой летательный аппарат, на два-три месяца уезжал в Москву. Там у него были друзья, поклонники его дела, которые, кстати, присылали ему лучшие русские книги — почтой советские издания, с оказией — заграничные.

Встречался ли он там со своей бывшей женой, не знаю. Скорее всего нет. За все время нашего знакомства, которое длилось лет десять, он только однажды упомянул о ней во время застолья.

— А правда ли, — спросил один из застольцев у него, — что ваша жена была необыкновенной красавицей?

— Это была гремучая змея, — ответил Виктор Максимович и после небольшой паузы добавил: — Но с глушителем, что делало ее особенно опасной.

Он об этом сказал совершенно спокойно, как о давно установленном зоологическом факте. Однако в этом спокойствии было нечто такое, что исключало, для меня, во всяком случае, задавать вопросы на эту тему.

В городе он всегда появлялся один или в редких случаях со своим махолетом. В таких случаях махолет был прицеплен к старенькому «Москвичу», принадлежащему одному из друзей Виктора Максимовича. Машина осторожно проезжала по центральной улице, и серо-голубой махолет покорно следовал за ней, покачивая дрябловатыми крыльями, кончавшимися разрезами наподобие крыльев парящего коршуна.

Приезжие удивленно смотрели на этот воздухоплавательный аппарат, а местные люди давно к этому привыкли. Машина направлялась в сторону Гумисты. Там, в зеленой плоской пойме реки, Виктор Максимович испытывал свой аппарат. Обычно эту процессию сопровождал милицкий мотоцикл. Я сначала думал, что милиция в данном случае следит, чтобы махолет не нарушал правила уличного движения, и только позже узнал, что испытания его проходят под неизменным надзором милиции.

Мне кажется, что мечта о таком воздухоплавательном аппарате, который действовал бы за счет собственных сил летуна, у Виктора Максимовича впервые возникла в лагере. Так мне кажется, хотя сам он об этом никогда не рассказывал.

Как я уже говорил, мы с Виктором Максимовичем встречались в основном в кофейнях. Может создаться ложное впечатление, что он очень часто там бывал. Нет. Он вообще в город приезжал очень редко, но, приехав и посетив кофейню, никуда не спешил и призывал собеседника помедлить.

— Куда торопиться, — говорил он с некоторым наивным эгоизмом, — раз я в город приехал, все равно день потерян.

Я, слава Богу, никогда его не торопил. В рассказах о жизни он любил вспоминать необычайные случаи, иногда взрывные выходы в новое сознание. Как я потом понял, эта его склонность была мистически связана с делом его жизни. Само собой разумеется, что я ни разу не усомнился в подлинности его воспоминаний.

Ничего похожего на дельфина с голубой повязкой никогда не повторялось. Да и дельфин этот в конце концов, если подумать, только моя придирка. Как будто Виктор Максимович, помогая дельфину, обязан был проявить хороший вкус к правдоподобию и не отпускать его в море таким уж нарядным.

Разумеется, с Виктором Максимовичем мы не раз выпивали. Он любил это дело, но должен сказать, что никогда в отличие от меня по-настоящему не хмелел. Казалось, никакое вино не может дохлестнуть до той высоты опьянения, до которой опьянила его пожизненная мечта о свободном парении.

Пожалуй, хмель сказывался только в том, что он начинал читать стихи. И всегда он читал одного и того же лагерного поэта, с кем свела его судьба, а потом наглухо раскидала по разным лагерям. Несмотря на косноязычие некоторых строк, стихи этого поэта казались мне удивительными. Несколько раз я пытался их записать, но он всегда отмахивался.

— Успеешь, — говорил он, да и кофейня не слишком располагала к переписыванию стихов. Только одна первая строфа из стихотворения, пронизанного свежей тоской по далекой усадебной жизни, и осталась в памяти.

*Не выбегут борзые с первым снегом  
Лизать наследнику и руки и лицо.  
А отчим мой, поигрывая стеклом,  
С улыбкою не выйдет на крыльцо...*

## Зана

Когда мир залихорадило поисками снежного человека, Виктор Максимович нередко приходил в кофейню с журналами или газетными вырезками, в которых говорилось об этом. Он с явным волнением ждал, что снежного человека вот-вот поймают или в крайнем случае сфотографируют. Кстати, я тоже разделял его волнение и любопытство.

— Поиски снежного человека, — говорил он, — это, может быть, тоска человека по своему началу в предчувствии своего конца. Люди хотят увидеть своего далекого пращура, чтобы попытаться понять, когда и где именно они свихнулись.

И вдруг эти поиски обрушились на Абхазию. Оказывается, в абхазском селе Тхина в прошлом веке поймали дикую, или лесную, как говорят абхазцы, женщину. Нарекли ее Заной.

Кстати, крестьянин, поймавший ее, сначала подарил Зану местному князю. Князь как будто принял подарок, и она некоторое время жила, привязанная на цепи к огромному грецкому ореху, росшему во дворе князя. И он охотно показывал ее своим высокородным гостям. Но потом князь по каким-то непонятным причинам вернул Зану поймавшему ее крестьянину. Не исключено, что в его решении отказаться от Заны сыграли роль соображения сословной гордости. Возможно, кто-нибудь из гостей ему на что-то намекнул или он сам испугался, как бы кто не подумал, что Зана прыгнула с его личного генеалогического древа.

Привязанная на цепи, Зана жила под открытым навесом возле дома своего хозяина, время от времени неизвестно от кого рожая детей.

По рассказам очевидцев, рычанием и визгливыми выкриками она выражала злобу или неудовольствие. Иногда издавала каркающие звуки, которые надо было понимать как хохот. Очевидцы отмечают, что никто никогда не видел ее улыбки. И это очень интересно. Это лишний раз нам подтверждает, что улыбка — следствие более тонкого психического состояния, чем смех.

По прошествии нескольких лет она немного привыкла к людям, и ее больше не держали на цепи. Любимым ее развлечением было разбивать камни о камни. Не исключено, что Зана была на пороге открытия каменного топора.

Вскоре она научилась выполнять несложную хозяйственную работу: молотить колотушкой кукурузу, таскать на мельницу мешки, приносить из лесу дрова. Под открытым навесом, где она жила, Зана вырыла яму, обложила ее папоротником и таким образом устроила себе довольно уютную спальню, куда по ночам явно спрыгивали так и неопознанные любвеобильные тхинцы, потому что Зана беспрерывно продолжала рожать. Многие дети ее тут же погибали, скорее всего ввиду ее крайне неумелого обращения с ребенком, но некоторых тхинцы успевали у нее отобрать и воспитывали их у себя, как обычных детей.

Холод Зана переносила хорошо, а жару плохо. Стоило ее ввести в дом, как она начинала сильно потеть и выказывать

признаки неудовольствия. Кстати, два-три раза под угрозой палки хозяину удавалось ее приодеть, но как только угроза палки отдалялась, Зана с яростью разрывала на себе платье, топтала его и даже зарывала в землю. В конце концов хозяин махнул на нее рукой, видимо, решив, что на эти опыты не напасешься одежды. Слухи о набедренной повязке, которую в качестве компромисса Зана якобы в более зрелые годы приняла, мне кажутся выдумкой позднейших сельских моралистов.

В летнюю жару она вместе с местными буйволами погружалась в реку Мокву и подолгу наслаждалась прохладой. Так и вижу ее первобытную голову, вероятно, не лишенную с точки зрения некоторых тхинцев своеобразной привлекательности, торчащую из воды рядом с буйволиными головами, только разве что жвачку не жует. Впрочем, голову современной женщины, жующей жвачку даже в воде, гораздо легче представить.

Умерла Зана в восьмидесятих или девяностых годах прошлого века, так что долгожители села ее еще хорошо помнят.

Так вот, из Москвы в Тхину была снаряжена экспедиция с конкурирующими между собой учеными и журналистами. Ученые и журналисты просили старейшин села показать им место, где расположена могила Заны.

Но старейшины села заупрямились, потому что по абхазским понятиям, что отчасти совпадает с понятиями других народов, раскапывать могилу — святотатство. Однако старейшины села Тхина в этом вопросе пошли еще дальше, они ре-

шили, что раскапывать могилу дикой женщины, раз уж ее приручили, тоже святотатство.

Все же им не хотелось прямо отказывать почетным гостям, и они, как мне кажется, устроили небольшой спектакль, главным героем которого оказалось дерево карагач. Они признавали, что Зану похоронили под карагачом, но по вопросу, где именно рос этот карагач, высохший и порубленный на дрова еще в начале нашего века, у стариков возникли непримиримые разногласия.

Они называли самые разные места, достаточно далеко отстоящие друг от друга. При этом старики всеми силами пытались утешить журналистов и ученых тем неоспоримым фактом, что Зана была, без всякого сомнения, зарыта под карагачом, даже если так и не удастся вспомнить, где именно стоял этот карагач.

— Так и пишите и не ошибетесь, — говорили они, — мы ее, как настоящего человека, зарыли под карагачом.

Но журналистов и ученых никак не мог утешить сам факт погребения Заны под карагачом. Судя по всему, они этому карагачу вообще не придавали значения. Судя по всему, им было все равно, что возвышалось над могилой Заны — могучий карагач или куст бузины.

Они даже заподозрили стариков в проявлении патриархальной хитрости. И тогда конкурирующие журналисты и ученые объединились между собой и сами пошли на военную хитрость. Они сказали, что у них, в сущности, не научная экспедиция, а правительственное задание найти ко-



сти Заны и немедленно на самолете доставить их в Москву. Они сказали, что раз старики не могут вспомнить, где рос карагач, что само по себе выглядит странно, ибо обычно старики хорошо помнят, где, когда росло какое дерево, а уж где рос карагач, и подавно должен помнить любой старик, — но раз уж, сказали ученые и журналисты, в селе Тхина развелись такие слабопамятные старики, что они не помнят, где рос столь важный для науки карагач, придется завести в Тхину бульдозер, который в ходе выполнения правительственного задания вполне может коснуться и некоторых семейных кладбищ.

Тут память стариков вроде бы прояснилась, и они, вспомнив, где в начале века рос карагач, ткнули теперь своими согласными посохами в одно место и сказали: «Ройте! Если это надо правительству...» Экспедиция раскопала могилу, вынула оттуда все кости и приехала в мухусскую гостиницу, чтобы на следующий день отбыть в Москву. Но тут временный союз журналистов и ученых распался. Журналисты, естественно, стремясь к мировой славе, собирались устроить большую пресс-конференцию, и кости Заны им нужны были позарез для наглядного доказательства своего открытия. Ученые же, стремившиеся к более кропотливой работе с костями, боялись, что журналисты, показывая кости Заны и давая их шупать всяким развязным иностранным коллегам, многое попортят.

Из-за этого непримиримого противоречия ночью в гостинице, говорят, произошло не вполне пристойное событие. Не

то журналисты выкрали часть костей у ученых, не то ученые лишили журналистов причитающихся им костей. Одним словом, там произошла какая-то чушь, и я не знаю, чем это все кончилось. Вернее, не знаю, в чьих именно чемоданах кости Заны, если это вообще были кости Заны, отбыли в Москву.

Оказывается, битва вокруг костей Заны на этом не кончилась. Оказывается, часть ученых в Академии наук, которая не принимала участия в экспедиции, не признала кости Заны за кости первобытного человека. Они сказали, что исследования черепной коробки по методу профессора Герасимова доказывают негроидное происхождение скелета. При этом они почему-то сильно обиделись и даже жаловались начальству, что ученые, добывшие кости пресловутой Заны, пытаются при помощи этих костей сделать себе карьеру, что недопустимо. Они настаивали на праве женщины иметь очень крупный скелет, при этом обладать негроидным черепом и все-таки не быть неандерталкой.

Судя по всему, начальство на этот раз не реагировало на их вопли, боясь повторения ошибок времен Лысенко. Начальство предложило решить вопрос с костями Заны в дискуссионном порядке. Мне рассказывали об этой дискуссии, и там каждый говорил, что хотел. И это было удивительно. И было решительно непонятно, на чьей стороне правда.

Виктор Максимович сам съездил в село Тхина, и вот что он рассказал, приехав оттуда:

— Я говорил со стариками этого села. Видел снимки правнуков Заны. Они сейчас там не живут, разъехались по всему

Кавказу. Между нами говоря, лица их отнюдь не отмечены печатью мудрости. У меня сложилась такая версия ее происхождения.

Видимо, Зана была необыкновенно рослой, здоровой и слабоумной от рождения деревенской девушкой. Настолько слабоумной, что не могла освоить человеческую речь.

Однажды она ушла или сбежала в лес и заблудилась в нем, что могло случиться и с нормальным человеком. В условиях абхазского леса она могла несколько лет жить там, питаясь ягодами, дикими фруктами, орехами, каштанами. Зима в Абхазии мягкая, и выжить можно было вполне. Живя в лесу, она все дальше и дальше забредала от своего села, одежда на ней, естественно, изорвалась, истлела, и она ходила голая.

В таком виде ее обнаружил и поймал житель села Тхина. Так как она за несколько лет пребывания в лесу окончательно одичала, от рождения не умела говорить, в окрестных селах никто о ней не слышал, он ее и принял за лесную женщину. А то, что она рожала от смельчаков, которые овладевали ею, или от ротозеев, которыми овладевала она, когда они слишком близко к ней подходили, только и доказывает, что она биологически была вполне нормальной бабой.

По-моему, Виктор Максимович, несмотря на веру в существование снежного человека, дал довольно трезвое объяснение истории Заны. Правда, в его толковании происхождения Заны остается неясным вопрос о ее шерстистости.

По уверению ученых, Зана была покрыта шерстью, как и все описанные в мировой литературе снежные люди. Но и тут не исключено, что старики, рассказывавшие ученым о Зане, могли пойти на хитрость. Заметив страстное желание ученых, чтобы Зана оказалась покрытой шерстью, как и положено снежному человеку, и опасаясь, что в противном случае они перевернут обещанным бульдозером все семейные кладбища, они могли заверить ученых, что Зана была покрыта отличной шерстью не хуже хорошей овцы.

Одним словом, вопрос о происхождении Заны остается не до конца ясным, и мы надеемся, что пытливым ум ученых в конце концов разрешит эту проблему в чисто теоретическом плане.

При этом я хочу предупредить, что было бы крайне неэтично привлекать к исследованию этой темы живых правнуков Заны, все еще сохранивших ниточку связи с родным селом и даже имевших трогательную неосторожность присылать туда свои фотокарточки.

Я уже не говорю об объявлении всесоюзного розыска тех правнуков Заны, которые решили добровольно затеряться на необъятных просторах нашей родины. Я уверен, что среди них немало честных тружеников и даже хороших административных работников. Конечно, психологически они вполне наши люди, в этом нет никакого сомнения, но, возможно, некоторое, даже малозаметное своеобразие их физиологической организации могло бы оказать помощь науке. Соблазн, конечно, велик, но мы всегда твердо стояли и стоим на том,

что наука у нас должна быть нравственной. И мы не можем травмировать человека назойливыми поисками гоминидного сходства со своей прабабкой, если сам он по каким-либо причинам не желает признаваться в своих родственных связях. У нас человек имеет полное право скрывать от окружающих свое происхождение, если это его происхождение в классовом смысле не представляет для общества ни малейшего интереса.

## ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

Рассказ Виктора Максимовича

— Удивительные истории бывают в жизни, — как-то начал он и на минуту замолк, глядя через дугу залива туда, где сквозь легкий туманец виднелся его поселок. Мы сидели за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра», слегка закусывая и выпивая.

— Когда в разгар коллективизации начался страшный голод на Украине, в Абхазию повалили люди, которым удалось выбраться из родных мест. К нам в поселок попала девушка по имени Клава. Мама накормила ее, дала кое-что из одежды, и Клавушка стала приходить к нам почти каждый день. Она возилась у нас в саду, стирала, ходила на базар, готовила обед. Отец, работавший агрономом, на целый день уходил в деревню, мать — в районную больницу, где работала медсестрой, и помощь Клавушки по дому была как нельзя кстати.

Клавушка с каждым днем расцветала, веселела, и я помню это детское ощущение бесконечного счастья оттого, что мы, наша семья, вернули девушку к жизни. Конечно, тут она и без нас не пропала бы. Но у меня было это счастливое чувство, которым я и сейчас дорожу. Я ведь помнил страшный в своей простоте ее рассказ о том, как вся их деревня вымерла от голода и только двум девушкам удалось чудом добраться, доползти до поезда, который увез их в Новороссийск.

Я уже знал, что и наша семья во время революции перенесла много горя, и мне казалось, что это роднит нас и связывает чуть ли не навеки. Одним словом, вся наша семья, кроме бабки, полюбила Клавушку.

Бабка моя, казавшаяся мне тогда очень старой, хотя она была не такой уж старой, недолюбливала Клаву, считала ее неисправимой неряхой. Впрочем, она не жаловала и весь победивший пролетариат и почти не скрывала этого.

Нелюдимая, суровая бабушка моя, вероятно, на соседей производила впечатление какой-то дикой барыни. Обычно она почти целыми днями сидела на кухне, повесив на спинку стула палку с загнутой ручкой, раскладывала пасьянс или читала книгу, разглядывая строчки через лупу.

Иногда в хорошую погоду она, опираясь на свою палку, гуляла по нашему участку. Рядом с нами тогда строил дом один человек. Однажды он в еще не застекленное окно своего дома, обращенное на наш участок, приклеил газету, на которой была напечатана большая фотография Ленина. Разумеется, сле-

лал он это совершенно случайно. Оказывается, бабу это вывело из себя, но нам она ничего не говорила. Я заметил какую-то странность в ее поведении, но причины не мог понять. Обычно, гуляя, она обходила весь наш участок по кругу. Теперь она гуляла только с одной стороны, откуда не было видно окна с газетой.

Иногда она, правда, ходила и на ту сторону, но не как обычно — по кругу, а прямо, то есть ходила посмотреть, висит там все еще газета или нет. Но нам она ничего не говорила, и я это все только позже осознал.

Потом она совсем перестала выходить во двор, но я все еще ничего не понимал. И вдруг, сидя на кухне, она послала меня в сад, чтобы я посмотрел, висит на окне соседа газетный лист или его уже застеклили. Про фотографию она мне ничего не сказала, и просьба ее показалась мне странной. Но когда я подошел к дому соседа и увидел фотографию Ленина, я понял, что она имела в виду. Я вошел на кухню и сказал бабушке, что газета по-прежнему висит на окне. Она, попыхивая трубкой, раскладывала пасьянс и ничего мне не ответила. Вскоре я об этом забыл, но дня через два бабушка опять послала меня посмотреть, висит на окне газета или его застеклили. Я посмотрел и сказал, что газета по-прежнему висит. Она опять ничего мне не ответила. На этот раз она читала книгу, и я теперь повнимательней присмотрелся к ней и заметил, что лупа, которую она держала над книгой, так и ходит ходуном. Обычно рука ее, сжимавшая лупу, никогда не дрожала.

На следующий день она меня опять попросила посмотреть, висит на окне газета или его застеклили. Про фотографию она мне и теперь ничего не говорила, хотя я, конечно, знал, что она имела в виду, и она, конечно, знала, что я это знаю. Безусловно, у родителей был с ней тайный уговор ни о чем подобном со мной не говорить, и она придерживалась его. Но когда я и на этот раз ей сказал, что окно не застеклили, она не выдержала.

— Господи! — воскликнула она, с размаху захлопнув книгу, лежавшую перед ней, — за что такое наказание?! Ни молиться, ни читать не могу!

В тот же вечер сосед наш подозвал отца к забору между нашими участками и, смеясь, рассказал, что наша бабка попросила его сменить газету на окне, что он и сделал. Мама была в ужасе, но сосед оказался порядочным человеком, и просьба бабушки никаких последствий не имела.

К бабушке у нас в семье было особое отношение. Хотя от меня многое скрывали, но я знал, что двое сыновей бабушки, братья отца, погибли в гражданскую войну. Бабушка не то чтобы тяжело пережила гибель своих сыновей, она, надев вечный траур, добровольно превратила себя в живую могилу своих детей. Мама не смела ей ни в чем возразить, а отец всегда относился к ней с подчеркнутым вниманием.

Меня всегда забавляло, что Клавушка ничего этого не замечала, и, хотя бабка часто поварчивала на нее, она к ней относилась точно так же, как и к моим родителям. Никакой повышенной почтительности. И мне это нравилось. Я это инту-



итивно воспринимал как здоровый народный демократизм, хотя, разумеется, думал не этими словами.

Мне тогда было лет двенадцать, я бегал у моря, купался, ловил крабов и рыб, запускал змея, но вместе с тем временами очень болезненно задумывался над какой-то особенностью нашей судьбы.

Я верил, что власть теперь у народа, и считал это вполне справедливым. И в то же время коробила грубость, с которой учителя всех бывших помещиков (с капиталистами я легко смирялся) называли трусами, негодяями, паразитами. Я твердо знал, что мои родители не такие и многие приятели моих родителей не такие, и мне обидно было за них. С другой стороны, в школе меня никто не угнетал, не интересовался моим происхождением, ко мне относились, как ко всем остальным детям, и я это ценил. Хотя рана уже была в том, что я это ценил.

Разумеется, родители от меня старались скрыть все, что можно было скрыть, но сам страх перед властью они, конечно, скрыть не могли. И этот страх мне всегда казался комически преувеличенным, и в то же время сам я, с детства склонный к беспредельной искренности, все-таки твердо знал, что никому нельзя говорить о том, на чьей стороне погибли братья отца. И вопреки тому, что мне говорили в школе, и вопреки грустным воспоминаниям родителей о старой жизни я носил в душе тайную мечту, что две эти жизни можно склеить, старую и новую, что родители мои будут счастливы в этой жизни и сами по себе. Было тоскливо думать,

что они живут для меня. Мне все казалось, что обе стороны чего-то недопонимают, но пройдет немного времени, и все будет хорошо.

И вот появилась у нас в доме Клавушка, девушка из народа, и оттого, что она говорила полуукраинским языком, она казалась мне особенно подлинной в своей народности.

Конечно, я привязался к веселой, ребячливой Клавушке и сам по себе. Этому, наверное, способствовало и то, что у меня не было ни братьев, ни сестер. Но и та заветная мысль была, что все склеится и вот уже все склеивается через Клавушку, девушку из народа, которому принадлежит власть. Почему девушка из народа, которому принадлежит власть, чуть не умерла с голоду при своей власти и почему здесь не мы кормимся при ней, а она кормится при нас, мне как-то не приходило в голову. Вернее, мне это казалось случайными частностями.

Как ребенок, никогда не знавший родного отца, привязывается к новому мужу матери, разумеется, если он не изверг, так и я, сиротски лишенный своего народа и, видимо, неосознанно тосковавший по нему, вдруг приобрел его в Клавушке.

Я как бы весь народ получил в свое личное пользование, и мне с ним было хорошо, и народу — Клавушке — было с нами весело. А говорили — они нас ненавидят. Вот уж глупость!

Конечно, Клавушка была старательной, но довольно бестолковой хозяйкой. Так, однажды она полдня мыла котел для

варки мамалыги, пытаюсь соскрести с его наружной стороны толстый слой нагара, который никто не соскребает. Соседи, узнав об этом, долго смеялись ее наивности.

Первый раз услышав рожок керосинщика и заметив, что соседи с бидонами побежали за керосином, Клавушка схватила ведро для питьевой воды и побежала в очередь. К счастью, соседка, узнав ведро, отослала ее домой за надлежащей посудой. В другой раз она забыла, где расположена сапожная мастерская, куда она сдала всю нашу обувь, и мы с ней полдня прорыскивали по городу, пока ее не нашли. Впрочем, в те годы было столько сапожных мастерских, что запутаться было нетрудно. В те годы люди в основном не покупали обувь, а чинили ее, потому что покупать было негде.

Одним словом, несмотря на эти неловкости, мы все любили Клавушку за простодушие, преданность и веселый нрав. А я даже и за все эти ее неловкости любил. Вскоре она устроилась работать уборщицей в нашей школе, но и теперь после работы она частенько забегала к нам помочь по хозяйству, сходить на базар, сготовить обед.

К этому времени на нашем участке уже плодоносили фрукты. Отец держал пчел, так что у нас всегда был свой мед. И хотя с хлебом тогда и в Абхазии было трудновато, отец получал в деревне, где он работал, кукурузу. Мы научились готовить мамалыгу и даже полюбили ее. Одним словом, жили по тем временам вполне прилично.

Милая Клава считала нас богачами и не могла нарадоваться на наше богатство. Однажды она привела к нам какую-то

землячку, видно, только приехавшую с Украины. Бабушка и я в это время были на кухне. Я читал книгу, а бабушка, попыхивая трубой, раскладывала пасьянс.

Желая похвастаться нашим богатством, Клавушка влетела на кухню, таща за руку робеющую землячку, одетую, как побирушка.

Клавушка отмахнула крышку ларя, где у нас была насыпана кукуруза, вынула пригоршню и, ссыпая ее назад, воскликнула:

— Подывись, Любо, це кукурудза!

Бабка, искоса следившая за ней, буркнула Клаве: «Прочь!» Но бедная Клавушка, восторгаясь нашим богатством, не обратила на это внимания. Теперь она распахнула ящик поменьше, где у нас хранилась фасоль, и опять, набрав пригоршню зерен, стала ссыпать ее назад, приговаривая:

— А це фасоль. Абхазы дуже люблять.

— Прочь, говорю! — повторила бабка.

Но Клавушка, все еще переливаясь восторгом, подошла к кувшину с медом, открыла крышку и сказала:

— А це мэд!

Не останавливаясь на этом, она сунула руку в кувшин, мазнула палец медом и протянула его своей землячке. Не успела та дотянуться бледными губами до меда, как в воздухе мелькнула бабкина палка и ударила Клаву по кисти руки. Мне кажется, нет, я услышал, как хрустнула кость!

Клавушка вскрикнула и побежала из кухни, завывая и тряся рукой, как собака перебитой лапой. Землячка ее за-

трусилась вслед. На крики из комнаты выскочила мама и, поняв, что произошло что-то страшное, побежала за Клавой, догнала ее у калитки и с трудом вернула домой.

Я оцепенел от возмущения, душившего мое детское горло. Возмущение это было особенно мучительно, потому что я не мог его выплеснуть, не мог ничего сказать бабушке. Смутно вспоминая все, что писалось в школьных учебниках о дореволюционном отношении помещиков к простым людям, чему я раньше не очень верил, я сейчас отчаянно повторял про себя: «Правильно! Правильно! Все правильно с вами сделали!»

Мама перевязала Клаве руку. Постепенно она кое-как успокоила ее, и потом, когда она уходила вместе со своей землячкой, мать дала им литровую банку меда и мешочек кукурузной муки килограммов на пять.

Мама всегда была милосердной женщиной, да и Клавушку любила, но на этот раз она еще испугалась, что Клавушка пожалуется на нас. Страх за наше происхождение всегда незримо витал над родителями. Именно по этой причине меня не обучили ни одному языку, хотя отец в совершенстве знал французский и немецкий, а мать говорила по-французски. Они не хотели, чтобы я в этом отношении отличался от остальных школьников, хотя отец придирчиво следил за моими остальными занятиями. Так, он замучил меня, заставляя делать бесконечные гербарии флоры Кавказа.

То, что я тогда увидел на кухне, навсегда потрясло мою детскую душу. И сейчас перед глазами у меня стоит эта

картина: Клавушка в пестром ситцевом платье, подаренном ей мамой, выбегает из кухни, завывая от боли и трясая рукой, как собака перебитой лапой. И позже я тысячи раз перебирал в памяти детали этой картины, находя в ней все новые и новые оттенки жестокости. И мамино платье на Клаве казалось особенно невыносимым, как будто ее, Клавушку, нарочно приманивали, кормили, дарили одежду, чтобы добиться ее полной доверчивости, а потом вот так неожиданно стукнуть по руке, чтобы хрустнула косточка. И в том, что Клавушка, не жалуясь, не защищаясь, а только завывая, побежала из нашего дома в сторону калитки, было разрывающее сердце простодушие животного, которое бежит оттуда, где ему делают больно, туда, где, оно надеется, боли не будет.

Не правда ли, странно мы устроены? Человек, которому причиняют слишком большую боль, делается похожим на животное, и мы с особенной силой чувствуем к нему жалость. И точно так же животное, которому причиняют слишком большую боль, начинает напоминать нам человека, и мы с особенной силой чувствуем к нему жалость.

Мать ничего не могла сказать бабушке, но, конечно, вечером все рассказала отцу. Между отцом и бабушкой был крупный разговор. Чтобы я ничего не понимал, говорили по-французски.

— Оставь, пожалуйста, — вдруг перешла бабушка на русский, — они изгадили Россию, а теперь сюда понаехали, голодранцы!

Отец опять что-то терпеливо говорил ей по-французски, и вдруг бабка стукнула палкой об пол и крикнула по-русски:

— Если б вы были настоящими мужчинами, с Россией не случилось бы то, что случилось!

Стало ужасно тихо. Мама, прижав ладони к щекам, умоляюще смотрела на отца широко распахнутыми глазами. Отец неподвижно стоял перед бабушкой. Смуглота его загорелого лица вдруг стала особенно заметной.

— Мама, — тихо сказал он по-русски, — ты забыла, где твой сыновья...

— Мои мальчики, — гордо начала бабушка и вдруг поперхнулась, затряслась, заикала и все-таки с каким-то жутким упорством продолжала пытаться что-то выговорить и даже махнула рукой, как бы досадуя на мгновенную слабость и давая знать, что она сейчас справится с собой и договорит то, что хотела сказать, но, так и не справившись с душащими ее спазмами, уронила палку и запрокинулась на спинку стула.

— Валерьянку! — крикнул отец, хотя мать уже бежала за ней. Отец, приподняв голову бабушки и случайно взглянув на меня, молча, взглядом вытолкнул меня за дверь. Я вышел.

Первый раз в жизни суровую, гордую бабушку я видел такой. И я был второй раз за этот день потрясен жалостью, на этот раз к бабушке, которую днем так возненавидел, и сейчас хорошо помнил, что днем я ее возненавидел за Клаву, и не понимал, куда теперь делась эта ненависть, и с ка-

кой-то неизбывной тоской догадался, что то далекое, а для меня непомерно далекое, случившееся с ее сыновьями, все время при ней и никогда никуда от нее не уходило и никогда не уйдет.

Больше Клавушка у нас не появлялась ни разу. С месяц я ее иногда видел в школе, сначала с повязкой на руке, а потом уже без повязки. Нам обоим было стыдно встречаться, и мы оба делали вид, что не замечаем друг друга. Но при этом, когда мы встречались, я смотрел перед собой, а она всегда куда-то отворачивалась, и я уже тогда понимал, что это она делает от большей душевной тонкости, что ей стыдней, чем мне. Но я все надеялся на какой-то случай, который вдруг нас примирит, и она поймет, что я ее по-прежнему люблю, и мама ее любит, и папа ее любит... Но случай так и не представился, а Клавушка куда-то исчезла из школы, и я ее никогда больше не видел.

Может, именно потому, что Клавушка исчезла навсегда, а бабушка продолжала быть рядом, она умерла перед самой войной, я снова привык к ее замкнутому, суровому облику. А Клава, бегущая, завывая от боли и трясая рукой, как собачонка перебитой лапой, навсегда осталась в моей душе.

И осталась долгая на всю школу мальчишеская мечта встретить ее однажды и сделать для нее что-нибудь необыкновенное, прекрасное: может, спасти ее от смертельного ножа какого-то хулигана, может, вытащить из моря тонущего ребенка, который вдруг окажется ее сыном, словом, сделать



что-нибудь такое, чтобы она после этого всегда помнила о нас и нашем доме только хорошее.

И вот прошло с тех пор больше десяти лет. Война. Наш аэродром был расположен в ста километрах от Новороссийска. В свободное от боевых вылетов время я ходил охотиться в одичавшие хлеба, где развелось за время войны множество зайцев. Свежая зайчатина хорошо скрашивала наш казенный солдатский стол.

В тот день я убил четырех зайцев. Поблизости от нашей базы ютилось в землянке несколько семей, которым мы помогали чем придется. На обратном пути после охоты я завернул в одну землянку, где жила женщина с двумя детьми. С этой женщиной я договорился, что она сошьет мне и двум моим друзьям плавки. Материал для шитья я ей принес в предыдущий приход и тогда же договорился, что сегодня зайду к ней.

Когда я вошел в землянку, рядом с хозяйкой сидела какая-то женщина. Я на нее не обратил внимания. Вынув из сумки одного из убитых зайцев, я положил его на стол. Хозяйка ужасно обрадовалась моему гостинцу и попросила немного подождать, она кончала работу.

Я присел и разговорился с гостьей. Оказывается, она жила в трех километрах отсюда. Там тоже несколько семей погорельцев ютилось в землянках. Узнав, что я из Абхазии, она сказала, что и она долгое время там жила.

— Где же вы жили? — спросил я.

— Я по вербовке работала пять лет в шахтах Ткварчели, — сказала она, — а до этого жила под Мухусом в поселке...

Она назвала наш поселок.

— Карташовых не знали? — спросил я без особого интереса.

— Как же не знала! — воскликнула она, взглядываясь в меня. — Я докторше помогала по хозяйству...

— Клавушка? — спросил я, взглядываясь в ее когда-то цветущее, а теперь изможденное лицо и уже с трудом узнавая его и только никак не понимая, куда делся ее украинский акцент. Ах да, она ведь столько лет провела с шахтерами!

— Витько... Виктор Максимович, — проговорила она и заплакала.

Она поплакала немного и постепенно успокоилась. Я подумал, сколько раз за всю свою юность я вспоминал тот случай с бабушкой, сколько раз я мечтал встретиться с Клавой, сделать для нее что-нибудь прекрасное и выпросить у нее прощение.

Не то чтобы этого чувства совсем не было, но куда делась его прежняя острота? Тогда я этого не мог понять, но все было просто: война. Я уже потерял нескольких друзей-фронтовиков, видел столько крови, что тот далекий случай, мучивший меня, школьника, теперь казался мне не таким уж значительным.

Но до войны я так часто об этом думал, так часто мечтал о встрече с Клавой, что и теперь по инерции заговорил об этом.

— Клавушка, — сказал я, — прости бабку за ее выходку. Тем более она уже умерла.

— Что вы, что вы! — вскинулась Клавушка. — Я же сама была виноватая! Глупая была! Надо же, мед руками цапать!

Мы поговорили о житье-бытье. Клавушка в Ткварчели вышла замуж за шахтера, а потом через пять лет они перебрались сюда, на родину к мужу. Сейчас муж у нее на фронте, деревня сгорела, и она с тремя детьми живет в такой же землянке, как эта.

Господи, подумал я, сколько лет прошло, и опять голод, опять запустенье! Я отдал Клавушке трех оставшихся зайцев, взял плавки и, попрощавшись с женщинами, ушел.

Когда-то в юности я мечтал сделать для Клавушки что-нибудь прекрасное и вот отделался тремя зайцами. Впрочем, может, для ее голодных детей это и было тогда самым прекрасным...

Вот такие встречи бывают иногда в жизни...

Вскоре мы перебазировались на другой аэродром, и я ее больше никогда не видел.

## Сердце

В верхнем ярусе ресторана «Амра» сейчас не только пьют кофе, закусывают, потягивают вино, но и довольно много играют в шахматы. Блестящие успехи Ноны Гаприндашвили, а за ней и целого созвездия грузинских шахматисток вызвали у мужчин, жителей Грузии и Абхазии, обостренный интерес к этой древней игре.

Во всяком случае, добрая часть времени, которую они раньше тратили на застолья и нарды, теперь перепадает шах-

матам. Возможно, это некоторым образом попытка, впрочем, достаточно обреченная, догнать женщин и поставить их на место. Если не на место вообще, то хотя бы на прежнее место. Тем не менее догнать женщин в этом деле мужчинам пока не удается и, судя по всему, навряд ли удастся. Я не хочу сказать, что слишком много выпито за прошедшие века, я просто хочу напомнить, что нет обнадеживающих фактов. Однако мужчины стараются. В шахматы сейчас играют много и шумно, в том числе и в верхнем ярусе ресторана «Амра».

Здесь и мы с Виктором Максимовичем иногда усаживались за столик с освобожденной шахматной доской. Играли мы примерно на одном уровне. Виктор Максимович в отличие от некоторых любителей и даже, к сожалению, великих гроссмейстеров (вот тема трагикомического разрыва между изошренностью интеллекта и вандализмом этического состояния человека), так вот, Виктор Максимович в отличие от них был в игре абсолютно корректен. Это тем более надо ценить, потому что он ужасно, просто по-мальчишески, не любил проигрывать.

Однажды во время игры над его королем нависла матовая сеть. Я уютно задумался, чтобы в этих условиях не поспешить, не сделать глупого хода и не дать ему выскочить из этой сети. Но Виктор Максимович до того не любил проигрывать, что во время всей затянувшейся паузы нервы у него не выдержали, он схватил мою фигуру и, сделав несколько взаимных ходов, провозгласил:

— Мат!

Таким образом, поставив мат самому себе, но сделав это своими руками, он как бы отчасти поставил его мне. Вот до чего он не любил проигрывать!

Но на этот раз дело шло к его выигрышу. Был жаркий солнечный день, мы сидели за столиком под тентом, с моря навевал легкий бриз, и предстоящий проигрыш не казался мне катастрофой.

Рядом за соседним столиком столпились наиболее заядлые шахматисты. Играли на высадку, и те, что дожидались своей очереди, иронизировали над ходами тех, что играли, давали советы, остряли, смеялись. Среди них выделялся самый азартный игрок с нехитрым прозвищем Турок, потому что он и на самом деле был турком.

Виктор Максимович довел партию до победного конца, я не настаивал на возобновлении игры, и он, откинувшись на стуле, вознаграждал меня таким рассказом:

— Мне в жизни нередко приходилось попадать в условия, когда страх смерти заполнял мое существо, и мне всегда или почти всегда удавалось его преодолеть, потому что я был подготовлен к нему. С самой юности я закалял себя в этом, я заставлял себя привыкать к мысли, что в известных обстоятельствах необходимо принимать вариант смерти, и это многое определяло. Великой максимой моей юности было: не дать себя унижить ни перед кем и не дать никого унижить в моем присутствии.

И все-таки настоящий, всепоглощающий страх я испытал не на фронте, не в тюрьме, а здесь, в мирной жизни. Лет де-

сять назад я, как и многие, увлекся подводной охотой. Я сделал себе ружье с таким мощным боем, какого я не видел не только у ружей нашего отечественного, но и иностранного производства. У меня было отличное дыхание, что неудивительно: я вырос у моря, с детства много нырял, позже занимался боксом, легкой атлетикой. Три-четыре минуты я свободно мог провести под водой. Было большой редкостью, чтобы я вернулся с охоты без рыбы.

Однажды, нырнув возле подводной скалы, я заметил великолепного лобана. Пошевеливая плавниками, он стоял в нескольких сантиметрах от нее. Я осторожно подплыл поближе, прицелился и нажал на спусковой крючок.

Обычно после выстрела ныряльщик выплывает на поверхность воды, и, если стрела пронзила рыбу, он подтягивает ее за шнур, на котором она висит, сдергивает ее, подвешивает к поясу и перезаряжает ружье. Если ныряльщик не попал в рыбу или она каким-то образом сошла со стрелы, он снова заряжает ружье и ныряет. Стрела на крепком капроновом шнуре привязана к пояснице.

На этот раз я не попал в лобана и стал выныривать. До поверхности воды оставалось примерно полметра, когда я вдруг почувствовал, что шнур, к которому была привязана стрела, натянулся и не пускает меня дальше. Я понял, что стрела плотно вклинилась в расщелину скалы и не выходит оттуда. Я попытался нащупать на боку нож и вспомнил, что забыл его дома. Страх стал овладевать мной. Я попытался разорвать шнур, но он не поддавался. Шнур был

очень крепким, и в воде без точки опоры его невозможно было разорвать.

И тут я почувствовал ужас. Через несколько секунд я потеряю сознание, а еще через несколько минут мой труп будет колыхаться в полуметре от поверхности воды. И, разумеется, никто не узнает, куда я делся. Я взглянул наверх и увидел сквозь небольшую толщу воды ослепительно расплывающееся золото солнечного диска. Инстинктивно вытянул руку над водой, словно пытаюсь ею зацепиться за воздух и вытащить себя. Но это было невозможно.

И тут, уже почти теряя сознание, я попытался использовать последний шанс. Надо донырнуть до скалы, упереться в нее ногами и изо всех сил дернуть шнур. Если он оборвется, я спасен, если нет — каюк. Легко сказать! Я уже почти задыхаюсь и все-таки ныряю с единственной мыслью не потерять сознание, пока не упрусь ногами в скалу. Только держась на этой мысли, и только на ней, я, перебирая в руках шнур, дошел до скалы, уперся в нее ногами, изо всех сил дернул шнур и потерял сознание.

Не знаю, через сколько секунд или минут я пришел в себя на поверхности воды. Состояние было такое, какое бывает, когда просыпаешься утром после тяжелого приступа малярии: тело раздавлено. До берега было метров пятьсот. Кое-как доплыл. И впервые в жизни, плывя к берегу, я боялся утонуть от слабости, и море, любимое с детства море, впервые внушало мне отвращение, словно я плыл в теплом, грязном болоте.

На берегу я выкашлял из легких воду и вытравил ее из желудка. Отлежался и поплелся домой. Охотился я у себя в заливе напротив дома.

Дней десять я чувствовал себя все еще плохо, а потом оклемался. Однажды вхожу в море и плыву. Отплыв от берега метров на пятнадцать-двадцать, вдруг чувствую: сердце делает какой-то сдвоенный удар и останавливается. Может, на две-три секунды — не знаю. Но ощущение очень неприятное.

Тут я вспомнил, что накануне выпил, и решил, что дело в этом. Никогда раньше я не знал никаких сердечных явлений, это было впервые. Я снова поплыл. И вдруг опять сдвоенный удар и ощущение, что сердце остановилось и я сейчас захлебнусь. Боясь потревожить его, я осторожно поплыл к берегу.

Утром на следующий день лезу в воду, прислушиваясь к работе своего сердца. Вроде все в порядке. Да, думаю, возраст дает о себе знать, и уже сердце после выпивки начинает барахлить. Только я это подумал — и снова повторение вчерашнего. Я страшно разозлился на свое сердце и решил, ни на что не обращая внимания, плыть и плыть. И снова то же самое. Я плыву. И опять то же самое! И тут я не выдержал. Главное, ощущение такое, что сердце только случайно остановилось на эти две-три секунды, а может остановиться и на больший срок. И тогда конец.

И все-таки я не так быстро сдался. Я обратил внимание, что эти перебои в сердце настигают меня, когда я отплыву



от берега уже метров на двадцать-тридцать. Может, это какой-то неосознанный страх глубины? Я нарочно выхожу в море на лодке, прыгаю за борт, плаваю, чтобы преодолеть страх глубины, если это именно он. Но и там меня каждый раз настигает это странное явление. Последний раз я с трудом влез в лодку, так меня напугали эти перебои и остановки сердца.

Одним словом, иду к врачу. Терапевт выслушивает меня, отправляет на электрокардиограмму и в конце концов говорит мне:

— Сердце у вас, как у двадцатилетнего юноши. Я ничего не понимаю, вам надо обратиться к психиатру.

Меня знакомят с самым модным в Мухусе психиатром. Во время беседы он выслушивает меня, наклонив голову сердитым петушком, и, что я ни скажу, все ему не так.

Перебивая меня, сыплет какими-то непонятными терминами, а что со мной случилось, объяснить не может. Выслушав все, что я рассказал про подводную охоту и про плавание, он, словно разоблачив меня в сокрытии самого главного, переводит разговор на мой махолет.

Кто-то ему, видно, сказал, что я занимаюсь сооружением летательного аппарата, движущегося на мускульной силе пилота. Спрашивает, сколько времени я им занимаюсь, рекомендует вспомнить, не явился ли мне образ махолета после фронтовой контузии, какие сверхцели я себе ставлю, какие травмы получал во время падения и так далее. Я спокойно пытаюсь ему объяснить, что махолетом я занимаюсь давно

и никакого отношения он не имеет к тому, что случилось со мной в море.

— Мне лучше знать, — обрывает он меня, — что к чему имеет отношение.

И опять, петушком наклонив голову, как-то очень лично сердится на меня и предупреждает, что, если я не перестану заниматься махолетом, во мне будет неуклонно возрастать ощущение дискомфорта сначала в море (уже начинается), потом на суше, а потом, видимо, окончательно рехнувшись, я провозглашу воздух единственной средой обитания.

Я, может, слегка утрирую, но, честное слово, передо мной был полный псих. Когда же я, отвечая на его полувопрос-полуутверждение, сказал, что у меня в родне не было ненормальных людей, он просто взвился.

— Да вы что, лечиться ко мне пришли или все отрицать! — воскликнул он.

Одним словом, я еле унес ноги от этого поврежденного то ли наукой, то ли пациентами человека. Но что делать? Я еще несколько раз пытался плавать, но все повторялось. И тогда я пришел к печальному выводу, что придется отказаться от плавания и подводной охоты. Это шаги старости, пытался я себя утешить, к разным людям она приходит по-разному.

С морем меня еще все-таки связывала лодка. Я мог в свободное время рыбачить с лодки, что я и делал. Прошло с тех пор около года. В море я больше не купался, ружье для подводной охоты подарил одному любителю.

Однажды в апреле, примерно за километр от берега, рыба-чу с одним соседским мальчишкой. Это был очаровательный десятилетний мальчуган с хитренькими черными глазками, до смешного похожий на своего деда, дружившего с моим отцом. Он жил с дедом и матерью, без отца. Отец ушел из семьи. Отчасти, может, поэтому мальчик хаживал ко мне, часами любуясь, как я вожусь со своим махолетом, иногда я его брал на рыбалку.

Мы ловим на самодуры ставриду. Рыба хорошо идет, но работает течение, и то и дело нас относит от стаи. Приходится время от времени подгрести. Вдруг раздается тарахтенье моторной лодки, все ближе и ближе, и вот совсем рядом с нами она пронесится, обдав нас брызгами и раскачав лодку крупной волной. Я посмотрел вслеп и увидел хохочущее лицо рыбака, рулившего на корме. На средней банке сидел второй. Ясно было, что они под газом. Они резко развернулись, и я подумал, что их может перевернуть. На лодке был очень сильный мотор.

Рыба хорошо шла. Мы опять увлеклись ловлей, и я забыл об этих пьяных рыбаках. Примерно через полчаса опять завывание мотора, но на этот раз они, может быть, не соразмерив расстояния, так близко прошли, что наша лодка от обдавшей ее большой волны перевернулась.

Все произошло в одно мгновение. Трудно представить, чтобы мерзавцы, перевернувшие лодку, не заметили того, что случилось. Видимо, заметив, что наша лодка перевернулась, и боясь некоторой ответственности за случившееся, они рванули в сторону города, и вскоре мотор затих.

Очутившись в воде, я испугался, не ушибся ли мальчик, когда лодка перевернулась.

— Ты не ударился? — спросил я у него.

— Нет, — ответил он достаточно безмятежно.

Я знал, что он плавает, как рыбка, но апрель — вода ледяная. Пока мы очухались и я подплывал к нему, нашу лодку отнесло метров на пятнадцать. Что делать? Я ее, конечно, мог догнать. Но, с одной стороны, мне было боязно мальчика оставлять одного, а с другой стороны, какая от нее польза? Перевернуть и поставить ее на киль мы все равно не смогли бы. Вцепиться в нее и ждать, пока нас найдут и снимут с нее, — опасно. Я принял решение плыть к берегу с некоторой надеждой, что эти сволочи хотя бы кому-нибудь скажут, что перевернули лодку, и за нами подойдут. Разумеется, скажут своим друзьям, которые их не выдадут.

И тут я вспомнил о своем сердце. Но как-то мимоходом. Мысль о том, что со мной мальчишка, которого во что бы то ни стало надо довести до берега, целиком поглотила меня. Вспомнив о сердце, я почти сразу услышал тот сдвоенный стук и мгновенную остановку в груди. Все было, как раньше, но в несколько раз слабей. Как будто то, что случилось с моим сердцем, мне теперь говорило: «Я все еще здесь, но сейчас ты намного сильнее меня».

И я это прекрасно почувствовал. Страх за мальчика вышиб из меня все на свете. Я подплыл к нему, расстегнул на нем рубашку и, поддерживая его одной рукой, приказал:

— Снимай.

Он стянул рубашку вместе с майкой. Я нащупал в воде ступни его ног, скинул с них башмаки. Потом нашарил ремень его брюк, расстегнул его, слегка откинул мальчика на спину и стащил с него брюки. То же самое я сделал со своей одеждой и отбросил ее. Подхваченная течением, она еще некоторое время плыла в стороне от нас. Мы остались в одних трусах.

— Ты ничего не бойся, — сказал я мальчику как можно спокойней, — мы обязательно доплывем до берега.

— А я и не боюсь, — ответил он, — только я не пойму, за что они опрокинули нашу лодку?

Он внимательно смотрел на меня своими черными глазенками, пытаюсь осознать смысл случившегося.

— Пьяные болваны, — сказал я, — но ты ничего не бойся. Мы доплывем до берега.

Сейчас мальчик выглядел хорошо, но я знал, что холод скажется минут через пятнадцать. Далекий зеленый берег нашего поселка отсюда казался приплюснутым к воде. Я оглядел пустынное море, но нигде поблизости не было видно ни одной лодки. В это время года здесь редко рыбачат.

— Дядя Витя, — спросил мальчик через некоторое время, — а ваша лодка теперь пропала?

— Нет, — сказал я, — ее прибьет к берегу где-нибудь в Гульрипшах.

Минут через пятнадцать, как я и ожидал, смуглое лицо его побледнело. Но плыл он пока хорошо. Я только боялся, как бы

его судорога не скрутила. От боли он мог потерять самообладание, и тогда навряд ли я сумел бы дотащить его до берега. Еще минут через десять я заметил, что лицо его подернулось синевой.

— Ты замерз?

— Нет.

А у самого уже зубы клацнули. Мальчик держался замечательно.

— Подожди, я тебя разотру, — говорю.

Я подплыл к нему и, балансируя в воде одной рукой, другой изо всех сил стал растирать ему спину, живот, ноги.

— Мне больно, — вдруг сказал он.

— Потерпи, — ответил я, продолжая изо всех сил растирать его тело, — так надо.

— Если надо, буду терпеть, — сказал он и закусил губу.

Я столько энергии вложил в растирание его худенького ребристого тельца, что у меня рука занемела. Но с лица его сошел землистый оттенок. Мы снова поплыли.

— Ты не устал? — спросил я у него минут через десять.

— Нет, — сказал он и, подумав, добавил: — Все равно надо плыть.

Мы продолжали плыть. Я ему с самого начала сказал, чтобы он плыл не саженками, а брассом, как я его учил. От плавания саженками руки гораздо быстрее устают.

— Дядя Витя, — спросил он, взглянув на меня погрузневшими черными глазенками, — а пьяные становятся как сумасшедшие?

Видно, он напряженно думал о тех, кто нас перевернул.

— Эти люди негодяи, — сказал я, — а когда человек пьяный, его негодяйство, если он негодяй, выходит наружу.

Он кивнул и продолжал плыть. Было заметно по его лицу, что он напряженно о чем-то думает.

— Это все равно как жадные, — сказал он через некоторое время, взглянув на меня, — пока Жорик не имел велосипеда, я не знал, что он жадный, а теперь знаю.

— Точно, — согласился я.

Через некоторое время я почувствовал, что сам замерзаю. Я посмотрел на мальчика. Лицо его опять подернулось синевой.

— Подожди, — сказал я ему и подплыл.

И опять, балансируя одной рукой в воде, другой я растер ему тело. Я растирал его изо всех сил, но он терпел и не стонал. Потом, когда рука у меня онемела, я сменил ее и растер его тело другой рукой.

Лицо его снова ожило. Мы поплыли. Хотя я видел, что он устает, я не останавливался, боясь, что так он быстрее замерзнет. Краем сознания я иногда прислушивался к своему сердцу, но оно никак себя не проявляло, и я почему-то знал, что оно не может и не должно себя проявить.

До берега оставалось метров четыреста, и уже хорошо были видны зеленые купы деревьев на прибрежных участках. И вдруг я почувствовал, что правую ногу мою скрутила судорога. И вместе с костяной болью судороги я ощутил опережающий эту боль страх за мальчика.

Стараясь гримасой не выдавать боль, я подплыл к нему и снова стал растирать его тело. Теперь одна нога моя совсем не действовала и балансировать в воде было гораздо трудней. Надо было сделать все, чтобы не дать ему переохладиться. Теперь, если б его тело свело судорогой, я бы явно не смог дотащить его до берега.

Меня еще смутно тревожила мысль, что, если судорога сведет мою левую ногу, я вообще не смогу больше растирать его тело. Поэтому я сейчас старался выложиться. Я дотягивался до самых его щиколоток, щипал и выкручивал его худенькие бедра и икры, растирал спину и разминал ему живот. Видимо чувствуя серьезность положения, он терпеливо, только иногда покряхтывая, все переносил.

Наконец лицо его порозовело, а я выдохся. Только я подумал, что не мешало бы промассировать свою левую ногу, чтобы уберечь ее от судороги, как чуть не вскрикнул: костяная боль перекрутила и левую ногу.

Я слишком хорошо плавал, чтобы утонуть, но я не знал, что будет дальше. Я слышал, что, если судорога добирается до мышц живота, человек не может ни двинуться, ни разогнуться. Я стал изо всех сил разглаживать, щипать и расцарапывать себе живот. До берега оставалось метров двести, и я теперь, гребя одними руками, едва поспевал за мальчиком. Берег был пуст, море было пусто и ждать помощи было неоткуда. Я плыл на одних руках, сердце стучало у самого горла. Господи, думал я, дай продержаться еще метров сто, а там, даже если со мной что-нибудь и случится, мальчик



сам доплывет. Потом я, видимо, на некоторое время впал в забытие. Очнувшись, я заметил, что мальчик позади, хотя я никак не мог прибавить скорости, скорее, я ее сбавлял. Я остановился, дожидаясь его. Он подплыл. Лицо его было серым.

— Маму жалко, — вдруг сказал он и осекся, стыдясь договорить свою мысль.

— Что ты говоришь! — прикрикнул я на него. — Посмотри, мы совсем у берега.

Он ничего мне не ответил. Это был замечательный мальчик, и он прекрасно держался до конца. Последние метры я плыл в каком-то полусне. У берега я попробовал встать на дно и упал, не сразу поняв, почему меня не держат ноги. Мальчик вылез из воды и шлепнулся на теплый песок. Я выполз на руках, как животное. Теперь мне незачем было скрывать, что у меня ноги свело судорогой.

Течение нас отнесло метров за пятьсот от нашего поселка. Как отходчиво детство! Через полчаса мальчик уже играл в песке, а я только часа через два смог встать на ноги. День был очень теплый, и, глядя на ласковое море, трудно было поверить, что мы чуть не замерзли в нем.

Мы пошли берегом к своему поселку. Мне казалось, что мальчику не следует говорить дома всю правду. Стоит ли расстраивать маму? Можно сказать, что все это случилось близко от берега. Но потом я передумал. Пусть говорит все, как было! Не надо комкать праздник его первой настоящей победы.

В тот же день пограничники пригнали мою лодку.

Но я это дело не собирался так оставлять. Дня через три, к счастью, ни мальчик, ни я не простудились, я отправился в город. Я знал, что рано или поздно найду того, кто рулил, сидя на корме, и хохотал, глядя на нас. Они все, как куры на насесте, собираются на лодочном причале, даже когда не выходят в море.

Я зашел на причал и увидел его за столом играющих в домино. Некоторые из рыбаков знали меня как чудака-интеллекта, но никто из них не знал, что я старый лагерник.

Я подошел к столу. Он поднял свою рожу, не столько узнавая меня, сколько догадываясь, что я связан с его преступлением.

— Пойдем в милицию или так поговорим? — спросил я у него. Я знал, что он предпочтет. Я тоже это предпочитал.

— Ну, чо, чо, поговорим, — пробормотал он, видимо соображая, во сколько бутылок обойдется ему этот разговор.

— Тогда иди туда, — сказал я ему, показывая на одну из будочек, где рыбаки держат свои моторы и снасти. Он молча встал и отошел туда.

Я вкратце рассказал рыбакам о его делах, и они в ответ возмущенно поохали. Я знал, что грош цена их возмущению. Повозмущавшись, один из них шутливо заметил:

— Тут, Максимыч, без пол-литра не разберешься...

Другой, менее миролюбиво, добавил:

— Подумаешь, делов... Ребята слегка подзарулили и раздухарились...

Я подошел к будке, где стоял этот амбал, и завел его за будку. Даже мальчишкой никогда я первым не подымал руку. В лагере приходилось, как правило, защищая других. Я ударил его с ходу. Голова его закинулась, но он не упал. Неужто оскудела рука, подумал я, и ударил его второй раз. Теперь он, как бык, рухнул на колени.

— Чо, я один был?.. — бормотал он, мотая головой и пытаюсь утереть кровь, стекающую из угла рта.

Я вдруг представил, что могло случиться с мальчиком, и настоящая ярость сотрясла меня: нет мне, падла, до того дела, что и свою-то жизнь ты не очень ценишь!

— Ты сидел на руле, — сказал я ему как можно внятней и, приподняв его тяжело обвисающее тело двумя руками, дал ему в морду третий раз. Он завалился основательно.

Примерно через месяц я случайно оказался на этом лодочном причале, и, когда проходил мимо стола с доминошниками, они почти все вскочили, радостно приветствуя меня. И было не совсем ясно, что они приветствуют: щедрость, с которой я отказался от причитающейся мне выпивки, или быстроту расправы с этим кретином. Скорее всего они восторгались и тем, и другим.

Вот так, расставшись с морем на год и оказавшись в роли хранителя жизни мальчугана, я навсегда избавился от этих таинственных сердечных явлений. Больше они ни разу не повторялись.

Интересно, что бы сказал мой безумный психиатр, узнав об этом? Толстой это, кажется, называл — забы-

вать себя? В народе еще лучше говорится: клин клином вышибают...

Кстати, будь я энциклопедически образованным человеком, я бы посвятил свою жизнь раскрытию мировых идей, зложенных, как я абсолютно уверен, в сжатом виде в народных пословицах и поговорках! Какая увлекательная работа! Порусски, по-моему, такой книги нет, но есть ли она у других народов? Я не слышал.

...На этом Виктор Максимович закончил свой рассказ, и мы еще некоторое время сидели за столиком, рассеянно глядя на кейфующих любителей кофе и шумных шахматистов.

Там сейчас Турок играл со своим партнером, а вокруг толпились болельщики, насмешничая над игроками и обсуждая возможности упущенных комбинаций.

Мороженщица со своим лотком, и до этого несколько раз подходившая к ним и безуспешно предлагавшая им купить мороженое, сейчас снова подошла, по-видимому, надеясь на новых, более стоворчивых покупателей. Но тут Турок не выдержал.

— Сколько стоит полный лоток мороженого? — спросил он у продавщицы.

— Двадцать рублей, — ответила она охотно.

— А сколько стоит лоток? — продолжал любопытствовать он.

— Пять рублей, — с той же готовностью ответила она. Турок вытащил из кармана бумажник, вынул оттуда три десятки и протянул ей.

— Зачем? — спросила мороженщица, но протянутые деньги почему-то взяла.

— Сейчас увидишь, — сказал Турок и, выхватив у нее голубой лоток с мороженым, выкинул его в море.

Такой остроумной комбинации никто не ожидал. Под хохот шахматистов и крики мороженщицы мы покинули гостеприимную палубу «Амры». Конечно, навряд ли в подобных условиях рождаются великие шахматные комбинации, но мир, в котором еще осталась полнота жеста, может быть и сам, по чертежу этого жеста, постепенно восстановлен во всей его полноте. Терпения и мужества, друзья.

## **время большого везения**

Рассказ Виктора Максимовича

Никогда, ни до, ни после войны, я не чувствовал себя на таком подъеме, как во время войны, не чувствовал себя в таком полном соответствии внутреннего состояния и окружающей жизни. Все проклятые вопросы были отброшены реальной общенародной бедой, реальным участием в борьбе с этой бедой. И ни разу за всю войну не было ощущения скрежещущей дисгармонии, отравившей столько дней моей юности.

Именно поэтому, несмотря на потери друзей, ежедневный риск, годы войны оставили в душе мощную и даже веселую музыку бесконечного внутреннего подъема.

Только первая смерть, которой я был свидетелем, потрясла все мое существо, и больше с такой силой я не переживал ее, хотя к смерти невозможно привыкнуть. Это случилось еще во время учебы в летной школе. Мы были в одной части, отпрыгались и, веселые, возбужденные, ввалились в столовую обедать.

Летчик, подымавший нас в воздух, и инструктор-парашютист обедали за столом рядом с нами. И вот я вижу: к ним подходит повар и упрощивает инструктора разрешить ему прыгнуть с парашютом.

— А ты когда-нибудь прыгал? — спросил у него инструктор, потягивая компот из стакана.

— Конечно, — кивнул повар, — я до армии ходил в аэроклуб и много раз прыгал.

Безусловно, инструктор не имел права разрешать ему прыжок. Но я как сейчас помню благодушное выражение его лица, то ли вызванное отличным обедом, которым угостил их повар, то ли еще какими-то причинами. Он взглянул на летчика и сказал:

— Ну что, стяхнем его разок?

— Пожалуй, — засмеялся летчик, кивнув на повара, — если он снимет колпак хотя бы перед тем, как выйти на крыло.

Как потом выяснилось, повар этот никогда не прыгал с парашютом. Ему было на вид лет двадцать пять. Вероятно, он и раньше мечтал прыгнуть с парашютом, а тут вдруг видит — вваливаются в столовую девятнадцатилетние салажата, вва-

ливаются после прыжков, сияющие, шумные, счастливые! И он решил: что тут особенного, если эти пацаны прыгают и в ус не дуют. Но он не понимал, что каждое дело требует подготовки, и мы хоть и салажата, но уже хорошо обучены прыжкам.

Когда мы отобедали, все высыпали наружу, а вместе с нами официантки и работники кухни вышли посмотреть, как их повар будет прыгать.

Все произошло на наших глазах. Самолет поднялся в воздух. Сделал круг над аэродромом. Мы увидели, как повар вышел на крыло, а дальше произошло вот что. Повар еще стоит на крыле, и вдруг парашют его выстреливается вдоль корпуса самолета, белый шелк, как молоко, обтекает фюзеляж и обматывает хвост. Самолет мгновенно теряет управление, несколько секунд идет со снижением, входит в штопор и врывается в землю в конце аэродромного поля. Когда мы подбежали к обломкам, все было кончено: все трое были мертвы.

Только что люди обедали, смеялись, шутили, и вдруг — смерть. Ясно, почему все так произошло. Когда повар вышел на крыло и посмотрел на землю, он, конечно, испугался и со страху, еще стоя на крыле, дернул за кольцо.

Обычно начинающих парашютистов учат после прыжка отсчитывать три секунды и только потом дергать за кольцо. И хотя начинающий парашютист от волнения, как правило, считает быстрее, чем положено, все равно время дается с большим запасом. И одной секунды достаточно, чтобы парашют не задел самолет.

Да, вот эта первая смерть меня потрясла больше всего, и хотя, конечно, к смерти привыкнуть невозможно, но я уже такой силы потрясения не испытывал при виде погибших людей. А ведь приходилось видеть все, приходилось по частям собирать разбившихся летчиков, чтобы предать их земле.

И все-таки главное чувство того времени — это веселая, могучая музыка подъема. Уверенность, что все или почти все будет так, как мы хотим.

Однажды я получаю приказ командира полка лететь в один пункт, где расположены авиамастерские. Там меня должен был встретить инженер-капитан для установки радиооборудования к штурманскому сиденью. В те времена на По-2 никакой связи с землей не было, и летчик, взлетев, был полностью предоставлен самому себе.

Более того, на По-2 обычно не было никакой огневой точки. Иногда устанавливался пулемет, чтобы защищать машину с хвоста. Но чаще всего ни черта не было, кроме пистолета ТТ на поясе у летчика. По-2 в основном использовались как ночные бомбардировщики, каковым в то время я и был.

И вот, значит, лечу в расположение авиаремонтных мастерских. Лечу на бреющем, чтобы не повстречаться с «мессершмиттом». «Мессера» в те времена как хотели издевались над По-2.

Как правило, встретившись с этим самолетом, они не сразу их расстреливали, а сначала вдоволь наиздеваются над



летчиком, облетая его и показывая, что его ждет смерть, а потом уже пулеметная очередь, и самолет вспыхивает, как спичка, — фанера, перкаль, кроме мотора, на них почти не было никакого металла.

Именно из-за этого пруссаческого издевательства они сами иногда увлекались, забывая о близости земли, и врезались в нее.

С одним нашим летчиком, развозившим почту на По-2, произошел курьезнейший случай, едва ли не единственный за всю войну. Дело происходило на Кубани. Так вот, этого летчика, развозившего почту, настиг «мессер».

Прежде чем расстрелять его из пулемета, он, как обычно, стал изгаляться над ним. Снижает скорость до предела, пролетая возле него, хохочет, показывая на горло, и что-то кричит нашему летчику, скорее всего: «Рус капут!»

Раз пролетел, два пролетел и, главное, все ближе и ближе притирается к нему. Наконец нашему летчику надоело это. Он решил: и так и так погибать, дай попробую убить его из пистолета! Он берет ручку управления в левую руку, вытаскивает пистолет, но не высовывает его над бортом, а ждет, когда «мессер» пролетит рядом с ним. И в самом деле немец снова летит рядом, хохочет, кричит, а наш летчик успевает пару раз выстрелить из пистолета и попадает в него. «Мессер», потеряв управление, врубился в землю. Об этом случае много говорили в те времена. Но обычно встреча По-2 с «мессершмиттом» кончалась гибелью нашего самолета.

И вот, значит, прилетаю на бреющем в назначенный пункт и встречаю там инженер-капитана. Это такой крупный, грузноватый мужчина лет тридцати пяти, и по лицу видно — выпивоха. Только я об этом подумал, как он хлопнул себя по боку, там у него фляжка висела, и сказал:

— Литр чистейшего медицинского спирта. Может, поговорим о душе?

— Нет, — отвечаю, — выполним задание, тогда с удовольствием.

Он устанавливает свое радиооборудование возле штурманского сиденья, и мы летим назад к себе в полк. Прилетели — новое задание: лететь в расположение штаба фронта, дальнейшие указания получим там.

Заправляемся горючим и летим. Он сидит на штурманском месте. У нас допотопная шланговая связь.

— Не пора ли поговорить о душе? — слышу голос инженер-капитана.

— Нет, — говорю в переговорный раструб, — выполним задание — тогда с удовольствием.

— Напрасно, — отвечает он, — вы избегаете разговоров о душе. В боевых условиях опасно откладывать такие разговоры.

Своеобразный юмор этого инженер-капитана заключался в том, что он самые забавные вещи говорил серьезным голосом без малейшей улыбки. И при этом, несмотря на большую разность наших возрастов, обращался ко мне вежливо, называя по имени-отчеству.

Прилетаем в расположение штаба фронта. А для нас, фронтовиков, штаб фронта был тогда все равно что столица — прекрасная столовая, парикмахерская, кино, приличный поселок.

Дежурный офицер встречает меня и говорит, мол, никуда не уходите, дожидайтесь приказа. Проходит час, два, уже вечереет, никакого приказа. А тут еще инженер-капитан мрачно ходит за мной и зудит насчет необходимости поговорить о душе. При этом уверяет, что мы сегодня никуда не улетим. Нет, говорю, потерпим, будем ждать отбоя.

Заходим в парикмахерскую постричься и встречаем там моего приятеля, летчика-туркмена. Мы раньше служили с ним в одном полку. Это был опытный летчик, хороший парень, только по-русски, мягко выражаясь, говорил с большим акцентом. Он, оказывается, прилетел сюда с заданием из своей части и застрял здесь на двое суток. Мы обрадовались неожиданной встрече, он сказал, что у него припасено пол-литра водки и надо отметить это событие, потому что и мы скорее всего застрянем здесь, как и он.

Мы постриглись, побрились, подеколонились и выходим из парикмахерской. Теперь инженер-капитан, получив подкрепление, в лице моего приятеля, кстати, звали его Руфет, стал еще больше настаивать на необходимости поговорить о душе, попутно выяснив, что о ней думает мусульманин. Но я крепко держался, и они меня не смогли уговорить.

Но вот проходит еще примерно час, мы встречаем дежурного офицера, и он говорит:

— Отбой! Можете идти ужинать и располагаться на отдых.

Мы пошли в столовую и надолго засели там. Официантка принесла прекрасный бифштекс с жареной картошкой, такой бифштекс можно было получить только в столовой штаба фронта. К тому же у нас в запасе были еще две банки тушенки, мы отправили их на кухню разогреть. Одним словом, пируем. Водку выпили почти сразу и теперь потихоньку посаываем спирт.

Слегка подвыпив, мы с Руфетом начинаем ухаживать за нашей официанткой. Должен тебе сказать, что после первой моей любви я больше двух лет не мог видеть в женщине женщину. Для меня женщиной оставалась только она. Потом, постепенно, природа взяла верх, и я не то чтобы впал в обратную крайность, но от других фронтовых летчиков не слишком отставал.

И вот мы наперебой ухаживаем за официанткой и чем больше пьем, тем неотразимей она нам кажется. А между прочим, она так забавно приглядывается к нам обоим, так напряженно соображает своей глупенькой головкой, кого из нас выбрать, что я никак не могу удержаться от смеха. И именно от того, что я все это воспринимаю более легко и более весело, чаша весов постепенно склоняется на мою сторону.

— Состязание за право первой ночи, — говорит инженер-капитан, поглядывая на нас, — при любом исходе опоздало лет на десять!

Руфет, чувствуя мой перевес, грустнеет и наконец выкладывает свой главный козырь. После войны он обещает увезти ее в Ашхабад, о существовании которого она, как выясняется к ужасу Руфета, не имела представления.

— Овсянка штаб фронт — Ашхабад не знает! — воскликнул Руфет и так горестно задумался, подперев ладонью щеку, словно усомнился: а можно ли в условиях такого невежества даже внутри штаба фронта вообще выиграть войну?

Помрачение Руфета окончательно проясняет расстановку сил. И вот, когда мы выпили уже весь спирт, я подхожу к официантке и потихоньку договариваюсь с ней. Она сначала немного ломается, но потом, бросив последний взгляд на Руфета («а вдруг я чего-то недоглядела»), назначает мне свидание.

Она называет дом рядом со штабом фронта, где она живет, номер комнаты и говорит, что ключ лежит под ковриком перед дверью. Я должен тихо-тихо войти в дом, открыть дверь, лечь и ждать, пока она придет, закончив свои дела в столовой.

Я подхожу к нашему столу, говорю, что у меня все в порядке, остается пристроить на ночлег инженер-капитана. Только я это сказал, как в столовую вбегает вестовой и кричит:

— Летчика Карташова к телефону!

Я иду к телефону. Стараюсь изо всех сил держать себя в руках, но чувствую — дело плохо. Беру трубку и слышу сердитый начальственный голос: вылетать на Оскол, оттуда ин-

женер-капитан свяжется с приемно-передаточной станцией штаба фронта.

Я настолько пьян, что боюсь дышать в трубку. Мне кажется, что на том конце почувствуют мое дыхание. И в то же время я хоть и пьян, но знаю, что посадочная площадка не готова для ночного взлета. И я говорю ему об этом.

— Что я вам, базовый аэродром рожу? — кричит в ответ. — Выполняйте приказ!

Что делать? Я возвращаюсь в столовую и говорю инженер-капитану, что нам надо готовиться к немедленному вылету. А Руфет сидит рядом и все слышит, но я о нем теперь забыл. Но он, разумеется, о себе не забыл. Услышав мои слова, он начинает неудержимо хохотать, а официантка издали тревожно смотрит на нас, не понимая, почему веселье переместилось в сторону Ашхабада и не стоит ли ей самой последовать за ним.

Но мне уже не до них. Чувство ужасной ответственности пробивается сквозь хмель. С одной стороны, конечно, был объявлен отбой, но, с другой стороны, в этих условиях никто нам не разрешал напиваться.

Я связываюсь с аэродромной службой, помогаю, чтобы они пригнали и поставили два «виллиса» в конце взлетной полосы, осветив ее фарами, чтобы я мог держать направление взлета.

Самое трудное в авиации посадка, а не взлет. Но я сейчас по пьянке об этом не думаю, думаю только, как бы взлететь. «Виллисы» пригнали, и я взлетел.

Летим на город Оскол. Прилетели. Инженер-капитан связывается с приемным пунктом радиопередаточной станции, и мы делаем над городом круги, а точнее, четырехугольники. Проверяем радиосвязь на разных высотах. Работаем. И вдруг я выглядываю за борт и ничего не понимаю. Город, который был погружен в темноту, почему-то во многих местах озарен огнями. Я встряхиваю головой, думаю, не мерещится ли мне спяну.

Нет! Внизу пожары. Что за черт, думаю, неужели город бомбят? И вдруг слышу в кабине характерный запах тротила. Кабина у По-2 открытая, только впереди козырек, как у мотоцикла. Запах тротила можно почувствовать только тогда, когда поблизости разрываются зенитные снаряды. Прислушиваюсь и слышу сквозь гул мотора слабые звуки разрывов: тук! тук! тук! тук!

И по запаху слышно, что очень много разрывов поблизости. Прямо скажу — я от страха наполовину отрезвел. Сверху бомбят немцы, того и гляди угодят бомбой в самолет, а снизу поливают наши же зенитки.

И вдруг я слышу спокойный голос инженер-капитана.

— Слушайте, Виктор Максимович, — говорит он, — у меня такое впечатление, что ваш дружок именно сейчас спикировал!

— К черту официантку! — кричу ему в раструб. — Немедленно запросите штаб фронта, что нам делать! Город бомбят немцы!

Он запрашивает радиостанцию, и ему оттуда отвечают: да, город бомбят «юнкеры», выходите из зоны огня и ждите конца бомбежки.

Мы, слава Богу, целыми выходим из зоны огня и ждем. А «юнкеры» идут на город волнами.

Примерно через полчаса из штаба фронта сообщают, что «юнкеры» отбомбили и мы можем продолжать выполнение задания. Мы снова над городом. Теперь внизу сплошные пожары. Наконец выполняем задание и получаем приказ лететь, но не в расположение штаба фронта, как мы ожидали, а называется некий новый пункт. Запрашиваю через инженер-капитана:

- Оборудован там аэродром для приема самолета?
- Да, — отвечают, — оборудован.

Я смотрю на карту и никак не могу найти этот пункт. На По-2 нет никакого специального освещения, только бортовой фонарик да приборы фосфоресцируют. И в этом слабом свете, а главное, конечно, спьяну, я никак не могу найти этот проклятый пункт. И уже начинаю нервничать.

И именно в эту минуту раздается спокойный голос инженер-капитана:

- Вы поняли, почему нас не приняли?
- Нет, — говорю в раструб, — не понял.
- Штаб фронта, — говорит, — пришел к мудрому решению: не ослаблять наши воздушные силы братоубийственной борьбой двух летчиков за обладание сердцем одной официантки.

Вот черт, думаю, нашел время шутить! Но тут я догадываюсь запросить у радиостанции штаба фронта (а ведь он напомнил мне про него!) направление в градусах и расстояние



до этого пункта. Они отвечают. Я засекаю время и ставлю самолет по курсу.

Но теперь, когда я наполовину отрезвел, я по-настоящему почувствовал, как трудна будет посадка. Готов ли аэродром для приема? Господи, думаю, помоги на этот раз, и я никогда в жизни не приму рюмки в подобных условиях! Но, разумеется, вместе с тем напрягаю сознание, чтобы держать голову в полной ясности. И это нелегко...

Точно вовремя вышли на аэродром. Сжал в кулак всю свою волю и пошел на посадку. Но что за черт! Посадка не получается! Самолет пронесится и выскакивает за полосу освещения прожектора! Я понял, что сажусь по направлению ветра, а не против ветра, как положено. Что они там, у прожектора, уснули, что ли?!

Захожу против ветра, начинаю планировать, показываю, чтобы они перенесли прожектор, потому что он меня слепит вместо того, чтобы помогать. Нет, ничего не получается! Делаю пять-шесть попыток — никто меня не понимает. Человек у прожектора или уснул, или там вообще никого нет. Если бы прожектора совсем не было, я бы рискнул сесть по фонарикам посадочного знака. А так невозможно — прожектор слепит.

Тогда я принимаю решение садиться по ветру. Отлетаю как можно дальше, снижаюсь и, рискуя врезаться во что-нибудь, ведь я не знаю ландшафта, лечу, прощупывая землю слабым светом плоскостной фары. Перед самой посадочной полосой, уже на скорости парашютирования, вы-

ключаю мотор, чтобы быстрее снижаться и не загореться в случае аварии.

Даже несмотря на все эти принятые меры, нас понесло через полосу освещения и мы остановились в двух метрах от стоянки штурмовиков Ил-2. Еще бы чуть-чуть, и врубилась!

Вот так мы прилетели. Но что там случилось с прожектором? Обычное наше российское разгильдяйство. Возле прожектора был поставлен не работник аэродромной службы, а обычный солдат, ни черта не понимающий в этом деле. Когда его поставили, ветер был встречным, а потом ветер переменял направление, но ему никто не подсказал, что прожектор надо перенести.

Переночевали мы в общежитии. Утром просыпаюсь, и после всего пережитого и перепитого мне ужасно захотелось вымыться в бане. Бужу инженер-капитана.

— Слушайте, — говорю, — давайте сходим в баньку?

— А у вас есть выпивка? — спрашивает он у меня, зевая.

— Нет, — говорю, — по-моему, мы вчера выпили все, что можно было выпить.

— Какой же русский человек, — отвечает он, — ходит в баню, не запасаясь водкой? Вы, наверное, турок, Виктор Максимович. Недаром вы откуда-то с Кавказа.

— Ну, ладно, — говорю, — как хотите, а я пойду.

Встаю, одеваюсь, выхожу в коридор. Вижу, там похаживает какой-то старичок, вроде комендант общежития.

— Скажите, — говорю, — у вас тут баня есть?

— А как же, — охотно отвечает он и показывает в окно, — вон там, на пригорке. Как раз сегодня работает.

Поселок, где мы устроились, находился примерно в километре от аэродрома. И хотя пригорок, на который показал мне комендант, был в стороне от него, я все-таки подумал: как здорово, что вчера ночью я не шарахнулся в него.

— А мыло с полотенцем, — говорю, — у вас найдется?

— Конечно, — кивает он, — у нас порядок. Хорошему человеку мы все можем достать.

Чувствовалось по его голосу и взгляду, что он так и жаждет, чтобы я попросил у него чего-нибудь посущественней. И вот он приносит мне мыло, мочалку, полотенце. Я спускаюсь вниз. Пригорок, на котором была расположена баня и несколько других строений, находился примерно в трехстах метрах от поселка.

Я поднялся на него, вошел в баню, вымылся от души, оделся и выхожу. Сверху хорошо виден и аэродром и поселок. Не успел я сделать и десяти шагов, как вижу, откуда-то выскакивает «мессер» и идет со снижением в сторону пригорка. Только подумал: чего ему здесь надо? И вдруг догадка — он идет на меня!

На несколько мгновений я почувствовал тот ужас, который, вероятно, чувствует цыпленок, заметивший, что на него пикирует ястреб. У «мессершмитта» оружие неподвижное, поэтому он на цель идет всем корпусом. И я по зловещей направленности его корпуса понял, что он целится в меня.

Только я об этом подумал, как вжик! вжик! вжик! — вздымая столбики пыли, вокруг меня полоснула пулеметная очередь. Я шмякнулся на землю. «Мессершмитт» с грохотом пролетел надо мной и пошел дальше, набирая высоту. Смотрю, сволочь, разворачивается. Быстро оглядываю пригорок. Вижу — чуть пониже, метрах в пятнадцати, куст сирени. Больше никакого прикрытия. Я бегом туда и падаю за куст. Но он успел заметить, куда я бегу. И дал очередь по этому кусту. Несколько веток как бритвой срезало.

Но, между прочим, расстрелять человека с самолета больших скоростей, каким в то время считался «мессершмитт», не так просто, если дело не происходит в чистом поле. Пока самолет далеко, попасть в человека трудно, цель слишком мелкая, а близко подойти к нему рискованно, потому что самолет летит со снижением и может, замешкавшись, врезаться в землю. Так что у него всего две-три секунды прицельного времени.

А между тем он опять разворачивается. Видно, решил во что бы то ни стало меня добить. Но и я не даюсь. Я приметил — ниже, метрах в десяти от меня, торчит сосновый пень. Я бегу и ласточкой прыгаю под него. Снова пули ложатся вокруг, и «мессер» с грохотом проносится надо мной.

Когда он пролетел, я переполз на ту сторону пня. Но пень все-таки недостаточно широкий, и я хоть вжимаюсь в землю, а все-таки высовываюсь из-за него.

Опять веером пули, и самолет с грохотом пролетает надо мной.

Я быстро оглядываюсь и вижу уже далеко внизу, метрах в пятидесяти, довольно здоровый камень торчит из земли. Ну, думаю, была не была, добегу — спасен!

Я к нему со всех ног и слышу по нарастающему грохоту — «мессер» уже развернулся, приближается и вот-вот снесет мне голову! И все-таки я успеваю упасть под камень. Слышу — пули на этот раз чиркают и рикошетируют от камня. Ну, тут ты меня не возьмешь, думаю, стараясь отдышаться от быстрой перебежки. Когда он пролетал надо мной, я переполз на ту сторону камня.

Он опять развернулся. Грохот нарастает, а пуль, между прочим, не слышно. Только пролетел надо мной, вижу — машет крыльями и улетает. В авиации это знак прощания. Видно, расстрелял все патроны, помахал крыльями и улетел.

Спускаюсь в поселок, а там возле общежития столпились солдаты, офицеры, летчики. Оказывается, они все видели и наблюдали за всем, что происходит на пригорке. Поздравляют меня, обнимают, смеются.

— Главное, — хохочет один, — сколько ни прыгал, как заяц, а полотенце не выпустил из рук.

В самом деле, я как сжал в руке полотенце, свернутое жгутом с мочалкой внутри, так и не выпустил его из ладони. Конвульсивно, конечно.

Поговорили, посмеялись, и я наконец подымаюсь к себе в комнату. А там мой инженер-капитан уже за столом. На столе хлеб, консервы, четвертиночка. Старичок комендант вертится рядом. Он, конечно, все это устроил ему за деньги и успел рассказать про меня.

— Слышал, — говорит инженер-капитан, — про ваши дела. А кто вас останавливал от этой глупой затеи? Все норовите тело ублажить... Кстати, именно теперь вам самое время идти в баню... Посмотрите, на что вы похожи!

Я посмотрел на себя и только тут заметил, что весь в пылище с головы до ног.

— Выпейте на дорогу рюмюлю, — говорит он, — и снова идите в баню... Если, конечно, немецким летчикам не дан секретный приказ подстергать вас у выхода из бани.

— Нет, — говорю, — я поклялся перед полетом больше никогда не пить. А нам сегодня лететь.

Я вышел в коридор, где долго отряхивался от пыли и приводил себя в порядок. В тот же день я доставил инженер-капитана туда, где он служил, и вернулся в свой полк. Но ты думаешь, необычайное везенье этих суток на этом закончилось? Нет!

Через четыре месяца встречаюсь с Руфетом, мы с ним снова попали в один полк.

— Везунчик! — кричит он мне, здороваясь. — Такой везунчик мир не знал!

— Да, — говорю, — повезло мне.

Я думал — он что-то прослышал про «мессершмитт», охотившийся за мной.

— Ты везунчик, — повторяет Руфет, — я подцепил от овсянка штаб фронта то, что ты должен был подцепить. Сипасибо, старший брат!

— Ну, теперь-то ты здоров? — спрашиваю серьезно, хотя самого распирает смех от всей этой перекрутки.

— Типер конично, — кивает Руфет, — но, оказывается, хуже нет, чем овсянка штаб фронта... Ашхабад не знает... Испорченный ченчин! Но я был пьяный — не догадался...

И смех и грех, как говорится. Конечно, такого сгустка везенья за всю войну больше не повторялось, я трижды был ранен, горел, но одни такие сутки были. Честно скажу — я практически сдержал свое слово и выпившим больше никогда не подымался в воздух. Это было в первый и последний раз.

### Охотник-ясновидец

Однажды Виктор Максимович спросил у меня, не случилось ли в моей жизни что-нибудь такое, чего нельзя объяснить никаким разумом и логикой. Мы пили кофе у пристани, стоя за столиком под низко нависающей ветвью ливанского кедра.

Я ему рассказал такой случай. Много лет назад я сидел в своей комнате за письменным столом. Вдруг в приоткрытое окно кто-то с улицы постучал пальцем. Обычно так извещала о своем появлении почтальонша.

Жуткая волна необъяснимого страха при звоне стекла сковала все мое тело. Знал ли я в тот миг, что это обычный стук почтальонши? Не помню. И в то же время я разумом понимал, что для страха не может быть никакой причины, надо встать и подойти к окну. Увидев, что за окном, как обычно,

стоит почтальонша и уже роется в сумке, чтобы передать мне письмо, я не только не успокоился, а почувствовал источник своего страха, я понял, что его источает именно то, что она мне сейчас передаст.

Почтальонша передала мне письмо с иностранными марками. Я сразу понял, что это письмо от отца, потому что заграничных писем я больше ни от кого не получал. Это было письмо из Персии. Письма от отца приходили в полтора-два года раз. И конечно, я с обычной почтой не привык ожидать писем оттуда. С ужасом, преодолевая какое-то предчувствие, я раскрыл конверт и увидел в нем собственное письмо, посланное ему год назад. Больше в конверте ничего не было.

Я начал успокаиваться, недоумевая, почему мое письмо пришло назад. Перевернул листок письма и увидел на обратной стороне моей недописанной страницы какую-то приписку, сделанную дрожащим, крупным старческим почерком: «Ваш отец умер в 1957 году. Царство ему небесное!»

Приписка была сделана другом отца, который так же, как и он, был выслан туда из Абхазии и на адрес которого мы обычно посылали письма.

Виктор Максимович, оставив чашку с кофе, внимательно выслушал меня и, дослушав, кивнул головой.

— Со мной лично, — сказал он, — ничего такого не бывало. Но я близко видел человека, который был одарен настоящим сверхчувственным опытом.



В молодости я любил походы в горы. Да и сейчас люблю, хотя приходится экономить время. А тогда я вдоль и поперек износил всю горную Абхазию и Сванетию.

Красоту гор описать еще никому не удалось. Когда стоишь на какой-нибудь вершине и видишь плавно уходящий от тебя изумрудный склон, обильное высокотравье, в котором мерцают голубые горечавки, белые, ярко-желтые, синие крокусы, бледные анемоны, золотые лапчатки, а дальше ледниковое озеро ангельской синевы, а над ним стройные, темно-зеленые пихты, и все это погружено в прозрачный родниковый воздух, озарено солнцем, и видится весь этот Божий мир с утешающей душу четкостью, ты вдруг чувствуешь, хотя бы на несколько минут, что достиг истинного человеческого состояния и это состояние — предошущение полета или счастья.

Однажды мне рассказали про абхазского пастуха, который ни разу не приходил с охоты без добычи. Абхазский бог Ажвейпшаа подает ему знак, говорили мне пастухи. Я, конечно, ни в какой знак не поверил, но, решив, что это очень опытный охотник, захотел с ним встретиться.

В то лето он жил с пастухами своего села в горах Башкапсары. Дорогу туда я знал хорошо. И вот подымаюсь на альпийские луга Башкапсары, встречаю какого-то пастуха и спрашиваю у него, где тут располагается охотник Щаадат. Так звали его. Пастух показывает мне дорогу к его шалашу, и я через полчаса там.

В шалаше жили четыре пастуха. Трое из них кое-как говорили по-русски, а четвертый, самый молодой, говорил при-

лично. Узнав о цели моего визита, они закивали головой на Шцаадата, и тот, застенчиво улыбнувшись, обещал взять меня на охоту.

И вот я живу с ними, присматриваюсь к своему охотнику и ничего в нем особенного не вижу. Сухошавый, пожилой крестьянин-пастух, молчаливый, услужливый, однако никогда не теряющий чувства собственного достоинства, о котором он сам явно не задумывается. Это прирожденное.

Погода стоит отличная, но почему-то на охоту он меня не берет. Утром доит коз и гонит их на зеленые склоны, в полдень приходит обедать, вечером пригоняет коз, снова доит, а потом, подвесив на огонь большой котел с молоком, закатывает рукава и, по локоть погрузив руки в молоко, начинает выколдовывать оттуда сыр.

— Когда пойдем? — показываю я ему на горы дня через три. Он смеется.

— Сичас коза нет, — говорит, — когда будет, пойдем на гора.

— Откуда знаешь, — спрашиваю, — когда будет?

Он опять смеется и что-то говорит своим товарищам поабхазски. Они тоже смеются.

— Моя знай, — кивает Шцаадат мне, — когда будет, пойдем на гора.

Проходит еще несколько дней, и вдруг однажды просыпаюсь на рассвете. Оказывается, меня осторожно будит Шцаадат. Прижимает палец к губам, чтобы я шумом не будил остальных.

ных пастухов. Я быстро одеваюсь, винтовку через плечо, в руки посох, и мы начинаем подниматься в горы.

Подымаемся час, два, три, а конца пути не видно. И хотя я был тогда замечательный ходок, но подъем крут, чувствую, устаю.

— Долго еще? — киваю ему вверх.

— Скоря, скоря, — успокаивает он меня.

Однако мы еще часа два карабкаемся по скалам, а он только идет впереди мерным шагом, и большая толстая палка торчит у него через плечо. Он ее вырезал в леске, когда мы только вышли на дорогу. Я знал, что к такой палке подвешивается крупная добыча.

Наконец он оборачивается ко мне и, приложив палец к губам, показывает, чтобы я молчал, хотя и так молчу. Знаками показывает, чтобы я как можно осторожней, не потревожив камушки, переставлял ноги. Метрах в пятидесяти впереди нас скалистая вершина. За несколько метров до вершины он лег и стал ползти, показывая, чтобы я делал то же самое. Дopolзли до вершины. Осторожно выглядываем.

Перед глазами распаивается слепящая белизна огромного ледника, над которым торчит зубчатая скала. Глазам больно от непривычного сверкания льда. Щаадат тихонько толкает меня и кивает наверх, туда, где начинается ледник. Я смотрю и ничего не вижу. Он опять толкает. Я старательно вытираю слезящиеся глаза, присматриваюсь и вдруг вижу: на крошечной лужайке, над самым ледником у скальной стены неподвижно стоит тур. Я вглядываюсь и вдруг вижу, что еще

три тура рядом с ним, но они не стоят, а сидят на лужайке. Все они так удивительно сливались с цветом скал, что я их не сразу различил.

Я снимаю с плеча винтовку. Щаадат кивает, мол, давай. Азарт торопит меня, а он знаками показывает, мол, спешить не надо, они никуда не уйдут. Я прилег, тщательно прицелился в стоящего тура и выстрелил. Тур упал. Я думал, остальные разбегутся, но они не разбежались. То ли не услышали выстрела, то ли приняли за грохот камнепада, не знаю. Только один из сидевших туров встал, подошел к упавшему и понюхал его. Увидев, как удобно в него сейчас стрелять, я снова почувствовал охотничий азарт, вскинул винтовку, но вдруг Щаадат яростно вырвал ее у меня из рук.

— Бог сердчай! — крикнул он мне так сердито, что я опешил.

Я тогда не знал, что по древней абхазской охотничьей этике травоядного зверя больше одного нельзя убивать. Я-то встречал охотников, которые, если им удавалось, убивали не одного тура и не одну косулю, но, видно, бывали еще и охотники, которые придерживались древних правил.

Мы спустились к леднику, осторожно ступили на него и, вонзая в него посохи, наискосок поднялись до самой лужайки, где лежал мой тур.

Щаадат знаками показал, что я могу отдохнуть. Чувствуя смертельную усталость, я растянулся на траве. Щаадат скинул с плеча бурдючок с кислым молоком, снял с пояса кружку, встряхнул бурдючок, вынул затычку и налил мне. Я выпил три кружки густого, утоляющего голод и жажду

кислого молока и почувствовал себя посвежевшим. Щаадат тоже выпил пару кружек, но в отличие от меня сделал это не спеша, стараясь, как это принято у горцев, не оскорблять взор спутника слишком явным проявлением телесной жажды.

После этого он вынул из чехла свой пастушеский нож, вспорол брюхо тура, выволок оттуда ненужные внутренности, а потом за ноги подвязал тушу к своей палке. Я обратил внимание, что тушу тура он подвязал не к середине палки, а поближе к одному концу.

Мы посидели еще с час, а потом Щаадат показал рукой на солнце, давая знать, что нам пора в дорогу. Мы приподняли с обоих концов палку с подвешенным туром и подставили под нее плечи. Он встал впереди и, конечно, взялся за тот конец, ближе к которому был подвешен тур. Опираясь на посохи, мы медленно стали спускаться к леднику. В самых опасных местах Щаадат продавливал посохом лед, чтобы мне удобней было ставить ногу.

Вечером у пастушеского костра, поверчивая на деревянном вертеле шашлык из турьего мяса, Щаадат раскрыл свою тайну. Оказывается, абхазский бог охоты Ажвейпшаа ночью во сне указывает ему на место, где ждет его добыча.

Прошло с неделю. Я живу с пастухами и больше уже не тормошу Щаадата, а жду, когда ему бог охоты подскажет время и место нашей следующей вылазки.

И опять слышу, на рассвете меня осторожно будит Щаадат. Я тихо встаю, одеваюсь, беру винтовку и выхожу из ша-

лаша. Теперь мы идем совсем в другую сторону, на юг. Мы вышли к подножию небольшого обрывистого плато, поросшего кустарником. Щаадат кивнул головой на вершину. Я всмотрелся в заросли и увидел головку косули. Словно почуввав нас, головка косули с минуту оставалась неподвижной, явно к чему-то прислушиваясь, а потом дотянулась до куста и стала срывать с него листья. Мы долго всматривались в заросли, и я видел время от времени то тут, то там шевелящиеся кусты. Мы набрали на стадо.

Щаадат знаком показал, что надо ползти вверх, и мы поползли. Время от времени останавливались, всматривались в кусты на вершине плато, а Щаадат, мазнув палец о язык, пробовал ветер. Ветер нам благоприятствовал, он дул со стороны косуль.

Как мы ни прятались, чем ближе мы подползали к вершине, тем беспокойнее вели себя косули. И если теперь головка косули показывалась в кустах, она все дольше и дольше замирала, прислушиваясь к чему-то.

Мы подползли к ним метров на пятьдесят. Щаадат велел остановиться. В шевелящихся кустах их почти не было видно. Наконец высунулась голова одной косули, замерла, и Щаадат кивнул мне. Я тщательно прицелился и выстрелил.

Косуля, как подброшенная, выпрыгнула из кустов и побежала в противоположную от нас сторону. И сразу же кусты ожили, и грациозно прыгающие косули, то появляясь над кустами, то ныряя в них, побежали за первой.

У меня была шестизарядная боевая винтовка, и я стрелял и стрелял вслед выныривающим из кустов и словно бултыхающимся в кусты косулям. И все они бежали вслед за первой, спрыгивая с края плато на каменистый склон, мелькая в воздухе желто-золотистой шкуркой, и ни одна из моих пуль не достигла цели. Когда последняя косуля подбежала к краю плато и отделилась от него, Шаадат вскинул ружье и выстрелил. Но и он промахнулся. Косули исчезли.

— Чужой судьба! — сказал Шаадат, махнув рукой в сторону ускакавших косуль, и мы несолоно хлебавши вернулись в свой шалаш.

На следующее утро снова просыпаюсь от того, что меня будит Шаадат. Видно, бог охоты, подумал я, жалея нас за вчерашнюю неудачу, показал ему новое место.

Я быстро оделся, взял винтовку и вышел из шалаша. Шаадат с посохом в руке дождался меня. Посмотрев на меня, он знаками показал, чтобы я винтовку оставил. Тут только я заметил, что у него за плечами нет ружья.

Ничего не понимая, я снял с плеча винтовку и внес ее в шалаш.

— А куда мы идем? — спросил я у него, выходя наружу.

— Моя знай, — сказал он и пошел вперед.

Я беру свой посох и отправляюсь за ним. Вскоре я понял, что мы идем туда, где были вчера. Зачем? Сам я никак не мог догадаться, а спрашивать не хотелось. У таких людей, я уже по опыту знал, ни о чем спрашивать нельзя. То, что нужно

сказать, они скажут сами, а то, что, по их разумению, нельзя говорить, они никогда не скажут. И все-таки я со жгучим любопытством раздумывал, зачем он меня туда ведет? Если б мы шли туда с оружием, я бы подумал, что бог охоты дал ему во сне еще один шанс попытать счастья на том же месте. А так было ничего не понятно.

Вскоре перед нами показалось вчерашнее плато. Мы стали подыматься к нему. Сколько я ни всматривался в кусты, никаких коскуль сегодня не было.

Мы выбрались на плато и вошли в кустарники. Щаадат стал показывать на обломанные ветки держи-дерева, смятые кусты кликачки, раздвинутые папоротники. Здесь пробегало стадо. Двигаясь по следу, мы подошли к краю плато и заглянули вниз. В этом месте оно круто обрывалось, переходя в каменистый склон, в глубине своей покрытый буковым лесом.

Мы стояли минут десять-пятнадцать над краем плато, и Щаадат, как я заметил, внимательно всматривался в усеянный крупными камнями склон. И вдруг, вытянув руку в сторону одного из камней, он стал на что-то показывать мне.

— Коза! Коза! — закричал он. Так он называл коскуль. Я посмотрел в направлении его руки, но ничего не увидел, кроме камня, обросшего с противоположной стороны кустами чубушника.

Он спрыгнул с края плато и побежал по склону, притормаживая посохом. Я спрыгнул за ним. Когда мы подошли к кам-



ню, на который он показывал, я увидел в кустах чубушника навзничь лежащую косулю с вытянутыми, растопыренными, одеревеневшими ногами. Задние ноги высовывались над камнем, но я их принял за высохшие сучки.

И тут я, наконец, ему поверил. Понять, что это ноги косули торчат из-за камня, мог только человек, твердо знавший, узнавший в эту ночь, что где-то здесь на склоне должна лежать убитая косуля.

— Твой судьба, — сказал Щаадат, показывая на косулю, но я сильно подозревал, что косуля убита его единственным последним выстрелом.

Вечером у костра, поджаривая мясо, молодой пастух, кивнув на Щаадата, сказал:

— Он видит во сне не только место, где ждет его хорошая охота. Он видит и то, что он должен встретить: коза, тур, олень, медведь.

Пожалуй, охотник Щаадат был единственным носителем необъяснимого сверхопытного знания, которого я встречал в своей жизни. Конечно, можно говорить о телепатической связи старого охотника с животными, на которых он охотится. Можно говорить о каком-то почти неприметном для глаза изменении в полете смертельно раненной косули, только позже расшифрованном им во сне, но так можно развенчать любое чудо.

Мы с Виктором Максимовичем рыбачили на моей лодке, которой я дал название «Чегем», еще сам того не ведая, что во мне уже зреет тема моей будущей книги.

Справа от нас, ближе к берегу, сгруппировалось около пятнадцати лодок. Рыбаки время от времени ревниво поглядывали на соседние лодки, чтобы узнать, как у кого идет рыба. Иногда происходила таинственная перегруппировка всей флотилии.

Какой-нибудь рыбак замечал, что на другой лодке несколько раз подряд тащили хорошую рыбу. Зрелище вообще невыносимое. Если же это наблюдение совпадало с промежутком, когда у него самого рыба не клевала, он потихоньку снимался с места и устраивался поближе к той лодке, где рыба брала. Его переход на новое место не оставался незамеченным и другими временными неудачниками, и они снимались с места и устраивались поближе к нему.

Перемещение нескольких лодок не могло не растревожить остальных рыбаков, и, даже если у них рыба неплохо клевала, они, решив, что стая отошла и на новом месте рыба будет клевать еще лучше, тоже снимались с места и пристраивались к переместившимся.

А тот первый рыбак, не зная, что он сам и есть источник всех перемещений, вдруг спохватывался, что все перешли на новое место, а он один, как дурак, рыбачит на старом. Он заводил мотор или садился на весла, и так как поблизости все места были уже заняты, да он и не стремился к близости, ибо не знал, к какой близости надо стремиться, потому он пристраивался к последнему в перегруппировке, при этом, как и все, молча делая вид, что сам прекрасно знает о причине всех перемещений. Такова технология мировой глупости.

Слева от нас далеко в море мелькали белые и цветные паруса яхт. Позади лежал город. Мы ловили ставриду на самодуры. Виктор Максимович, время от времени подергивая шнур и как бы прислушиваясь к тому, что делается в глубине моря вокруг его ставки, рассказывал о тайге. Возможно, воспоминание это всплыло в его памяти по контрасту с тем, что он видел вокруг. Вот его рассказ.

— В ту зиму я попал в тайгу на геологоразведочную работу. Мы забуривали шурфы в поисках золотоносной породы. Шурф — это колодец, иногда глубиной до тридцати метров. После каждой проходки вынимается порода и потом, летом, подвергается промывке на предмет проверки — есть золото или нет.

Постепенно колодец углубляется, и шурфовщик опускается на дно при помощи бадьи, которую на тросе опускают два человека, работающие на воротке.

Шурфовщик, опускаясь на дно колодца, выдалбливает кайлом несколько лунок, так называемых бурок, закладывает туда аммонит, втыкает бикфордов шнур и запаливает его. После этого дает команду наверх, чтобы его подымали. А наверху два человека, так называемых воротовщика. Они крутят ворот и подымают его. После взрыва шурфовщик снова опускается на дно колодца и вынимает в бадье очередную порцию породы.

Зима на Колыме начинается с того, что запоздалые гуси и лебеди ходят с растопыренными крыльями по берегам озер и рек. Крылья растопырены потому, что обмерзли. Бедняги

взлететь не могут и становятся жертвами зверья и людей, если таковые оказываются поблизости.

Самые сильные морозы иногда доходят до шестидесяти градусов. При большом морозе долины и распадки ручьев окутаны колючим, приземистым туманом. Идешь — словно плывешь по разлившейся реке. В пяти метрах ничего не видно.

В это же время на вершинах гор совсем другая картина. Там ослепительное солнце, и, когда сверху смотришь в долины рек и распадки ручьев, пронизывает жуть — мрак, адская мгла. Кстати, температура воздуха на вершинах на десять—пятнадцать градусов выше, чем внизу.

При сильном морозе в тайге космическая тишина. Не слышно ни птиц, ни зверей. И только время от времени далеко разносится треск лопающихся стволов.

Итак, в ту зиму впервые бесконвойно мы жили в тайге. Нас было шестеро в одной палатке. В ней тепло, потому что обыкновенную брезентовую палатку обкладывают снегом, потом обливают водой, и снег, притертый коркой льда, хорошо держит тепло. Внутри железная печка.

Это была первая зима, когда постоянный лагерный голод остался позади. К обычной своей пайке мы глушили рыбу: взрыв — и рыба вместе с кусками льда разлетается в разные стороны. Кроме того, мы научились ловить полярных куропаток. Бутылкой продавливаешь в снегу лунку и насыпаешь туда брусники или голубики. Куропатка пасется на снегу, заглядывает в лунку, пытается дотянуть-

ся до ягод, шлепается туда и замерзает, потому что не может вылететь.

Все было бы хорошо, если б не одно обстоятельство. Я замечаю, что один из заключенных заставляет другого на себя ишачить. То ему чифирь завари, то ему консервы открой, то ему портянки постирай, то ему валенки просуши.

Они были из одного лагеря, и, конечно, эти отношения у них возникли давно. Вероятно, в лагере тот, что пользовался услугами своего шестерки, защищал его от уголовников. Но здесь он в такой защите не нуждался, и видеть вблизи в одной палатке это постоянное холуйство было мучительно.

Звали этого барина Тихон Савельев. Здоровенный верзила с неподвижным взглядом зеленых, почти не мигающих глаз. Он вроде видит тебя и не видит. Взгляд из какого-то другого измерения, очень неприятный взгляд. Кто он был в прошлом, не знаю. Он уже восьмой год сидел за убийство в драке.

А человек, которого он сделал своей шестеркой, звали его Алексей Иванович, в прошлом был директором завода одного из подмосковных городков. Он был лет на двадцать старше Тихона, и потому особенно неприятно было это холуйство.

Если б не бушлат, ватные брюки и валенки, его можно было бы назвать вполне импозантным мужчиной. Он был выше среднего роста, имел красивые правильные черты лица, и только в его больших, голубых, как бы теоретически плачу-

щих глазах застыл тоскливый идиотизм ожидания справедливости.

Он сидел уже по второму сроку с тридцать седьмого года. Какая-то чушь там получилась с его заводской стенгазетой, что-то там не то напечатали. И вот он уже пятнадцать лет писал прошения и горестно недоумевал, почему в его деле не разобрались.

Он простодушно и охотно о себе рассказывал. Вот несколько случаев из его жизни, которые мне запомнились.

В тридцатые годы молодые рабфаковские инженеры все время что-то изобретали. Он тоже изобретал. Судя по тому, что он имел несколько патентов, был он инженером не без изобретательской жилки.

Но однажды ему в голову пришла гениальная идея. Он решил изобрести такое магнитное поле, которое во время войны будет отклонять вражеские пули от наших окопов.

Несколько месяцев он не спал по ночам в своей коммуналке, изучая степень отклонения железных предметов, падающих возле магнитной подковы. Он настолько увлекся своим открытием, что жена его стала роптать на то, что он из-за своего магнита совершенно перестал ощущать магнетизм ее собственных чар. Но он мужественно не обращал внимания на ропот жены, потому что хотел сделать нашу армию неуязвимой для вражеских пуль.

О своем открытии он написал в Наркомат обороны, и его вызвали туда. И он там заседал с какими-то военными чина-

ми и учеными. Среди ученых был академик, а среди военных присутствовал сам маршал Буденный.

Можно представить, что это было за время, если академик не посмел ему сказать, что он чушью занимается. Доклад его одобрили и рекомендовали продолжать опыты. Он продолжал.

Но однажды в трамвае он оказался рядом с военным, и его осенило спросить, из какого металла делаются пули. Услышав, что из свинца, он похолодел от ужаса. Он знал, что свинец равнодушен к чарам магнита.

Ни жив ни мертв он пришел домой. Он решил, что его вот-вот заберут за обман армии и доверчивого маршала Буденного. Несколько ночей он не спал, а его все не брали. Видя, что его не берут, он пришел в полное отчаянье и написал покаянное письмо в тот же наркомат, указывая, что причина ошибки в его крестьянском малограмотном происхождении, а не во вредительском желании оголить нашу армию под пулями противника. Как это ни странно — пронесло. Его больше по этому поводу не вызывали.

А вот еще случай из его жизни. Однажды, будучи в Москве в командировке, он влюбился (опять магнетизм) в одну женщину. Тогда он еще не был директором завода. Женщина эта предложила ему перебраться к ней, и он покинул жену, сказав, что по секретному заданию партии на три года отправляется за границу. Почему он был уверен, что будет любить эту женщину ровно три года, Аллах его знает.

Через полгода он приехал в деревню навеститься к своим родителям. Входит в дом, а там жена его сидит в горнице. Она, бедняга, соскучилась по нему, решила немного пожить с его родителями. Вот тебе и тайное задание партии! Не помню, что он ей там соврал, но на этот раз жена оторвала его от московской Магнитки.

А вот самый удивительный его рассказ. Однажды утром по дороге на завод, проходя мимо какой-то церквушки, Алексей Иванович увидел такое зрелище. Он увидел монаха, который, прикрепив веревку к колокольне и сделав на другом конце петлю, стоял возле табуретки, явно готовясь взобраться на нее.

Что же предпринял представитель самой гуманной идеологии в мире? Он тут же пошел в милицию и сообщил об увиденном. Когда он вместе с милицией приехал на место происшествия, монах мертвый висел в петле.

— Что же вы, Алексей Иванович, — говорю, — сразу же не подошли к нему и не остановили его?

Он подумал, подумал, уставившись на меня своими теоретически плачущими глазами, и сказал:

— Город у нас маленький, Виктор Максимович, а я директор завода. Люди могли неправильно понять, почему я, член партии, общаюсь с монахом.

— А почему вы пошли в милицию?

Он опять подумал, уставившись на меня замороженными глазами, и сказал:

— Надо же было прореагировать.



Значит, какое-то смутное представление об общественном долге у него было: то ли своевольный поступок монаха должен быть наказан, то ли беспорядок в виде трупа, висящего в общественном месте, должен быть устранен.

Я, конечно, вспоминаю с определенным выбором. Он и вполне невинные вещи говорил... Кстати, вот еще один случай из его золотых студенческих лет.

Однажды все студенты его курса ушли с лекции. Деканат начал дознаваться, кто был заводилой. Когда к нему сильно пристали, он назвал студента, который явно не был заводилой, и он об этом знал. Кстати, заводили вообще могло и не быть.

— Почему же вы его назвали?

— Но они, Виктор Максимович, пристали ко мне: назови да назови. Я понял, что не отстанут, и назвал.

— А что же он?

— А он — ничего. Только перестал со мной разговаривать до конца института.

Поразительней всего в его рассказах — простодушная откровенность. Идеология — страшная вещь, и мы ее недооцениваем. Обычно мы считаем, что она навалилась и заставила. Правильно — навалилась. Но идеология, разделив людей на исторически полноценных и неполноценных, разрушила в человеке универсальность и цельность нравственного чувства. Его заменяет ничтожный рациональный расчет, по которому своих следует любить и жалеть, а чужих надо ненавидеть и держать в страхе.

Образно говоря, по идеологии получается, что, если рабоче-крестьянская старушка переходит улицу, ей надо помочь. А если буржуазная старушка переходит улицу, ей нельзя помогать. Но идеологизированный человек, то есть человек с разрушенным нравственным чувством, вообще никакой старушке не будет помогать. И если б его поймали на том, что он не помог перейти дорогу пролетарской старушке, он бы сказал: «Я ей не помог, потому что в тот момент она мне показалась буржуазной старушкой».

Он это мог сказать искренне и неискренне. Неискренний, конечно, циник, он уже понял, что все это игра, и эта игра ему выгодна. Искренний страшней, ибо, не понимая, что внутри него разрушено нравственное чувство и в этом вся суть, он, рационалистически сожалея, что не помог близкой по классу старушке, будет стремиться ввести во все сферы жизни многочисленные знаки, по которым можно отличить своих от чужих. Что и случилось. Отсюда грандиозность бюрократической машины, которая окончательно запутывает вопрос и дает новые многочисленные преимущества циникам и мошенникам.

Думать, как некоторые, что наша идеология, разрушив старую нравственность, создала новую, хотя бы зачаточную, хотя бы частичную, хотя бы для правящей элиты, абсолютно неверно. Нравственное чувство или универсально, или его нет. Простейшее доказательство — безумная жестокость, с которой идеологи расправлялись со своими же соратниками. Сейчас жестокость снизилась, но ровно настолько, на-

сколько снизилась идеологичность. Но я слишком далеко отошел от моего Алексея Ивановича. Я просто хотел понять, почему он в истории с этим монахом поступил столь странно и почему он даже в позднем рассказе не испытывал никакого покаяния.

Так вот, значит, этого самого Алексея Ивановича, командовавшего заводом, пусть небольшим, приспособил к себе этот Тихон. И Алексей Иванович теперь обслуживал его с той же степенью добросовестности, как, вероятно, раньше обслуживал свою идеологию.

И вот хотя я знаю все про него, а все-таки мне его жалко. И видеть его униженным для меня мучительно, и я ничего с собой сделать не могу. А ведь я уже не раз получал за это.

Однажды нас этапом пригнали в один из лагерей. У вахты встречал нас комендант с помощниками. У некоторых в руках дрыны. Все, что понравится из вещей заключенных, тут же отбирают.

Рядом со мной стоял парень лет восемнадцати. Оказывается, у него под бушлатом был надет шерстяной спортивный костюм, который дала ему мать во время свидания. Бушлат у этого парнишки был плохо застегнут, и один из людей коменданта увидел новую шерстяную фуфайку. Хотя заключенным формально и не положено ничего носить, кроме казенной одежды, но тот, конечно, хотел взять ее для себя.

— А ну, сымай! — дернул он его за бушлат.

— Не отдам, это мамин подарок! Это мамина память! — завопил парнишка.

Что-то во мне перевернулось.

— Оставь парня! — крикнул я и оттолкнул этого мерзавца.

Как они на меня навалились! Минут пять я еще держался в глухой защите, а потом рухнул. Оказывается, мне дрыном проломили череп, и я шесть суток без сознания пролежал в больнице. Прихожу в себя: злой, как змея. На весь мир и собственную глупость. На что, на что я надеялся, когда пытался его защитить?! Но, слава Богу, свет не без добрых людей. В больнице оказалась чудесная врачиха. Она не только выходила меня, но я и душой постепенно оттаял за месяц выздоровления.

И вот опять чувствую, назревает бешенство, но остановить себя не могу. Однажды утром Алексей Иванович подает Тихону, который возлежит на нарах напротив меня, кружку с чифирем. Потом подает ему завтрак. И тут Тихон, поварчивая, что Алексей Иванович сам не может ни о чем догадаться, велит ему высушить над печкой валенки.

И когда этот бывший директор завода, стоя у печки, стал сушить ему валенки, я не выдержал. Сидя на нарах, я ударом ноги выбил у него из рук валенки.

— Если кому надо подсушить валенки, пусть он сам их и сушит, — сказал я, взглянув на Тихона. Он возлежал напротив меня. Тихон, не меняя позы, взглянул на меня своими зелеными, невидящими глазами.

— А ты, летун, с душком, — сказал он наконец, а через мгновение добавил: — Жалко, что такие в тайге долго не живут.

— Давай выйдем, — сказал я, — посмотрим, кто дольше проживет.

Я был сейчас готов на все и знал, что таких людей надо переламявать сразу. Он снова посмотрел на меня своими длинноресничными, сонными глазами.

— Нам спешить некуда, — сказал он и, привстав с нар, стал надевать валенок, упавший возле него. Второй валенок отлетел ко входу в палатку, и Алексей Иванович несколько раз посмотрел на меня, потом на Тихона, как бы не зная, что теперь ему делать. Потом он поднял второй валенок и поставил его возле Тихона. Тот, не говоря ни слова, надел его...

...Завывание приближающегося на большой скорости глissера прервало рассказ Виктора Максимовича. Метрах в десяти от нас на глissере выключили мотор, и он по инерции прошел рядом с нами. Портовый милиционер сидел на средней банке.

— Быстро сматывайте удочки, — крикнул он, — греческий пароход идет!

Я вопросительно посмотрел на него, но он взглядом дал знать, что разговоры излишни.

— Быстро! Быстро! — повторил он. Моторист дернул за шнур, и мотор снова взвыл. Наша лодка сильно качнулась от большой волны. Развернувшись на бешеной скорости, глissер пошел в сторону рыбаков. В открытом море другой глiss-

сер мчался к далеким яхтам. На горизонте висел белый призрак приближающегося судна.

— Пошли к берегу, — сказал Виктор Максимович и стал сматывать леску, — сейчас они море очистят.

Редкие заходы иностранных судов в наш порт всегда сопровождалось освобождением поверхности моря от любых плавсредств. Считалось, что таким образом они лишают потенциальных злоумышленников возможности контрабандой перейти на судно или что-то принять от него. Но это абсолютно исключено, потому что и в порту, и поблизости от порта иностранное судно всегда находится под неусыпным дозором пограничников.

Я смотал свою снасть и, сев на весла, стал грести в сторону города, Виктор Максимович, наклонившись, собирал рыбу в целлофановый пакет. Мы поймали килограмма два ставриды. Рыбаки, ловившие рыбу бережнее нас, постепенно расползлись. Одни, как и мы, в сторону города, другие, жившие на Маяке, удалялись в противоположную сторону. Почихивая, глохли и взывали моторы. Те, что были на веслах, взялись за них. Виктор Максимович полулежал на корме, вытянув ноги и упираясь босыми ступнями в банку. Он продолжил свой рассказ:

— ...И вот, значит, с тех пор наступила для меня странная жизнь. Ощущение такое, что рядом с тобой хищник и ты не знаешь, когда и как он на тебя накинется. Иногда мы работаем на одном шурфе, и я стараюсь следить, чтобы он не оказался за моей спиной, особенно если у него в руках кайло.

Иногда мы работаем в разных местах, и тогда я, проходя под обрывистой сопкой, поглядываю, не свалится ли мне на голову обломок скалы. Однажды ночью просыпаюсь и вижу: он, приподнявшись на нарах, смотрит на меня из полутьмы. Что задумал? Что у него под подушкой? Нож? Скоба?

Ладно, думаю, посмотрим, чем это все кончится. Алексей Иванович продолжает подавать ему завтрак в постель и по малейшему знаку заваривает ему чифирь. Но валенки, между прочим, тот уже не просит просушить. Что это означает? Не знаю.

Однажды нам, как обычно, привезли на нартах продукты и ящики с аммонитом. Кстати, мы перевыполнили норму по сдаче золота, и поэтому у нас вдоволь было чаю, курева, да и спирту перепало. Так вот, выгружаем продукты и ящики с аммонитом. И вдруг Тихон мне говорит:

— А ну, летун, посмотрим, у кого гайка крепче. Давай, кто больше выжмет ящик!

— Хорошо, — говорю, — только ты первый.

Все остановились и смотрят на нас. Все понимали тайный смысл того, что произойдет. От того, кто окажется сильней, зависит мое будущее.

Ящик с аммонитом весит пятьдесят два килограмма. Он кладет его на грудь и начинает выжимать. Я знаю, что он физически сильней меня, но у него, как у заядлого чифириста, сердце разболтано. К тому же он не умеет правильно распределять силы. А я хоть и не занимался спе-

циально штангой, но во время боксерских тренировок в спортзале иногда подходил к штанге и знал основные правила.

Пытаясь сохранить силы, он выжимал ящик, не задерживая его на груди. Он не понимал, что гораздо правильней после того, как выжал вес, спокойно выдохнуть и с новым вдохом тянуть его с груди. Не сообразуясь с дыханием, он выжал ящик четыре раза. Попробовал в пятый раз, лицо его побагровело, ящик затрясся в руках, которые он так и не смог распрямить. Пришлось поставить его на снег.

Теперь я подошел к ящику. Я взял его на грудь. Выжал. Поставил на грудь. Выдох, и снова, набирая воздух, выжал. Я понимал, что должен его во что бы то ни стало сломать именно сейчас. Я выжал ящик семь раз. Хотел для наглядности преимущества (в два раза!) выжать его восемь раз, но почувствовал, что больше не вытяну, и поставил ящик на снег.

Смотрю на Тихона. Он все еще тяжело дышит. Не может прийти в себя. Теперь его зеленые глаза смотрят не как обычно сквозь меня, а именно на меня. И весь его облик как бы говорит, что хищник смирился.

— Силен, летун, — процедил он нехотя, — а на вид вроде не скажешь.

И с того дня я перестал его опасаться. Я понял, что он смирился. Прошло недели две. В тот день мы втроем, Тихон, Алексей Иванович и я, работали на шурфе на одной из дальних сопок.



Они спустили меня в бадье на дно колодца. Я продолбил кайлом четыре бурки, вставил туда аммонит, воткнул в каждую бурку бикфордов шнур и запалил.

— Тяните! — крикнул я наверх, влезая в бадью. Они стали поднимать меня, и вдруг метрах в восьми от дна колодца бадья остановилась. Я не понял, в чем дело.

— Тяните! — крикнул я еще раз.

— Можешь помолиться, — вдруг слышу спокойный голос Тихона. Он склонился над шурфом.

Я похолодел. Через две минуты аммонит взорвется и от меня ничего не останется.

— Тяните! Тяните! — заорал я в ужасе и одновременно ненавидя себя за то, что в моем голосе дрожала мольба.

— Еще сто секунд покричишь, — спокойно сказал Тихон сверху.

И тут я мгновенно взял себя в руки и принял единственное решение. Держась руками за трос, я осторожно становлюсь на край бадьи и прыгиваю вниз, стараясь на лету не задеть стенки колодца и вовремя спружинить ногами. Я удачно приземлился, не вывихнув себе ног. Сказался опыт прыжков с парашютом. Я загасил бикфордов шнур. Пьянящая радость спасения и одновременно буйная ярость душат меня. Идиот! Как я мог поверить в его смирение! А они молчат, не поймут, куда делся взрыв. Они, конечно, не совсем точно рассчитали, но и слишком высоко подымать меня не имело смысла, взрыв мог не достать.

Вижу, кто-то наклоняется над колодцем шурфа, и раздаётся унылый голос Алексея Ивановича:

— Вы живы?

Эта осторожная вежливость в обращении с возможным трупом меня почему-то безумно смешит.

— Нет, — кричу ему, — я с того света! Тут один монах тебя спрашивает! Опускайте бадью, гады!

Прошло несколько минут, видно, они о чем-то переговорили, и бадья пошла вниз. Я сел в нее, сжав в руке кайло. Ярость душила меня. Я знал, что драка будет смертельная. Я был готов на все. Бадья поднялась над колодцем. Вижу — Алексей Иванович стоит с одной стороны воротка, Тихон с другой. Алексей Иванович смущенно поглядывает на меня, словно хочет сказать, мол, что я мог поделаться, хозяин велел. А Тихон несколько не смущен, смотрит с кривой ухмылкой, мол, будешь теперь знать, как со мной связываться. У него в руке не было даже кайла. Значит, он был уверен, что раздавил меня страхом. Я вспомнил свой голос, умоляющий поднять бадью, и совсем взбесился. Я бросил кайло, выпрыгнул на снег, и мы сцепились.

Он, конечно, был сильнее меня, но на моей стороне был неистовый напор, и первые несколько минут я уравнивал его силу своей яростью. Но эта же слепящая ярость помешала мне в первые секунды свалить его точным ударом, а потом, пропустив эти секунды, я уже никак не мог отцепиться от него, чтобы нанести хороший удар. Но минут через пять, а мороз дикий, градусов сорок, он стал задыхаться, ослаб.

Я отодрался от него и сильным ударом свалил его с ног. Он упал и потерял сознание. Но ярость все еще клокотала во мне. Мне хотелось покончить с ним навсегда!

Я схватил его за шиворот и поволок к старому отработанному шурфу, чтобы сбросить его туда. Здесь в тайге наша жизнь и смерть — копейка. Никто особенно не будет дознаваться. Начифирился, скажу, и оступился в колодец. Отчетливо помню, что, пока я его волок, и это мелькнуло у меня в голове.

Я уже был в десяти метрах от шурфа, когда он вдруг ожил и схватил меня за ноги. Я остановился и посмотрел на него. Все еще держа меня за ноги, в каком-то полубессознательном состоянии, он подкарабкался к моим ногам, прильнул к ним, прижавшись обессиленным телом, приютился.

Что-то пронзило мне душу. Я очнулся. Казалось, тело его, прижавшись к моему телу, просит о пощаде. Не меня просит, на мое сознание оно уже не рассчитывало, а мое тело просит. Тело просило тело! И эта странность, которую я сейчас расшифровываю, но тогда почувствовал, потрясла меня.

Я оттолкнулся от него, и он повалился на снег. Стараясь отдышаться, я стоял, ничего не видя вокруг.

— Виктор Максимович! Виктор Максимович! — донесся до меня голос Алексея Ивановича. Он тряс меня за плечо. Я посмотрел на него. Он протягивал мне мою ушанку.

— Наденьте, замерзнете! — сказал он. Приходя в себя, я взял у него ушанку и надел ее на голову.

Я посмотрел на Тихона. Он сейчас уже сидел на снегу. На голове у него тоже не было ушанки, и один валенок соскочил с ноги, когда я его волок к шурфу.

— Принеси ему валенок и ушанку, — кивнул я Алексею Ивановичу.

— Ему? — удивленно переспросил он.

— А кому же еще, болван! — прикрикнул я на него.

Услышав мой окрик, он заторопился, подхватил валенок, нашел ушанку и, подойдя к Тихону, кинул ему и то и другое. Тихон надел ушанку и, время от времени выплевывая кровь изо рта, натянул на ногу валенок. Кстати, мне тоже порядочно досталось, один глаз у меня оплыл.

Я не стал упрекать Алексея Ивановича за то, что он принимал участие в попытке убить меня. Как-то все отошло. Я устал. Алексей Иванович развел костер, мы погрелись и выпили с Тихоном по кружке чифиря, приготовленного Алексеем Ивановичем. Сам он выпил обыкновенный чай. Чифирь он не пил. Берег здоровье. Как следует отдохнув и согревшись, мы снова принялись за работу.

На следующее утро я проснулся от того, что меня кто-то тормозит.

— Виктор Максимович! — услышал я вкрадчивый голос Алексея Ивановича.

— А я вам, Виктор Максимович, чифирек приготовил, — говорит он родственным голосом.

— Зачем, — говорю, — разве я вас просил?

— Для бодрости, — сказал он, слегка опешив, — я думал, вам захочется.

— Если мне захочется выпить чифирь, — говорю ему как можно внятней, — я сам себе его заварю.

Он смотрит на меня теперь уже в недоумении плачущими глазами, словно вопрошая: разве теперь не вы хозяин? Ну, что ты ему скажешь! А вся палатка проснулась и слушает нас. Уже все знали, что было вчера в тайге. И Тихон, приподнявшись с нар, смотрит в нашу сторону своими зелеными и теперь уже отчасти невидящими глазами.

— Так что же, мне вылить его? — наконец спрашивает у меня Алексей Иванович.

— Хотите, вылейте, — говорю, — хотите, отдайте тому, кому отдавали.

Он подумал, подумал и поднес кружку Тихону. Тихон с достоинством принял кружку и стал прихлебывать чифирь, поглядывая на меня с видом человека, который потому-то и смотрел сквозь меня, что знал о жизни нечто такое, чего не знаю я.

И я вдруг понял, что те отношения, которые сложились между Тихоном и Алексеем Ивановичем и которые я пытался разрушить, приятны и желательны обоим. Именно обоим. И напрасно я вмешался в эту холопскую идиллию.

Но и видеть их я больше не мог. В тот же день я попросил бригадира перевести меня куда-нибудь подальше. Меня пе-

ревели к другим золотоискателям, работавшим в пяти километрах от этого распадка. Больше мы практически не встречались. Но случай этот врезался в память на всю жизнь. Как сказал мой поэт:

*То, что было, пережито,  
Жито, жатва на века.  
Пережито, значит, жито,  
Перемелется — мука.*

Я много думал об Алексее Ивановиче. Не будем все сваливать на идеологию. Предрасположенность к дурной гибкости, к рабскому артистизму тоже была. Это облегчило безумную рокировку... Кстати, бери мористей, пристань...

Заслушавшись Виктора Максимовича, я слишком близко подошел к ней. Я налег на правое весло и обогнул ее. Обычно там, свесив ноги, часами сидят рыбаки-любители и ловят кефаль на хлебную поживку. Сейчас милиционер гнал их оттуда. Рыбаки, слегка огрызаясь, неохотно сворачивали снасти.

— Греческий пароход, — долетел властный голос милиционера.

Устье Беслетки, где находились лодочные причалы, было запружено лодками, скутерами, байдарками и яхтами с погасшими парусами. Яхтсмены, спрыгивая за борт, заталкивали в речку свои яхты. Смех, шум, крики:

— Быстрей, быстрей, греческих пароход!

Все так спешили, правда подгоняемые дежурным причала, словно этот греческий пароход собирался войти в нашу речушку, и тогда того и гляди подомнет все эти хрупкие суденышки.

Я вошел в речку, подошел к своему месту на причале и привязал лодку. Я убрал весла и спрятал снасти. Мы приоделись, Виктор Максимович подхватил целлофановый пакет с рыбой, и мы вышли на берег.

Я уговорил Виктора Максимовича попытаться пройти на пристань, выпить там в кофейне по кофе и под этим хитрым предлогом полюбоваться вблизи греческим пароходом и его обитателями.

Мы вышли на приморское прадо, по которому обычно гуляют нарядные курортники и местные пижоны. В самом начале улицы у разрытого асфальта стояли два человека и смотрели в дыру, откуда доносились голоса. Виктор Максимович почему-то заинтересовался тем, что происходит под разрытым асфальтом. Возможно, после колымских шурфов дыры в земле не давали ему покоя.

Оказалось, что два инженера наблюдают за работой двух рабочих, возившихся внизу с трубами теплоцентрали. Соотношение сил, характерное для развитого социализма. Один инженер за двумя рабочими, конечно, не углядит.

Инженеры были в свежих рубашках, в галстуках и строго отутюженных брюках. Так что со стороны можно было подумать, что это дефилирующие пижоны случайно остановились поглазеть на подземные работы. Думаю, что сами инженеры

тоже не были чужды такой сверхзадаче. Они были местного происхождения. По выговору я понял, что один из них мингрелец, а другой абхазец. Рабочие были русскими. Они переговаривались с инженерами, и голоса их были совершенно несоразмерны глубине траншеи. Инженеры показались мне трезвыми и глуповатыми. Рабочие были пьяными и хитроватыми.

Виктор Максимович вдруг заметил, что резиновая прокладка, которой пользуются рабочие, соединяя трубы, не годится. Горячая вода ее быстро разьет, и трубу обязательно разорвет.

— Нужна паранитовая прокладка, — сказал всезнающий Виктор Максимович, — у меня дома она есть. Могу привезти.

— Без тебя знаем, — сказал один из инженеров, — иди своей дорогой.

По-моему, он не знал, что та прокладка, которой они пользуются, непригодна, и был профессионально уязвлен. А Виктор Максимович, не понимая этого, продолжал настаивать, чтобы они приостановили работу, а он съездит домой за паранитом. Видимо, материалом этим он запасся для своего махолета.

— А этот фрайер в нашем деле кумекает, — сказал один из рабочих и, приподняв чумазое лицо, посмотрел на нас с шельмовским весельем.

— Строит из себя, — сумрачно заметил другой, не подымая головы, — я бы таких давил...

Ясно было, что они пили независимо друг от друга. Вернее, до того, как они выпили вместе, они еще пили отдельно,



при этом время и количество предыдущей выпивки явно не совпадало. Возможны и другие варианты. Но разбор их дал бы повод какому-нибудь психоаналитику обернуть этот анализ против меня. Просто я хотел сказать, что первый рабочий был на вершине кейфа, а второй уже входил в тоннель похмельного мрака.

Виктор Максимович продолжал настаивать на своем, и тут оба инженера взорвались и, громко ругаясь, стали с угрожающей злостью подступать к моему другу. Виктор Максимович мгновенно подобрался, он даже слегка наклонился вперед, и на скулах его обозначились желваки.

Я кинулся между ними, одновременно пуская в ход абхазский язык. Я давно заметил, что если наш кавказец, пользуясь русским языком, входит в раж, его можно осадить неожиданным переходом на его родной язык. Эффект внезапного появления патриарха. Абхазец растерялся и замолк, а второй инженер с дружественной деловитостью приценился к рыбе, которую держал в руке Виктор Максимович.

— Если все делать по правилам, — уже мирно заметил абхазец, однако на родном языке, — нас слишком далеко занесет...

Он как бы намекал на опасность приближения к истокам хаоса. Мы пошли дальше. Я подумал, что инженеры, вероятно, не такие уж глупые. Может, и рабочие не такие уж пьяные? Одним словом, хорошо, что все обошлось.

Забегая вперед, должен заметить, хотя это и вносит в наш рассказ некоторый резонерский оттенок, что Виктор Макси-

мович оказался абсолютно прав. Через год трубу прорвало. Мой товарищ, живший за два дома от того места, случайно все видел в окно. Первая струя, пробив асфальт, выфонтанила на высоту двухэтажного дома.

Но тогда я еле сдерживал смех, вспоминая бурное столкновение инженеров с Виктором Максимовичем. Особенно смешно было, что оба инженера, перебивая друг друга, называли его пьяницей. Можно было подумать, что вид пьющего человека им так уж невыносим.

— За что они вас пьяницей называли, — спросил я у погрустневшего Виктора Максимовича, — может, они вас видели пьяным?

— Нет, конечно, — сказал он и, пожав плечами, добавил: — Видят — русский, значит, пьяница.

Мы подошли к пристани. Теплоход уже причалил. У входа на пристань стоял знакомый милиционер. При виде меня он тут же дал знать выражением своего лица, что никогда не придавал большого значения нашему знакомству.

— Кофе пить, — сказал я, якобы не замечая греческий теплоход.

— Нельзя, — сказал он миролюбиво.

— Почему? — удивился я, как человек, совершенно далекий от всякой политики.

— Греческих паровоз, — важно заметил милиционер. Собственно, осматривать его было даже незачем. И отсюда все было видно. Он был похож на обычный наш теплоход, и только труба у него была горбатая, как греческий нос.

Дуга залива, еще два часа назад расцветенная яхтами и лодками, была пуста. Залив был приведен в состояние идейной чистоты. То, что на туристов Средиземноморья столь пустынная бухта произведет малоприятное впечатление, никого не интересовало.

Мы зашли в открытый ресторан «Нарты». Я отдал нашу рыбу повару, чтобы он ее нам поджарил. Повар охотно согласился, потому что обычно в таких случаях половину улова он забирает себе. Нас это вполне устраивало.

— Поддержим вашу репутацию? — спросил я у Виктора Максимовича.

— Поддержим, — согласился он.

Мы сели за свободный столик. Подошла официантка. Я ей заказал два кофе по-турецки и две бутылки легкого вина «Псоу». Официантка радостно взглянула на Виктора Максимовича, но он этого не заметил. Кажется, он еще доспаривал с инженерами. Официантка вздохнула и пошла.

— Потом принесите из кухни жареную рыбу, — сказал я ей вдогонку.

— Сама знаю, — ответила она, не оборачиваясь, и пошла за кофе.

Было приятно, что она видела, как я с рыбой прошел на кухню. Было приятно думать, что она слегка влюблена в Виктора Максимовича. Было приятно сидеть с ним за чистым столиком под открытым небом. Было приятно ожидать кофе, легкое вино «Псоу», ожидать жареную ставриду. Было вообще приятно. Такие минуты не забываются, и лучше кончить на этом.

## идеалист

Рассказ Виктора Максимовича

Некогда я дружил с одним молодым ученым. Он и сейчас работает в одном из научно-исследовательских институтов нашего города, поэтому имени его я не буду называть. Такова история, что имен не будет.

Познакомились мы с ним на рыбалке, понравились друг другу и стали встречаться примерно раз в неделю. Обычно мы выходили рыбачить на моей лодке, а потом сидели у меня в саду или в зимнее время дома за бутылкой вина или чачи.

Поверь моему вкусу, это был редчайшей душевной тонкости человек. Коллеги его, которые, кстати, и познакомили меня с ним, говорили, что он первоклассный биолог, гордость института. Но он тогда был всего лишь кандидатом наук. Однажды, когда я спросил у него, почему он не готовит докторскую диссертацию, он мне ответил:

— Пришлось отдать ее шефу. Я ведь занимаюсь своим любимым делом. А каково ему, бедняге?

И расхохотался! Никогда, ни до, ни после него, я не видел человека, который бы так самозабвенно смеялся. Умея, как никто, замечать в себе, в людях, в событиях окружающей жизни смешные, парадоксальные черты, он в то же время отличался феноменальной доверчивостью. Вариант лжи или вариант зла просто ему никогда не приходил в голову.

Вот пример. Однажды, когда мы рыбачили недалеко от загородного пляжа, он, кивнув на берег, сказал:

— В юности ребята часто мне говорили, что лучший способ познакомиться с девушкой — это взять лодку на прокатной станции, подойти к пляжу, и обязательно какая-нибудь девушка, купающаяся поблизости, попросится в лодку. Ты ей помогаешь перелезть через борт, катаешь, и, пожалуйста, у тебя появляется романтическая подружка.

И вот, поверьте мне, я за одно лето примерно пятьдесят раз брал лодку, подходил к пляжу, и ни разу хотя бы мало-мальски приличная девушка не попросилась ко мне в лодку. Пару раз просились, но это были такие крокодилы в своей надводной части, что знакомиться с их подводной частью просто было боязно. И я до сих пор не могу понять, почему я, ни в чем не уступая нашим ребятам, каждый раз терпел крах. Можете вы мне ответить?

А я ему отвечаю, как в анекдоте:

— А что тебе мешало рассказывать своим приятелям, каких очаровательных девушек ты катал в своей лодке?

— Как?! Как?! — переспросил он у меня и, бросив весла, принялся хохотать: — Почему же мне это ни разу не пришло в голову!

Я часто думал о природе его необыкновенной доверчивости, но до конца ее не мог понять. Что это — львиная храбрость духа, который не боится ударов жизни и не выставляет никаких сторожевых постов? Считаю, что было и это.

Обаяние натуры щедрой, доброй, никогда не стремящейся выскочить вперед и отцапать побольше у жизни и потому не наживающей себе врагов? Думаю, отчасти и это.

Семья? Отец и мать — простые педагоги, правда, не знали ни тридцать седьмого года, ни других потерь.

Мы несколько раз с ним обсуждали проблему его патологической доверчивости, и он, смеясь, так объяснял ее механизм:

— Если мне говорят о человеке, который никогда в жизни не пил, что он пьяный валяется на улице, я эту информацию мгновенно обрабатываю так: он никогда не пил. Не умея пить, первый раз выпил и именно поэтому валяется на улице.

Разумеется, бывали люди, которые его обманывали или подводили с низкими, корыстными целями. И он убеждался в этом. К таким людям он потом испытывал хроническое отвращение. Насколько я знаю, он никогда никому не мстил, но прощения им не было во веки веков. Это была какая-то музыкальная злопамятность.

Однажды в одной компании речь зашла об одном известном в городе человеке, который почти насильно запихнул свою мать в дом для престарелых.

— А что вы удивляетесь, — сказал мой друг, — я с ним учился в школе. Этот негодяй в седьмом классе бросил кошку с третьего этажа.

Приходя ко мне, он обычно рассказывал забавные истории о самом себе и своих коллегах-чудаках, о должниках, он

одалживал деньги направо и налево, об одном нищем, с которым у него был прямо-таки многолетний роман, и особенно много он рассказывал о своем профсоюзном боссе.

Вот что он однажды рассказал о себе:

— Недавно один мой коллега попросил помочь ему и поковыряться в его теме. Мы работаем в одной области. Ну, я поковырялся, поковырялся и неожиданно сделал два маленьких открытия, громко выражаясь. Одно поинтересней, другое попроще. Теперь как быть? Отдать ему или взять себе? С одной стороны, находки мои. С другой стороны, не попроси он поковыряться в своей теме, я бы их не сделал.

Я проявил благородство второго сорта. Одну находку взял себе, а другую отдал ему. Но так как благородство мое было второго сорта, я вознаградил себя находкой, что была попроще. Справедливо?

Хохочет и добавляет:

— В таком случае, может быть, я проявил благородство первого сорта? Тогда почему же я не отдал ему обе находки?

А вот несколько историй из его бесчисленных рассказов о своем профсоюзном боссе. Он к нему относился как к любопытнейшему насекомому с новыми мутационными признаками.

Однажды в одном районном городе мой друг сидел в заполненном автобусе, и шофер уже закрыл дверь, когда он заметил в толпе людей, стремившихся сесть в этот же автобус, своего профсоюзного босса. Тот, потрясая высоко

поднятым портфелем, через стекло давал знать шоферу, что важность содержимого портфеля требует его немедленной доставки по месту назначения вместе с владельцем портфеля.

Шофер некоторое время держался, а потом дрогнуло его сердце, скорее всего не под влиянием портфеля, а под влиянием толпы, и он открыл дверь, куда хлынули люди. Как только профсоюзный босс очутился в автобусе, он немедленно стал ругать шофера, что тот впускает людей в переполненный автобус.

— Классический пример разорванности сознания, — хохоча, заключил он свой рассказ.

Это была его любимая тема. Я помню блистательный каскад его рассуждений о потере цельности, о драме разорванности сознания современного человека. Именно эти его рассуждения мне так понравились, что я сблизился, а потом подружился с ним.

Однажды, после командировки в Москву, он пришел ко мне и рассказал:

— Слушайте, что учудил наш профсоюзный босс! Перед моей поездкой в командировку он зашел в лабораторию и попросил, чтобы я его завтра утром подкинул на своей машине до аэропорта. Я ему сказал, что я этого сделать не могу, потому что сам завтра утром улетаю в Москву и в аэропорт поеду на автобусе. А он мне на это отвечает: «Ну и что? Ты меня подкинь на своей машине, приезжай домой, оставь машину и поезжай в автобусе». Ну, не прелесть ли



этот человек? Так и не понял, почему я его не повез на своей машине.

А вот еще один случай с этим неисчерпаемым боссом. Мой друг узнал, что их профсоюзная организация имеет одну путевку в санаторий, куда очень стремилась попасть его жена. Он зашел в его кабинет, где сидело еще несколько членов профкома, и стал просить у него путевку.

Босс сказал ему, что он не может дать ее, потому что она нужна ему самому. Некоторое время они спорили, стараясь доказать друг другу, кому нужней эта путевка. Наконец, исчерпав все аргументы, мой друг сказал ему:

— Ты ведь коммунист, а я нет. Вот ты и прояви большую сознательность.

В ответ на его слова раздался гомерический хохот всех членов профкома во главе с боссом. Впрочем, через несколько мгновений мой друг сам присоединился к общему хохоту. Члены профкома во главе с боссом с удовольствием посмеялись его словам, но путевки все-таки так и не дали.

— Юмор моего замечания заключался в том, — пояснил он свои слова, — что я как-то забыл, что они об этом давно забыли. А они смеялись потому, что были уверены, что все помнят, что они об этом давно забыли, и вдруг выискался такой чудака.

О нищем, считавшем себя самым интеллигентным нищим города и потому сидевшем возле их научно-исследовательского института, он рассказывал множество историй.

— Познакомились мы, — вспоминал он, — таким образом. Как-то я прохожу мимо него, а он окликает меня: «Гражданин, постойте!»

Я останавливаюсь и вижу, он мне протягивает пуговицу и говорит: «Три дня назад вы мне бросили в шапку эту пуговицу. Если это по научной рассеянности — можете исправить ошибку. А если вы считаете, что я коллекционирую пуговицы, то вы глубоко заблуждаетесь».

И в самом деле это была пуговица от моего пиджака. Я все забывал жене сказать, чтобы она ее пришила. Представляете, какой наблюдательный! Я сыпанул ему мелочь из кармана, и так мы познакомились.

В другой раз утром иду в институт, что со мной случается крайне редко, прохожу возле него и вижу — солидная горсть мелочи лежит у него в шапке.

Я кладу пару монеток ему в шапку и говорю:

— Неплохой урожай с утра.

— Нет, — отвечает он, — это я сам насыпал для возбуждения милосердия клиентов через мнимое милосердие других.

Какой психолог! Я его просто расцеловал. А вот о чуде.

— Есть у нас в институте один профессор. Невероятный чудак. Однажды он уговорил меня подняться на ледник Бибисцкали. Ну, вы же знаете, Виктор Максимович, что я терпеть не могу все эти пешие походы с ночевками в дурацких мешках. Но он с упрямством, свойственным пламенным чудакам, заташил меня на этот ледник.

Ну, ледник как ледник, похож на самого себя. Идем обратно. Примерно через час мой спутник вдруг садится на камень и объявляет, что дальше не пойдет, потому что голоден. А у нас никаких припасов, и впереди пятичасовой путь. Представляете? Сам же меня втравил в эту вылазку, и сам же закапризничал. Я с величайшим трудом уговорил его идти дальше. Идем. Но он продолжает ныть, что хочет кушать, угрожая снова сесть и больше не встать.

Вдруг недалеко от тропы мелькнули пастушеские шалаши грузинских пастухов. Мой профессор ожил.

— Сейчас, — говорит, потирая руки, — попросим у них свежего творога и сыру!

— Как же мы у них попросим, — отвечаю, — когда они ни слова не понимают по-русски!

— А я с ними по-немецки буду говорить! — уверенно отвечает он.

— Да по-немецки, — говорю, — они тем более не понимают!

— Как же не понимают? — удивляется он. — Я, например, был в Чехословакии и там с простыми людьми объяснялся по-немецки.

Ну, что ты ему скажешь? Подходим к пастухам. Он бодро заговаривает с ними по-немецки, и они, вежливо кивая, выслушивают его. Как только он замолк, они, разумеется, поняв его по жестам, которыми он сопровождал свою речь, вынесли нам из шалаша по большому куску сыра и по миске с кислым молоком.

— Вот видишь! — подмигивает он мне, уплетая сыр и запивая его кислым молоком. — Я же тебе сказал, что простые люди прекрасно понимают по-немецки. Правда, они простоквашу спутали с творогом, но это даже лучше!

Хитрец, хитрец! Сначала-то он вполне искренне сказал, что будет с пастухами говорить по-немецки, а потом уже, переигрывая образ, сделал вид, что с самого начала шутил! Это тем более точно, что он, кроме как в Чехословакии, ни в одной стране не бывал!

А вот об одном из должников.

— Подходит ко мне, — рассказывает он, — один наш сотрудник и просит меня одолжить деньги, если не сейчас, то хотя бы в конце месяца. Я ему говорю, что в ближайшее время не получится, потому что не предвидятся свободные деньги.

— Как же не предвидятся, — возражает он и, присев к моему столу, берет бумагу, ручку и подсчитывает мои предстоящие доходы: зарплату, премиальные и гонорар за статью, о которой я сам забыл.

— И ты ему дал?

— Пришлось дать, — хохочет в ответ, — он правильно подсчитал мои доходы!

— Не слишком ли ты небрежно раздаешь деньги? — спросил я у него однажды.

— Нет, — сказал он, — за последние семь — восемь лет я раз сто одалживал людям деньги, и только в трех случаях мне их не возвратили. Доверие к человеческой порядочности можно считать экспериментально оправданным.

— А как жена, не контролирует твои доходы?

— Нет, — говорит, — жена у меня молодчина. Она выше этих мелочей.

Иногда после рыбалки на берегу собирались вместе с нами рыбаки-любители. Готовили уху, пили водку, рассказывали всякие житейские истории. Среди этих рыбаков-любителей попадались отставники, причем самого широкого профиля. Мой молодой друг, совершенно невоздержанный на язык, начинал в их присутствии обсуждать проблемы, которые не принято обсуждать с малознакомыми людьми. Тем более с отставниками самого широкого профиля. Я, славу Богу, битый волк, несколько раз предупреждал его, но он отмахивался, говоря:

— Миф о стукачах создан людьми, испытывающими острую нехватку в стукачах!

Он и этих отставников умел обаять, выуживая у них всякие интересные истории. Один из них однажды рассказал о своей встрече с Троцким.

Во время гражданской войны он был рядовым бойцом. В тот день они трижды неудачно атаковали вокзал одного городка, где засели белогвардейцы. Полуголодные, озлобленные потерями, бойцы отошли на свои позиции, и тут появился на своем броневике Троцкий. Выйдя на броневик, он стал произносить речь, но сначала его не только не слушали, но и громко матюгались в его адрес.

Минут двадцать он говорил почти в полной пустоте, а потом постепенно к броневикам стали стягиваться бойцы, а часа

через два он так раззадорил всех своей неистовой речью, что бойцы вслед за броневиком ринулись в атаку и захватили вокзал.

— Прямо так вместе с броневиком захватили вокзал? — спросил мой друг.

— Нет, — пояснил рассказчик, — броневик по дороге свернул, но мы захватили вокзал.

— Я так и думал! — захохотал мой друг, обнимая и целуя отставника.

Но больше всего я любил наши встречи вдвоем после рыбалки. О чем только мы не говорили за бутылкой хорошей «Изабеллы» или чачи.

Сколько же он успел перечитать и передумать в свои тридцать четыре года!

Мы говорили о Средиземноморье как об истинной духовной родине русских, закрепленной в творчестве Пушкина («Вы варяг, Виктор Максимович! — кричал он. — У вас жесткая душа воина, но если вы способны защитить наши нежные души — князьте!» — и откидывался в хохоте), о национальной драме русского человека, его культурной неукорененности по сравнению с европейцем (чуждость вольтеровскому: каждый — свой виноградник), о трагедии огромных растекающихся пространств, которые всегда объективно приводили к непомерному сжиманию обручей государственности, что закрепляло в русском человеке психологию перекати-поля, благо было куда катиться, о способах преодолений этой психологии, об интуиции Столыпина, о золотом сне Новгорода,

о сочинениях Платона («Апологию Сократа» он знал наизусть от первой до последней строчки), о влиянии мутагенных веществ на наследственные процессы, о низменных тенденциях искусства двадцатого века, его тайном рабстве в служении дурному своеволию под видом абсолютной свободы и о многом другом.

Как же я любил его в эти часы, как хорошело его лицо, когда он, подхваченный вдохновением, развивал только что тут же родившуюся мысль! Нет, думал я, не может стигнуть страна, в которой уже есть такие люди! Конечно, ощущение его душевной незащищенности порождало во мне некоторую тревогу, но и эта черта его была обаятельна. Да, это был один из тех редчайших людей, которые в клетку с человеком всегда входят без оружия!

Единственное, что мне в нем не нравилось, это его абсолютная неспортивность. Высокий, немного нескладный, он отличался некоторой нескоординированностью движений, свойственной людям такого рода. Конечно, раз в неделю, когда мы выходили в море, я сажал его на весла, но и тут он пытался всячески отлынивать. Вот что он однажды ответил на мои упреки по этому поводу: — Да, я питаю отвращение ко всякому физическому действию. Мне легче выучить новый язык, чем по утрам полчаса размахивать руками. Недавно я даже оконфузился из-за этого. Стоя в очереди в кофейне, я вынул из кармана мелочь и уронил пятак. Мне неохота было нагибаться, я же длинный, нерентабельно — и я не поднял монету. Оказывается, за мной стоял какой-то местный стари-

чок. Он все видел, минуты две терпел, а потом как понес меня: приезжают тут всякие, сорят деньгами, взвинчивают цены на базаре, жить невозможно.

— Дедушка, — говорю, — я местный, хоть и русский.

— Нет, — говорит. — какой ты местный, я всех местных знаю. — И опять ругаться. А ведь он прав. Нельзя было оскорблять взгляд бедного человека такой пижонской сценой.

А все из-за моего отвращения ко всякому физическому труду. Для меня ввинчивать лампочку в патрон, все равно что выполнять ритуал чуждой мне веры. А они, проклятые, перегорают с быстротой спички. А вбивать гвозди в стены? Что за унылое занятие! Как сказал, кажется, Олеша: вещи не любят меня. Добавлю к этому — и я не люблю вещи. Зато идеи любят меня, и я люблю идеи. Человеку свойственно обращаться к тому, что его любит...

— Не слишком ли ты много ишачишь на своих коллег, — спросил я его тогда, — со своей взаимной любовью к идеям?

Он пожал плечами:

— Человек знакомит меня со своей работой. Я ему говорю, если что-то плодотворное приходит мне в голову... Это в порядке вещей... Конечно, надо рациональней дозировать свое время.

Единственное, в чем он терял чувство такта, это в разговорах о своей жене. То, что он ее очень любит, это было ясно и так, хотя он об этом никогда не говорил. Но проскальзывали какие-то мелочи, которые неприятно царапали слух, тем более что они исходили от него, столь тонкого во всем осталь-



ном человека. Например, пойманную рыбу он никогда не брал домой.

— Жена не любит возиться с рыбой, — говорил он.

И наоборот, если я коптил пойманную ставриду, он охотно брал ее домой.

— Жена обожает копченую ставриду, — говорил он. Иногда он жаловался, что жена его сильно переутомляется. Я знал, что она нигде не работает и у них единственный десятилетний мальчик. В таких случаях он отправлял ее к матери в Москву или в какой-нибудь санаторий. Мальчик в это время переходил жить к его родителям.

— Отчего это она у тебя переутомляется? — спросил я у него однажды, сдерживая раздражение.

Он что-то такое начал бормотать об ее ужасном детстве, психопатическом отце, который угнетал семью, пока не покинул ее и не завел новую.

Одним словом, то ли из-за этих, правда, достаточно редких напоминаний о его жене, то ли по каким-то другим причинам я избегал бывать у него дома, хотя он несколько раз приглашал меня к себе.

Так длилось примерно два года. И вот однажды он пригласил меня на праздничный банкет в институтский клуб. Лаборатория, в которой он работал, получила премию Академии наук, и банкет должен был состояться по этому случаю. Я пытался отказаться, но тут он очень настаивал, говорил, что, в сущности, это его личный праздник и он обязательно хочет, чтобы я там был.

Я согласился, и мы договорились в восемь часов вечера встретиться в вестибюле клуба. Подойдя ко входу, я заметил женщину, стоящую с той стороны и глядевшую наружу через стеклянную дверь. Наши взгляды встретились, и что-то неприятное заставило меня оцепенеть на несколько секунд, и эти несколько секунд мы смотрели друг на друга с какой-то тяжелой взаимной неприязнью. Я никак не мог понять — откуда эта неприязнь и почему она взаимная. Я открыл вторую створку двери, прошел мимо этой женщины, неприятное ощущение улетучилось, и минут через десять я нашел своего друга, который бросился мне навстречу.

— Сейчас я познакомлю тебя со своей женой, — сказал он и подвел меня именно к этой женщине.

Мы познакомились. Это была немного полная, но довольно стройная тридцатилетняя женщина с красивым лицом, тяжеловатым взглядом больших выразительных глаз, с хорошо очерченными губами, с тяжелым темным пучком волос на затылке.

Теперь, глядя на нее, я понял, что где-то видел ее раньше, и то, что я ее видел где-то, внушало мне неприятное чувство. Более того, по ее взгляду я понял, что и она где-то меня видела, но не может вспомнить где, и то, что она меня видела, внушает ей тоже тревожное, неприятное чувство.

— Ну что, красавица у меня жена? — спросил мой друг, улыбаясь и, видимо, воспринимая некоторую мою сдержанность как результат слишком сильного впечатления. Он взял

нас обоих под руки, и мы отправились в помещение, отведенное под банкетный зал, который уже заполнялся шумной, веселой толпой.

Мой друг посадил нас рядом, но она вдруг закапризничала, ссылаясь на свет люстры, якобы бьющий в глаза, и пересела на ту сторону стола. Там еще было несколько пустых мест.

Мой друг слегка засуетился, хотел перетащить и меня на ту сторону, но я остался, потому что понял, почему она решила сидеть напротив. Так ей удобней было смотреть на меня и вспоминать, где она меня видела. И мне так удобней было смотреть на нее и вспоминать, где я ее видел.

Банкет после двух-трех чопорных тостов институтского начальства, словно облегченно вздохнув, зароиился весельем. Время от времени к моему другу подходили коллеги, чтобы лично с ним чокнуться и сказать ему несколько дружеских слов. Я видел, что его в самом деле любят, и радовался за него. Он и сам радовался за себя, был счастлив и с явно преувеличенной добросовестностью выпивал с каждым из них.

А между тем я время от времени бросал взгляд на его жену, и меня не оставляло ощущение, что где-то я ее видел, и видел нехорошо. Она тоже время от времени взглядывала на меня с выражением туповатой тревоги, и я чувствовал, что и она пытается меня вспомнить и никак не может это сделать.

Кстати, ее отвлекали те, что подходили чокаться с мужем, они и ее поздравляли, и она им благосклонно улыбалась, ед-

ва пригубляя свой бокал. При этом выражением лица она показывала, что дар ее мужа имеет и нелегкую сторону, но она, как и положено настоящей жене, безропотно несет свою ношу.

Время от времени мы продолжали поглядывать друг на друга. Я чувствовал, что между нами уже идет незримая борьба: кто быстрее вспомнит, где и почему мы встречались. Казалось, от этого зависит что-то очень важное, казалось, что, если она быстрее вспомнит, где мы встречались, у нее еще будет время стереть следы это встречи, перечеркнуть их.

И вдруг я совершенно отчетливо, как будто в голове вспыхнула лампочка, вспомнил ее. Ровно пять лет тому назад я жил в московской гостинице. Однажды ко мне пришел один мой бывший солагерник со своей приятельницей, как он ее мне представил. Это была она! Мой бывший солагерник был, что называется, интересный мужчина и, выйдя на свободу, намеренно не женился, стараясь, как он это объяснял, наверстать упущенное за время заключения. По-моему, он давным-давно наверстал упущенное, но у меня не было никаких оснований вмешиваться в его образ жизни. Лагерь легко сближает людей по главному их признаку, по признаку несвободы, но когда человек выходит на свободу, обнаруживается, что разные люди по-разному понимают ее и по-разному ее используют. Мы были совсем разные люди, но меня это přátельство не тяготило, потому что я бывал в Москве редко и две-три встречи во время моих приездов ничего не означали.

Так вот, он пришел с ней. Кстати, он по телефону предупредил меня, что будет со своей приятельницей и не имею ли я чего-нибудь против. Разумеется, отвечал я, приходи с ней.

Они посидели у меня несколько минут, и я решил позвонить в ресторан, чтобы заказать бутылку вина и кое-какие закуски. Но телефон у меня почему-то забарахлил, и я вышел из номера, сказав, что мне нужно поговорить с коридорной. Я намеренно не сказал, что собираюсь звонить в ресторан, чтобы он не подключился к моему скромному мероприятию и не довел его до размеров пьянки. Такая склонность у него тоже была.

Я вышел из номера, подошел к столику коридорной, и мне пришлось еще несколько минут ожидать, потому что она сама звонила. Потом я позвонил в ресторан, заказал бутылку вина, немного закуски и минут через десять вернулся в свой номер.

Приоткрыв дверь и автоматически сделав шаг, я замер, ничего не понимая. Номер был погружен в полную темноту. Поняв, в чем дело, но все еще растерянный, я довольно глупо, вместо того чтобы тихонько выйти, постучал в приоткрытую дверь. И тут из темноты раздался ее быстрый шепот:

— Скажи, что его нет!

Он подошел к дверям. Из коридора доходил слабый свет, и он подслеповато, как курица в полутьме, глядя на меня, сказал:

— Его нет... Он ушел...

Вместе с этими словами он легонько так оттеснил меня за дверь и закрыл ее. По его жесту было решительно непонятно — узнал он меня и сказал эти слова, чтобы не смущать свою приятельницу, или в самом деле не узнал. Так или иначе, оказавшись в коридоре, я сильно разозлился на своего бывшего солагерника. Какого черта! Я не давал ему повода делать из своего номера дом свиданий! В крайнем случае хоть бы предупредил меня!

Я еще с полчаса оставался в коридоре. У меня было время поразмыслить над тем, что случилось, и несколько успокоиться. По-видимому, в самом его предупреждении, что он будет с приятельницей, уже заключался договор, о котором я не подозревал. Потом, когда я, как, вероятно, ему показалось, сделал вид, что не смог дозвониться, вышел из номера, он решил, что я выполняю условие договора.

Когда я вошел в номер, занавески были раздвинуты, постель была убрана еще лучше, чем горничной, она сидела в кресле, а он, присев на стол, курил.

— Тебя тут кто-то спрашивал, — сказал он, глядя на меня с великолепным нахальством. И все же было непонятно — говорит он это для нее, чтобы она не смущалась, или в самом деле он тогда меня не узнал. Продолжая полусидеть на столе, он придвинул к себе телефон и стал пытаться куда-то звонить. Такие люди, ублажив себя в одном месте, сразу начинают звонить в другое. Убедившись, что телефон не работает, он бросил трубку на рычаг, скорее всего забыв о том, что я не дозвонился.

Она неподвижно сидела в кресле. Притихшая, может быть, смущенная. И я помню, впечатление какой-то тяжести было от взгляда ее больших выразительных глаз, выпукло очерченных губ, мощного пучка волос. И помнится, у меня тогда же мелькнула мысль: тяжелая тупость красавицы. Как позже выяснилось, она была умственно совсем не тупая. Тупость ее была гораздо более глубокого свойства.

Одним словом, официантка принесла вино и закуску. Они посидели у меня около часа, а потом ушли. Больше я ее никогда не видел. Через неделю я снова встретился со своим бывшим сокамерником. Мы гуляли по улице Горького.

— А где твоя приятельница? — спросил я.

— Не знаю, — ответил он достаточно презрительно, — она мне надоела со своими коровьими глазами. Я ей сказал, что уезжаю в Ленинград по делу.

— А если она тебя вдруг увидит? — спросил я. Он пожал плечами:

— Ну, увидит — увидит.

И вот через пять лет я узнаю, что она — жена человека, которого я полюбил, и я знаю, что у них десятилетний сын. Трудно передать то тошнотворное состояние, в котором я находился.

Она все еще меня не узнавала и время от времени смотрела на меня своими большими выразительными глазами, в глубине которых чувствовалась и растерянность, и мучительная попытка вспомнить, где она меня видела. И вдруг

я с пронзительной ясностью понял характер затруднения, которое испытывала ее память: слишком много встреч она тасует в голове, чтобы угадать, какой именно я был свидетелем!

В конце концов угадала, и я это понял по ее взгляду. Он, ее взгляд, пытался внушить мне, что тогда в гостинице ничего не было. Но теперь, когда я совершенно очевидно узнал ее и она уже знала, что я увидел и узнал ее, я пытался внушить ей своим взглядом, что вообще не помню ее. Но она взглядом своим правильно определила, что отсутствие теперь в моем взгляде любопытства к ее личности объясняется не тем, что это любопытство угасло, а тем, что я ее уже узнал и именно поэтому делаю вид, что не узнаю. Такой вариант ее не устраивал, видимо, он казался ей недостаточно надежным. И ее взгляд теперь мне говорил: «Нет, ты помнишь, где и когда меня видел, но тогда ничего плохого не было». Вот такой вариант ее устраивал.

Банкет окончился. Мой друг слегка перепил, и его вместе с женой увезли друзья. Меня тоже его коллеги подвезли к дому. От всего, что я увидел и узнал в этот вечер, на душе остался горький осадок. Что делать? Он ее, конечно, очень любит. Она его, конечно, не любит, но дорожит браком с этим блестящим ученым. Я ничего не собирался ему говорить, но тяжелое предчувствие беды давило душу.

Прошло недели две, и он снова пришел ко мне. Мы, как обычно, вышли в море. К этому времени я несколько успокоился.



— Виктор Максимович, — сказал он, вспоминая банкетный вечер, — вы понравились моей жене, а ей редко кто нравится... Вкус у нее есть...

Конечно, она ему должна была сказать что-нибудь в этом роде. Но дело, к сожалению, на этом не остановилось. Однажды он пригласил меня к себе домой, все мои попытки отказаться были тщетны, и я пошел.

Встретила она меня как великолепная гостеприимная хозяйка. И все было бы хорошо, если бы она опять несколько раз не бросала на меня выразительные взгляды, означавшие, что именно тогда она была в гостинице, но ничего порочного в этом не было. То ли из-за какого-то упрямства, то ли для того, чтобы вышибить у нее из головы эту тему, я отвечал взглядом, что ничего не знаю и ничего не помню. Но ее этот вариант не устраивал, как я уже говорил, он ей казался недостаточно надежным.

И вот я стал бывать у него, почти каждый раз под напором его настоятельных приглашений, и я даже почувствовал некоторое обаяние, свойственное этой красивой женщине. Слегка подвыпив, она делалась легкой, милой, и ее облик переставал источать тяжесть тупоголовой чувственности.

У меня была подспудная надежда, что характер наших отношений с ее мужем, наша ничем не замутненная дружба может благотворно воздействовать на нее. Какая глупость! Как правило, душевный порок человека становится заметным людям уже в необратимый период метастаза. Че-

ловек может перебороть свой порок тогда, когда он еще незаметен другим. Если человек не смог или не захотел бороться со своим душевным пороком, этот порок неуклонно стремится к универсальному охвату души. И достигает его, как правило.

Но каждый раз, когда я приходил, она была щедра, гостеприимна, мила, и мне в конце концов стало казаться, что, может быть, у нее тогда была какая-то внезапная, безумная влюбленность в моего соллагерника и потому все тогда так получилось. Он был хорош собой и к тому же в отношениях с женщинами превращал свой лагерный опыт в маленький романтический бизнес.

Однажды ночью часов в одиннадцать приходит ко мне соседка, у нее был телефон, и говорит, что звонила жена моего друга и просила срочно зайти.

Я решил, что у них что-то случилось, и пошел к ним. Они жили в двадцати минутах ходьбы от нашего поселка.

— Виктор Максимович, — говорит она, открывая мне дверь, — тысячи извинений... У меня кран испортился и раковина засорена... Боюсь, зальет нижний этаж...

Я прошел в ванную. В самом деле кран льет и раковина засорена.

— Где у вас инструменты? — спрашиваю.

Она открывает кладовую и показывает на ящик с инструментами.

— Инструменты есть, — говорит, — да что толку — муж у меня безрукий.

— Зато не безголовый, — отвечаю, роюсь в ящике, — а где он?

— Он в командировке, — говорит она.

Я беру нужные инструменты, привожу в порядок кран, прочищаю раковину, мою руки и выхожу. Смотрю — на кухне водочка и закуска. Только теперь я обращаю внимание, что на хозяйке легкий халатик с короткими рукавами и выглядит она слегка возбужденно. Ну, ладно, думаю, выпью рюмку и уйду.

Присел за стол, наливаю рюмку и только тяну ее ко рту, как вдруг сзади за шею меня обнимают ее голые руки и она льнет ко мне своей пахучей, надушенной головой.

— Это как понять? — говорю как можно более спокойным голосом, чтобы не оскорбить ее, и осторожно ставлю невыпитую рюмку на стол.

— А вот так и понять, — отвечает она, еще сильнее прижимаясь ко мне, — я влюбилась в вас... Каждая женщина мечтает о сильном человеке...

Тут я разозлился на нее и на себя. На себя за то, что боялся оскорбить ее. Тем не менее я все еще достаточно вежливо отцепляю ее руки, встаю и спокойно говорю, хотя изнутри меня всего выворачивает:

— Вы очень избирательно любите, мадам... Стоит человеку посидеть в тюрьме, как вы в него влюбляетесь. Может, для того чтобы полюбить своего мужа, вам надо его посадить?.. При его неводержанности на язык в принципе это возможно, хотя и трудновато в наше время...

И вдруг впервые в жизни я вижу, как женщина в бессильной злобе ощеривается. Я раньше считал это чисто литературным преувеличением. Нет, на моих глазах верхняя губа ее конвульсивно дернулась, обнажая зубы. Через несколько секунд она взяла себя в руки.

— Вы меня оскорбляете, — сказала она тихим голосом, — как это неблагородно со стороны мужчины... Кстати, возьмите вашу книгу, мы ее уже прочли...

Она приносит из комнаты книгу Платонова «В прекрасном и яростном мире» и протягивает ее мне. Я молча беру книгу и выхожу, несколько удивляясь, почему она в такую минуту вспомнила о книге. Я решил, что это знак того, что она не хочет больше видеть меня у себя дома.

Какая мразь, думал я по дороге, чтобы полностью обеспечить мое молчание относительно гостиничной встречи, она решила подключить меня к своим грехам.

Что делать? Я решил ничего не говорить моему другу при встрече и просто никогда больше не бывать у него дома. Но вот проходит месяц, два, а его нет. Что это — затянувшаяся командировка или она ему что-то сказала? Но что?

И вдруг я узнаю от одного автомеханика, что мой друг приходил к нему починять машину. Он ни бельмеса не понимал в моторе и чуть что обращался ко мне. Я понял, что она ему что-то сказала. Ну, ничего, думаю, не может быть, чтобы мы где-нибудь не столкнулись. И в самом деле, месяца через два я встречаю его в кофейне. Стоит за столиком и пьет кофе, длинный, нескладный, одинокий.

Я взял кофе, подошел к его столику, поздоровался и поставил чашку. Он сухогато мне кивнул.

— В чем дело, — спросил я, — почему ты не появляешься?

Он криво усмехнулся, вдруг весь покраснел и, глядя вниз, стал говорить:

— Виктор Максимович, дело прошлое, я вам все простил... Но дружить мы не можем... Я много думал об этом... Я понимаю, что вы влюбились... Вы долго боролись с собой... Мне всегда казалось странным, что вы так неохотно принимаете мои приглашения... Вы боролись с собой, и это делает вам честь... Но ваш последний приход в мой дом и... солдафонское признание в любви моей жене не делает вам чести...

— Мой приход?! — опешил я. — Мое признание в любви?!

— Ну, разумеется, — криво и болезненно усмехнулся он, все еще глядя вниз, — формально вы пришли за своей книгой... В двенадцатом часу...

Так вот зачем она всучила мне книгу! Как молниеносно соображает порок, когда действует в своей области!

Почему я тогда не сказал всей правды? Да потому что язык не повернулся! Не знал я, чем для него кончится такая операция! Ну и, конечно, некоторое рыцарское отношение даже к этой гадине! Ну как я ему скажу, что она обняла меня за шею?! Ты спросишь: «На что она рассчитывала?» Вот именно на все это рассчитывала и правильно рассчитала.

Но часть правды я ему сказал. Я сказал, что явился в его дом по телефонному звонку, в чем он может убедиться, спросив у соседки. Сказал, по какой причине меня вызвала его же-

на, сказал, что книгу мне она сама всучила, когда я уходил. Сказал, что его жена, может, имеет какие-то свои достоинства, но она, безусловно, очень лживая и очень вероломная женщина.

Он как-то мимо ушей пропустил это все и сказал:

— Оставим нравственные качества моей жены... Но вы ведь влюбились в нее и признались ей в этом...

Я ему объяснил, переходя на язык науки, как более доступный ему, что этого со мной не могло произойти и не произошло. Кристаллизация чувства требует времени, хотя бы самого малого, сказал я. Чтобы влюбиться в жену друга, надо какое-то, хотя бы очень короткое время смотреть на нее как на свободную женщину, то есть быть в это время абсолютно аморальным по отношению к своему другу. Считает ли он, спросил я у него, что я мог быть по отношению к нему аморальным?

Мне показалось, что он стал прозревать. Он поднял голову и посмотрел на меня.

— Тогда во имя чего вся эта чудовищная ложь?! — вскрикнул он, глядя на меня, и я увидел на его милом лице ужас ребенка, на глазах которого разваливается его родной дом, и он умоляет остановить этот развал.

— Успокойся, — сказал я ему, — есть тип женщин, которые бешено ревнуют мужей к их друзьям, даже если и делают вид, что они им нравятся...

Не думаю, что я его убедил до конца. Высокий, нескладный, он ушел, неуклюже горбясь. Но мысль его, начавшая ра-

ботать в новом направлении, уже не могла остановиться. Не знаю, догадался ли он о приключениях своей жены или, прокрутив в своей светлой голове события их прошлой жизни, убедился в ее абсолютной лживости и этого ему было достаточно, но через год он с ней разошелся. Представляю, что за год был для него.

Но и ко мне он больше не вернулся. Поверив на какое-то время своей жене, он унизил себя в моих глазах. Так ему должно было казаться. А человеку страшнее всего возвращаться туда, где он был унижен. Особенно если он был унижен самим собой.

Поверь, мне в жизни нравились многие люди, но так, как его, ни одного мужчины я никогда не любил. Наверное, о такой мужской дружбе говорится в абхазской поговорке: будь ты горячей рубашкой на мне, и то бы не скинул тебя.

Он был на пятнадцать лет младше меня, и я его любил одновременно и как сына и как брата. Ни того, ни другого у меня никогда не было. Он был мне сыном по своей духовной незащищенности и братом по духу.

Я и сейчас смотрю иногда на его фотокарточки. Я его несколько раз щелкал у себя в саду и в море. Но разве они могут передать бесконечное одухотворение его лица, когда он заговаривал на любимую тему или импровизировал, развивая только что родившуюся мысль. А как он хохотал, Господи, как он смеялся!

Прошло с тех пор шесть лет. Я знаю, что у него новая семья. Он доктор наук, профессор. Попивает. Однажды я познакомил-

ся с одним научным работником их института, который переехал туда из Москвы. Он с большим восхищением говорил о нем. Они дружат. Нет, я не испытывал никакой ревности.

— Скажите, — спросил я у него, не распространяясь о нашей недолгой, но горячей дружбе, — он под настроение все так же самозабвенно хохочет?

— Хохочет?! — переспросил он, уставившись на меня недоуменными глазами. — Он, безусловно, самый талантливый ученый института, но и самый желчный человек из всех, кого я видел!

Страшная вещь — оскорбленный идеализм.

## мальчики и первая любовь

### Исповедь Виктора Максимовича

У нас была компания из четырех мальчиков. Мы все учились в одном классе. Конечно, время от времени к нам присоединялись и другие, но настоящая духовная близость была только между нами. Главным авторитетом в ней был Коля Шервашидзе. Он был потомком, хотя и достаточно непрямым, того самого князя Георгия Дмитриевича Шервашидзе, обергофмейстера двора, который после смерти Александра Третьего женился морганатическим браком на его вдове Марии Федоровне. Вот как нас высоко заносило!

Но, разумеется, нас привлекала к нему не его высокородность. Да и род его к этому времени распался, и сам он жил



в ужасающей нищете. Большой, многоквартирный дом его отца был давно распродан, родители умерли. Сначала отец, кажется, он был юристом, потом мать.

Из трех оставшихся комнат две еще при жизни матери сдавались жильцу, а в одной обитал Коля со своей восьмилетней сестренкой. Комнаты жильца имели парадный выход на улицу, а Колина комната через обширную веранду выходила во двор. В десяти шагах от веранды росла могучая магнолия, бросавшая на нее в жаркие летние дни прохладную тень. Почти круглый год подножие дерева пестрело опавшими, но упорно не гниющими листьями и плюшевыми шишками. Здесь на веранде мы обычно собирались.

Большая комната Коли наполовину была загромождена книжными шкафами. Часть книг, не уместившихся в шкафах, дряблой горой лежала прямо на полу. Бывало, если вытащишь из груды заинтересовавшую тебя книгу, облачко пыли подымается над горой, что означало — вулкан еще не потух.

В комнате стояли две кровати, прикрытые ветхими, засаленными одеялами, стол и огромный буфет, напоминающий деревянный дворец, как бы усохший за исторической ненадобностью.

Колин квартирант казался нам странноватым. Звали его Александр Аристархович. Мы о нем знали только то, что приехал он из Ленинграда. Сначала один прожил целый год, а потом к нему перебрались жена с дочкой.

Он преподавал в деревенской школе математику и физику. Под влиянием Коли, конечно, мы почему-то дружно ре-

шили, что он беглый меньшевик. О юность! Почему меньшевик? Почему беглый? Никаких сведений! Единственное: живет в городе — преподает в сельской школе. Значит, беглый меньшевик; путает следы.

Может, это покажется странным, но ни один из нас не был монархистом. Даже Коля, хотя он и любил хорохориться своим происхождением. Мы жалели царя и его семью, но по убеждению были сторонниками демократической системы.

Изредка мы слегка выпивали сухое вино, и Коля, неизменно стоя, произносил свой неизменный первый тост:

— За здоровье его величества короля Англии!

Он считал, что русская история надломилась в 1905 году, когда царь упустил возможность дать стране настоящий парламент и сохранить монархию по английскому образцу.

Распахивать окно в феврале семнадцатого года, по убеждению Коли, было уже поздно, ибо наружный воздух России в то время был гораздо тлетворней внутреннего и страна задохнулась. Так он считал.

И вот мы, принимая Александра Аристарховича за скрытого меньшевика, совсем как в советских фильмах, но по своим причинам смеялись над ним. Большевики их высмеивали, потому что те якобы по своей злокозненной тупости не понимали победную правильность ленинского пути. Мы же над ними горько иронизировали, потому что они, по нашему мнению, прошляпили демократию.

Трудно понять все причины, но Александр Аристархович был предметом постоянных издевательств Коли, и нас

он этим заразил. Может быть, юношеское самолюбие сказывалось тут, зависимость от квартплаты жильца, пятьдесят рублей в месяц, единственный твердый доход. Правда, иногда он еще продавал букинисту книги. Кроме того, изредка приходили денежные переводы из Сибири, куда после революции отбросило его бабушку и дедушку по материнской линии. Я сознательно не называю большой город, где они жили. Еще живы люди, которых это может огорчить.

У Александра Аристарховича были жена и дочка, анемичная дудоня, студентка педагогического института. Она время от времени брала у Коли что-нибудь почитать. Коля целенаправленно руководил ее чтением, что не всегда нравилось ее отцу.

Я был уверен, что она влюблена в Колю. Но он этого не замечал, как не замечал и того, что она не понимает его длинных литературоведческих рассуждений.

Недавно, читая Бахтина, я вдруг вспомнил с необыкновенной яркостью фразу, мелькнувшую во время импровизированного семинара, когда Коля, склонившись над перилами веранды, объяснял бедной дудоне суть метода Достоевского, а она, стоя на земле смотрела на него обреченно-обожаящими глазами. Фраза эта про звучала так:

— Движущийся скандал!

Но ведь это почти то же самое, что говорит Бахтин. Если бы он его читал, он прямо бы его и процитировал, память у него была фотографическая.

Иногда Коля играл в шахматы с Александром Аристарховичем. Жилец у него чаще всего выигрывал, что, конечно, не способствовало Колиным симпатиям к нему.

— Невозможно играть с человеком, у которого все время трясутся руки, — жаловался он. — Протянет руку над фигурой и замрет на полчаса. А она у него трясется! Я не могу думать! Бестактность этого человека феноменальна! Раз уж у тебя псевдопаркинсонова болезнь, ты сначала обдумай ход, а потом тяни свою трясущуюся руку!

Мы редко видели Александра Аристарховича. Работая в сельской школе, он иногда оставался там ночевать. Видно, ему там выделили комнату. По этому поводу Коля неоднократно давал голову на отсечение, что тот завел в деревне незаконную жену.

Александр Аристархович был грузноватый розовый мужчина лет пятидесяти, с бритой яйцевидной головой, всегда очень аккуратно и чисто одетый. Обычно он во двор входил с двумя ведрами, набирал в колонке воды и осторожно, чтобы не облить брюки, возвращался домой.

Пока ведра наполнялись водой, он почти всегда с каким-то тупым удивлением оглядывал могучую крону магнолии, как бы не до конца веря в реальность этой южной роскоши, а возможно, несколько осуждая столь бесплодную, хоть и внушительную трату земных соков. Иногда он подымал шишку, подолгу рассматривал ее, осторожно нюхал и никогда не бросал на землю, а, нагнувшись клал ее. Не поручусь, что на то же место, но клал.

Если Коля ловил его за этим чрезмерно уважительным обращением с шишками магнолии, он кивал нам, трясся от беззвучного смеха и страстно шептал:

— Манья лояльности! Манья лояльности!

При всем этом Александр Аристархович никогда не забывал о своих ведрах: не давал переполниться подставленному под струю, вовремя пододвигал пустое.

Обычно Коля обращал наше внимание не только на действительно странное отношение к шишкам Александра Аристарховича, но и на все его действия, а также бездействие возле колонки, явно преувеличивая количество комических подлостей, заключенных в них.

Александр Аристархович стал для нас образцом буржуазной пошлости. Почти каждый раз, когда мы приходили к Коле, он что-нибудь рассказывал о нем, чаще всего уличающее того в невежестве.

— А мой петербуржец опять оскандалился, — говорил Коля с презрительной улыбкой, — я вчера у него спрашиваю: «Как вы находите трактовку идей Ницше у Брандеса?» — а он мне: «Какой Брандес? Бундовец?» И это человек с университетским образованием? Невежество этого типа феноменально! Феноменально!

Заранее уверенные в феноменальности этого невежества, мы начинали громко хохотать, а Коля, готовя кофе над вечно коптящей керосинкой, тут же экспромтом излагал статью Брандеса о Ницше «Аристократический радикализм».

Легкий, как перышко, в изжеванной нищенской одежде, с пятнами копоти на лице, с лихорадочным блеском черных глаз, он с необыкновенной непринужденностью, начав разговор о свойствах малярийных плазмодий, мог кончить афоризмами Шопенгауэра. И кофе! Кофе! Кофе! С утра до вечера!

Всякую нашу попытку обратить его внимание на свою внешность, навести на себя хоть какой-нибудь марафет он отвергал с нескрываемым презрением. Култ духа, всепожирающая любовь к знаниям и льющаяся через край готовность делиться ими.

— Светлейший князь скрывает породу, — пошутил как-то по поводу его немытого, чумазого лица один из членов нашей компании, а именно Алексей.

Однажды случилось редчайшее совпадение, мы пришли к нему на веранду, когда он только что вернулся из бани, куда он, разумеется, без крайней надобности не ходил. Все, смеясь, обратили внимание на то, что он неожиданно похорошел. Что-то в нем было от «Мальчика» Мурильо.

Не могу вспомнить, чтобы он спокойно обедал. Всухомятку. На ходу. Учился кое-как. Занятия пропускал безбожно, а в десятом классе поближе к зиме совсем перестал ходить в школу.

Но до этого на уроках литературы и истории с его лица не сходила усмешечка, за которую его можно было убить, если бы учителя посмели расшифровать эту усмешечку. Но они этого не смели и как бы с некоторой вино-

ватой осторожностью пробрасывали мимо него свои убогие знания.

Справки о болезни сестренки или о собственной болезни, кстати, не всегда ложные, устраивала ему очень подвижная старушенция-врач, которую мы у него иногда заставляли за кофе. Она же время от времени наводила в его хозяйстве кое-какой порядок и кормила девчущку.

— Ладно, мальчики, — говорила она, вставая, — вы тут развлекайтесь, а я пойду в кибениматограф.

Так она шутила, хотя кино и в самом деле любила. Она была одинокая и очень привязалась к Коле. Мы ее так и называли — старушка-кибениматограф.

— Хорошей фамилии, — уважительно кивнул ей вслед Коля, когда мы ее застали в первый раз, и не менее уважительно добавил: — Морфинистка.

Здесь, на веранде, мы обсуждали во главе с Колей все прочитанные книги и политические проблемы. Мы были проперчены политикой насквозь. Помню, мы удивлялись, что Шульгин задолго до прихода Сталина к власти кое в чем предугадал его физический облик. Кстати, Сталина Коля всегда называл Джугашвили. На людях — вождь. Среди своих — Джугашвили.

Книжка Фейхтвангера «Москва, 1937 год» была высмеяна вдоль и поперек. Мы только спорили: Джугашвили купил Фейхтвангера или тот запасался нашей страной как пушечным мясом против Гитлера? Сейчас я думаю, что дело обстояло еще хуже. Европейский интеллектуал был заинтересован

в продолжении опыта над Россией, не умрут — тогда и мы кое-что переймем.

После пакта с Германией Коля кричал:

— Теперь Джугашвили и Гитлер расхапают Европу! Грядет великая война! Англия с Америкой против Гитлера и Джугашвили! Конец непредставим! Скорее всего долгий, изнурительный пат... После чего возможно новое нашествие желтой расы...

Оставляя в стороне пророчества Коли, должен сказать, что в общих чертах мы знали все, что происходит в стране. Я это говорю к тому, что все еще бытует мысль, мол, многие ничего не знали. Ничего не знали те, кто не хотел ничего знать. Нас и объединило именно это желание знать правду.

Самым близким Коле человеком был Алексей, сын потомственного рабочего. Среди нас он один упорно занимался иностранными языками. Алексей был умен, обладал мрачноватой внешностью, таким же юмором и был невероятно капризен. Дерзил Коле только он и, дерзя, переходил на «вы». Своими дерзостями и капризами он как бы испытывал истинность привязанности к нему князя.

А князь был почему-то привязан к нему особенно. То ли потому, что именно он и только он предлагал перейти от слов к делу, то есть расклеивать разоблачающие Сталина листовки, что отвергалось князем как революционная вздорность, но должно было льстить его просветительскому честолюбию. То ли в Колиной, все-таки мальчишеской голове жила идея, что здоровый представитель народа пришел именно к нему.



Так или иначе, но этот здоровый представитель народа обладал самой причудливой психикой.

Бывало, обычную просьбу он излагал, морщась от смущения, краснея и уставившись в пол. Но таким же образом, смущаясь и краснея, он мог высказать и необыкновенную дерзость.

Во время наших самых раскаленных споров он вдруг залезал под стол и оттуда продолжал излагать свои соображения, что при его не очень отчетливой дикции создавало дополнительные акустические неудобства. Князь почему-то с особой серьезностью относился к аргументам, доносившимся из-под стола.

Порой, когда Коля, излагая свои мысли или чужие философские идеи, становился утомительным — и такое случалось! — Алексей вдруг уставится пугачевским взглядом в его сестренку, играющую на полу, и смотрит, смотрит на нее, пока она этого не заметит и не начнет хныкать.

— Алексей, прекрати! — кричал князь, не глядя и торопясь довести до конца свою мысль, пока девчонка не разревелась.

При этом именно Алексей больше всех о ней заботился, баловал, и она была привязана к нему не меньше брата.

Иногда он вдруг оскорблялся без всякого видимого повода и, покраснев и уставившись в пол, говорил:

— Если я здесь кому-нибудь в тягость, могу уйти.

И уходил своей победной походкой. Но тут князь бросался за ним и после некоторых пререканий возвращал его на веранду. Как я хорошо помню походку Алексея! Каждым дви-

жением, как бы преодолевая некую зависимость, он провозглашал свою независимость. Но именно потому, что каждое его движение подчеркивало независимость, в конечном итоге чувствовалось постоянное присутствие того, от чего он пытался быть независимым.

И четвертым в нашей компании был очаровательный хохол Женя. Он был сыном богатого кубанского крестьянина, в тридцатом году бежавшего от раскулачивания на Кавказ. Он был красив, мягок, добродушно-насмешлив.

Женя писал стихи, очень хорошо рисовал и готовился стать художником. При этом, имея довольно средние отметки по алгебре, он на других уроках, если не рисовал карикатуры, склонив свою лобастую голову, решал задачи по высшей математике.

Он легко все схватывал, но никогда ни во что не углублялся, как бы боясь чем-нибудь себя закабалить. В наших спорах почти не принимал участия, даже страдал от них, хотя вдруг иногда выдавал свежие соображения. Но если на них возражали, он тут же без всякой обиды замолкал.

— Воцу дер лерм? — недоуменно повторял он, кажется, фразу Мефистофеля в любом положении, грозящем дисгармонией, раздрызгом, скандалом.

У него были очень красивые волосы, но, увы, уже тогда слегка редевшие, что его сильно беспокоило. Он их подолгу оглядывал в зеркале, висевшем на веранде, при этом пальцами беззастенчиво довивая и без того вьющиеся волосы. Наши остроты и насмешки по этому поводу не производили на него ни малейшего впечатления.

Внезапно влюбившись, он исчезал, но ненадолго. Снова появлялся, опять занимался своими локонами, как бы слегка потрепанными в любовной схватке, и, глядя в зеркало, неизменно мурлыкал себе под нос одну и ту же песенку:

*Мой добрый старый Джека,  
Родной цыган.  
Что делать человеку?  
Любовь — обман.  
Пусть звуки старой скрипки  
Напомнят мне,  
Как часто врут улыбки  
При луне.*

Забавная история приключилась с Женей. В нашей школе в параллельном классе был еще один поэт. Звали его Толя. Рыжий, коренастый коротышка. Он был ужасно самоуверен, напорист и в своих не очень умелых, но очень громогласных стихах призывал к мировым классовым битвам. Впрочем, у него была и лирика со знаменитыми на всю школу строчками:

*О, как мне хочется мясо любимой  
Финским ножом полоснуть!*

Мясо он, конечно, раздобыл у раннего Маяковского, а финский нож — у позднего Есенина.

В школе были поклонники как Толи, так и Жени. На вечерах соперники пользовались переменным успехом. Толю любили за напор и мощную глотку. Женю любили за внешнюю красоту и умение высмеивать школьные происшествия.

Толя при всей своей напористости был ужасно наивен и считал, что он, безусловно, первый поэт школы, а Женя добивается дешевого успеха, поэтизируя сиюминутные проблемы, вместо того чтобы ставить проблемы века.

Женя его всерьез вообще не принимал и добродушно высмеивал за неумелые ухаживания как за музами, так и за девушками. Между ними часто обыгрывалась тема: кто первый поэт школы?

Однажды при мне Женя ему говорит:

— Толя, ты первый поэт школы, а я второй...

Толя с уважением к такого рода самоотверженному признанию кивнул ему головой.

Но тут Женя неожиданно добавил:

— ...Поэт страны.

Толя сначала онемел от возмущения, а потом заикаясь выговорил:

— Ты, ты, ничтожество, второй поэт страны?

— Да, — скромно подтвердил Женя, — я второй поэт страны.

Толя, хоть и был страшно возмущен, все же не удержался от любопытства узнать, каким отсчетом он пользуется, давая себе такую наглую самооценку:

— Хорошо! А кто первый поэт страны?

— Первого просто нет, — сказал Женя скромно.

Толя, готовившийся его высмеять, продемонстрировав всю смехотворность разницы между первым и вторым поэтом, был сбит с толку и взбесился.

— Ты совсем сбрендил! — закричал он. — Ведь по логике получается, что раз первого нет, ты и есть первый поэт страны. Где твоя логика, псих?

— Ну хорошо, Толя, — как бы трезво оценив свои возможности, сказал Женя, — я первый поэт школы, а ты второй поэт страны. Идет?

Тут Толя на несколько мгновений замолк, стараясь уловить в глазах Жени насмешку, однако, не улавливая ее, замялся и в конце концов предпочел синицу в руке:

— Я первый поэт школы! А насчет страны — все впереди!

В другой раз Женя ему как-то сказал:

— Кто за один урок напишет стихотворение в три строфы, тот и будет первым поэтом школы.

— Идет! — крикнул Толя и хлопнул Женю по плечу. Толя был или считал себя продуктивней Жени.

— Только с одним условием, — добавил Женя.

— С каким?

— Все рифмы должны быть сверхдидактические.

Бедный Толя опять онемел от возмущения. Он явно не имел никакого представления о сверхдидактических рифмах.

— Формалист проклятый! — наконец выпалил он, не давая себя провести такими дурацкими условиями. — Берем любую

тему! От Красной площади до Красной Испании! Кладу тебя на лопатки!

Бедняга Толя в отличие от Жени совершенно безуспешно ухаживал за девушками. Угрожающие стихи относительно финского ножа и мяса любимой тоже не способствовали успеху у девушек. Кармен или другой любительницы сильных страстей в доступном Толе окружении не находилось.

Однажды в школьной стенгазете Женя напечатал на Толю такую эпиграмму:

*«Девушки, Толя!» — музы вскричали и в чашу!  
Толя, блаженный, стоит. Снова в руках пустота.*

Случайно при мне Толя прочел эту эпиграмму и явно не придал ей большого значения.

— Блаженный! — презрительно фыркнул он, обращаясь ко мне, как к человеку, хорошо знающему обоих. — Кто из нас блаженный?! Люди не видят себя со стороны!

С этим он ушел. Ничто не предвещало бури, но буря разразилась.

Толя не обратил внимания на двойной смысл эпиграммы. А потом, когда на переменах девушки стали толпиться у стенгазеты и, хохоча, повторять ее, он заклокотал.

Через одного своего поклонника он вызвал Женю на дуэль — драку. Бедный Женя не на шутку растерялся. В отличие от Фальстафа он не был трусом. Я был с ним в горах, и он, как козел, вскарабкивался на такие скалы, куда не всякий

альпинист решится взойти. Но драка? Это хаос, дисгармония. Нет, нет, это ему никак не подходило.

— О, менш, воцу дер лерм? — обратился он ко мне, тревожно трогая волосы, как бы предчувствуя, что они могут пострадать.

Я пытался уладить дело, но Толя отказался со мной говорить и выставил для переговоров своего поклонника-секунданта. Я был ему неприятен сейчас не столько как друг Жени, сколько как человек, знающий, что он не сразу обиделся на эпиграмму. Тут была своя тонкость.

Я предложил секунданту принести из спортзала перчатки, песочные часы и провести бой из трех раундов по три минуты. Секундант пошел советоваться с оскорбленным поэтом. Мы ждали. Ответ его был суров и четок: песочные часы — да. Перчатки — нет. Бой до третьей крови.

Мы договорились, что поединок произойдет в пять часов вечера на волейбольной площадке рядом с детским парком.

— Ты же умница, Женя, — укорял своего друга Алексей, узнав о дуэли, — неужели ты будешь драться с этим шибздином. Плюнь! Он же вообще не человек.

— Меня вынуждают. — оправдывался Женя, — ты бы ему это сказал!

Кстати, в субботу предстоял школьный вечер, где должны были выступать оба поэта. Толя обещал в случае отказа от дуэли сделать на этом вечере такое заявление, после которого Жене только и останется перейти в другую школу.

Коли, как обычно, на занятиях не было. Когда мы пришли, он сидел на веранде, читая книгу и покручивая ручку своей скрипучей кофемолки. Он выслушал нас, не переставая крутить ручку и оглядывая нас своими разумно-лихорадочными черными глазами. Потом он сказал:

— Эпиграмма прекрасная. К сожалению, по этикету, принятому у французов, она может быть поводом для дуэли. Условие драться до третьей крови вообще безграмотно. Дерутся или до первой крови, или до смерти одного из противников. Ты, Витя, мог бы об этом знать как дворянин. Так что смело отвергайте это условие.

Кстати, античный мир вообще не знал, что такое дуэль. В те времена только государство могло отнять честь у человека. Сдается мне, что мы вернулись в античность, Джугашвили отнял у нас честь. Но, серьезно говоря, так оно и было. В Афинах Крат, получив по морде, привесил к месту фингала дощечку с надписью: «Это сделал Никодромос». Он ходил в таком виде по городу, и афиняне сочувствовали ему и возмущались хамством Никодромоса.

— А кто такой Крат? — спросил Алексей.

— Циник. — небрежно кивнул Коля, взглянув на Алексея, и продолжал: — Сенека любил говорить...

— Если вы, светлейший князь, — обиделся Алексей, — встали сегодня не с той ноги, я могу удалиться.

С этим он встал, повернулся и пошел своей четкой, независимой походкой. Коля с трудом покинул античный мир и осознал, что случилось.



— Алексей, вернись! — закричал он и, бросив мельницу, кинулся за ним.

— И вскрикнул внезапно ужаленный князь, — не удержался Женя, несмотря на опечаленность предстоящими делами.

Коля догнал Алексея и, сумев его остановить, стал объяснять, что под циником он имел в виду не Алексея, а Крата, который был представителем философской школы циников, или киников, возникшей в Греции после Пелопоннесской войны.

— Что ж, я такой кретин, что не знаю о философах-циниках, — бормотал Алексей, возвращаясь вместе с Колей на веранду и голосом показывая, что другой на его месте и теперь мог бы обидеться, но он уж привык, — ты бы так по-человечески и сказал...

— Женя, — мимоходом бросил Коля, — твоя последняя острота — настоящая плоскодонка. Возможно, для кубанских плавней она и годится, но здесь у нас на Черноморье плоскодонки не проходят. Потрудись оснащать свои остроты килем... Так вот, Сенека говаривал: «Оскорбление не достигает мудреца». Но Толя не Сенека. Оскорбление достигло с соответствующей быстротой. Придется драться. Я не хочу принимать участие в этом зрелище черни. Но ты, Витя, будешь секундантом и отвечаешь мне за голову Жени.

— О, менш, — воскликнул Женя, — неужели дело может дойти до головы?

Я успокоил Женю и стал обучать его простейшим правилам защиты. От приемов атаки он с негодованием отказался.

Потом я, Женя и Алексей втроем пошли в спортзал. Пока я доставал часы, Алексей и Женя наблюдали за спарринговыми боями.

— Лучше бы в перчатках, — задумчиво вздохнул Женя. Он понял, что в перчатках почти невозможно ухватиться за волосы противника.

— Поздно, — сказал я, и мы вышли.

— Умный человек, а пошел на поводу у этого идиота, — всю дорогу попрекал Женю Алексей, при этом сам вышагивая своей отчетливой походкой, как бы отсекая и отсекая от себя глупую навязчивость окружающего мира.

В парке нас уже ждали. Как только я перевернул песочные часы, Толя рванулся, как рыжий боевой петух. В первую минуту Женя растерялся и получил несколько ощутимых ударов. Но потом он его отбросил. Боясь, как бы в схватке не пострадали его волосы, Женя неожиданно правильно построил бой. Используя преимущество своих длинных рук, он брезгливыми ударами-толчками отбрасывал Толю, и тот уже никак не мог добраться до его лица.

После второго раунда они оба смертельно устали. К счастью, дело не дошло даже до первой крови. Уже обоим драться ужасно не хотелось, и тут хитрый хохол придумал выход.

— Хочешь, — сказал он Толе, вытянув ноги, — они сидели рядом на траве, — я на вечере в субботу прочту свою эпиграмму так:

*«Девушки, Женя!» — музы вскричали и в чащу!  
Женя, блаженный, стоит. Снова в руках пустота.*

— Конечно, — завопил наивный Толя, — тем более это чистая правда!

— Тогда целуйтесь, — сказал я, изо всех сил сдерживая смех.

— Зла не держу! По-пролетарски! — крикнул Толя и, сидя облапив Женю, поцеловал его. Женя слегка растерялся.

— Наш первый в жизни поцелуй, — сказал он, оправившись от растерянности и снова насмешничая. Он явно намекал, что первый в жизни поцелуй Толи пришелся, увы, на Женю.

— Опять начинаешь? — насторожился Толя.

— Первый поцелуй поэтов, — пояснил Женя.

— Это другое дело, — сказал Толя, оглядывая своих поклонников.

На вечере в субботу вся школа уже знала о том, что предстоит. Когда высокий, красивый Женя, близоруко щурясь в зал и поминутно трогая шевелюру, стал читать юмористические стихи и последним прочел эпиграмму, теперь как бы на самого себя, зал грохнул от хохота. Сейчас эпиграмма прозвучала как утроенная насмешка.

— Нет, Толя! — с глупой вероломностью выкрикивали некоторые девушки с места.

Толя на эти выкрики не обращал внимания. Он сиял от восторга и озирался на своих поклонников.

— Но пасаран! — кричал он сквозь общий хохот и вздымал сжатый кулак. — Я его вынудил!

Ко мне Коля относился сдержанней, чем к Алексею и Женне. Мое увлечение авиацией и спортом он рассматривал как уступку черни.

— Энергия мышц не усиливает энергию ума, — шутил он, — а невозможность воспарить духом не заменишь самолетом.

Меня эти шуточки нисколько не огорчали. Меня огорчало другое. Если вдруг возникали политические разговоры вне нашей среды, Коля как-то легко перестраивался под общую пошлость и точно угадывал, на какую степень пошлости нужно перестроиться именно в этой среде. Ну, разумеется, для нашего слуха он иронизировал. Но иногда и не иронизировал. Конечно, отсутствие иронии тоже можно было рассматривать как утонченную форму иронии, но все же, все же...

Я сам в себе чувствовал эту давящую иррациональную силу, но что-то во мне вызывало бешеное сопротивление ей, и иногда оно выплескивалось в виде слов, которые не принято говорить в малознакомой компании.

— Тебя, Карташов, чекисты заметут, — кричал Коля потом. — Мухус — Магадан будет твоим первым беспосадочным перелетом! И не будет снимка в «Правде» — Джугашвили облапил нового Чкалова! Ты же спишь и видишь такой снимок!

Разумеется, ни о чем таком я не мечтал.

— А твои улыбочки на уроках истории и литературы? — бывало, спрашивал я.

— Не ловится! — кричал он, яростно улыбаясь. — Улыбочки можно отнести за счет недостаточной подкованности преподавателя!

Пророчество Коли, правда, с большим опозданием, но сбылось. Как я сейчас понимаю, источником всплесков моих откровений была еще и неосознанная потребность уважать людей. Доверяя людям, я как бы заранее демонстрировал уважение к их порядочности и призывал держаться уровня этого уважения. После тюрьмы, хотя и время изменилось, я стал осторожней. И знаю, что на столько же обеднил себя.

...Время от времени к Коле заходил единственный букинист нашего города. Звали его Иван Матвеевич. Это был хромоногий человек на деревянном протезе, со светлыми глазами и дочерна загорелым лицом от вечного стояния под открытым небом над желтой, перезрелой нивой своих книг. Время от времени он приходил к Коле за покупками. Иногда Коля сам, желая у него приобрести ту или иную книгу, менял ее на свою. Имея в виду его деревянную ногу и свирепый океанский загар, мы его между собой называли пиратом Сильвером.

Однажды мы были свидетелями забавной сцены. Коля хотел приобрести однотомник Пастернака, включающий почти все его стихи, написанные до 1937 года, и отдавал за него пирату два тома Карлейля. Пират требовал третий том.

Забавность их торга заключалась в том, что каждый унижал именно то, что хотел приобрести. Пират, уважая в Коле

равного себе знатока книг, сам Коля над этим равенством посмеивался, называл его по имени-отчеству.

— Поверьте мне, Николай Михайлович, — говорил пират, — цена на однотомник Пастернака будет неуклонно расти, учитывая, что его больше не издадут. Это их ошибка. А Карлейль, что ж, Карлейль... Это давно прошедшие времена, и, если строго говорить, он же, в сущности, не историк...

— То есть как не историк, — возмущался Коля, — вас послушать, так кроме Покровского не было историков.

— Николай Михайлович, вы же образованный человек, — говорил пират, — вы прекрасно знаете, что Карлейль скорее поэт истории, чем историк. Да и во всем городе навряд ли найдутся еще два человека, которые о нем слышали. Продать его будет чрезвычайно трудно, разве что отдыхающим... Но у них каждая копейка на учете...

— Ну конечно, — выпалил Коля в ответ, — Мухус только и делает, что клянется именем Пастернака! А поэтический взгляд на историю и есть единственно возможный взгляд... Всю правду знает только Бог!

— Кстати, учтите... — Пират снизил голос и вопросительно посмотрел на нас. И хотя он прекрасно знал, кто мы такие, но взгляд его означал: не изменились ли мы со дня его последней встречи с Колей?

— Свои, свои! — раздраженно пояснил Коля.

— Так вот, учтите, — тихо сказал пират, — Пастернак ни разу не воспел Сталина. Это о чем-то говорит?

Он явно решил сыграть на ненависти Коли к Джугашвили. Но Коля не дал сыграть на этой струне.

— Пока жив тиран, — безжалостно осадил он пирата, — никогда не поздно его воспеть.

Пират до того огорчился таким ходом дела, что забыл об осторожности.

— Николай Михайлович, это несправедливо, — сказал он крепнувшим от обиды голосом, — если уж он его в тридцать седьмом году не воспел, нет никаких оснований подозревать...

— Да вы что, думаете, я не знаю творчество Пастернака? — перебил его Коля. — У меня почти все его книги есть. Конечно, прямых од он не писал, но есть одно весьма подозрительное место...

— Николай Михайлович, такого места нет!

— Иван Матвеевич, не спорьте! Я с этой точки зрения тщательно профильтровал его творчество. В цикле «Волны» есть одно место, на котором прямо-таки застрял мой микроскоп.

— Нет там такого места, Николай Михайлович!

— Иван Матвеевич, почему вы нервничаете? Однотомник у вас в руках. Да я и наизусть помню это место. Пастернак, говоря о неких условиях становления человека в Грузии, кстати, мы, живущие здесь, этих условий как-то не заметили, пишет:

*Чтобы, сложившись среди бескормиц  
И поражений и неволь,*

*Он стал образчиком, оформясь  
Во что-то прочное, как соль.*

— Ничего себе образчик! Фальшь! Фальшь! Замаскированная лесть!

— Николай Михайлович, это придирка!

— Это не с моей стороны придирка, — парировал Коля, — это с его стороны притирка!

Мы рассмеялись неожиданному каламбуру, и пират померчал.

— Зачем же тогда вы его берете? — сказал он.

— Затем, что он настоящий поэт. А вы из него делаете Христа.

— А ваш Карлейль с его высокопарностями...

Коля в конце концов победил. Он приобрел однотомник Пастернака за два, а не за три тома Карлейля, как хотел пират.

\*\*\*

Теперь о главном. Девушку звали Зина. Первым с ней познакомился и влюбился в нее Женя. Она училась в другой школе. Так как такое с Женей случалось и раньше, мы посмеивались над ним. Особенно над его рассказом о том, что он влезает на платан, растущий возле ее дома, и оттуда, с ветки, заглядывая в ее комнату, делает с нее зарисовки. Насчет зарисовок мы сильно сомневались, но то, что он влезал на дерево



и оттуда вглядывался в ее комнату, чтобы узнать, кого она на этот пригласила в гости, было похоже на правду. Кстати, и позже его насмешливый карандаш никогда не делал с нее набросков.

Потом Женя как-то привел в ее дом Алексея и Колю, и они тоже влюбились. У меня было меньше времени, я ходил в спортзал и, наверное, потому попал к ней позже. Так что был промежуток, когда я насмешничал над такой повальной влюбленностью.

А потом мы пришли к ней в гости, и я увидел ее. Стройная резвая кареглазая девушка с каштановой прядью на лбу встретила нас. На ней был серый свитер и серая юбка. Протягивая руку для знакомства, она просияла глазами с каким-то следящим любопытством, как если бы я был первым мальчиком, с которым она знакомится впервые в жизни. Нет, сказал я себе, совсем не обязательно влюбляться, она вполне переносима, даже с запасом.

Так началось наше знакомство. Мы гуляли по набережной и по городу, пили чай у нее в комнате, танцевали, провожали ее в музыкальную школу. И я как будто ничего не чувствовал. Мне только нравилось очаровательное свойство ее глаз видеть то, что делается сбоку. Идешь с ней или сидишь в ее комнате рядом, она с кем-то разговаривает, а ты в то же время чувствуешь, что ее глазок под мохнатыми ресницами все время видит тебя. Зачем ему надо видеть тебя — непонятно, но зачем-то надо. Я никогда точно не мог вспомнить мгновения перехода в состояние влюбленности.

Помню лунную ночь, равномерные вздохи прибоя, мы на скамейке, и она нам гадает. Дошла очередь до меня. Я подсел к ней. Может, уже был влюблен, потому что было ужасно приятно подсесть к ней. И вдруг впервые в жизни таинство прикосновения девичьих пальцев к ладони. И другая рука ее как-то по-хозяйски поворачивает мою ладонь к луне, чтобы яснее различить на ней линии судьбы. И легкое, странное, летучее прикосновение тонких пальцев, и взгляд потемневших глаз исподлобья, и смугло голубеющее в лунном свете лицо, и нежный лоб, и темная прядь у самого глаза, и слова о моей судьбе, строгая, горькая, родственная заинтересованность в моей судьбе. Может, тогда? Или позже, когда она у себя в училище играла «Вальс-фантазию» Глинки? Нет, не знаю. Просто ты однажды просыпаешься утром и точно знаешь, что влюблен, а когда это случилось, не знаешь. Вероятно, это случилось ночью, когда ты спал.

Одним словом, начался золотой кошмар. Дело дошло до того, что однажды вечером, идя к ней домой, я каким-то образом проскочил ее улицу и в городе, где каждый переулочек исходил сто раз, запутался. Это было невероятно. И от самой реальности этого безумия я совсем потерял голову и блуждал в ужасе, что вот так и не найду ее дома и не увижу ее сегодня.

В конце концов мне хватило сообразительности решить, что если я буду спускаться вниз по улице, то обязательно выйду к морю и тогда разберусь, что к чему. В страшном

возбуждении я добрался до моря, и, словно могучая стихия сразу оздоровила меня, я мгновенно узнал часть берега, на которую вышел, и все стало на свои места, все улицы, глядевшие на меня с выражением враждебной странности, превратились в старых, милых знакомцев. Это было какое-то наваждение. Черт попутал, говорят в народе.

Зина жила в верхней части Мухуса на тихой, обсаженной платанами улочке. Небольшой травянистый двор, виноградная беседка и двухэтажный деревянный дом, на верхнем этаже которого ее семья занимала трехкомнатную квартиру. Часть стены, обращенная к улице, и вся лестница были оплетены глицинией. Видно было, что хозяин дома, у которого они снимали квартиру, любовно следит за своим зеленым усадебным островком.

К этому времени все мои друзья успели признаться ей в любви и все получили мягкий отказ. Так что дружеские отношения не менялись. Было похоже, что друзья мои готовы заново пройти программу влюбленности, снова признаться ей в любви и, как бы сдав переэкзаменовку, перейти в счастливый класс.

— Тоже мне, дворяне из девятнадцатого века, — ворчал Коля, получив отказ, — наш род княжил с пятого...

И тут же взвился, вспомнив соседа:

— Мир еще не знал такого подлеца! Вчера играем с ним в шахматы. Его король буквально зажат моими фигурами. Но надо мной висит мат в один ход ладьей. Стоит мне сдвинуть пешку, и этот липовый мат сгинет. Но я решил: зачем,

когда я его сейчас заматую? Я: — Шах! — он, подлец, находит клетку. Я: — Шах! — он, подлец, опять находит клетку. И тогда я, забыв, что надо мной висит, делаю предварительный ход, чтобы покончить с ним вторым ходом. И тут он тупо ставит мне мат. Ну, я зеванул! Bravo! Bravo! Керенский на белом коне! Так этот подлец знаете что мне говорит в утешение: «Все равно у вас было все плохо».

Это у меня было все плохо?! Я чуть сознание не потерял от возмущения! И эти люди с таким пониманием реальности правили Россией?! Правда, недолго! Не триста лет! Даже не триста дней! Джугашвили, где ты? Возьми его!

Кстати, чуть не забыл. Однажды Александр Аристархович, заметив, что мы на веранде играем в шахматы, оставил свои ведра и поднялся к нам. Он стал с нами играть, и руки у него в самом деле заметно дрожали, хотя это было вполне терпимо.

Все мы ему проиграли, и только один Женя, не обращая внимания на его руки, выиграл. Он играл примерно на нашем уровне, но гораздо меньше нас проявлял интерес к шахматам. У Александра Аристарховича ему захотелось выиграть, и он выиграл.

— У вас оригинальное шахматное мышление, — сказал ему Александр Аристархович, — вам стоит всерьез заниматься шахматами.

— Да, — согласился Женя и начал дурачиться, — девушки так и говорят про меня: «Наш Алехин».

— Вы тренируете команду школьников? — спросил Александр Аристархович.

— Тренирую, — подхватил Женя, — в моей команде есть и две студентки. С дебютами у нас все хорошо. Но дальше беда! Они никак не хотят идти на жертвы.

— Умение жертвовать, — важно заметил Александр Аристархович, — это достаточно высокая стадия шахматного мышления... Ничего... Со временем научатся...

Видя наши корчи, он что-то почувствовал, но не мог понять что.

— Остается надеяться, — вздохнул Женя, — но ведь лучшие годы проходят, Александр Аристархович. Согласитесь, обидно.

— Ну, что вы, у вас все впереди, — засмеялся Александр Аристархович, продолжая что-то чувствовать. — Спасибо, ребята, за удовольствие. Я пойду...

С этими словами он покинул веранду, всей своей солидно удаляющейся фигурой как бы говоря: нет, нет, все было прилично.

...Однажды во время вечеринки у Зины в комнату вошел ее отец. Кроме нас, там было еще несколько мальчиков и девушек. Некоторые танцевали. Отец ее оказался мужчиной среднего роста, ладным, спортивным, с быстрыми насмешливыми глазами. Мы о нем знали только то, что он крупный банковский чиновник.

— Рад познакомиться, — сказал он мне просто, — я давно знаю вашего отца.

Он оглядел комнату дочери. На диване в окружении мальчиков и девушек сидел Коля и витийствовал. Рядом

стоял Алексей. Тогда как раз был у них период страстного увлечения символистами, которых Коля при полной поддержке Алексея через полгода проклял. Идея проклятия была такая: декаданс из искусства, как зараза, перешел в политику и оттуда проник во дворец в виде гигантского микроба, Распутина. Благодаря всему этому часть нации потянулась к лжездоровью понятно кого. Но это потом, а сейчас сквозь музыку «Рио-Риты» доносился страстный голос Коли:

*Унесем зажженные светлы  
В катакомбы, в пустыни, в пещеры...*

Алексей слушал его с выражением горестной сумрачности, всем своим обликом показывая жертвенную готовность взвалить на свои плечи увесистые светильники культуры.

— Это, конечно, князь, — быстро определил отец Зины, — а брюки кто ему мешает погладить, большевики? Или это знак протеста? А этот мрачный малый, вероятно, бомбист!

Он перевел взгляд на танцующих. Женя, конечно, танцевал, но не с Зиной, а с одной из ее подружек. Танцевал он прекрасно и, время от времени с улыбкой наклоняясь к своей девушке, что-то ей интимно нашептывал. Потом он вдруг озирался, близоруко щурясь, находил глазами Зину, бросал на нее несколько тоскующих взглядов и снова, склонив свою лобастую голову, начинал что-то нашептывать своей девушке.

— А это, видимо, ваш художник, — кивнул отец Зины на Женю, — хорошо танцует... Хорош... Хорош... Так, так... Понятно... И о хлебе насущном не забывает, и о дальней цели помнит.

Я расхохотался, до того точно он схватил облик Жени. Услышав мой хохот, Зина бросила своего мальчика и подбежала к нам

— Что папа сказал? Что? — пристала она ко мне, переводя свой сияющий взгляд с меня на отца. Я ей передал слова отца, и она, закинув голову и блестя зубами, стала смеяться всем лицом, всем телом, как смеялась только она. От смеха не в силах вымолвить ни слова, она кивками головы подтверждала тонкость наблюдений отца и, продолжая смеяться, повернулась к танцующему Жене. Женя, услышав взрыв ее хохота и видя, что она смотрит в его сторону, придал своим танцевальным движениям оттенок усталого, вынужденного автоматизма и издали болезненно ей улыбнулся, как бы говоря: радуюсь твоему смеху, преодолевая собственные страдания. Это его новое выражение лица вызвало новый взрыв смеха, тут Женя, почувствовав какую-то опасность, перестал улыбаться и, подтанцевав к нам, спросил у меня:

— О, менш, воцу дер лерм?

— Ой, папа, — сказала она, наконец вздохнув и слегка прикрывая ладонью губы отца, в том смысле, чтобы он все-таки не слишком далеко заходил в своей критике и не обижал Женю.

Кстати, чуть не забыл. Женя читал нам стихи, посвященные Зине. Вообще перед тем как читать новые стихи, он имел привычку говорить одну и ту же фразу:

— Похвалу принимаю в любом виде. Критику — только умную.

Стихи, посвященные Зине, казались мне прекрасными. Когда он их читал, меня охватывало пьянящее ощущение одновременно восторга и ревности. Удивительно было то, что к живому Жене с его ухаживаниями я не чувствовал ревности, а к стихам чувствовал. В стихах казалось, что он глубже ее понимает и потому достойней ее. Это было так странно совмещать с его насмешливым обликом. И все-таки восхищение всегда побеждало ревность. Я от души восторгался его стихами. Мне и сейчас думается, что для шестнадцатилетнего мальчика он писал просто хорошо.

*И тоску никуда не затискаю,  
Всюду, всюду глаза с поволокою.  
Никогда не была она близкою,  
А теперь стала вовсе далекою.*

А сейчас снова об отце Зины. В другой раз, войдя в комнату дочери и увидев у меня в руке томик Зоценко, он взял его у меня, листанул оглавление и, возвращая, сказал:

— Ваш знаменитый Зоценко...

— А вам не нравится? — спросил я.



— Конечно, юмористика, — сказал он и вдруг добавил: — Когда нация в бесчестии, у нее два пути: или учиться чести на высоких примерах, или утешаться, читая Зошенко... Но не будем заниматься политикой, лучше пойдемте в кухню лепить пельмени. У нас сегодня будут настоящие сибирские пельмени.

Он потащил нас на кухню лепить пельмени, с большим юмором, знаками давая нам понять, чтобы мы не тревожили Колю. Юмор заключался в том, что он свои гигиенические соображения выдавал за уважительный трепет перед учеными разговорами. Коля в это время, сидя на диване, проповедовал девушкам своего любимого Гаутаму Будду, учение которого прямо-таки отскакивало от юных девушек, а Коля вдыхал аромат пыльцы, сбитой этими отскоками. Милые лица девушек словно говорили: «Ты нам немножко Будды, а мы тебе немножко пыльцы».

— Банкир с головой, — признал Коля, когда я ему на следующий день передал отзыв о Зошенко, — но он слишком рационалистичен... Зошенко — это прорыв, эксперимент. Первая в мировой практике попытка создать серьезную литературу вне этической пафоса.

— А разве это возможно? — с такой личной обидой спросил Алексей, что в воздухе замаячил очередной уход с веранды.

— Иногда надо делать невозможное, — с неожиданным раздражением сказал Коля и стал проповедовать необходимость героического освоения тупиковых путей.

Если б мы знали, что будет!

Она, конечно, не могла не понимать, что я безумно влюблен. Иногда она оказывала мне знаки внимания, а порой, словно устав от моего назойливого присутствия, целыми вечерами не смотрела в мою сторону. Когда мы покидали ее дом, на меня вдруг находила такая тоска, что она это замечала, хотя я, конечно, старался скрывать от нее всякое внешнее проявление моего чувства.

— Выше голову, Карташов! — вдруг говорила она, проводив нас до крыльца, и, мгновенно трепанув меня по волосам, вбегала в дом.

Порой я сам целыми вечерами, собрав всю свою волю, не смотрел на нее, пытаясь увлечь разговором какую-нибудь из ее подружек. И вдруг она подходила к нам и тихо усаживалась рядом. Иногда я ловил на себе ее долгий, задумчивый взгляд. Взгляд этот был приятен пристальностью к чему-то во мне и тревожил, как если бы она убедилась, что не нашла во мне того, что пыталась разглядеть. Я не мог ничего понять.

Однажды, когда мы гуляли по городу и подошли к маленькой корявой сосне, росшей на краю тротуара, я как-то автоматически обошел дерево, и оно нас на мгновение разделило. Зина вдруг побледнела и сказала: «Это к разлуке...»

Тогда я подвинулся силе ее капризного суеверия. Я не понимал, какая страстная натура живет в этой резвой, веселой девушке!

Разумеется, мы хотели ее видеть гораздо чаще, чем это было возможно. Я помню долгие зимние вечера, когда мы бесконечно ходили по городу, до оскомны во рту пережевывая наши проклятые вопросы, одновременно мечтая встретить ее где-нибудь с подругами и чувствуя непрерывно подсасывающую душу тоску по ней.

И сила этой тоски и отчаяния порой была такая, что, мысленно воображая Зину, хотелось схватить ее за эту каштановую прядь, падающую на лоб, и проволочить по городу, пока она не оторвется. Или, схватив обеими руками, до отказа раздернуть в обе стороны ее длинное коричневое кашне, лихо повязанное поверх воротника пальто, или в крайнем случае взять и вдавить в лицо этот аккуратненький, не по чину самостоятельный носик! Обезобразить ее, чтобы не мучила!

И как забывалось это мучение, как все расцветало, брызгалось свежестью жизни, если она вдруг появлялась с подружками из-за угла! Каким ветерком обвевало душу, раздувая в ней веселые угольки надежды, как глупо расплзлось лицо в благодарной улыбке и как стыдно было на глазах у ее переглядывающихся подружек становиться столь бессовестно счастливым!

Но так бывало редко. Чаще всего мы ее нигде не встречали. И тогда, перед тем как разойтись по домам, мы подходили к фотоателье на набережной, где в витрине вместе с другими фотографиями был выставлен ее снимок.

Мы подолгу любовались ее лицом, таинственно оживающим в неровном свете фонаря, полуприкрытого рас-

качивающейся веткой эвкалипта. А с моря налетали холодные, сырые, соленые порывы пронизывающего ветра, и веера пальм, росших на тротуаре, издавали сухой, бронхиальный скрежет, и была юность, влюбленность, государственное сиротство и слегка согбенная под этим вера в свою обреченную правоту! Фотографию эту обнаружил, конечно, Женя.

Вся семья у нее была музыкальная. В ту зиму ее отец и мать играли в любительской постановке оперы «Евгений Онегин». Репетиции почему-то проводились в Клубе моряков, и Зина нас туда время от времени водила. Отец играл Онегина, а мать играла Татьяну.

Бедные кулисы, бедная сцена с глупой трибункой в углу, жалкие костюмы, но музыка Чайковского, и она рядом в сером свитере и серой юбке. Вечно меняющая позу, покашливающая в коричневое кашне, в клубе было прохладно, отбрасывающая его край, покусывающая губы от волнения, одновременно все время видящая меня рядом своим непостижимым карим глазком, встряхивающая головой и отбрасывающая прядь со лба, в ужасе закрывающая уши, если на сцене сфальшивили, кричащая туда или, если ее не понимали, вскакивающая и бегущая с развевающимися концами длинного кашне, вылетающая на сцену, свет которой почему-то с особой жадностью озарял и ловил ее быстрые, цветущие ноги! Движения, движения, движения и моя влюбленность, с пугливой цепкостью следящая за ними!

От ее близости, от самого ее запаха, от музыки Чайковского, от изображения нашей потерянной пушкинской родины в голове все перепутывалось и, перепутываясь, оживало странной явью. Оттого, что Онегина и Татьяну играли ее родители, уже стареющие, нежно любящие друг друга муж и жена, казалось, что и Онегин с Татьяной были счастливы в настоящей жизни, а просто так, по таинственной воле поэта, сыгран теневой вариант их судьбы, и сам Пушкин не убит, и с ними наша прежняя родина, а все, что с ней случилось, это только сон, только теневой вариант судьбы, который мог бы случиться, но, к счастью, не случился, и милый чудаковатый мсье Трике — это Париж, влюбленный в неповторимую поэтичность Татьяны-России. Как это было давно, но это же было!

Зина думала обо всем примерно так же, как и мы, но терпеть не могла политические наши разговоры.

— Как можно все время об одном и том же, — встряхивала она головой и предлагала пойти в кино, выпить лимонад Логидзе, нагрянуть к одной из подруг или даже испечь пирог, если мы после долгой прогулки соглашались подождать.

— Мой папа говорит, — любила она повторять в таких случаях, — что мы, русские, сначала разучились жить, а потом научились жить химерами.

Бывая у подруг Зины, детей простых советских служащих, мы заметили, что все они гораздо избалованней ее, просто неумехи, и их матери дома все за них делают.

Мы обсудили между собой этот вопрос, и Коля ехидно заметил:

— Все обстоит просто. Бывшие кухарки, потеряв своих барынь, стали кухарками своих детей. А бывшие барыни, потеряв кухарок, сделали кухарками своих дочек.

Иногда мы всей гурьбой заходили к Коле поболтать и выпить кофе по-турецки. Однажды мы там застали старушку-кибениматограф. Зина ей явно понравилась. Узнав, чья она дочь, старушка кибениматограф, хитренько взглянув на шмыгнувшего в комнату Колю, быстро прошептала ей:

— Выходи за Колечку замуж. В будущем. Ничего, что он князь. Сейчас, милочка, это не имеет большого значения.

Мы захохотали достаточно нервным смехом.

— Чем я заслужила такую честь? — смеясь спросила Зина.

— Заслужила, — избавляя ее от комплексов, уверенно кивнула старушка и быстро приложила палец к губам, потому что в дверях появился Коля.

Весной, когда все расцвело, комната Коли как бы стала еще более затхлой, и Зина не выдержала.

— Мальчики, — сказала она, — дальше терпеть нельзя! Это не дом, а притон бродяги!

Она сорвала с вешалки старый халат Колиной мамы, почти дважды завернулась в него и крепко перепоясалась. Со времени смерти мамы Коли, а с тех пор прошло четыре года, полы в комнате, конечно, никто не мыл. Усохший дворец буфета был покрыт таким слоем пыли, что хра-

нил на своей огромной поверхности все рисунки, нанесенные на него пальчиком его сестренки. Вглядевшись в эти рисунки, можно было проследить за развитием ее воображения от наскальных примитивов до первых школьных сюжетов.

Коля был не на шутку взбешен этим, как он сказал, чекистским вторжением. Но Зина в ответ только смеялась. В знак протеста Коля уселся на веранде с книгой и ни разу не взглянул в нашу сторону.

С очаровательным вкрадчивым коварством Зина подошла к горе книг, достававшей ей до плеча, и толкнула ее руками, как бы разыгрывая сцену из неведомой пьесы «Молодость и мудрость». Вершина рухнула, и вулкан осел, выбросив в потолок вялое облако истлевшей мудрости.

Зина громко чихнула и, расхохотавшись, взялась за тряпку. Книги, сохранившие обложки, тщательно протирались и водружались на кровать. Книги же, лишенные обложки, не только не удаивались быть протертыми тряпкой, но сами встряхивались, как тряпочки, и укладывались на кровать. Три из них, наиболее ветхие, не выдержав такой физкультуры, частично лишились своих потрохов, а она, поощряемая нашим хохотом, возвращала им внутренние органы, не слишком заботясь об их естественном расположении. С выражением на лице: «Сами разберутся, если живы!» — она поспешно вкладывала в них вывалившиеся страницы, отправляла на кровать и бралась за новые. Коля, конечно, этого не видел.

Колина половая тряпка, найденная после долгих поисков под топчаном на веранде и с большой осторожностью отодранная от пола, совершенно не гнулась и была похожа на обломок глиняной стены со следами клинописи, не поддающейся расшифровке. Пытаясь вернуть ее к жизни и придать ей если не первоначальную, то хотя бы какую-нибудь эластичность, мы положили ее под колонку и пустили воду, рискуя не только смыть следы клинописи, но и вообще растворить в воде ее новую субстанцию.

Заняв половые тряпки у соседей, мы принялись отмывать полы. Когда я первый раз с ведром, наполненным грязной водой, подходил к помойной яме, я увидел дочь Александра Аристарховича. Шагах в десяти от меня, спиной ко мне, она стояла, прислонившись к шелковице, и всхлипывала. Появление Зины в доме у Коли, да еще эта хозяйственная суета, а главное, что она облачилась в халат его матери, явно надломили ее.

Возвратившись в дом, я рассказал Коле об увиденном. Коля отбросил книгу и взвился, устремляя ярость по поводу нашего вторжения в свой Карфаген.

— Этот невежда, — закричал он, — злится на меня за то, что я избавляю его дочь от невежества! Я дал его дочери почитать книгу Гусева «Нравственный идеал буддизма». Этот кретин вернул книгу и стал объясняться. Сегодня я над ним издевался как никогда! «Коля, — сказал он, — зачем вы забиваете голову моей дочке реакционными верованиями? Она же будущий педагог!» — «Помилуйте, — говорю, — Алек-



сандр Аристархович, по этому вероучению уже две с половиной тысячи лет живет треть человечества! Вам же, конечно, известно, что Гаутама Будда, кроме того что был великим философом, лечил больных и защищал угнетенных примерно за две тысячи четыреста лет до Маркса? Ведь вы же не станете отрицать признанное всеми историками, что правление первого буддийского царя Ашоки было самым гуманным, разумеется, для того времени, а не для нашего?!»

Он надулся и сказал: «Это реакционное вероучение облегчило английскому империализму захват Индии».

Такого перехода я даже от него не ожидал. Ну, тут я ему выдал.

— Да, — говорю, — Александр Аристархович, относительно того, что буддизм зародился в Индии, вы попали в точку. Но и точка, согласитесь, достаточно крупная. А в остальном вы не правы. К сожалению, Александр Аристархович, вам никогда не стать Буддой! Буддой, Александр Аристархович, вам не стать! — Он, конечно, не знает, что Будда означает — просвещенный, не знает! Не знает!

— А я, Коля, и не претендую, — говорит он, — это мне странно даже слышать. Я только прошу насчет дочки...

— Нет, — говорю, — Александр Аристархович, Буддой вам никогда не стать!

Он ушел, видимо, решив, что я рехнулся, и наказал дочь, она и плачет.

Пока Коля рассказывал, мы переглядываясь, хохотали. Смех наш был следствием юмора, рикошетирующего от

его рассказа к уборке его библиотеки. Дело в том, что одной из трех книг, не выдержавших Зининых встряхиваний, и была книга «Нравственный идеал буддизма». Хотя бедному проповеднику были полностью возвращены внутренние органы учения, однако явно не в первоначальном порядке. Так что, попадись Александру Аристарховичу эта книга после нашей уборки, он уже с полным основанием мог бы обвинить учение Будды в некоторой логической путанице.

Дополнительным источником юмора к рассказу Коли служило его собственное восприятие нашего смеха: то ли он стал намного остроумней, то ли мы, поумнев от соприкосновения с его книгами, лучше стали понимать его? Он так до конца и не решил, время от времени тревожно поглядывая на свою сестренку, которая слегка опьянела от всей нашей суматохи и каждый раз хохотала вместе с нами.

Наконец, отсмеявшись, мы взялись за половые тряпки. Пол, надо было еще до него добраться, наконец выскребли и вымыли. Под слоем многолетней грязи, как на раскопках, обнаружили великолепный паркет. Мебель была протерта, стены очищены от рыболовецких сетей паутины вместе с усохшими трупиками уловов, а книги стопками уложены возле книжных шкафов.

Незадолго до конца уборки Женя куда-то исчез и через полчаса вернулся с бутылкой вина и стал осторожно, как бокалы, выкладывать из карманов электрические лампочки. Издевательски бормоча: «Принесем зажженные светы

в катакомбы, в пустыни, в пещеры», он вывинтил на веранде и в комнате тусклые, замызганные лампочки и ввинтил сияющие, многосвечовые. Нас всегда удручали Колины лампочки, но мы как-то примирились с этим, чувствуя, что, если по этому пути идти, слишком многое придется преодолевать.

Мы весело распили бутылку вина. Коля, как всегда стоя, провозгласил первый тост за здоровье его величества короля Англии, подданные которого с полным правом утверждают, что их дом — это их крепость, поскольку к англичанину никто не может ворваться и под видом генеральной уборки устроить у него в доме повальный обыск.

Тут Женя в связи с тостом Коли вспомнил, что он, возвращаясь после покупки вина, подошел к колонке и полюбопытствовал о судьбе Колиной половой тряпки. По его уверению, она уже вяло пошевеливается под струей воды, хотя и уменьшилась до размеров мужского платка.

Он напомнил, что у Коли с носовыми платками всегда обстояло, мягко выражаясь, туговато, и предложил ему скорее вытащить ее из-под струи, а то за ночь она там полностью растворится или, что тоже не исключено, ее просто сопрут.

Тут вставился Коля, уже готовивший кофе над керосинкой, особенно радостно коптившей под обновленной верандой. Он давал голову на отсечение, что если кто и похитит его таинственное сокровище, то только не Александр Аристархович. Если, придя на утренний водопой, он обнаружит ее под колонкой и со свойственной ему проница-

тельностью примет ее, к этому времени соответственно уменьшившуюся и даже побледневшую, за большой лепесток магнолиевого цветка, слетевшего с дерева, он может только взять ее в руки, понюхать, удивиться ее запаху, обрадоваться, что удивление его по поводу странности ее запаха в еще спящем доме никто не заметил, и, решив, что на данном этапе цветам магнолии дано указание именно так пахнуть, положит ее на место.

Закончив свой монолог, Коля разлил нам кофе по чашечкам и как всегда поставил свою турку прямо на стол, уже неоднократно, как старый каторжник, клейменный ее раскаленным днищем. По этому поводу Женя сказал, что если уж Коля дал буддийский обет никогда в жизни не пользоваться носовыми платками и если половая тряпка, уменьшившись до размеров носового платка, сохранила при этом свое великолепное свойство в сухом виде камень, то ее с завтрашнего дня можно использовать как подставку для Колиной турки. Его коптящая керосинка, заметил он, может быть использована для окончательного обжига уже окаменевшей тряпки. На этом импровизации на данную тему, вдохновляемые смехом Зины, были как будто исчерпаны.

Напившись кофе, Коля окончательно примирился с нами в духе буддизма и уже в собственном духе прочел нам лекцию о жизни и учении своего любимого Гаутамы.

Наши отношения с Зиной, мучительные своей неопределенностью, в ту памятную на всю жизнь весну вдруг изуми-

тельно прояснились. Сейчас, когда я думаю о лучших минутах моей жизни, я вспоминаю не сладость первых поцелуев, а ее, когда она, быстро стуча каблучками, отбрасывая скользящей по перилам рукой фиолетовые кисти глициний, вихрем свежести слетала ко мне со второго этажа своего деревянного дома. Или позже, уже осенью, как бы со стороны, вижу нас обоих, притихших и взявшись за руки идущих по чистой улочке, усеянной листьями платана, шуршащими под ногами.

— ...Я поняла, что это навсегда, понимаешь, навсегда и потому испугалась, — говорила она в наш первый вечер вдвоем. А потом сама поцеловала меня и добавила: — Ты папе тоже понравился...

Я ничего не говорил друзьям, но все было ясно и так. Милый Женя продолжал улыбаться своей лукавой улыбкой и по привычке трогал свои драгоценные кудри, словно убедившись, что они на месте, убеждался сам, что мои успехи временны.

Алексей важно отвел меня к подножию магнолии и, покраснев и опустив голову, приказал:

— Дай клятву любить ее всю жизнь. Я дал.

А Коля, конечно, был верен себе, хотя долго делал вид, что ничего не замечает.

— Авиация, спорт, женщина — полный совдеповский джентльменский набор, — сказал он с улыбочкой и с особенным бешенством накинулся на своего квартиранта.

В те времена, не знаю, помнишь ли ты, в дни советских праздников флаги вывешивались на фасадах не только правительственных зданий, но и частных домов.

— Он совсем спятил! — закричал Коля. — Он за три дня до Октябрьского переворота вывесил флаг! Кретин, не понимает, что такой наглый подхалимаж навлекает подозрение Чека! И на меня навлекает! Он же мой квартирант! Я ему говорю: «Что это вы, Александр Аристархович, так смело передвинули наш всенародный праздник? А ведь вождь учит, что историю нельзя ни ухудшать, ни улучшать. Любопытствую, что означает ваша поспешность? Улучшение истории или ее ухудшение?» — я его загнал в ловушку! Ведь они считают, что Ленин мистически точно предугадал день! Любой ответ звучит двусмысленно! Он смутился, ужасно смутился! «Я, — говорит, — Коля, еду в школу. Боюсь, что жена забудет». Так и забудет! Держи карман шире!

...Конечно, мы с Зиной любили говорить о будущем. Уже было твердо решено вместе ехать в Одессу — я в летное училище, она в мединститут. Мы целовались до умопомрачения, но все еще последнюю черту не переходили.

И вот после выпускных экзаменов мы идем на день рождения к ее подруге. У нас впереди вся ночь! Такого никогда не бывало! И мы знаем, что это будет наша ночь!

Подруга ее жила возле греческой церкви, совсем недалеко от Коли. Туда явилась вся наша компания, и было множество полузнакомых друзей ее подруги.

Столы. Салаты. Вина. Музыка. Смех. И рядом она в моем любимом платье, и ее горящее лицо, и видящий, обжигающий сбоку глазок, и отважная шея, и ледяная ладонь, почти бес-

прерывно ловящая мою руку под столом и сжимающая ее, и ощущение какой-то тревоги, переизбытка напряжения, грозящего непонятным взрывом.

После ужина начались танцы. Ее много раз приглашали, но она так и не встала с места. Особенно упорствовал один мальчик. Он даже разозлился, но потом отстал.

Слегка шаржируя, Женя начал набрасывать быстрым карандашом портреты мальчиков и девушек. И только один мальчик у него никак не получался похожим. Он несколько раз брался его рисовать, но рисунок не удавался. Возможно, сказалось, что Женя к этому времени слегка подпил.

И тут вдруг Коля сострил:

— Одно из двух: или у художника нет таланта, или у модели нет лица.

Все расхохотались. Смеялся и мальчик, чей портрет никак не получался. Видимо, он был уверен, что виновато не его лицо, а рука художника. Женя просто покатывался от хохота, настолько смешным казалось ему предположение, что у него нет таланта. Видя, что оба, и художник, и модель, смеются, остальные начали находить в этом новый источник юмора и долго смеялись.

Смех уже начал угасать, как вдруг Алексей плеснул топливом в этот догорающий огонь. Краснея и опуская голову, он сказал:

— Возможен еще один вариант: и у художника нет таланта, и у модели нет лица!

Все грохнули, а Женя от смеха даже свалился со стула. Но мальчик, чей портрет не получался, вдруг страшно разобиделся, стал кричать, пробираться к выходу, отмахиваясь от тех, кто пытался его удержать. Но тут целая гроздь кричащих девушек в него вцепилась, и он позволил себя остановить.

Все успокоились и сели к столу. Я было подумал, что вот этой вспышкой и разрешилось то перенапряжение, которое я чувствовал. Но лицо Зины все так же пылало, ее карий глаз под мохнатыми ресницами все так же обжигал меня сбоку, и ладонь, сжимавшая мою руку под столом, была все такой же ледяной.

Ни с того ни с сего разговор зашел о киножурнале с докладом Сталина. Некоторые стали умильно упоминать якобы неожиданные сталинские слова и телодвижения: вдруг взял да и оглянулся на президиум (никто бы не подумал!), пошутил, улыбнулся, сам себе налил боржом, нет, сначала налил боржом, а потом выпил и пошутил, и все такое прочее, может, обдуманно рассчитанное им самим для оживления его тухлых слов.

И вдруг громкий голос Зины:

— А мой папа говорит — беглый каторжник управляет страной!

Сквозняк ужаса пробежал по комнате и разом сдунул все голоса. На некоторых лицах мелькнула тень отдаленного любопытства — разве так уже можно говорить?! — и тут же улетучилась. Тишина длилась пять-шесть невыносимых секунд,



и было ясно, что каждый боится что-нибудь сказать, потому что первый, сказавший что-либо после сказанного, будет обязательно привязан к сказанному. И тут раздался спокойный голос Коли:

— Конечно, вождь семь раз бежал с царской каторги. Об этом неоднократно писалось в его биографиях. Жаль, что еще нет кинофильма о его героических побегах с каторги.

А лицо Зины еще несколько секунд пылало, словно она хотела сказать: «Нет, мой папа имел в виду совсем другой смысл!» — а потом ее лицо погасло, она опустила голову, ее ледяная ладонь, сжимавшая мою руку, разжалась, и я сам схватил ее ладонь и сжал изо всех сил.

Компания, оцепеневшая было на минуту, словно облегченно вздохнув, лихорадочно зашумела. С какой грозной разницей звучит одно и то же понятие! Одно дело: вождь бежал с каторги! Другое дело: беглый каторжник управляет страной!

Начались танцы. Зина в передней нашла свою сумочку, я схватил плащ, и мы выскочили на улицу. На ходу, целуя ее, я упрекнул:

— Ты что, спятила? Разве так можно?

— А ты? А ты? — отвечала она, прижимаясь ко мне горячей щекой и сияя в полутьме глазами. — Ах, ничего! Князь меня спас!

За два квартала от дома ее подруги был тот самый парк, где когда-то Женя дрался со своим соперником. Мы быстро шли туда. Пройдя ближнюю часть парка, оборудованную для детских игр, мы углубились в него и уселись на скамейке под мо-

гучей секвойей. Впереди была целая ночь. Мы обнялись, и началось долгое истязующее блаженство, иногда прерываемое признаниями и разговорами о будущем. Кстати, тут я ей рассказал о дуэли Жени с Толей. Как она хохотала, как в темноте блестели ее зубы!

Где-то далеко от нас сидела какая-то компания. Оттуда время от времени доносились голоса. Я понимал, что это скорее всего хулиганы. Они меня не тревожили, но все-таки останавливали от последней смелости. Уйдут же они когда-то, думал я.

— Сумка! — вдруг вскрикнула Зина, и я увидел тень человека, метнувшегося от нашей скамейки.

Я вскочил и тупо побежал за ним. Он мгновенно растворился в темноте, а я, пробежав метров тридцать, споткнулся о какой-то корень и растянулся на мокрой земле. Ночь была пасмурной, и иногда накрапывало.

Когда я вскочил, было уже совсем непонятно, куда бежать, да и тревожный голос Зины вернул меня к ней.

— Ой, хорошо, что ты пришел, — сказала она, прижимаясь ко мне. — Бог с ней, с сумкой, там ничего не было... Я закричала от страха!

Человек этот скорее всего был из той компании и, услышав наши голоса, решил пожить. Уже к скамейке он явно подполз, потому что, когда я его заметил в темноте, фигура его разгibasь. Было неприятно думать, что кто-то к нам подползал, пока мы целовались.

— Пошли отсюда, — сказал я.

Парк упирался в поросший сосняком холм, и я знал, что на ровной вершине этого холма, где растет мимозовая рошица, мы найдем укромное место. Я взял ее за руку, и она покорно пошла со мной. Мы стали подыматься по крутому холму, покрытому опавшей хвоей.

В темноте подыматься было трудно, ноги соскальзывали с нахвоенного склона, но меня вдохновляло то, что нас ждет впереди, и она героически и безропотно следовала за мной. Иногда она останавливалась, чтобы вытряхнуть хвою из туфель, и пока она в полной темноте, сливаясь с этой темнотой, в которой, как в воде, слегка изгибаясь бледнели ее голые руки, стояла на одной ноге, держась за меня, и вытряхивала из туфель хвоинки, я осторожно целовал ее в затылок опущенной головы.

На самых крутых местах я выискивал какие-нибудь кусты и подтягивался на них, а потом протягивал ей руку и вытягивал ее к себе, на себя, и мы, разогнувшись на крошечной площадке и задыхаясь от крутизны подъема, яростно целовались, и я вдыхал смешанный с запахом хвои запах ее расцветающего и расцветающего в теплой темноте тела и пальцами, горящими и натертыми наждачной хвоей и колкими кустами, особенно чутко ощущал в объятиях чудо ее прогибающегося ребрами любящего тела.

Чувственный порыв освежал наши физические силы, и мы снова пускались в путь. Задумчиво шелестя на вершинах сосен, время от времени накрапывал дождь, но до их подножия он почти не доходил.

Вдруг мне показалось, что я слышу какой-то вкрадчивый посвист. Я прислушался. Он снова повторился где-то слева. Потом справа. Это был тихий пересвист по крайней мере двух человек.

Я ей ничего не сказал, чтобы не волновать ее. Мне было неприятно, что какие-то люди параллельно с нами, по обе стороны от нас, пробираются на холм. Я слышал о мерзавцах, которые охотятся в таких местах за уединившимися парочками, но юность, влюбленность, беспечность победили мою тревогу, и я решил, что, может быть, эти люди к нам никакого отношения не имеют. Этот еле уловимый посвист еще несколько раз повторялся, но Зина его не слышала или принимала за какие-то звуки летней ночи.

Мы выбрались на холм. После сумрачного склона здесь сразу стало светлей. Дождь перестал накрапывать. Темнела трава, и на лужайке были разбросаны голубоватые на фоне травы легкие кусты мимозы.

Я огляделся и возле одного из кустов, место это показалось мне особенно уютным, расстелил на мокрой траве свой плащ. Я осторожно опустил ее и уже сам хотел сесть, но что-то заставило меня выпрямиться.

— Ты что? — шепнула она, глядя на меня снизу вверх темными, непонимающими и в то же время навсегда доверяющими глазами. Еще девушка, но уже как истинная женщина, она не понимала, почему я покидаю с таким трудом добытое гнездо, и одновременно в голосе ее была та изумительная покорность развитой женской души, которая и порождает в мужчи-

не настоящую ответственность. Это, конечно, я сейчас все осознаю, вспоминая ее облик.

— Подожди, — шепнул я ей и, оглядевшись, подошел к большому кусту мимозы, росшему в десяти метрах от нас. Только я сделал шаг за куст, как вдруг увидел перед собой на расстоянии вытянутой руки лицо хама. Вся большая фигура его, наклоненная вперед, и широкое лицо с мокрыми прилипшими ко лбу волосами выражали подлый, пещерный азарт любопытства. Я замер, и мы секунд десять, не отрываясь, смотрели друг на друга. Наконец скот не выдержал и, молча повернувшись, бесшумно исчез за другими кустами. Видимо, когда я столкнулся с ним, он только собирался выглянуть из-за мимозы и потому не заметил моего приближения.

Я вернулся к Зине. Ясно было, что нам оставаться здесь нельзя. Вспоминая, удивляюсь, но почему-то большого страха не было. Если б я один в таком месте столкнулся с ним, наверное, было бы гораздо страшней. Но тут и взволнованность, и готовность защищать то, что мне дороже всего в мире, и оскорбленность, что за нами следят какие-то мерзавцы с какими-то темными целями, видимо, ослабляли страх.

— Смотри, что я нашла, — шепнула она, что-то протягивая. Я наклонился. Две темные земляничины на стебельках торчали над ее сжатыми пальцами.

— Как мы удачно выбрали место, — сказала она, — это самые последние в сезоне. Одну тебе, другую мне. Почему ты не сядишься?

Я отправил свою землянику в рот и спокойно сказал:

— Нам лучше уйти отсюда...

— Почему, — спросила она и, ухватив губами ягоду, оторвала стебелек, — разве что-нибудь случилось?

— Лучше уйти, — сказал я и подошел к кусту мимозы. Я наклонился и, чувствуя лицом ласково лижущуюся мокрую зелень, выломал достаточно крепкую ветку, стараясь при этом как можно громче хрустнуть ею.

— Зачем тебе это? — спросила она с некоторым беспокойством.

— Пригодится, — сказал я громко и стал очищать палку от мелких веточек.

Она покорно встала, я надел плащ, и мы пошли назад. Сейчас в ее покорности была и усталость, и я подумал, что замучил ее, бедную, за эту ночь. Все же я об этом подумал мимоходом, потому что мысленно готовился к отпору, если они все-таки подойдут и пристанут к нам.

Но к нам никто не пристал, и мы снова вошли в сосняк. В темноте спускаться было еще трудней, но палка мне пригодилась. Я опирался на нее и тем самым давал Зине опереться всей тяжестью на свое плечо, и мы боком спускались вниз, порой оскальзываясь и скатываясь, как на салазках, на пластах хвои. В конце концов мы вышли в парк, и я бросил палку.

Снова стал тихо накрапывать дождик. Мы уже перешли в детскую часть парка, чтобы выйти на улицу. Я взглянул на ее бледное, осунувшееся лицо, вспомнил весь наш поход,

и мне вдруг стало безумно ее жалко, и без всякого чувственного желания я обнял ее, и она бессильно склонила голову на мое плечо.

Целуя ее, я снова ощутил волнение и снова почувствовал оживающую встречную нежность, и волнение все нарастало, и дождик усиливался. Я быстро снял плащ и накинул на нее и снова обнял ее под плащом, а дождь не переставал идти, теплый, парной дождь, и волнение нарастало, и я целовал ее лицо и мокрую от дождя голову, пахучую, как букет, а дождь все не переставал идти, и я сквозь промокшую рубашку чувствовал очаровательное, уже торкающее прикосновение ее горячих рук, обнимавших меня, и вдруг я заметил в десяти шагах от нас домик, в котором днем играют дети.

Демоны иронии подсказали мне решение. Я схватил ее за руку, и мы побежали к домику, и когда я впустил ее вперед, и она, наклонившись, входила в узкий дверной проем, рассчитанный на детей, она — умница! — уловила юмор мгновения и успела обернуться ко мне смеющимся ртом.

В домике выпрямиться было невозможно, и мы сразу растелили плащ. Дождь близко, близко стучал о крышу, и был неповторимый уют домашнего очага, и в темноте ее пылающий шепот.

Мы очнулись от бодрого пения птиц, словно они, сговорившись, грянули разом. Мы выскочили из домика. Светало, и на небе не было ни единой тучки.

Во всем теле я ощущал незнакомую, пьянящую легкость. Мы молча и быстро шли к ее дому. Возле одного магазина

сторожиха, окинув нас сонным взглядом, проворчала, как старая нянька:

— Охолодил ее, окаянный...

Мы рассмеялись и пошли быстрее. Я проводил ее до дому и пересек город, еще спящий, еще свежий после ночного дождя. Мы условились встретиться в этот же день в шесть часов вечера.

Дома я так и не смог уснуть. Была странная, пьянящая легкость, звон в ушах, ощущение ускользающего из-под ног нахвоенного склона, запах ее мокрой головы и какая-то уже особенная, телесная, родственная, сиамская тоска по ней. Около шести часов я был у ее дома и прекрасно помню, что никакого предчувствия у меня не было.

Старик хозяин, которого я и раньше много раз видел, сейчас стоял возле дорожки к дому и, мерно взмахивая руками, косил траву.

— Мальчик, ты куда? — спросил он, останавливаясь и поворачиваясь ко мне. Из травы выблеснуло лезвие косы.

— К Зине, — сказал я, удивляясь его любопытству. Он видел меня много раз и знал, куда я иду.

— Их нет, — сказал он строго, — иди домой и больше сюда не приходи.

— Как нет? — спросил я, деревенея.

— Их взяли сегодня днем... Всех! Квартира опечатана... За домом, вероятно, следят... Ты у меня спросил, который час, — он посмотрел на часы (неприятное, сильное, костистое запястье), — я тебе ответил — шесть часов... Иди, и да хранит тебя Бог.



И я пошел. И снова услышал за спиной сочный звук срезаемой травы: чок, чок, чок! Я шел и все время слышал этот звук, странно удивляясь, что он от меня не отстает. Я очнулся в детском парке нашего ночного домика. Рядом с ним была скамейка. Я сел на нее и заплакал. Детей в парке уже не было, и никто не обратил на меня внимания. Кажется, тогда я выплакал все свои слезы.

Часа через три я пришел в дом под магнолией. Друзья сидели на веранде. Все были потрясены моими словами, и сначала никто ничего не мог сказать. Потом Коля заметался.

— Это она сказала, чтобы тебе угодить! — крикнул он, мечась по веранде.

— Ни малейшего сомнения, — безжалостно подтвердил Алексей, — но ты, конечно, не виноват.

— Нет, — возразил Женя, — она и раньше мне это говорила, когда вы еще ее не знали...

Коля стал лихорадочно вычислять, кто бы мог донести. Сначала все остановились на том мальчишке, про которого Алексей сказал, что у него нет лица. Потом вспомнили мальчишка, приглашавшего ее несколько раз танцевать. Потом других. Мы еще были так юны, что девушки оставались у нас вне подозрения. А позже в лагере я встречал столько людей, сидевших по доносам жен, любовниц, сослуживиц. Алексей предложил сейчас же всем вместе идти в НКВД и сказать...

— Что сказать? — набросился Коля.

— Ну, сказать, — краснея и уставившись в пол, начал Алексей, — что все так именно ее поняли, как ты сказал вчера... Она никого не хотела оскорбить...

— Глупо! Глупо! Глупо! — вскричал Коля. — Всех заметут, и на этом кончится все! Они и несказанным словам придают свое значение, а о значении сказанных слов они ни у кого не спросят.

— Трусость сгубила Россию, — сказал Алексей столь угрожающе, что Коля задержался.

— Ну, я пошел, — добавил Алексей через несколько минут. Коля в него вцепился. Алексей страшно сморщился, покраснел и презрительно процедил:

— Светлейший князь, я еще, кажется, не состою в вашей челяди. Никому не дано распоряжаться моей свободой. Я просто иду домой. Не могу же я каждый день приходиться в час ночи. Я все-таки из рабочей семьи, у нас рано ложатся и рано встают...

Он ушел. Коля заметался по веранде. Все это я видел сквозь какое-то сонное оцепенение. Прошло минут десять. Князь метался и что-то бормотал. И вдруг я очнулся, как от слепящей пощечины! Я сорвался и побежал.

Я догнал Алексея уже на улице Энгельса, за два квартала от здания НКВД. Я его остановил, и мы заспорили, кому из нас туда идти.

— Послушай, Витя, не будь кретином, — сказал он, уставившись в землю, — ты прекрасно понимаешь, что они заинтересуются происхождением защитника... Ты недобитый враг, а у меня три поколения рабочих позади.

Я не уступал, и тогда он, как это с ним бывало и раньше, вдруг перешел на самый высокий тон и сказал:

— Ну, ладно. Пойдем оба. Если надо — умрем за нее.

Было уже около одиннадцати часов ночи. В дверях стоял часовой. Мы были готовы ко всему. Только к одному мы не были готовы, что нас не пустят. Выслушав наш сбивчивый рассказ, он проговорил:

— Здесь разберутся... А вы даже не родственники... Идите домой и не шумите! Будете шуметь — милицию вызову!

Мы ушли. Утром я рассказал отцу о случившемся. Маму я не хотел беспокоить. Он молча стал ходить по комнате, потом остановился и посмотрел на меня.

— Витя, пойми, во мне говорит не отец, а здравый смысл. Я их знаю больше двадцати лет. За это время никогда ни одна попытка защитить людей не увенчалась успехом. Она только подхватывает новых людей. Если ты пойдешь туда, ты там останешься и убьешь свою мать... Может быть, они сами их отпустят... Такое бывало... Не исключено, что вас вызовут... Вот тогда твердо держитесь версии князя... Другого выхода нет...

С неделю мы ждали, но нас никто не вызывал. За это время я трижды побывал в доме Зины, но квартира их была опечатана, а хозяин ничего о них не знал. В городе у них не было родственников. Я сходил к ее подруге, у которой мы были на дне рождения. Она была страшно перепугана. Она знала, что их взяли. То ли уже ходила какая-

то версия, характерная для тех времен, то ли она сама ее придумала, чтобы отвести беду от своего дома, — не знаю. Она сказала, что их арестовали, потому что ее отец, работая в банке, способствовал распространению фальшивых денег.

— Вспомни, Витя, — говорила она взволнованно, — как они широко принимали гостей! Я сама видела своими глазами, как Зинина мама выбрасывала пирожные в помойное ведро под видом протухших... Бедная Зина не виновата, но ее отец...

Через несколько дней мы решили попросить в фотоателье переснять ее снимок, выставленный в витрине. Мы подошли к витрине и застыли в ужасе — на месте фотографии Зины висел снимок какой-то парочки.

Мы поняли, что это не случайно, и вошли в ателье. Там работал маленький фотограф по имени Хачик. Когда мы спросили у него, почему с витрины снята фотография девушки, он напустил на себя необыкновенную важность и сказал, что меняет снимки по собственному усмотрению и ни перед кем за это не отчитывается. Тогда мы попросили сделать нам копии с той фотографии. Видно, что-то в нашем облике его тронуло.

— Кто она вам, родственница? — спросил он, потеплев.

— Нет, — сказали мы, — она наша подруга.

— Идите, идите, ребята, — сказал он и болезненно развел руками, — эту фотографию я сам порвал... Политика! Политика! Хачик — маленький человек...

Мы вышли. Нам было ясно, что оттуда кто-то приходил и приказал уничтожить фотографию. Нас потрясло не только их всеведение, город у нас маленький, но и само безжалостное желание вырвать последнее, что от нее оставалось по эту сторону жизни.

Раздавленные этой избыточной энергией уничтожения, мы вернулись на веранду. В то лето мы разъехались навсегда. Коля уехал первым. Он и так собирался уезжать в Сибирь к бабушке и бабушке. При помощи старушки-кибениматограф он купил себе аттестат об окончании средней школы. До этого он говорил, что, уезжая, обязательно высылит Александра Аристарховича и продаст квартиру другому человеку. Но тут он лихорадочно заторопился, спустил всю свою огромную библиотеку пирату-букинисту, а квартиру, поленившись искать другого покупателя, продал своему старому жильцу, еще больше его за это возненавидев.

— Этот город исчерпал себя, — говорил он, — надо начинать новую жизнь.

Алексей уехал в Харьков и поступил там в университет на факультет иностранных языков. Женя — к родственникам в Краснодар и, видимо, за неимением под рукой другого вуза поступил в пединститут. Я — в Одессу в летное училище.

До самой войны мы с Алексеем переписывались. А он еще переписывался с Колей и Женей. Женя по-прежнему влюблялся, рисовал и писал стихи, а с Колей приключилась мета-

морфоза. Он поступил в университет, он член комитета комсомола, отличник. В научном кружке на его доклады по истории приходят профессора. В своих длинных письмах Алексею он иносказательно объяснял необходимость буддизировать действительность изнутри и, нежно заботясь о друге, настойчиво предлагал идти его путем.

Отец несколько раз заходил в дом Зины. Их квартиру теперь занимали другие люди, и хозяин ничего не знал о судьбе своих прежних жильцов. А я до самой войны все видел ее во сне. И ничего мучительней этих снов не было в моей жизни.

В каждом сне я ее искал и уже заранее с тупой болью предчувствовал, что не найду. Во сне я или сразу ее искал, или было мгновение счастья — и мы на веранде у Коли пьем кофе, шутим или дурачимся на вечеринке у нее в комнате, и вдруг она на минуту куда-то выходит и не возвращается. И я ее начинаю искать. Ищу у моря, в горах, в каких-то незнакомых городах, многолюдных вокзалах, на каких-то фантастических пустырях и нигде не могу найти.

И во сне терзает одна и та же мысль: как это я не догадался спросить, куда она идет, или почему я не вышел вместе с ней?! Ведь это так ясно было, что она сама дорогу назад никогда не найдет! Ведь это так ясно было!

И среди этих снов был один, не повторившийся ни разу. Миг счастливого дружества, мы всей гурьбой на веранде у Коли, но она же, эта веранда, почему-то наш с ней дом. И вдруг она с привычной легкостью вскакивает в своем лет-

нем сарафане и входит в комнату Коли, которая одновременно и наша с ней комната. По той легкости, с которой она привычно вскочила и вошла в комнату, я понимаю, что она подошла к нашему ребенку, спящему в кровати. Но вот она возвращается, и я во сне уже испытываю знакомую тяжесть и начинаю понимать, что это сон, который я и раньше много раз видел, что она исчезла навсегда. И тут вдруг я соображаю во сне, что на этот раз это не сон, а явь, потому что раньше, во сне, она никогда не выходила к ребенку. Радуюсь своей сообразительности, я вхожу в комнату в полной уверенности, что теперь это не сон и потому я ее сейчас там найду. Я вхожу в комнату и вижу, что кровать пустая и никого в комнате нет. И тогда я запоздало начинаю понимать, что те тягостные сны мне потому и снились, что они были предупреждением: береги ее, не отпускаяй от себя! И я в удручающей тоске теперь думаю во сне: как же я не догадывался о смысле тех снов, ведь это же ясно, что сны меня предупреждали! Как же я не догадывался! Нельзя же и во сне и наяву вечно повторять одну и ту же ошибку! И вот они ее взяли вместе с ребенком! И дополнительное стыдное чувство, что я почему-то забыл облик своего ребенка и никак не могу представить его себе. И вот они ее взяли вместе с ребенком.

Но как же, думаю я, они могли ее взять, когда другой двери нет, а мимо нас они не проходили? И тогда я вдруг вижу окно и не удивляюсь ему, хотя знаю, что в Колиной комнате нет окна, не выходящего на веранду. Взять ее могли только через окно. Но оно закрыто, и шпингалет изнутри задвинут.

Вдруг молнией догадка: один из них остался, он и задвинул шпингалет окна изнутри!

Я мгновенно оборачиваюсь и вижу в углу комнаты того хама, который смотрел на меня из-за кустов мимозы. Он стоит точно в такой же позе, как и тогда в кустах, но я почему-то понимаю, что он принял эту позу с той же быстротой, с какой я на него обернулся. Большой, чуть наклоненный вперед, с широким лицом и мокрыми волосами, налипшими на лоб, и с выражением подлого, пещерного любопытства в глазах, но теперь уже только ко мне, к постыдной тайне моей личности.

Мы опять смотрим друг другу в глаза, плотоядные губы его не шевелятся, но я как будто бы слышу его слова:

— Ты меня испугался...

— Нет, — кричу я ему, — это ты, скотина, тогда повернул и молча скрылся в кустах! Больше мы с тобой нигде не встречались!

А он, продолжая неподвижно смотреть на меня с выражением подлого любопытства к постыдной тайне моей личности опять, не шевеля своими плотоядными губами, уверенно повторяет:

— Ты меня испугался!

Я кричу, я пытаюсь ему напомнить, где и как мы встретились и кто повернул и бесшумно скрылся в кустах, а он с выражением все того же подлого любопытства смотрит на меня. И вдруг его толстые губы раздвигаются в неостановимой, торжествующей, почти добродушной и именно поэтому ги-



бельной для меня улыбке. И я слышу его голос, хотя он только улыбается:

— Не все ли равно, где ты меня испугался... В кустах мимозы или где-нибудь в другом месте... Главное, что испугался...

И меня пронзает невыносимая догадка: он прав!!!

— Каргашов! Проснись! Проснись! — услышал я над собой голос товарища по общежитию училища. Он тряс меня, приговаривая:

— Ну что я за невезучий человек! В той комнате храпели, как свиньи! Перешел сюда! Здесь кричит как зарезанный! Что за народ!

А я слушал его, и струя нежной благодарности разливалась по телу, и хотелось слышать и слышать голос, возвративший меня из этой жути в наше такое милое в своей грубой мужской простоте общежитие!

Этот сон больше не повторялся, но я на всю жизнь запомнил его смысл. Видит Бог, я их с тех пор не боялся! Но ее я продолжал видеть во сне и иногда, по рассказам товарищей, во сне кричал. Потом война, и она мне перестала сниться, словно, легкая, улетучилась, чтобы не мешать мне защищать нашу безумную несчастную родину.

Из нашей компании все, кроме Коли, у него в самом деле было очень слабое здоровье, попали на войну. Мы с Алексеем вернулись, а милый Женя, так и не доносив свои редкие кудри, погиб: о, менш, воцу дер лерм!

А потом арест, смерть Сталина, Двадцатый съезд, реабилитация. Вечером шестого марта 1956 года я гулял по Му-

хусу. Поклонники кумира, взбешенные критикой Сталина, в годовщину его смерти вышли на улицы. Город два дня, в сущности, был в их руках. Милиция боялась нос высунуть. Шествия, бесконечные гудки насильственно остановленных машин, митинги у памятников Сталину.

Вот в такой вечер я встретил на улице Александра Аристарховича. Несмотря на годы, он почти не изменился. Даже стал глаже. Узнав, кто я, искренне обрадовался. Оказывается, он уже на пенсии, но подрабатывает в городском методическом кабинете. Его консультации ценят. У него два внука, а сам он женат второй раз, потому что жена умерла. Это случилось много лет назад.

— Ваша жена не из деревни, где вы преподавали? — дернул меня черт спросить, вспомнив Колины намеки.

— Да, — сказал он, с некоторым удивлением взглянув на меня, — так получилось.

Оказывается, он Колю видел лет пять тому назад. Коля приезжал к нам в город с молодой, симпатичной, по словам Александра Аристарховича, женой. Заходил с нею во двор и, стоя под магнолией, рассказывал ей что-то о своей прошлой жизни. Несмотря на уговоры Александра Аристарховича, в свой бывший дом он так и не заглянул.

— Может, я ошибаюсь, — сказал Александр Аристархович, — но мне кажется — он меня почему-то недолюбливал. Нет, нет, он никогда не грубил! К нам несколько раз в свое время заходила та аристократическая старушка, что помогала ему, когда он здесь жил. Она мне говорила о его научных ус-

пехах. Я никогда не сомневался, что он необычайно способный мальчик. Но в нем всегда была какая-то чрезмерность. Этот кофе и все остальное. И эта чрезмерность осталась. Я это заметил. Попомните мое слово, такая чрезмерность не может окончиться добром.

Я сказал ему, что мы в мальчишестве считали его скрытым меньшевиком.

— Нет, — засмеялся он, — я никогда ни в какой партии не состоял. В тридцать четвертом году я бежал от ужасающих чисток в Ленинграде после убийства Кирова. Мы с вами люди культурные, и я буду с вами откровенен. Поверьте моему опыту. Критика Сталина — это новый дьявольский маневр. Предстоят чистки. Они высматривают, кто высунется с критикой Сталина...

Я уже его почти не слушал. Мы проходили мимо центрального городского парка. Огромная толпа окружала памятник Сталину. Ораторы с постамента что-то говорили. Я предложил моему спутнику войти в толпу и послушать их.

— Нет, — сказал он, — и вам не советую. Возможны эксцессы, да и чекисты, безусловно, все это снимают на пленку.

Он остался у входа в парк, а я вошел в толпу. Ораторы говорили ту же пошлость, что и при жизни Сталина. Выкопали откуда-то пьяного отставника. Он явно был под газом, и сзади его слегка придерживали. Он кричал о полководческом гении генералиссимуса.

Потом какие-то доморощенные поэты читали стихи о Сталине. А люди, стоявшие вокруг меня, сентиментально

посматривали в мою сторону и бросали дружественные реплики. Я уже хотел уходить, как вдруг раздался какой-то приказ и вся толпа мгновенно повалилась на колени.

И разом оголили мою душу! Те, кто сентиментально посматривал на меня, знаками и словами стали показывать, чтобы я последовал их примеру. Их взгляды как бы уверяли: это просто, это даже уютно. Я не последовал их примеру. По толпе калек прошел злобный, фанатический ропот. Я почувствовал, что ноги у меня чугунеют. Человек, стоявший на постаменте, явно тот, что дал приказ рухнуть, несколько раз махнул мне рукой. Видя, что я не следую его призыву, он решительно обогнул постамент и зашел за него. Вероятно, там у них был какой-то штаб, и он хотел спросить, как быть со мной. Я решил больше не испытывать судьбу. Огибая коленопреклоненных, я вышел из толпы. За мной никто не погнался.

Александр Аристархович ничего не заметил. Мы пошли дальше. Какая-то женщина, спешившая на этот митинг, как спешат женщины занять очередь за дефицитным товаром, с победной злорадностью крикнула:

— Вот такая демократия!

Сарказм ее означал: вы критиковали Сталина за нарушение партийной демократии, так вот она, демократия, и мы демократическим путем митингуем за Сталина.

— Все-таки вы напрасно вошли в толпу, — сказал мне на прощание Александр Аристархович, — чекисты все снимают на пленку.

На этой любимой советской ноте, которую ни смерть Сталина ни его критика не смогли перебороть, мы с ним и расстались.

Прошло лет десять. И вдруг ко мне пришел Алексей. Я после тюрьмы, приехав домой, заходил на квартиру его родителей, но они уже там не жили, и я не знал, куда они делись. Он приехал в отпуск к родителям и решил узнать: жив ли я, дома ли? Мы братски обнялись, я собрал на стол закуску и выпивку, но, увы, оказалось, что он в большой завязке.

Вот его судьба. После войны он окончил университет и многие годы работал в иностранном отделе какой-то харьковской библиотеки. Женился, имеет взрослого сына. Еще до «оттепели» у него начались нелады с начальством. После «оттепели» усилились. Он много раз свирепо запивал. Бросал. Снова запивал. И наконец бросил пить, бросил библиотеку и пошел на завод, где до сих пор работает токарем. Как у многих, сильно пивших, а потом совсем бросивших пить, в нем есть что-то ушибленное.

Но походка та же, даже усугубилась. Еще круче, еще непреклоннее, преодолевая некую зависимость, она провозглашает независимость. И от этого еще отчетливее чувствуется в воздухе то, от чего он зависит.

О судьбе Коли я узнал от него. Он долгое время переписывался с ним, а потом с его сестрой. Еще аспирантом Коля вступил в партию, но женился на любимой студентке. Она ему родила двух детей. После аспирантуры одним прыжком

он стал профессором истории, на лекциях которого яблоку негде было упасть.

Но после Двадцатого съезда у него начались серьезные неприятности с начальством. Он так ненавидел Сталина, что, видимо, решил: настал его час! Вероятно, он стал пытаться буддизировать историческую науку. Когда рухнула главная стена — Джугашвили, — либеральная пыль, поднятая этим падением, некоторое время прикрывала наличие многих малых, но зато уходящих в бесконечность стен. Пыль осела, и он стал задыхаться, нервничать, делать неточные ходы. Авторитет у него все еще был большой, и его кое-как с выговорами терпели.

И вдруг у него от родов умерла жена, и все покатилося. Он стал пить, потом колотья. Его отовсюду прогнали. Но ему еще для куска хлеба давали читать лекции — о чем? — о международном положении!

Родственники жены забрали детей, и он в это время связался с дочкой одного высокопоставленного человека. Женщина эта, еще будучи студенткой, была влюблена в молодого профессора. Теперь она кололась, и на этом они сошлись. Она не удержалась в своей среде и попала в люмпены. А он не удержался в своей, выпал в ее среду, но и там не удержался, и они встретились на дне.

Дальше случилось вот что. Об этом друг Коли писал Алексею. Оказывается, Коля женился на этой женщине, и они, обменяв свои квартиры, съехались. Колин друг был против этой женитьбы и особенно против обмена. По его словам, о семье этой женщины ходили всякие темные слухи.

Через какое-то время друг по какому-то тревожному предчувствию позвонил Коле. Но никто не ответил и весь день не отвечал.

Тогда он решил пойти к нему домой. Дверь была заперта, и на его звонок страшным воем ответила Колина собака. Друг вызвал милицию. Взломали дверь. С воем выскочила посевшая собака Коли и куда-то сгнула навсегда. Мертвый Коля лежал на полу, судя по всему, уже несколько дней. Вены на обеих руках были взрезаны. Телефонный шнур был тоже перерезан.

Жена и бабушка жены, которая уже много лет не выходила из дому, оказались в отъезде. Друг подозревал, что это — убийство, тщательно замаскированное под самоубийство. По его словам, так перерезать вены на одной руке, с уже перерезанными венами на другой, невозможно. Но таинственное, могучее давление каких-то сил заставило всех остановиться на версии самоубийства. Что там было, теперь никто не узнает.

Коля, последний всплеск нашей крови, зачем ты пошел к ним?! Господи, как он был талантлив и слаб!

### Беседы с Виктором Максимовичем

Сейчас я хочу привести здесь некоторые мысли и выражения Виктора Максимовича. Хотелось бы, чтобы люди почувствовали его юмор, по-русски меткий, а по-испански едкий.

Впрочем, не будем ставить народам отметки. Привожу его мысли и замечания вразброс, так, как они сейчас вспоминаются.

Не из раздумья рождается мысль, но мы погружаемся в раздумья, потому что мысль в нас уже зародилась...

Люди часто путают взволнованную глупость с бурлящим умом.

...Шаловливый палач...

Хам на цыпочках...

Человек устает бороться и делает вид, что он помудрел.

Зависть — религия калек.

Люди разделяются на две категории.

Выслушав тот или иной жизненный рассказ, один подсознательно взвешивает: справедливо ли, благородно ли то, что я узнал? Другой подсознательно: выгодно ли мне то, что я узнал?

При равенстве прочих условий и собственном равнодушии женщина из двух поклонников, влюбленного и невлюбленного, выбирает всегда невлюбленного. Почему? Влюбленный вызывает стыд, страх, беспокойство. Она знает, что



в ней нет того храма, который в ней видит влюбленный, и ритуал поклонения ее корбит и раздражает. Почему раздражает? Потому что влюбленный ей напоминает, что в ней мог быть храм, но то ли она его сама разрушила, то ли по бездарности вовремя не заметила, а теперь он загажен...

Телефон в наших условиях — это государство внутри твоего дома.

Скупой человек может быть умным, может быть талантливым, но он не может быть обаятельным. Обаяние есть форма выражения щедрости. Щедрость есть наиболее полное выражение свободы. Обаятельный ум — это ум, в котором особенно ярко чувствуется свобода от глупости.

Я хотел бы знать, где кончается артистизм и начинается шарлатанство.

Сейчас мода на религию. Многие люди, совершенно нерелигиозные, примазываются к религии. Интересно, почему никогда не бывает наоборот, почему религиозные люди не примазываются к атеизму? Примазываются к чему-то высшему.

Все считают, что в мире происходит непрерывная борьба добра со злом. Пора бы попытаться определить процентное соотношение силы зла с силой добра.

Однажды я прочел Виктору Максимовичу новое стихотворение. Выслушав меня, Виктор Максимович простодушно сказал: «Истина не может быть столь длинной...»

Новая истина, новая ясность.

Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются воспитанию как раз те, кто не нуждается в воспитании.

Счастье — плохой наблюдательный пункт.

Я часто замечал, что люди глупые и одновременно лживые нередко проявляют умную находчивость. В чем секрет? Я думаю так. Привычка ко лжи и необходимость постоянно выворачиваться из лживой ситуации натренировали их мозг в сторону необыкновенной подвижности умственных сил. Хотя у глупого человека сил этих мало, но, умея мгновенно собрать их в единую точку, он добивается на этой точке преимущества. Пока его умный оппонент соображает что к чему, лжец вывернулся и ушел. Он хороший полководец своих малых умственных сил.

Ум и мудрость. Ум — это когда мы самым лучшим образом разрешаем ту или иную жизненную задачу. Мудрость обязательно сопрягает разрешение данной жизненной задачи с другими жизненными задачами, находящимися с этой задачей в обозримой связи. Поэтому мудрость ча-

сто пренебрегает самым лучшим решением данной задачи ради чувства справедливости по отношению к другим задачам. Умное решение может быть и безнравственным. Мудрое — не может быть безнравственным. Ум — разит. Мудрость — утоляет. Мудрость — это ум, настоящий на совести. Такой коктейль многим не только не по плечу, но и не по нутру.

Мошенник часто вызывает сочувствие, если его мошенничество не связано с ограблением слабых или тем более с кровью. Но почему, если мы сами не способны на мошенничество, мы все-таки испытываем к некоторым мошенникам симпатию? В их мошенничестве мы видим возмездие за мошенничество самой жизни, которой мы не смогли отомстить.

В этой связи я вспоминаю одного забавного старого человека, который сидел со мной в Москве, в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Он был бездипломный адвокат и сидел за подпольную адвокатскую деятельность. У него была поговорка:

— Лучше сидеть на двух стульях, чем на одной скамье подсудимых.

Однако же сел, но не унывал. К нам в камеру попал один парень, которому грозил год тюрьмы за хулиганство. Тогда был такой указ. Он на базаре повздорил с какой-то торговкой и назвал ее проституткой. Подвернулась милиция, и его забрали.

Парень был без ума от горя, потому что вот-вот собирался жениться. Подпольный адвокат взялся ему помочь, попросив вместо гонорара прислать ему с воли посылку с салом. Он дал ему один из своих хитроумных советов, которыми промышлял всю жизнь. Он посоветовал ему на суде держаться одной и той же версии:

— Я ей сказал — прости, тетка, а ей послышалось — проститутка.

Вскоре его увели на суд, и больше мы его не видели. Но через некоторое время подпольный адвокат получил шматок сала. Парня явно отпустили.

Удаль. В этом слове ясно слышится — даль, хотя формально у него другое происхождение. Удаль — это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства, дали. В слове «мужество» — суровая необходимость, взвешенность наших действий. Мужество — от ума, от мужчинства. Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость, мужество. Мужество ограничено целью, цель продиктована совестью.

Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизнью, храбрость. Но, взглядевшись в понятие «удаль», мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В ней есть самонакачка, опьянение. Если бы устраивались соревнования по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла на соревнование, хватив допинга.

Русское государство расширялось за счет удали. Защищалось за счет мужества. Бородино — это мужество. Завоевание Сибири — удаль.

Удаль — отвага, требующая пространства. Воздух пространства накачивает искусственной смелостью, пьянит. Опыленному — жизнь копейка. Удаль — это паника, бегущая вперед. Удаль рубит налево и направо. Удаль — это ситуация, когда можно рубить, не задумываясь. Удаль — возможность рубить, все время удаляясь от места, где уже лежат порубленные тобой, чтобы не задумываться: «А правильно ли я рубил?»

Когда русского мужика пороли, он подсознательно накапливал в себе ярость удали: «Вот удалюсь куда-нибудь подальше и там такую удаль покажу!» Но иногда удалиться не успевал и тогда — русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Тоже удаль.

Что такое уважение к человеку? Уважение есть признание субъективных усилий человека. Усилий умственных, нравственных, физических. Чем больше уважают человека, тем больше предполагают наличие его субъективных усилий. Уважение бывает ложным, но и тогда оно — следствие наших иллюзорных представлений о субъективных усилиях человека.

А вот отзыв Виктора Максимовича об одном нашем знакомом, не слишком чистоплотном в выборе друзей.

— В его доме, как на том свете, можно сразу встретить и убийцу и убиенного.

Человек неверующий, но с чистой совестью гораздо угодней Богу, чем верующий, но с нечистой совестью. Такой и верит, но и, сподличав, надеется: «Бог милостив, отмолю грех».

Конечно, можно сказать, что неверующий, но совестливый человек носит в себе неосознанную религиозность. Но никак нельзя пренебрегать и тем, что такой человек, будучи взрослым и разумным, нам говорит: «Я не верю». Правильней всего предположить, что и такие люди входят в бесконечную сложность Божьего замысла. Они ему нужны.

— Подлые костры инквизиции... Не отсюда ли генетическая трагедия дурной левизны интеллигенции? Пятая от этих костров, в какие только пожары она не рушилась...

Шутка по поводу одного нашего знакомого, не в меру осторожного человека:

— Того, кто всего боится, ничем не испугаешь.

— Высокую репутацию честности поддерживает ее прочная невыгода. Если бы честность была выгодна, сколько бы мошенников ходило в честных людях.

— К пятидесяти годам некоторые честные люди начинают нервничать: «А стоило ли?!» Хочется взбодрить их криком: «Держитесь, братцы, уже не так много осталось!»

По поводу книги одного историка, переполненной цитатами из книг других историков:

— Я прочитал его книгу, перепрыгивая с цитаты на цитату, как с камня на камень, и не замочив ног о его собственные мысли. Войны Наполеона он объясняет исключительно социальными и политическими причинами. Невероятная глупость! Причины эти Наполеон придумывал для дураков. Он воевал, потому что для него это было единственным интересным занятием в жизни.

Россия, победив Наполеона, объективно спасла Францию. По свидетельству современников, к концу наполеоновских войн во Франции почти не оставалось мужчин в возрасте от двадцати до сорока лет. Что ждало Францию, если бы она провоевала еще пять лет? Но полководец он был гениальный, никакими случайностями нельзя объяснить такое количество побед. В молодости пытался читать его сочинения. Серо. Как глупо выглядит человек, когда занимается не своим делом.

Об ответственности:

— Духовно развитая личность наибольшую требовательность всегда предъявляет к самой себе. Чем дальше от нее человек, тем снисходительней она к его недостаткам. Отсюда и вечная драма духовно развитой личности с близкими людьми. Ведь к ним она относится, как к себе или почти как к себе. А они этого не выдерживают. Они этого тем более не выдерживают, видя, как она снисходительна к далеким.

— Быть свободным среди несвободных не только бес­тактно, но и невозможно. Только стараясь освободить дру­гих от несвободы, человек самоосуществляется как свобод­ная личность.

— Мера наказания в каждой государственной системе опре­деляется степенью разницы между жизнью на воле и в нево­ле. В странах, где эта разница невелика, провинившемуся да­ют почувствовать наказание за счет более длительного срока заключения в неволе.

— Что можно сделать для родины, когда ничего нельзя сделать? Делай самого себя! Если альпинисту погодные усло­вия не позволяют штурмовать вершину, он должен упорной тренировкой готовить себя к тому времени, когда восхожде­ние на вершину будет возможным.

И вдруг жизнь встает в таком разрезе, что все твои ошиб­ки, неудачи, страдания — это абсолютно необходимая цепь к той мысли, к тому пониманию времени, которое ты, ока­зывается, обрел. И ты с ужасом осознаешь, что ничего не понял бы, если б не эти страдания, если б не эти неудачи, не эта боль. Господи, как точно все сложилось! Два-три везе­ния там, где не повезло, и я бы ничего не понял!

Если расщепленный волос не имеет практического значе­ния, он не должен претендовать и на теоретическое значение.



Безнравственный поступок образованного человека мы склонны осуждать резче, чем тот же поступок необразованного человека. И это хорошо. Здесь сказывается инстинкт самосохранения рода человеческого: знания должны увеличиваться вместе с нравственностью.

Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа.

Готовность умереть за любимую идею — признак здорового психического состояния человека. И наоборот, неготовность — признак психической ущербности, болезненности духа.

Тот, кто день и ночь мечтает о сказочной красавице, в конце концов изнасилует собственную молочницу... Так и получилось.

Смеясь над глупцом, никогда не забывай, что в шашки он играет лучше тебя.

Обесчещенные ненавидят друг друга. Каждый — зеркало для другого. Отсюда грубость нравов.

...Кто видит в небе ангелов, не видит в небе птиц...

Бывает рассеянность от сосредоточенности ума, но бывает рассеянность и от слабости ума: нечего сосредоточивать. Мы склонны путать эти две рассеянности.

Неспособные любить склонны к сентиментальности точно так же, как неспособные к братству склонны к панибратству.

Эстет — грязь в чистом виде.

Идеология держится на дефиците, а дефицит держится на идеологии.

Когда общество отнимает у человека его социальное достоинство, национальное достоинство неожиданно начинает раздуваться, как раковая опухоль. Общество должно вернуть человеку его социальное достоинство, и тогда националистическая опухоль сама рассосется.

Мы часто укоряем бюрократа в том, что он свою работу делает бессмысленной. Но и бессмысленная работа превращает человека в бюрократа. Сизиф был первым бюрократам в мире. Кто виноват? Боги.

Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один.

Дурной консерватизм и дурная революционность в конечном итоге сливаются в самом главном. Дурной консерватизм — спячка. Дурная революционность — опьянение действием. В обоих случаях — отсутствие работы мысли.

Мы склонны удивляться и даже как бы восхищаться отрицательной силой ума знаменитых политических деятелей, так сказать, макиавеллизмом, даже если одновременно осуждаем их аморальность. А между тем любой истинный ученый, изобретатель, художник в своей работе пользуется в тысячу раз более остроумными комбинациями, чтобы создать машину, картину или открыть новую закономерность в явлениях природы.

Вся суть вопроса состоит в том, что нравственно здоровый человек сам никогда мысленно не вторгается в область аморальных комбинаций. Поэтому он крайне наивен в этой области. Такой человек, узнав, что некий политический деятель при помощи такой-то сложной манипуляции человеческими страстями добился власти, хотя и осуждает аморальность этих манипуляций, одновременно может испытывать и некоторое уважительное восхищение:

— Мне бы такое никогда в голову не пришло!

Тем самым как бы частично признавая недоразвитость своей головы. Так, физически здоровый и сильный человек может испытывать восхищение человеком, который так поднял ногу, что обнял ею собственную шею и поцеловал собственную пятку. Сам он никогда не развивал в себе этих способностей, они ему были не нужны. Ему и в голову не приходит, что двигателем этого человека была и есть хроническая влюбленность в собственную пятку. И в момент восхищения человеком, целующим собственную пятку, он сам, здоровый

и сильный человек, склонен забывать, что целующий собственную пятку во всем остальном хилый, невзрачный и даже просто слабый человек.

У Виктора Максимовича было вообще повышенное чувство русского языка. Он страдал, если русский человек говорил по-русски стертым или вычурным языком.

Однажды, потягивая кофе, он задумчиво пробормотал:

— Странная связь существует между словами. Пламя — это не то ли, чем владело племя? Тоска — это не то ли, что стескивает грудь?

— Верите ли вы в Бога? — спросил я его тогда.

— По натуре, — сказал он мне, и в его глазах появилось то отрешенное выражение, которое я так любил, попытка понять истину совершенно независимо от того, каким он сам покажется в свете этой истины, — я человек нерелигиозный. У меня никогда не возникает ни желания молиться Богу, ни просить у него помощи. Но я верю в Бога, и это — простое следствие научной и человеческой корректности.

Когда ко мне приходит то, что называют вдохновением, и я с необыкновенной ясностью вижу конструкцию нового аппарата, с необыкновенной быстротой делаю необходимые вычисления и даже чертеж у меня получается стройней и красивей, чем обычно, разве я не понимаю, что в меня влилась некая сила, не принадлежащая мне? Было бы научной некорректностью и даже отчасти плагиатом приписывать эту силу самому себе.

— А человеческая корректность в чем заключается? — спросил я.

— Сам посуди, — сказал он, — я был на фронте трижды ранен и остался жив. Мой самолет горел, но я его успел посадить и остался жив. Разве чувство благодарности не подсказывает, что существует объект благодарности?

## девушка лора и лошажник чагу

Гете сказал: коллекционеры — счастливые люди. Внесем небольшую поправку — пока их коллекцию не ограбили.

У меня есть родственник. Зовут его Расим. Он работает в институте усовершенствования учителей и в свободное от усовершенствования учителей время коллекционирует своих родственников и однофамильцев. Он их фотографирует и вклеивает их снимки в альбомы. Оригиналы же фотографий он раз в году собирает в селе Кутол, где они за выпивкой и свежим мясом с мамалыгой обсуждают свои фамильные успехи и провалы. В маленькой Абхазии это вполне возможно.

Я несколько раз просил его взять меня с собой на эти торжества. Но ко дню праздничного сборища он, бедняга, так изматывается от организационной суеты, что забывает мне позвонить. Так, во всяком случае, он мне объяснял свою забывчивость, а заподозрить его в некоем фамильном масонстве у меня нет никаких оснований.

Высокий, горбоносый, Расим всегда находится в бодром, деятельном состоянии духа. Ясно, что таким он и будет всегда — его коллекции не грозит ограбление.

Мы с ним родственники через бабушку по отцовской линии. Он мне открыл, что еще задолго до революции, когда моя бабушка вышла замуж за перса, родственники не признали этот брак, и она с мужем лет десять скиталась по странам Ближнего Востока. И только позже, когда они вернулись в Абхазию с детьми, мой персидский дед был признан строгим кланом. А я-то думал, что моя бедная бабушка, в детстве так сладостно искавшая у меня в голове (разумеется, чисто символически), дальше Гудауты никуда не ездила. Решительно не зная, как применить эти столь запоздалые сведения, я их на всякий случай вписываю сюда.

Кстати, насчет браков. Расим коллекционирует и семейные свадьбы. Он мне жаловался, что наши абхазцы стали подвергаться всеобщей порче. Как-то он заснял свадьбу одного юного сородича. Через полтора месяца, когда часть фотографий готовилась к отправке новобрачным, его настигла весть, что они разошлись. Нельзя сказать, что он слишком торопился со своим подарком, как нельзя сказать, что новобрачные слишком долго раздумывали.

— Бесстыжие, — сказал Расим, — хоть бы моих фотографий дождались.

С этими словами, горестно вздохнув, если вздох коллекционера можно назвать горестным, он завел семейный альбом скоропостижных разводов.

Кстати, фотографии арестованных однофамильцев он перечеркивает карандашом, что означает возможность стереть резинкой следы карандаша, если провинившийся исправится. Если же данный однофамилец снова попадал в тюрьму, его фотография перечеркивалась красными чернилами, и он уже больше никогда не приглашался на фамильные торжества. Расим несколько раз лично выезжал в близлежащие тюрьмы, чтобы на месте провести с однофамильцем или родственником культурно-просветительную беседу.

Опытом его работы заинтересовались на каком-то совещании учителей в Ленинграде. По-видимому, кому-то пришло в голову таким образом попытаться укрепить трудовую дисциплину русской нации. Расим им все рассказал, продемонстрировал альбомы, не скрывая фотографии, не только перечеркнутые карандашом, но и красными чернилами. Честность прежде всего! Судя по всему, в условиях раскидистой России, где не только однофамильцы, но и родственники иногда всю жизнь не встречаются, использовать его опыт трудновато.

Я как-то спросил у Расима, нет ли в его клане хорошего лошаdnика, который на моих глазах мог бы объездить лошадь. Мне это надо было для моей работы.

— Как же, — сказал он, — есть такой. Зовут его Чагу. Бывая в городе, он всегда заходит ко мне.

Расим рассказал забавный случай с этим Чагу, когда тот однажды, отбазарив, пришел к нему домой. В это время Ра-

сим спешил на работу. Жены дома не было, и он решил на скорую руку накормить гостя. Он вынул из холодильника закуски, бутылку отличного вина и посадил Чагу за стол. Расим успел налить ему пару стаканов вина, и Чагу их выпил.

— Как тебе вино, Чагу? — спросил у него Расим.

— Хорошее вино, — сказал Чагу, — хотя чуть-чуть кислит.

— Как так кислит? — удивился Расим и, налив себе немного в стакан, отпил. Господи! Оказывается, второпях он из холодильника достал бутылку с уксусом вместо бутылки с вином. Чагу, подчиняясь абхазскому обычаю принимать как должное любое хозяйское угощение, выпил, не дрогнув ни одним мускулом, два чайных стакана уксуса, винного, конечно.

Расим знает этого Чагу с давних времен, сам он выходец из того села, где и сейчас живет Чагу. Однажды в юности он верхом отправился на альпийские луга, куда днем раньше выехал Чагу с другими пастухами. Километров за десять от пастушеской стоянки лошадь Расима споткнулась и не то сломала ногу, не то растянула. Дальше она не могла идти. Расим снял с нее поклажу и один к вечеру пришел в пастушеский лагерь.

Чагу, узнав о случившемся, страшно рассердился на него: как можно хромую лошадь одну оставлять в лесу?! Ведь она не сможет бежать ни от волка, ни от медведя! А что ты можешь сделать?! Ждать нас возле нее! Мы же знали, что ты должен прийти, и раз ты вовремя не пришел, мы бы вышли тебе навстречу!



Он ушел за лошадью, каким-то образом стянул и перевязал ей больную ногу, и она поздно ночью приковыляла вместе с ним к пастушеской стоянке.

По словам Расима, хотя с тех прошло около тридцати лет, Чагу нет-нет да и вспомнит: как это ты мог хромую лошадь оставить одну в лесу?!

Кстати, сейчас я вспомнил, что когда-то читал о подвиге североамериканского индейца, который, вроде Чагу, тоже не дрогнув ни одним мускулом, выпил какую-то дрянь. Неудивительно. Люди патриархальной психологии ведут себя одинаково.

Однажды один бывший работник КГБ простодушно рассказал мне, что в послевоенные времена ему в недрах его учреждения попала некая статистическая диаграмма, что ли, где демонстрировались сравнительные данные вербовки населения по национальному признаку. Из его рассказа совершенно отчетливо прослеживалось угасание силы сопротивления по мере угасания патриархальности народа. Сам он даже отдаленно не подозревал такого признака, просто рассказал, что помнил. Признак патриархальности заметил я.

Я думаю, человечество, если оно вообще уцелеет, еще сильно поплатится за грязный релятивизм цивилизации.

Но я отвлекся. Расим связался с Чагу и узнал, что у него и в самом деле есть необъезженная лошадь. В один прекрасный день Расим мне позвонил и как всегда бодрым, радостным (коллекционер!) голосом сказал:

— Завтра Чагу нас ждет. Едем на моей машине.

Виктор Максимович еще раньше высказывал мне желание поехать со мной к этому лошадинику. Я прихватил его с собой, и мы выехали из города. Когда мы проезжали небольшой сельский поселок, Виктор Максимович показал рукой в окно:

— Видишь вон тот дом?

Мы оба сидели сзади. Я проследил за его рукой. Он показывал на довольно обычный в этих местах кирпичный дом на высоких бетонных сваях. Сразу за домом начиналась табачная плантация.

— В этом доме жил Уту Берулава, — сказал Виктор Максимович.

Так вот он, дом знаменитого бандита! Я его самого никогда не видел, а теперь уже и не увижу, потому что его расстреляли. Преступления его были всегда мерзки, а иногда мерзки и бессмысленны.

Так, в большой статье, появившейся в «Заре Востока» после его расстрела, говорилось, что однажды он выстрелил в мальчика за то, что тот попросил его не чистить туфли возле родника, где какие-то загородные люди набирали воду. Мальчик, конечно, не знал, кто он такой. В отличие от многих других мальчика он, к счастью, не убил, а ранил.

Это был человек-зверь, возможно, и не совсем нормальный. Трудно сказать. Одно время он работал на бензоколонке, тайно промышляя ворованными машинами. Чаще бывал в бегах. Он обладал неимоверной физической силой. Вот единственная его невинная забава, известная в городе. Поздно ночью, выпивший, в хорошем настроении возвращаясь

из какой-нибудь компании, он аккуратно переворачивал кверху колесами легковые машины, попадавшие на его пути.

Все остальные забавы были ужасны. Вот одна из них. О ней мне рассказал мой школьный товарищ, тогда работавший в прокуратуре. Уту кутил в каком-то доме с какими-то мерзавцами и шлюхами. Напившись, он стал выводить из помещения, где они кутили, представительниц прекрасного пола. Никто ему не смел возразить, пока очередь не дошла до женщины, принадлежащей достаточно храброму головорезу. Возникла дискуссия, в результате которой Уту предложил ему сесть в его машину и продолжить спор на одном из загородных кладбищ. Предложение было принято, и, как позже выяснилось, они вместе с несколькими свидетелями отправились туда.

Я уже не помню, убил ли он своего соперника еще в дороге или только оглушил его своей страшной рукой. На кладбище он выволок его тело из машины, разрядил в него свой пистолет, потом вылил на него канистру с бензином и поджег, чтобы труп не опознали. Мой школьный товарищ рассказывал, что в этот раз следствие по пулям определило его пистолет.

Хотя его много раз сажали, меня всегда удивляло, что он достаточно быстро выходил из тюрьмы. В тюрьме у него всегда был особый режим и особое питание. В том же номере «Зари Востока» говорилось, что, когда он сидел в тбилисской тюрьме, в новогоднюю ночь ему тюремщики принесли вино и жареного поросенка. Славные тюремщики!

В последний раз он бежал из потийской тюрьмы при довольно забавных обстоятельствах. Он попросился проведать больного родственника, лежавшего в больнице. Его отпустили с двумя офицерами. Проведав родственника, они втроем пошли в ресторан и выпили шампанского. Офицеры забыли, что шампанское располагает к свободе, и на обратном пути Уту отнял у одного из них пистолет, сел в такси, пригрозил таксисту оружием и заставил его привезти себя в Абхазию. Здесь он бросил такси и ушел в горы.

Несмотря на деньги и связи, он, будучи в бегах, словно зверь, могущий жить только в одной климатической зоне, далеко не уходил. Скрывался только в Абхазии и Мингрелии. В конце концов ему это, видимо, надоело, и он, пустив в ход свои связи, договорился с властями, что если ему не дадут нового срока, то он выйдет с повинной. Ему обещали и обманули. Сделали вид, что уже после того, как его взяли, обнаружили его новые преступления, о которых до этого не знали. К этому времени в Грузии к власти пришел Шеварднадзе, и, видимо, те люди, которым Уту был нужен для каких-то целей, потеряли влияние.

Говорят, на суде, как это бывало и раньше, он пустил в ход свой старый псевдобиблейский номер. Он разделся догола и крикнул:

— Граждане судьи, вот таким я пришел в этот мир! Люди меня сделали преступником!

Сам того не ведая, подобно нашим социологам, он спорил с Ломброзо, забывая, что и его отец и его братья были такими

же преступниками, хотя он их всех намного превзошел. Его наконец расстреляли.

Вот о чем я вспомнил, когда Виктор Максимович показал мне на дом Уту Бериулава. Машина сейчас катила по верхнеэшерскому шоссе. Справа от нас высились скальные нагромождения, поросшие кустами ежевики и азалий. Слева пониже нас расстилалась мягкохолмистая низменность с мирными крестьянскими домиками, кукурузными полями и табачными плантациями. Дальше вставала сиреневая стена моря. Был солнечный день начала лета.

— Сейчас я вам расскажу одну историю, — начал Виктор Максимович. — Недалеко от моего дома жила очаровательная девушка. Звали ее Лора. Она была маленького роста с большими, сияющими карими глазами на всегда чистом утреннем лице. Каждый раз, увидев меня, она останавливалась или мимоходом бросала:

— Виктор Максимович, ну когда же наконец вы меня покатаете на своем самолете?

— Скоро, скоро, Лорочка, — отвечал я ей в тон, и она, простучав каблучками, быстро проходила мимо моего дома.

Лора жила одна со своей мамой. Отец у них давно умер. Две старшие сестры вышли замуж и жили в России. Мать, бывшая работница табачной фабрики, получала пенсию, но основной доход им приносили курортники. На весь сезон они сдавали свой дом отдыхающим.

Уходя на рыбалку или возвращаясь с рыбалки, я видел с моря, как Лора хлопочет на своей усадьбе: стирает или

развешивает белье своих многочисленных жильцов, гладит, возится на огороде или варит варенье возле своего дома.

Ко времени, о котором я рассказываю, Лора была студенткой третьего курса педагогического института. У нее был жених. Звали его Марк. Он был начинающим преподавателем музыкального техникума.

Марк вырос на моих глазах. Он жил со своими родителями через один дом от меня. Отец его, весьма преуспевающий жестянщик, был порядочным негодяем. По-видимому, он вдолбил себе мысль, что еврей в этой стране может выжить, только будучи жестянщиком или музыкантом. Так как стадия жестянщика была пройдена, Марка с детства обучали музыке, которую он, судя по всему, ненавидел.

Скандалы и битье ремнем были довольно частым явлением. Бедный маленький Марик так визжал, что я слышал его голос на своем участке. Несколько раз я не выдерживал, вбегал к ним во двор и отнимал у разъяренного отца мальчишку. Один раз не выдержал и двинул отца как следует. Не знаю, прекратилось ли с тех пор битье или жестянщик перенес свои экзекуции в глубину дома, но с тех пор я не слышал, чтобы мальчик кричал.

Но вот прошли годы. Жестянщик все-таки добился своего: Марк — преподаватель музыкального техникума.

Они с Лорой должны были жениться, как только она окончит институт. Вообще все это у них началось со школы. Марк, конечно, брэнчал на фортепьяно на школьных вече-

рах, как и все школьные музыканты, окруженный поклонниками и поклонницами. Тогда-то он, может, и произвел впечатление на еще совсем юную девочку. А может, что-то другое. Они ведь тоже почти соседи. В конце концов, я думаю, она его полюбила за его обезоруживающую доброту.

Высокий, некрасивый, но обаятельно лопухий Марк и маленькая Лора казались мне прекрасной парой. Конечно, она им вертела как хотела, но бывала только с ним и собиралась выйти за него замуж.

Я, кстати, не замечал в Марке ни малейшего озлобления на отца, так нещадно колотившего его в детстве. Думаю, все дело в природе. Если уж человек от природы наделен большой добротой, никаким ремнем ее из него не выбьешь.

Когда я их встречал вместе, Лора, сияя своими большими чудными глазами, говорила мне, улыбаясь:

— Виктор Максимович, когда ж мы полетим наконец? А то скоро Марк на мне женится, у нас будут дети, и тогда я не рискну полететь. Разве что Марку отец подыщет богатую невесту?

Марк смущенно сопел и улыбался. Ясно было, что он свою Лору не променяет ни на какие богатства мира.

Однажды я рыбачил километра за полтора от берега. Вдруг слышу:

— Виктор Максимович, я к вам!

Я вздрогнул. Смотрю, Лора уцепилась руками за корму. Лицо побледнело, глаза сияют. Я не заметил, как она подплыла.

— Ты почему так далеко заплыла? — говорю.

— А я знала, что вы здесь рыбачите, — говорит, — мне захотелось доплыть до вас.

— Лора, — говорю, — ты представляешь, что будет с Марком, если он узнает, как ты далеко отплыла от берега?

— Ничего, — с неожиданной твердостью сказала Лора, — не умрет.

Я ей дал как следует отдохнуть, а потом она поплыла назад, и я долго следил за ее голубой купальной шапочкой.

Вот такая девушка жила недалеко от меня, и каждый раз видеть эту деятельную, как пчелка, жизнерадостную девушку было маленьким праздником.

И вдруг страшное несчастье. Мать Лоры попала под машину на шоссе совсем рядом со своим домом. На нее наехал вдрабадан пьяный местный врач, за которым уже гналась милицейская машина. Его, конечно, взяли. Он был настолько пьян, что сам не мог выйти из своих «Жигулей». Был составлен акт, нашелся свидетель, местный житель, который видел, что машина мчалась с огромной скоростью.

Через неделю я встретил Лору. Она в траурном платье проходила мимо моего дома.

— Только что была в тюрьме, — сказала она, — маму не вернешь, но пусть этот мерзавец посидит в тюрьме. Следователь дал прочесть мне свидетельские показания и акт экспертизы психоневрологического диспансера. Там написано — опьянение сильное. Дело передано в прокуратуру... Пусть посидит, мерзавец...



И она прошла дальше. Я ничего ей не сказал и только с грустью посмотрел ей вслед. Я уже знал, что этот врач родной брат местного миллионера, мясного короля, связанного с западногрузинской мафией. Трудно было поверить, что миллионер не выручит своего брата.

Через пару месяцев опять встречаю Лору. Она шла с базара с корзиной в руке. Увидев меня, поставила корзину и остановилась.

— Виктор Максимович, что же это делается! — воскликнула она. — Они все перевернули! В прокуратуре все документы подделаны. Акт экспертизы совсем другой, как будто бы никакого опьянения не было. Свидетельских показаний нет. Выходит, как будто бы мама переходила дорогу в неположенном месте, а этот мерзавец пытался затормозить, но не смог. Выдумали какой-то тормозной путь! Почему они раньше ничего о нем не писали?! Переход прямо напротив нашего дома. Зачем маме нужно было переходить улицу в неположенном месте? А показания свидетеля исчезли. Я пошла к следователю милиции, который давал мне все это читать. Он долго меня не принимал, но я все-таки добилась встречи. Какой подлец!

— Вы же, — говорю, — показывали мне анализ крови. Там же ясно было написано: опьянение сильное. Это мне приснилось, или была такая справка?

— Да, — говорит, а сам в глаза не смотрит, — но это результат неисправности аппарата. Повторная экспертиза показала, что он был трезвый.

— Он же был, — говорю, — настолько пьян, что сам не мог выйти из машины. Ваши милиционеры его вытащили!

— Это шок, — говорит, — он просто потерял контроль над собой.

Я чуть с ума не сошла, но сумела удержать себя в руках.

— Где же показания свидетеля, — говорю, — почему вы их не передали в прокуратуру?

— Он их забрал, — говорит, а сам в глаза не смотрит, — по советским законам показания свидетеля не документ. Он не отвечает за них. Сначала ему так показалось, а потом он вспомнил, что все было не так. Он отвечает только за показания на допросе.

— Я пошла к свидетелю, — продолжала Лора. — Я его всю жизнь знаю, он же недалеко от нас живет. Когда я вошла к нему во двор, он сидел на крыше сарая и крыл его дранью.

— Василий Петрович, — говорю, — вы же двадцать лет маму знаете. Что с вами случилось, неужели они вас купили?

Молчит. Только молотком постукивает, а изо рта гвозди торчат. Я постояла, постояла, вижу, он не хочет говорить со мной, и пошла назад. У калитки догнала его жена:

— Лорочка! Лорочка! Прости! Приходил человек и угрожал сжечь дом.

— Что же это такое, Виктор Максимович, неужели на этого мясника управы нет?

— Милая Лора, — говорю, — к сожалению, это так. Оставь, ты себя изведешь и ничего не добьешься.

— Нет, Виктор Максимович, — сказала Лора, качая головой, — я никогда в жизни не отступлюсь. Моя мама, оставшись без папы, нас, троих дочерей, поставила на ноги. Она всю жизнь набивала папиросы на табачной фабрике. У нас целая пачка грамот. А теперь, значит, она никому не нужна? И пьяный негодяй ее может убить машиной, как бродячую собаку? Нет! Я пойду в КГБ.

Она подняла свою тяжелую корзину, и я долго смотрел вслед ее маленькой, упорной фигуре. Что я ей мог сказать? Чем помочь? И при чем тут КГБ.

Проходит еще какое-то время. Я встречаю Лору в нашем гастрономе. Мы выходим вместе.

— Ну что, Лора, была в КГБ?

— Была, была! — говорит. — Меня принял какой-то полковник, доброжелательно выслушал, а потом позвал своего помощника. И они стали между собой переговариваться по-абхазски. Они не знали, что я прекрасно понимаю по-абхазски. Я все понимаю, а они переговариваются между собой. Оказывается, помощник был в курсе моего дела. Точнее, он был в курсе дел миллионера и его брата.

— Девушка права, — говорит помощник, — но что мы можем сделать? Миллионер со вторым секретарем обкома вот так...

Он свел указательные пальцы обеих рук, показывая, что они как братья.

— Вчера, — продолжает он, — его машина стояла возле особняка миллионера три часа двадцать минут...

Пусть девушка жалуется в Москву, мы ничего не можем сделать.

А я слушаю и жду, что скажет мне полковник.

— Видимо, в вашем деле здесь не смогли разобраться, — говорит он мне наконец, — жалуйтесь в Москву. Это дело вообще не по нашей части.

Тут я не выдержала.

— В Москву, — говорю, — я пожалуюсь и без вас. Но вы мне объясните такую вещь. Я ее своим женским умом не могу понять. Что может делать секретарь обкома в особняке вора-миллионера? Что он, священник, наставляющий грешника? И что, вы засекаете время, пока он гостит у него? Какая от этого польза?

Виктор Максимович, он от моих слов покраснел, как флаг.

— Вы что, абхазка? — говорит.

— Да, — говорю, — у меня мама была абхазка.

— Все это сложнее, чем вы думаете, — говорит он, глядя мне в глаза, — и если мы засекаем время, значит, это для чего-то нужно. Жалуйтесь в Москву, но здесь будьте осмотрительней.

Теперь я поняла, что тут мне никто не поможет. Я уже написала в Прокуратуру СССР. Жду ответа.

На этом мы расстались. Через какое-то время Лора получила ответ из Прокуратуры СССР, откуда ей написали, что ее жалоба рассмотрена и направлена в Прокуратуру Грузии. Теперь Лора ждала ответа из Прокуратуры Грузии. И вдруг однажды поздно вечером она прибежала ко мне домой. Впервые я видел ее такой бледной, испуганной.

— Ой, Виктор Максимович, что сейчас было! — воскликнула она и рухнула на диван. — Кто-то стучит мне в дверь. Открываю. Входит огромный мужчина со страшными глазами. У меня душа в пятки ушла. Но я взяла себя в руки и говорю:

— Что вам надо?

Он стоит и прямо жрет меня своими глазищами. Потом говорит:

— У тебя несчастье было. Но этот человек не хотел убивать твою маму. Случайно получилось... Вот здесь десять тысяч... Пригодятся... Ты теперь одна...

Тут у меня страх прошел.

— Нет, — говорю, — если б они мне даже миллион заплатили, я бы ему не простила маму...

Он молчит и стоит с протянутой пачкой денег в руке.

— Не возьмешь?

— Нет, — говорю.

— Ты смелая девушка, — говорит он мне и кладет пачку в карман, — но перестань жаловаться... Хуже будет... Тем более живешь одна...

И смотрит на меня своими волчьими глазами. Я собрала все свои силы.

— Нет, — говорю, — лучше пусть они меня убьют.

Он еще некоторое время смотрел, смотрел на меня, а потом молча ушел. Слышу — завел машину и уехал. Тут только я поняла, какой ужас пережила, и прибежала к вам. Но, видно, и они испугались, испугались, правда?

— Не верю я, — говорю, — что милиционеры, взявшие пьяного, дадут теперь новые показания. Одумайся, Лора, пока не поздно. Они тебя угробят, я боюсь за тебя.

Я вижу, она сидит в глубокой задумчивости, даже не слушает меня.

— Ни один человек в мире, — вдруг говорит она, словно в пространство, — не умел так любить, как моя мама. Еще до нас, своих детей, она воспитывала свою родственницу — сиротку. Я ее немного помню. Она умерла лет пятнадцать назад от воспаления легких. Мама до последней минуты была с ней. И она перед смертью маме сказала: «Люби меня всегда!»

Она была сиротка, и ей было страшно умереть, думая, что никто из живых о ней не будет помнить. И за все эти пятнадцать лет мама никогда о ней не забывала и всегда плакала, вспоминая ее последние минуты... Так любить, как мама... Пока я жива, я не прощу этому мерзавцу.

— Если так, — сказал я, — тебе опасно оставаться дома. Переходи к Марику или оставайся у меня, а там посмотрим...

— Нет, — вздохнула она после некоторого раздумья, — только сейчас мне не по себе. Проводите меня домой.

Я проводил ее, предупредив, чтобы она никому никогда не открывала по вечерам дверь. Она грустно кивнула и вошла в дом. На душе у меня было скверно, но я не знал, чем ей помочь.

Прошло еще несколько месяцев, и я узнал от Лоры, что Прокуратура Грузии ничего не добилась. Этого следовало

ожидать. Кстати, в местной прокуратуре оказался один работник, который симпатизировал Лоре, может быть, даже влюбился в нее. Один из милиционеров, взявших тогда пьяного брата мясника, кажется, чем-то обязанный этому прокурору, дрогнул было и обещал тбилисскому следователю рассказать всю правду, но в последний момент не решился.

— Зачем вы здесь работаете, если ничего не можете сделать? — оказывается, выпалила ему Лора.

— Я чучело честности, — сказал он ей, — хоть одного человека им приходится обходить, когда они занимаются темными делишками.

Этот же прокурор помог ей написать обстоятельное письмо в «Правду». Через некоторое время оттуда пришла в местную прокуратуру копия ее жалобы с отметкой О. К., то есть особый контроль.

— Мой прокурор, — впервые за все это время радостно сказала мне Лора, — признался мне, что такое указание — большая редкость! Особый контроль! Скоро приедет корреспондент и во всем разберется!

Бедная Лора, опять все сорвалось. Миллионер, даже носа не высовывая из своего особняка, все улаживал. Кстати, когда началась кампания борьбы с хищениями, снимок его особняка появился в «Правде». Тогда у некоторых местных воротил в самом деле отняли дома, но только не у этого. Шевельнулись было тронуть его, но город вдруг на несколько дней таинственно остался без мяса, и от него отстали. Но, видно,

ему все-таки были неприятны ее бесконечные, бесстрашные жалобы на брата.

— Опять приходил этот с волчьими глазами, — сказала мне как-то Лора.

— Ну и что?

— Опять деньги предлагал.

— Не грозил? — спросил я, заглядывая в ее чудные, полные невыразимой печали глаза.

— Нет, — вздохнула она и как-то странно опустила свой длинноресничный взор.

Вся эта эпопея длилась около двух лет. Незадолго перед выпускными экзаменами Лоры я однажды ночью, возвращаясь из гостей, проходил к своему дому по пляжу. Была теплая лунная ночь. Смотрю, рядом с моим домом на песке лежит человек. Я подхожу к нему и вдруг узнаю в лунном свете мертвое лицо Марка. Молнией мелькнуло: они его убили в знак предупреждения, что следующей будет она, если не перестанет жаловаться!

— Марк! — закричал я и, наклонившись, приподнял его голову. Никогда запах алкоголя меня так не радовал — он был в полной отключке!

Я прекрасно знал, что Марк больше двух-трех рюмок не пил. Они с Лорой много раз бывали у меня. Опыяние было страшное, я его тряс, но он только постанывал и никак не приходил в себя.

Хотя ночь была теплая, все-таки оставлять его на берегу было как-то боязно. Я поднял его, перевесил через плечо



и отнес домой. Конечно, можно было крикнуть его родителей, но я не знал, как этот биндюжник отнесется к его ужасному опьянению. Ничего, думаю, перетерпят, да и время было позднее. Уже около трех часов ночи.

Я гадал, что с ним, почему он так напился. Неужели они поссорились с Лорой? Но если он так напился, значит, это не обычная ссора, а что-то страшное. Разрыв?

Я поздно проснулся на следующее утро. Его уже не было. На столе лежала записка — «Виктор Максимович, спасибо. Никогда, никогда ни о чем не спрашивайте. Ваш Марик».

В тот же день я узнал новость, облетевшую город. Ночью брат миллионера был убит. С улицы его окликнули. Он вышел из парадной двери своего дома, и кто-то из темноты одним выстрелом уложил его. Все считали, что это дело рук одного из западногрузинских мафиози, с которыми они были связаны. Никаких следов милиция не нашла. Стрелявший растворился в темноте. Дикое опьянение Марка и ночь убийства как-то загадочно совпали.

Поверить в это было невозможно. Но и невозможное возможно в этом мире! А что, если она ему поставила такое условие? Или случайное совпадение? Почему он так настойчиво просил ни о чем не спрашивать? Я зашел к Лоре, чтобы поделиться с ней новостью об убийстве брата миллионера, но ее не оказалось дома.

Через неделю встречаю Марика и Лору на автобусной остановке. У Марика на лице выражение загнанного зайца, а Лора какая-то оледенело-спокойная.

— Лорочка, — говорю, — Бог за тебя отомстил.

— А вы верите в Бога, Виктор Максимович? — спросила она с каким-то язвительным вызовом.

— Верю, — сказал я, — и тебе советую.

— Виктор Максимович, — говорит Лора, — я об этом много думала. С тех пор как мою маму убил этот пьяный мерзавец, а в целой стране не нашлось ни одного справедливого человека, который осудил бы его, я много думала о всяком таком. Если жизнь моей мамочки оказалась не дороже жизни бродячей собаки, попавшей под колесо, во что я могу верить? В какого Бога? Не смешите меня, Виктор Максимович, не смешите, а то я сама не знаю, что со мной будет!

Бедняга Лора, сколько же она пережила за эти два года! Я почувствовал, что это женская истерика, сдержанная огромным усилием воли.

Но вот Лора сдала выпускные экзамены, и они с Мариком наконец поженились. Жили, конечно, у Лоры. Там и места была много, да и Лора не слишком ладила с отцом Марка. Время шло, мы иногда встречались, даже перешучивались, но той солнечной Лоры я больше никогда не видел.

Прошло три года. У меня есть молодой приятель. Он работает в сельскохозяйственном институте. Однажды мы с ним выходили из моего дома и столкнулись с Лорой и Мариком. Они шли мимо. Мы перекинулись несколькими словами, и я заметил, что мой приятель остолбенел, оледявая Лору.

— Что, понравилась? — спросил я у него, когда они прошли.

— А кто она такая? — спросил он. Я ему рассказал в двух словах.

— А давно они женаты? — спросил он.

— Три года.

— И как они ладят?

— У них любовь со школьной скамьи, — говорю.

— Потрясающе! — воскликнул он. — Потрясающе! Именно три года назад я впервые был на практике со студентами. У нас за городом опытное поле. В тот день я отпустил студентов и один остался на табачной плантации. Вдруг я услышал автоматную очередь, и пули, взметнув пыль, легли вправо от меня. Я отпрянул влево и упал на землю. В тот же миг снова раздалась очередь, и пули, срезая табачные стебли, легли влево от меня. Я инстинктивно отпрянул вправо. Снова очередь, и пули вспыхнули справа от меня. Я отпрыгнул влево. И тишина.

Я пролежал еще минут двадцать, а потом встал и огляделся. В самое первое мгновение я подумал, что началась война. А теперь не знал, что думать. Метрах в пятидесяти от меня стоял дом, слегка прикрытый грушевыми деревьями. Но стрелять могли и с любой другой стороны. Что это? Обознавшийся мститель? Сумасшедший? Перестрелка бандитов? Я не знал, что думать. Я вышел к автобусной стоянке и поехал в город.

Я решил, что в милицию сообщать об этом глупо. Возможно, подсознательный страх перед тем, кто стрелял. Лю-

ди, которым я об этом случае рассказывал, только пожимали плечами.

Прошло несколько дней. Мы со студентами, как обычно, работали на табачной плантации. Вдруг ко мне подходит человек высокого роста и очень сильного сложения.

— Слушай, — говорит он мне и, похохатывая, бьет по плечу, — хорошо я тебя напугал! Ты как заяц прыгал на поле! Пойдем выпьем по стаканчику!

И я пошел. Я еще тогда не знал, что это знаменитый бандит Уту Бериулава, но от его облика веяло такой невероятной звериной силой, что не подчиниться ему было нельзя. Он был хозяином дома, возле которого располагалась наша плантация.

Жена его, бесшумная как тень, накрыла нам на стол, и мы сели пить. Кстати, вино было очень хорошее и закуска тоже. Я был весь сосредоточен на том, чтобы выглядеть естественным и дружелюбным. Противно, но что поделаешь! Он мне продемонстрировал цветной телевизор, три холодильника и тот самый автомат.

Потом рассказал про какое-то умыкание, в котором принимал участие, и похвастался, что на днях к нему в гости должен заехать некий генерал.

— Кроме птичьего молока, все будет на столе, — сказал он.

Но дело не в этом. Я, слава Богу, в тот день унес от него ноги и больше он меня к себе не звал. А дело в том, что я видел своими глазами, как эта вот юная женщина вышла вместе с ним из его машины и прошла в его дом.

— Не может быть, ты спутал! — закричал я.

— Я никак не мог спутать, — сказал он, — машина остановилась возле его дома, и они вышли из нее. Я стоял в десяти шагах. Да они и не скрывались ни от кого. Огромная фигура Уту рядом с миниатюрной девушкой произвела на меня незабываемое впечатление.

— Когда это было, — спросил я, — ты не можешь сказать поточней?

— Три года назад, — сказал он, — май месяц... Точней не помню...

Я ему тогда, конечно, ничего не сказал, а теперь говорю, потому что все позади. Я думаю, отчаявшись дожидаться наказания убийцы матери и заметив, что она понравилась этому бандиту, Лора обо всем с ним договорилась. Он убил того, кому служил, и получил за это то, что хотел. По-видимому, она обо всем рассказала Марику, и он напился, чтобы не сойти с ума от боли.

Через год они продали дом и переехали в Краснодар, где жила сестра Лоры. С тех пор прошло много лет. Марик с сыном ежегодно в отпуск приезжают к отцу, а Лора никогда. Думаю, что она решила навсегда отрезать этот город от своей жизни. Удалось ли это ей — не знаю. Многое можно сказать по этому поводу, но я одно скажу — я ей не судья.

На этом Виктор Максимович закончил свой рассказ. Машина уже мчалась по Новому Афону.

— Сильная история, — сказал Расим, оборачивая к нам свое горбоносое лицо, — давайте сейчас здесь выпьем кофе,

и я вам расскажу о своей встрече с Уту Берулава... А эта девушка в определенных исторических условиях могла бы стать выдающейся личностью... Но напрасно она своему бедному жениху все рассказала... Непедагогично... Можно было скрыть... Есть средства...

Он остановил машину возле веранды открытого ресторана. Мы поднялись наверх, уселись за столик и заказали три кофе.

— Вот как я встретился с ним, — начал Расим, — я поехал в лагерь под Зугдиди, где сидел один наш однофамилец. Мне нужно было серьезно с ним поговорить, пристыдить его за то, что он позорит наш род, и спросить его, как он в конце концов думает жить дальше!

Лагеря, собственно, не было. Заключенные жили в бараках и работали на чайной плантации. И вот нас человек пятнадцать, прибывших на свидание. Каждый стоит и разговаривает со своим родственником. Рядом стоит офицер и присматривает за нами. Вдруг я услышал какой-то испуганный шепоток, все замолчали, и заключенные вместе со своими родственниками сбились в кучу.

На месте остались только я со своим однофамильцем и какая-то мингрельская старушка, которая о чем-то горячо упрасивала своего сына-балбеса. Я оглянулся и увидел, что к нам подходит какой-то человек. Внушительного роста, плечистый, с черной бородой до пояса. Потом я узнал, что Уту в заключении всегда отпускал бороду. Одет он был в черную косоротку, хорошие шерстяные брюки и сапоги.

Он подошел к нам, остановился, взглянул на притихшую, сбившуюся группу, а потом обернулся на старушку, которая, не обращая внимания на Уту, продолжала о чем-то упрасивать своего сына. И видно, это ему понравилось. Он спросил у старушки, чем она недовольна, и та, возможно приняв его за какого-то начальника, стала выкладывать ему свои горести.

Вдруг взгляд Уту упал на офицера, продолжавшего стоять поблизости, и он ему гаркнул по-мингрельски:

— Ты чего тут?

— Я ничего, я ничего, — пробормотал офицерик и попятился к группе, которая раболепно стояла в стороне.

— Не беспокойся, мамаша, — сказал Уту наконец, — я присмотрю за твоим сыном.

С этими словами он легким взмахом ладони дал ее сыну дружеский подзатыльник, так что голова парня откачнулась, как у болванчика. После этого он молча повернулся и ушел... Вот как я видел Уту Берилава...

Расим отпил кофе, на минуту замолк, и вдруг его горбоносое лицо озарилось улыбкой воспоминания.

— Слушайте, — сказал он, — до чего интересно получается! У нас сегодня день поминовения Уту Берилава! Я сейчас вспомнил, что мой Чагу тоже с ним встречался, только очень давно. Провалиться мне на этом месте, если это был не Уту Берилава! Молодец мой Чагу, не осрамил наш род! Но он сам лучше расскажет об этом, вы мне только напомните!

Мы допили кофе, сели в машину и поехали дальше. Часа через два мы въехали в это горное село. Чагу жил на отшибе. Возле выезда из села улица была перекрыта воротами, чтобы скот не мог пройти на поля.

— Вот его сын ждет нас, — кивнул Расим на мальчика лет двенадцати, стоявшего возле ворот. Мальчик открыл их и, пропустив машину, подбежал к нам.

— Я пригоню лошадь, — радостно сказал он, заглядывая в окно.

Мы поехали дальше.

— Этот мальчишка — прекрасный наездник, — сказал Расим, — он с девяти лет участвует в районных и республиканских скачках. Дважды брал призы на лошадях своего отца.

Машина остановилась возле усадьбы Чагу. Мы вошли во двор. Это был чистый, зеленый, косогористый двор, обсаженный цветущими благоухающими розами. Двор по абхазской традиции — это как бы главная комната, внутри которой расположены все остальные комнаты. Наши женщины убирают и украшают свой дом, начиная с главной комнаты.

Кстати, сам дом Чагу выглядел весьма ветхим и бедным, но рядом с ним был заложен фундамент более обширного строения с одинокой стеной.

Из дома нам навстречу вышла пожилая женщина, жена Чагу, ее сын, парень лет тридцати, его жена с грудным младенцем на руках и двумя малышами, цеплявшимися за ее юб-



ку. Мы поздоровались с хозяевами, а Расим, кивнув в сторону недостроенного дома, сказал:

— Сколько же вы будете его строить? Он уже лет пять стоит в таком виде.

— С моим сумасшедшим мы его никогда не построим, — крикнула жена Чагу, — мы в колхозе заработали двенадцать тысяч! Мой сумасшедший поехал в Черкесию и купил две лошади. Расим, дорогой, поговори с ним, пристыди его!

— Хорошо, поговорю, — важно сказал Расим, — а где он сам?

— Он по соседству, сейчас придет, — отвечала хозяйка, кажется, довольная обещанием Расима.

Мальчик пригнал рыжую лошадку и загнал ее во двор.

— А ну покажи фотографии, — сказал ему Расим. Мальчик вбежал в дом и через некоторое время выскочил из него, неся в руке кучу разноформатных фотографий.

— Я же вам альбом купил, почему ты не вклеил их туда? — спросил Расим.

— Не знаю, — сказал мальчик и смущенно пожал плечами.

Это были изломанные и расплывчатые снимки скачек. Видно, он их часто показывал людям. Изображение толпы и бегущих лошадей. Получение приза верхом на лошади. Наездник, проезжающий мимо трибуны и приветствуемый какими-то начальниками.

Тыкая пальцами, мальчик односложно объяснял:

— Я... здесь... Я...

— Я тобой недоволен, — строго сказал Расим. — В каком состоянии у тебя снимки? Я же тебе купил альбом. Почему ты их не вклеил туда?

Мальчик трогательно прижал голову к плечу и с трудом выдавил: «Не знаю...»

Односложность его ответов показалась мне странноватой, и, когда он вошел со снимками в дом, я спросил об этом у Расима.

— Да, — кивнул он, болезненно поморщившись, как бы признавая наличие ушибной царапины в роду, — он однажды неудачно упал с лошади...

Во двор вошел хозяин дома. Это был сухощавый мужчина лет шестидесяти. Маленького роста, жилистый. Одет он был в галифе и черную сатиновую рубашку, перепоясанную кавказским поясом, на котором сбоку болтался в чехле большой пастушеский нож.

Он за руку поздоровался со всеми и, поняв, что Виктор Максимович не абхазец, особенно сердечно с ним поздоровался как с наиболее дальним и потому почетным гостем.

— Долго же вы собирались, — сказал он, взглянув на Расима, — вон уже где солнце... Теперь сами решайте, сначала сядем за стол, а потом объездим лошадь или наоборот?

— Нет, нет, — за всех сказал Расим, — сначала объездим лошадь, а потом спокойно сядем за стол, выпьем, поговорим...

— Вынеси седло, — кивнул отец мальчику. Мальчик побежал на кухню и вынес седло и уздечку.

Чагу осторожно подошел к лошади и надел на нее уздечку. Мальчик поднес седло. Отец так же осторожно, что-то ласково мурлыкая, оседлал лошадь и затянул подпруги. Лошадь вела себя довольно смирно. Дальше произошло неожиданное для меня. Чагу не сел на лошадь, а стал, держась за поводья, гонять ее вокруг себя, нещадно шлепая камчой. Потом он, перехватив поводья у самой лошадиной морды, стал заставлять ее двигаться назад. Лошадь вздрагивала, дергалась в сторону, вздымала морду и долго не могла его понять.

В конце концов он ее заставил пятиться, и она, пятясь, прошла по двору до самой изгороди. Чагу привел ее на середину двора.

Теперь он совсем коротко перехватил поводья и стал заставлять ее кружиться вокруг себя. Лошадь всхрапывала, упрямялась, но под ударами камчи все быстрее и быстрее кружилась в полуметре от хозяина. И вдруг то ли она слишком круто повернулась, то ли еще что, я не успел заметить, но она опрокинулась на хозяина. Они оба покатались по косоуглу двора. Мне показалось, что теперь ни лошадь, ни хозяин не сумеют сами встать на ноги. Но они оба вскочили, и лошади-ник, сделав это на мгновение раньше, на лету цапнул ее за поводья и не дал уйти.

Теперь лошадь так тяжело дышала, что было слышно на весь двор ее хриплое дыхание. Чагу перекинул поводья через шею лошади и вскочил в седло. Лошадь вела себя спокойно. Чагу промчался несколько раз по двору, резко притормаживая у изгороди.

Потом он, видимо решив, что сопротивление лошади недостаточно красочно, стал подымать ее на дыбы. Но она, бедняга, долго не понимала его, крутила головой, вспрыгивала в сторону и, наконец, все-таки встала на дыбы. Чагу соскочил с нее, подвел к изгороди и накинул поводья на кол.

— Готова! — крикнул он по-русски и, помахивая камчой, подошел к нам.

Стол накрыли на веранде, и мы уселись. Пока мы пили и ели, я несколько раз оглядывался на привязанную лошадь, и мне показалась странной ее абсолютная неподвижность. Она даже хвостом не шевелила. Я спросил у Чагу, чем это объяснить.

— Обижена, обижена, — сказал он с улыбкой, как о простительном чудачестве еще слишком молодой лошади, — ничего, скоро пройдет.

— Лошадь как человек! — вдруг вскричал Чагу. — Только не разговаривает. Вот я вам расскажу, что со мной однажды было, а вы переведите нашему гостю.

Он кивнул в сторону Виктора Максимовича.

— Лет пять тому назад, — начал Чагу, — я возвращался со свадьбы в одном селе. Мы пили всю ночь, и я, конечно, был крепко выпивший. Где-то на полпути я заснул, вывалился из седла и упал на землю. Как я потом сообразил по солнцу, я проспал часов семь-восемь. Проснулся я от того, что лошадь меня толкала мордой: «Вставай, пора домой». Вокруг меня метров на десять траву словно косой выкоси-

ло. Никуда не ушла. Паслась поблизости, сторожила меня, чтобы какая-нибудь свинья не осквернила или зверь не подошел. И уже когда времени оставалось ровно столько, чтобы хорошим шагом к вечеру дойти домой, она меня разбудила: «Вставай, пора домой!» Я сел на свою лошадь, и как раз, когда мы входили в ворота нашего двора, солнце приводнялось (пересоздаю слабую копию абхазского глагола). Видите, как она уразумела, когда меня будить. Вот что такое лошадь!

Я перевел Виктору Максимовичу слова Чагу. Мы посмеялись.

— Слушай, — вспомнил Расим, — что это за бандит когда-то к тебе приходил? Это был Уту Берулава или кто другой?

— Он! Он! — вскричал Чагу. — Говорят, его расстреляли и в газете об этом прописали. Я охотился за этой газетой, но не достал. Достань ее мне!

— Зачем тебе газета, — сказал Расим, — ты лучше расскажи, как это было.

— А какой он с виду был? — спросил я у Чагу.

— Большой, — вскричал Чагу, — в эту дверь не пройдет. А глаза — на беременную взглянет — раньше времени выкинет, такие глаза!

— Оставь его глаза, лучше расскажи, что было, — перебил его Расим.

— Для гостя по-русски расскажу, — сказал Чагу, осмелев от выпивки, — а вы не смейтесь над моим русским.

— Это давно было, — сказал Чагу, обращаясь к Виктору Максимовичу, — моя старший сын, вот этот, в армии была. Значит, десять-одиннадцать лет назад. Ночью кто-то стучит. Открываю. Человек стоит.

— Что надо?

— Кушать хочу.

Я ему дал кушать и оставил ночевать. Сразу понял — скрывается от власти. Может, кровник, может, абрек — не знаю. Я не спрашиваю. Он не говорит. Ага! Вот так живет у меня три дня. Все, что мы кушаем, ему кушать даем, все, что мы пьем, он пьет. Днем он ничего не делает, только пистолета свой чистит. Ночью спит, как мы. На четвертая дня садимся обедать, вот эта моя хозяйка подала, что было. А он мне говорит:

— Чагу, пойд и достань у соседей хорошая вино.

Я чуть с ума не сошел! Я крестьянин, у меня простая крестьянская вино. Чем виновата моя вино?! Живет мой дом и посереде моего дома сирет на мой хлеб-соль!

— Моя вино плохая? — говорю.

— Плохая, — говорит.

— Моя отца, — говорю, — у твоего отца тоже батраком работала? Землю пахал, вино приносил, дрова рубил?

— Много не разговаривай, иди, — говорит, — а то узнаешь, кто такой Уту Борулава!

Если человек, как скотина, сирет на твой хлеб-соль в твоём доме, или убей его, или убей себя! Зачем жить! Ага, думаю, сейчас я тебе покажу плохая вино. У меня в другой комнате висела хорошая двустволка с медвежьим жакан. Сейчас тоже там висит!

— Хорошо, — говорю, — сейчас принесу.

Он, как зверь, что-то догадал.

— Зачем туда идешь? — На двор показывает. — Туда иди!

— Деньгъ, — говорю, — надо взять. Кувшин вина бесплатно никто не даст.

— Хорошо, — говорит, — бери.

Ага! Я иду другой комната, снимаю ружье и выхожу. Слово не мог сказать! Смерть любая человек боится!

Я мать его не оставил! Отца его не оставил! Деда не оставил! Никого не забыл!

— Вставай, выходи, — говорю, — свинья в свинарнике надо убивать!

Он встает. Жена кричит: «Не убивай, тебя посадят!» — но я убить не хочу, так пугаю. Хочу сдать его государству в райцентр.

Вышли. Теперь как? До райцентра двадцать километров. Лошадь моя во дворе. Тигра, никого, кроме меня, к себе не допускает. Как оседлать?

Я говорю жене:

— Держи ружье! Рука, нога, голова — чем бы ни двигала — вот это нажимай! Пусть как мертвая стоит!

Жена моя кричит, не хочет брать ружье. Заставил! Взяла! Он стоит пять-шесть шагов.

— Чем бы ни двигала, — сразу стреляй! — говорю.

Я быстро поймал лошадь, оседлал ее, вынул его пистолета из-под подушки, положил в карман, сел на свою лошадь и, как скотину, погнал его впереди себя.

По дороге он просил меня отпустить. Деньгъ обещал. Большие деньгъ! Но я его не слушала. Я его (тут Чагу, не найдя соответствующего русского слова, по-абхазски добавил) искамчил! Всего искамчил! Даже рука устала!

Чагу снова перешел на русский.

— И он уже меня ничего не просит. И я успокоил душа. И тут мы проходили, где мелкая ольха растет. Много-много мелкая ольха. И он прыгнул в это мелкая ольха. Я выстрелил — не попал! Лошадь пустил, но лошадь быстро не может. Ветка мешай! Мелкая ольха мешай! Убежал! Я повернул лошадь. Сдал пистолет в сельсовет. И сказал. Три дня жила — не сказал. Сказал — в этот день пришла. Я боялся, что он ночь придет и наш дом пожар сделает. Я достал хороший собака. Но он не пришла. А сейчас все! Сейчас власть его стрелял!

— Лучше бы он сжег наш дом, — неожиданно по-абхазски вставила хозяйка, до этого молча и внимательно слушавшая своего мужа, — тогда уж ты построил бы новый...

Тут наш Расим стал серьезно увещевать старого Чагу, указывая ему на то, что любовь к лошадям — это, конечно, дело хорошее, и он призами на скачках прославляет свой род, но все-таки и дом наконец пора построить. Вон и семья разрослась.

— Успеем, успеем, — сказал Чагу и, с ходу зажигаясь, добавил: — Слава Богу, над головой не течет! А ты что в лошадях понимаешь? Охромевшую лошадь бросил в лесу! Все равно, что этого несмышлениша в чащобе оставить!



Он ткнул рукой на одного из своих внуков, вместе с братцем стоявшего, прижавшись к материнской юбке. Малыш встrepенулся и еще теснее прижался к матери.

Мы поблагодарили хозяйку за угощение, спустились во двор и прошли к машине. Обезжeнная лошадь все так же неподвижно с опущенным хвостом стояла на привязи.

— Приезжайте на осенние скачки, — крикнул Чагу напоследок, когда мы уже были в машине, — черкесскую пушу!

Мы поехали по узкой каменистой дороге. Младший сын Чагу, возможно изображая лошадь, мчался за машиной до самых ворот. Добежав, он открыл их нам, помахал рукой, и мы поехали дальше.

— Единственно, в чем был прав Уту Бeрулава, — неожиданно без всякого юмора заметил Расим, — это то, что у Чагу вино плоховатое. И оно всегда у него было такое!

Расим был прав. Но Чагу — явно настоящий лошаdник, а истинная страсть не терпит соперниц.

### Вечер в саду

Однажды из Москвы приехал мой знакомый журналист и сказал, что у него от редакции задание увидеться с Виктором Максимовичем и написать о нем. Я удивился, что об его опытах знают в редакции, и обрадовался за него.

Журналист этот был известен достаточно острыми и горькими статьями по вопросам нашего сельского хозяйства.

Полгода назад его послали на несколько месяцев в Америку, отчасти, как я думаю, чтобы вознаградить за ненапечатанные статьи, отчасти для того, чтобы он поделился с нашим читателем опытом ведения фермерского хозяйства, хотя бы в тех пределах, в каких этот опыт не мешает идеологии.

— Как съездил? — спросил я у него.

— Чудесно, — бодро кивнул он, — пишу книгу.

— А если одним словом сказать, что главное?

— Одним словом ничего не скажешь, — ответил он, — разве что придется повторить слова одного славного фермера.

— А что он сказал?

— Он посмотрел, посмотрел, как мы топчемся на его полях, и сказал: «Вот вернетесь вы к Богу, и у вас будет хлеб».

Я призадумался над такой своеобразной рекомендацией ведения сельского хозяйства, и мы тут же договорились поехать к Виктору Максимовичу.

Мы зашли в гастроном, купили две бутылки коньяка, дрянную колбасу, ибо другой не было, и сыр. Взяли такси и поехали в поселок, где жил Виктор Максимович.

Я не совсем точно знал, где расположен его дом, но надеялся сориентироваться. Расплатившись с таксистом, мы свернули с шоссе, прошли по узкой дорожке между двумя

приусадебными участками, вышли к железной дороге, прошли под мостом, свернули вправо и, похрустывая пляжной галькой, зашагали вдоль моря.

Был теплый день конца сентября. Солнце клонилось к закату, и оттуда почти до самого берега вода была покрыта трепещущим золотом. Пляж был почти пуст, море едва вздыхало, в воздухе стоял легкий запах водорослей.

Именно отсюда, со стороны моря, где я тогда рыбачил с товарищами, мне когда-то показали домик Виктора Максимовича, и я теперь надеялся вспомнить его месторасположение.

Приусадебные участки в этих местах метра на два возвышаются над пляжем и кое-где в зависимости от доходов хозяев прикрыты от моря деревянной или бетонной дамбой.

Неизвестно, как скоро я узнал бы его участок, если б внезапно не увидел торчащее из зелени виноградной беседки крыло махолета.

Одновременно с крылом махолета я увидел на пляже прямо под участком Виктора Максимовича сидящего на песке милиционера. Он оказался моим знакомым абхазцем. Увидеть его здесь, на пустынном пляже, было так же странно, как увидеть крыло махолета, торчащее из виноградной беседки. Я почувствовал родство этих двух странностей. И так как одна из этих странностей объяснялась Виктором Максимовичем, естественно было предположить, что и вторая странность объясняется им же.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я по-абхазски, здороваясь с милиционером.

— Сторожу, — ответил он мне, смущаясь и от смущения склоняя набок голову. Мне показалось, что смущение его усилено тем, что он говорит со мной по-абхазски. По-видимому, он считал, что некоторая нелепость его занятия на языке закона выглядела бы менее нелепой.

— Что сторожишь? — спросил я, хотя уже понял, что он сторожит.

— Аэроплан его сторожу, — кивнул он наверх.

— А зачем его надо сторожить? — спросил я.

— Они боятся, — ответил он, — чтобы на нем кто-нибудь не улетел в Турцию.

— Если они этого так боятся, — сказал я, — они могли бы запретить ему этим заниматься.

— Запретить нельзя, — важно сказал милиционер.

— Почему?

— Потому что они хотят посмотреть, — оживился он, как бы приобщая меня к хитроумному замыслу, — получится у него что-нибудь или нет. Потому следить следим, а мешать не мешаем.

— Ах вот как, — сказал я и, кивнув ему на прощанье, направился вместе с журналистом к деревянной лесенке, поднимающейся от пляжа на участок.

— Что он тебе говорил? — спросил журналист, когда мы прошли в калитку и я закрыл ее на щеколду.

Я ему передал нашу беседу, и мы оба рассмеялись. Тропинка к дому проходила между корявыми мандариновыми куста-

ми. Справа от тропинки стоял сарай, возле которого рос большой пекан, североамериканский родственник нашего грецкого ореха. Слева за мандариновыми кустами начинался сад, где росли груши, инжир и гранатовое дерево, усеянное пунцовыми плодами.

Мы подошли к дому, где возле виноградной беседки стоял махолет, как бы молча проповедуя тесноте заросшего сада идею распаханного пространства. Сад безмолвствовал.

Рядом с большим столом, врытым в землю, сидели трое: девушка в голубом сарафане со светящимся узким марсианским лицом, какой-то юноша и Виктор Максимович.

Юноша и хозяин дома, низко склонившись к ватманскому листу, заполненному чертежами и формулами, что-то обсуждали. Девушка подняла нам навстречу свое светящееся и как бы исключительно в интересах воздухоплавания суженное лицо. Она улыбнулась нам. Двое остальных нас так и не заметили.

— Виктор Максимович, — сказал я, выкладывая на стол нашу небогатую снедь, — оказывается, за вами хвост.

Мы поздоровались.

— А-а-а! — махнул Виктор Максимович голой мускулистой рукой, рукава штормовки у него были закатаны. — Слава Богу, я давно привык.

Мы познакомились с его гостями. Девушка, с улыбкой протягивая длинную тонкую руку, как бы сказала: можете немножко подержаться за мою руку, вам это будет приятно.

— Запомните его имя, — кивнул Виктор Максимович на юношу, — будущее светило математики. Он нашел новый случай сохранения двух солитонов после взаимодействия.

Для меня это был язык ирокезов.

— Виктор Максимович, — спросил я, — откуда вы знаете высшую математику?

— Это, — сказал он, усаживая нас за стол, — интересная история. В лагере у меня был учебник высшей математики Лоренца. Каждый день после работы я заваливался спать и спал до отбоя, когда барак затихал. Тут я вставал, брал учебник и шел к параше, потому что это было единственное место, где ночью горел свет и можно было читать. Но чтобы не зачитаться до утра и доспать положенное время, иначе не сохранишь силы для работы, я придумал себе часы. Водяные часы, клепсидра с поправкой на лагерные условия. Лагерники спят беспокойно, кричат во сне, часто встают мочиться. Я приспособился определять время по степени наполнения параша мочой.

Юноша, внимательно выслушав рассказ Виктора Максимовича и дождавшись его конца, почему-то передвинул бутылки с коньяком с края стола на его середину, как на более надежное место.

— Где вы учитесь? — спросил я у него. Если б не слова Виктора Максимовича о его математическом открытии, было бы естественней спросить, в каком он классе, до того он молодого выглядел.

— Я аспирант Московского университета, — сказал он и посмотрел на девушку.

— Это вы его так омолодили? — спросил я у нее.

— Да! — воскликнула она и затряслась от сдавленного хохота. — Все так находят! Он у нас преподает! Однажды нас встретила знакомая мне девушка и спросила: «Это твой младший брат?» Я так и вырубилась от смеха!

Ее худенькое, почти безгрудое тело под голубым сарафаном сейчас сотрясалось от хохота, одновременно как бы отсылая любоваться обаянием одухотворенности ее неправильного лица.

— Людочка, подсуетись! — кивнул аспирант на стол и вдруг плотоядно потер ладони, явно предвкушая выпивку, и теперь стало легче представить его истинный возраст.

— Я сейчас, — сказала девушка и, взяв двумя пальцами развевающийся ватманский лист, унесла его в дом. Через некоторое время она вышла оттуда с тарелками, вилками, рюмками. Поставив все это на стол, она опять исчезла в проеме дверей и появилась, держа в одной руке тарелку с помидорами, а в другой — хлебницу с длинной лепешкой лаваша.

— Я вам фруктов нарву, — сказал Виктор Максимович и, подхватив плетеную корзину, стоявшую в беседке, быстро удалился в глубину сада.

Девушка пошла мыть помидоры под краном. Взаимокасание струи воды и двух голых девичьих рук располагало к созерцанию в духе японцев.

Однако наше молчаливое созерцание прервал некий толстый небритый человек в мятой рубашке навыпуск, появившийся, как и мы, со стороны моря. В руке он держал приемник «Спидола». Кстати, все прибрежные участки этого поселка имеют по два входа: один со стороны моря, а другой со стороны железной дороги и шоссе.

— Здравствуйте, — сказал человек, подойдя к столу и удивленно оглядывая нас, — а где Виктор Максимович?

— Фрукты собирает, — ответил аспирант, — позвать?

— Не надо, я подожду, — ответил толстяк и уселся на скамью. Он некоторое время так сидел, как кошку, держа на коленях приемник и надув губы, что-то беззвучно насвистывал, скорее всего изображая непринужденность. По-видимому, он здесь не ожидал чужих людей и теперь считал, что его затрапезный вид создает неправильное представление о его духовной сущности. Чувствовалось, что ему не терпится исправить эту ошибку.

— Извините, — вдруг сказал он, перестав свистеть и оглядывая нас, — вы кто будете?

— Мы друзья Виктора Максимовича, — сказал я.

— Аха, друзья, — согласился толстяк и, дав себе время осознать этот факт, добавил, кивнув на махолет: — Что-нибудь из него выйдит? Только правду — как мужчины мужчине!

— Уже вышло, — сказал аспирант, — он несколько раз взлетал.

— Взлетал — что такое! — взмахнул толстяк одной рукой, другой продолжая придерживать на коленях приемник. — Отсюда хотя бы до Очемчири может пролететь?!



Девушка, стоявшая у стола и нарезавшая помидоры, замерла и тревожно посмотрела на толстяка, видимо стараясь представить, как далеко отсюда находится Очемчири.

— Пока нет, но обязательно пролетит, — сказал аспирант.

Девушка благодарно посмотрела на него и взялась за помидоры.

— Двенадцатый номер видите? — сказал толстяк, туго обращившись к махолету и показывая на цифру.

Мы взглянули на цифру, а потом на толстяка.

— Двенадцать «Жигулей» он мог купить на деньги, которые всю жизнь тратил на свои аэропланы! — воскликнул толстяк. — Чтобы я своими руками свою маму похоронил, если неправда!

Мы промолчали.

— Ви не думайте, — через некоторое время поуспокоившись, добавил он, — я его как брата уважаю... Двадцать лет соседи... А там, внизу, кто стоит, знаете?

Он кивнул в сторону моря, явно думая, что мы вошли в калитку со стороны железной дороги.

— Видели, — сказал я.

— Э-э-э, — закачал головой толстяк и добавил: — Политика...

Возможно, он еще что-то хотел сказать, но тут из сада с корзиной в руке вынырнул Виктор Максимович.

— Привет, Виктор! — сказал толстяк.

— Здравствуй, Зураб! — ответил Виктор Максимович и поставил корзину на стол.

— Звук барахлит, — сказал толстяк, приподымая «Спидолу», — вот эти прибалты совсем халтурчики стали. Хуже наших.

— Оставь, посмотрю, — сказал Виктор Максимович не глядя и добавил, отбирая у девушки лаваш, который она взяла нарезать: — Лаваш не режут, а рвут.

В саду уже было сумеречно, хотя сквозь виноградные листья еще был виден догорающий над морем закат.

Виктор Максимович стал быстро рвать лаваш, раздергивая его, как гармошку.

— Пока, Виктор! — сказал толстяк и поднялся.

— Оставайся, выпьем по рюмке, — предложил Виктор Максимович, расправившись с лавашем.

— Ради Бога, — сказал толстяк, останавливаясь и беспомощно приподымая руки, — гости ждут дома!

— Ладно, — сказал Виктор Максимович, — завтра к вечеру заходи!

Толстяк исчез в уже сгущающихся сумерках.

— Людочка, свет! — сказал Виктор Максимович, вынимая из корзины инжир и груши.

Мы расселись за столом и приступили к еде и выпивке. Мне не понравилось, как аспирант выпил две первые рюмки. Та особая, как ее ни скрывай, хищность, с которой он отсосал их, подсказывала, что огонек там, внутри него, уже горит и требует топлива. Впрочем, может, это мне и показалось.

Кто-то завозился у калитки, обращенной в сторону железной дороги.

— Кого это еще несет, — проговорил Виктор Максимович, взглядываясь в темноту.

Из тьмы появилась какая-то фигура и, осторожно войдя в полосу света, оказалась пожилой женщиной в коричневом платье.

— Извините, — сказала она, подходя к столу, — Виктор Максимович, я за мясорубкой.

Виктор Максимович встал, небрежно сунул в карман промянутые ему деньги и вошел в дом.

Женщина отвернулась от стола и, подперев подбородок ладонью, с такой комической скорбью уставилась на махолет, что я не выдержал и спросил:

— Вам он не нравится?

Женщина обернулась к нам и, улыбаясь милой, виноватой улыбкой, призналась с горестной откровенностью:

— Семьи нет... Если б хоть семья была... Он еще не старый, интересный мужчина, скажите — пусть женится... Деточки будут бегать здесь...

Продолжая улыбаться виноватой улыбкой, она смотрела на нас, словно ожидая нашей поддержки.

Кстати, Виктор Максимович в самом деле выглядел гораздо моложе своих шестидесяти лет. Больше пятидесяти ему никак нельзя было дать. Некоторые считали это результатом его кефирной диеты. Однажды, когда разговор зашел на эту тему, он, улыбаясь, сказал:

— Все обстоит очень просто. Мужчину старят женщины и политика. В молодости, когда я был влюблен

и увлекался политикой, я выглядел гораздо старше своих лет.

Из дому вышел Виктор Максимович с мясорубкой в руке.

— Ну, как твоя новая курортница? — передавая мясорубку, спросил он у женщины, словно угадав, о чем она здесь говорила, и насмешливо снижая тему.

— Ах, Виктор Максимович, не говорите, — пожаловалась она, — сколько раз я ее предупреждала: «Не лежи так долго на солнце!» Не послушалась, и теперь у нее вся спина сгорела.

— Понятно, — сказал Виктор Максимович усаживаясь, и, обращаясь к нам, добавил: — Когда на юг приезжает интеллигентная женщина, она на третий день идет с ворохом писем по улице и спрашивает, где почта. А когда приезжает неинтеллигентная женщина, она на третий день ковыляет по улице и спрашивает, где бы купить простоквашу, чтобы обмазать обгоревшее тело. И таких множество.

Мы посмеялись наблюдению Виктора Максимовича, которое, может быть, отдаленным образом давало ответ на горестное недоумение женщины по поводу его одиночества. И женщина, как бы отчасти это поняв и смирившись, скорее всего временно, скрылась в темноте, держа в руках починенный Виктором Максимовичем маленький символ домашнего очага.

Виктор Максимович стал подробно объяснять журналисту, почему он винтовому аппарату предпочел махолет,

а потом постепенно разошелся и выложил свое жизненное кредо.

— Человек должен взлететь сам, без мотора, — сказал он, — вся трагедия мировой истории в том, что человек, пытаясь удовлетворить свою самую коренную жажду, жажду свободы, все больше и больше закабаляется. Тысячелетия человеческой истории превратили его психологию в авгиевы конюшни. Только взлетев, он промоет свою душу и поймет истинную цену земной жизни — идеям, вещам, людям...

Внезапно он прервался, оглядел нас своим кротким и некротимым взглядом, потом налил полстакана коньяка, поставил его в тарелку, набросал туда несколько кружков колбасы, ломоть лаваша и сказал:

— Людочка, отнеси моему стражу. От тебя ему приятней будет получить угощение... Фонарь лежит на кухонном столе.

Девушка принесла фонарь, зажгла его, взяла в руки тарелку и скрылась в темноте, как светлячок, сама себе освещая дорогу.

— Человек должен взлететь, иначе все мы погибнем, а вместе с нами и вся мировая культура, — продолжал Виктор Максимович, разлив коньяк по рюмкам и кивнув на свой махолет, который, казалось, прислушивается к нему, — это двенадцатый аппарат, который я сконструировал за свою жизнь. Шесть из них вдребезги разбились. Два — на земле, а четыре начали разваливаться в воздухе. Кто хотя бы на минуту испытал свободное парение в небе, тот не может

не возвратиться на землю обновленным человеком. Он поймет, что это возможно, и будет бесконечно искать во всех формах земной жизни повторения этого счастья распахнутого полета. Он будет искать и добиваться его в книгах, в любви, в дружбе, в работе, во всем! Он приучится чувствовать проявление малейшей пошлости и подлости как омерзительного выражения антиполета, антипарения, как предательства своего собственного испытанного в полете счастья. Человечество ждет великое самовоспитание через полет и парение. Разумеется, это произойдет не в один день. Но когда появятся надежные варианты аппарата и наладится их промышленное производство, они будут ненамного дороже хорошего зонтика.

Сегодня нас, изобретателей подобных аппаратов, никто не поддерживает — ни спортивные организации, ни конструкторские бюро, ни министерства. Но мы должны доказать и докажем свою правоту.

— А много вас? — спросил я и, не вполне уверенный в уместности своего желания, потянулся за грушей.

— Я переписываюсь с двумя, — сказал Виктор Максимович, — один живет в Армавире, другой — в Полтаве. Но, наверное, есть еще.

— Да, есть, — подтвердил журналист, — к нам поступают сведения об этом. Но пока их мало.

Внезапно деревья сада и беседка озарились голубоватым мертвенным светом, и махолет побелел в этом свете, словно оголился. Это далекий пограничный прожектор на несколь-

ко мгновений просочился в сад, безмолвно вгляделся в него и унесся дальше шарить по берегу.

— С каждым годом их будет все больше, — сказал Виктор Максимович, — это неизбежно. Человек должен взлететь, и он взлетит. Никакая диктатура не сможет управлять летающими людьми, потому что у летающего человека будет совсем другая психология.

— А разве ваш милиционер не сможет пристрелить летающего человека? — спросил журналист.

Из темноты пришла девушка и поставила на стол тарелку и стакан.

— Нет, не сможет, — без всякой улыбки сказал Виктор Максимович, — потому что он сам тогда будет летающим человеком.

— Ну, как он там? — спросил аспирант у своей девушки.

— Выпил за мое здоровье, — сказала она, просяив, — может, позвать его сюда?

— Это лишнее, — заметил Виктор Максимович, — пусть стоит там, где его поставили.

— Неужели они не знают, что без разгона вы отсюда взлететь не можете? — спросил аспирант.

— Конечно, знают, — сказал Виктор Максимович, — но это и есть безумие нашей жизни. Человек ежедневно совершает тысячи подобных глупостей, и мы все им подчиняемся. Но, как только человек взлетит, бессмысленность этих глупостей всем станет очевидной.

— А что, в плохую погоду они тоже дежурят? — спросил я и, встав со стула, потянулся к винограду, свисавшему с беседки.

— В плохую погоду я их пускаю в сарай, — сказал Виктор Максимович и, проследив за моими действиями, добавил: — С южной стороны зрелей.

Я сорвал несколько кистей винограда, одну из них протянул девушке, а остальные положил на стол.

— А как давно они дежурят? — спросил аспирант.

Он взял со стола гроздь винограда, словно неосознанно обращая обе кисти, и ту, которую он взял, и ту, которую держала его девушка, — наглядный символ их парности. Но в отличие от своей девушки, которая уже ошипывала ягоды, он только жадно внюхался в гроздь, как бы не решаясь разрушить символ.

— Лет двадцать, — ответил ему Виктор Максимович, подумав, — с перерывами. После двадцать второго съезда отменили дежурство. Но после чешских событий снова стали дежурить.

С некоторым мистическим трепетом я ощутил всепроникающую неотвратимость идеологических щупальцев. Огромный и как бы неуклюжий аппарат идеологии где-то в Москве делает поворот, и в зависимости от него в непомерной дали, здесь, в поселке под Мухусом, возле участка Виктора Максимовича, появляется или исчезает милиционер.

И снова фантастическим, синим, дрожащим на листьях светом озарился сад. И опять несколько мгновений белел



в этом свете словно оголившийся махолет. Потом свечение погасло, истекло, и луч прожектора унесся дальше высветивать берег.

Девушка поежилась и, войдя в дом, вышла оттуда с шерстяной кофточкой, накинутой на плечи. Мы выпили по последней рюмке и стали собираться.

— Сейчас дам одеяло моему охламону и провожу вас, — сказал Виктор Максимович и вошел в дом. Через минуту он вышел с одеялом в руках, пошел в сторону берега и потонул в темноте. Видимо, он остановился над краем участка, потому что раздался его голос:

— Где ты там? Держи!

Мы попрощались с аспирантом и его девушкой. Виктор Максимович взял со стола фонарь, и мы, сделав несколько шагов, окунулись в вязкую черноту южной ночи. Виктор Максимович шел сзади, бросая нам под ноги жидкую полоску света. Мы перешли железную дорогу, прошли тропинкой, то и дело теснимой зарослями разросшейся ежевики, и вышли на шоссе к автобусной остановке.

— Если материал пройдет, пришлите газету, — сказал Виктор Максимович журналисту и пожал нам обоим руки бодрящим рукопожатием, словно пытаюсь влить в нас часть своей неукротимой веры. Мне подумалось — только мечту и ловить такой сильной и цепкой ладонью. Он ушел в черноту ночи, не зажигая фонаря, потому что хорошо знал дорогу.

## Последнее

В ту зиму Виктор Максимович, как обычно, разобрал и сложив свой махолет, уехал вместе с ним в Москву. В начале марта я пил кофе в верхнем ярусе ресторана «Амра». День уже был по-весеннему теплый. Чайки с криками носились возле пристани-кофейни, на лету подхватывая куски хлеба, которые им подбрасывали люди, стоя у поручней ограды.

К столику, стоявшему рядом с моим, подошел толстый человек с брюзгливым выражением лица. Я сразу же узнал в нем того соседа, который приходил к Виктору Максимовичу со «Спидолой».

— Скажите, — обратился я к нему, когда он, хлебнув кофе, рассеянно взглянул в мою сторону, — Виктор Максимович приехал?

Толстяк внимательно посмотрел на меня, и лицо его сделалось еще более брюзгливым и мрачным. Он явно меня не узнал.

— А кто ви ему будете? — спросил он настороженно. Его настороженный голос вызвал во мне смутное, неприятное чувство.

— Я его друг, — сказал я, — однажды, когда мы сидели у него в гостях, вы к нему заходили со «Спидолой»...

По мере того как я говорил, лицо его мрачнело и мрачнело, и я все сильнее и сильнее чувствовал приход непоправимого и фальшь своего многословия. Господи, при чем тут «Спидола»!

— Виктор Максимович умер, — сказал толстяк, и лицо его горестно перекошилось.

— Как?! — вырвалось у меня.

— Да, — кивнул он и, отхлебнув кофе, добавил: — Разбился в Москве...

Он замолчал, и сразу же вонзилось в слух скрежещущее визжание чаек, мельгешащих в воздухе, подхватывающих корм на лету и на лету вырывающих его друг у друга.

— Ми, соседи, — продолжал он, снова отхлебнув кофе, — устроили ему сорок дней... Недавно из Мичуринска приехал его родственник... Прилетел, как ворона... Сейчас живет в его доме... Из Мичуринска... Я раньше даже город такой не слышал...

Странно, подумал я, Виктор Максимович никогда ни об одном живом родственнике мне не рассказывал. Визг чаек и возгласы людей, бросающих им хлеб, сделались невыносимыми. Я повернулся и пошел домой. Не знаю, то ли жизнь меня иссушила, то ли еще что, но я не в силах был осознать потерю. Только почему-то все время бессмысленно и тупо в голове вертелись строчки:

*Не выбегут борзые с первым снегом  
Лизать наследнику и руки и лицо.*

\* \* \*

На следующий год в Москве мы встретились с моим знакомым журналистом и выпили за упокой души Виктора Максимовича. Кстати, книга его об американском фермер-

ском ведении хозяйства так и не появилась в печати, ее отвергли все издательства. Однако он не унывает и полон творческих планов. О судьбе аспиранта и его девушки мне ничего неизвестно, и поэтому хочется думать, что по крайней мере у них там все хорошо.

Прошло с тех пор пять лет. И вот здесь, на альпийских лугах, в пастушеском шалаше, радио приносит весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел Ла-Манш на махолете, работающем при помощи мускульной силы ног пилота. Он был не один, Бриан Аллен. Морем на катере его полет сопровождали друзья во главе с конструктором Полем Мак-Криди, который плакал от счастья, когда его аппарат достиг берегов Франции.

Весть эта и всколыхнула мои воспоминания о Викторе Максимовиче. Я сижу над глубоким провалом, вечно рождающим сладостную тоску по крыльям, сижу рядом с альпийскими лугами, многоцветными вблизи и нежно золотящимися на дальних холмах от обилия цветущих примул.

Далеко впереди громоздятся цепи горных хребтов, словно с размаху окаменевших в ожесточенных попытках героическими рывками дотянуться до бездонного неба.

А на той стороне, за обрывом, зеленеет пихтовый лес, сквозь который желтеет ниточка дороги от Рицы на Псху, куда когда-то летал Виктор Максимович...

Я сижу один над обрывом и глажу добрейшую собаку по кличке Дунай с невероятно забавными в своей ложной свире-

пости желтыми мужичьими глазами. Серый коршун с растопыренными, шевелящимися кончиками крыльев пролетел над гребнем горы, на которой я сижу. Поравнявшись со мной, он лениво откачнулся вверх, словно оплыл меня в воздухе, как чужеродный предмет.

## Содержание

Софичка .....	8
Поэт .....	202
Думающий о России и американец .....	389
Стоянка человека .....	456

Литературно-художественное  
издание

искандер  
фазиль абдулович

собрание

софичка

Редактирование и корректура  
*Мария Богданович, Татьяна Тимакова*

Художественный редактор  
*Валерий Калныньш*

Верстка  
*Роман Терешин*

Изд. лиц. № 0985 от 17.02.2000.

Подписано в печать 10.02.04.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага для ВХИ.  
Гарнитура Петербург. Печать офсетная.

Усл.-печ. л. 32,2. Тираж 3000 экз.

Заказ № 90.

Издательский дом «Время»  
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25.  
Телефон: (095) 231 1877.



Отпечатано с готовых диапозитивов  
на ГИПП «Уральский рабочий»  
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.  
<http://www.uralprint.ru>  
e-mail: [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)

Качество печати соответствует качеству  
предоставленных диапозитивов

ISBN 5-94117-082-3



9 795941 170820